

Н О В Ы Й
М И Р

9

1953

|| 6 ||

Н О В Ы Й
М И Р

|| 1953 ||

НОВАЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXIX

№ 9

Сентябрь, 1953 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| ! ЛЮБОВЬ КАБО — За Днестром, роман | Стр. 3 |
| * К. ВАНШЕНКИН — Самая насущная забота... Стихи | 82 |
| С. ЗАЛЫГИН — Ответ, рассказ | 83 |
| Н. ЕМЕЛЬЯНОВА — Новая фигура, рассказ | 90 |
| А. Э. КОППАРД — Два рассказа. Перевод с английского Л. Борового и Ю. Мирской | 101 |
| НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ | |
| С. МАРШАК — Из Роберта Бернса | 126 |
| ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ | |
| ИВАН КОЗЛОВ — Жизнь в борьбе | 135 |
| <i>К 125-летию со дня рождения Л. Н. Толстого</i> | |
| МАРК ЩЕГЛОВ — Особенности сатиры Льва Толстого | 176 |
| ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ | |
| ИВАН НОВИКОВ — У Толстого | 186 |
| ВЛАДИМИР МАТОВ — Ещё о рассказе | 193 |
| КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | |
| П. Шебунин. Сквозь тусклое оконце... — Л. Михайлова. «Свет ты наш, Верховина...» — Г. Фрилендер. Новые тома Л. Н. Толстого. — Ю. Стрехнин. Не обходить трудного! — М. Лифшиц. «Крепостные мастера». — М. Школенко. Исторический роман Юрия Смолича. — К. Шостакович. Книга о наших детях. | 205 |
| <i>Политика и наука</i> | |
| Кандидат экономических наук Д. Валентей. Капитализм — современная форма рабства. — Кандидат исторических наук К. Мизиано. Великий сын итальянского народа. — Кандидат философских наук П. Черкашин. Нераскрытая тема. — Кандидат исторических наук С. Шмидт. Ценный исторический труд. — Ел. Будилова. Новое издание работ И. М. Сеченова. — И. Крупеников. Сальские степи прежде и теперь. | 232 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (июль—август 1953 года) | 253 |

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

ЛЮБОВЬ КАБО
★
ЗА ДНЕСТРОМ

Роман

Часть третья*

«Молодость — дорогая одежда. Много бы я дал, чтоб она не порвалась».

(Молдавская народная песня)

1. Весна сорок первого

В Липницу поехали со мной в райком на утверждение двенадцать комсомольцев. Вызывали их по одному в маленькую, битком набитую комнату, где заседало бюро. Первым вошёл Алёша Мунтян, как всегда самоуверенный и весёлый, очень красивый в новом коричневом костюме и розовом галстуке, чисто выбритый ради торжественного дня. Охотно и живо отвечал на поставленные вопросы: да, сын середняка, да, отбывал солдатчину, теперь, спасибо советской власти, учится — учится отлично, конечно... А когда вышел, покровительственно хлопал по плечу затомившихся товарищей и смеялся:

— Ничего, ничего, ребята! «Молодым везде у нас дорога...»

Сёма Котогой смотрел на него угрюмо, неодобрительно: оживление Мунтяна ему не нравилось. Оно безотчётно оскорбляло Котогой, и мучительно было, что никто не хочет этого понять. Даже Вера Михайловна — вот она вышла вслед за Мунтяном и поздравляет его издали дружелюбным кивком. Верит Мунтяну! А он, Котогой, не любит Мунтяна и не доверяет ему, и Котогой обидно, что рекомендации им обоим выдали почти одновременно и в комсомол принимают обоих в один день. И ему обидно, что ребята пристают с какими-то будничными вопросами, пересмеиваются, словно не понимают, какое огромной важности событие происходит в их жизни. И нет приличествующей случаю тишины или, наоборот, больших, запоминающихся слов, вообще — нет правды на свете, есть Мунтян и его шуточки в самый значительный для Котогой день.

На вопросы членов бюро Котогой отвечал хмуро, сбивчиво, с тем насторожённо упрямым выражением, какого давно никто не видел на его худом, с крупными чертами лице. Райкомовцы качали головами, переглядывались. Почувствовав растущее недоверие, Котогой совсем замкнулся. Пришлось вступить за него:

— Что вы! Прекрасный парень — такой принципиальный, честный. Очень твёрдый.

* Первая и вторая части романа были опубликованы в №№ 5 и 6 «Нового мира» за 1950 год.

Котогой не расслышал слов о своём утверждении в комсомоле, не заметил руки, которую протянул ему секретарь райкома Ванюша Быков, ни с кем не попрощался, отмахнулся в дверях от кинувшихся к нему ребят, выскочил на улицу. «Прекрасный парень, принципиальный, честный», — повторял он дрожащими губами. Пробежал мимо закусочной, мимо парикмахерской, завернул за угол и вдруг, на миг прислонившись к телеграфному столбу, коротко всхлипнул. «Очень твёрдый, прекрасный парень...» Эти слова примирили Котогоя с жизнью. Разволновался он глупо, конечно; и правда на свете всё-таки была.

А Митю Гуцуляка принимали необычно. Все развеселились уже с той минуты, как Митя Гуцуляк сел перед столом секретаря райкома, словно обрадованный, польщённый хозяин, вышедший к дорогим для него гостям! Его крепкая, короткая шея из-за праздничного шарфа казалась ещё короче, и, отвечая на вопросы, он медленно поворачивался к спрашивающему всем телом и веснушчатым улыбающимся лицом; его покровительственная, благодушная улыбка странно противоречила тонкому, жалобному, словно стелющемся голосу. Рассказать биографию свою? Батрачил он. Вот и всё. Всю жизнь батрачил: дома-то мать, сестрёнки маленькие, он — самый старший...

— А теперь? — торопит его Быков.

Думитру улыбается ещё шире и разводит руками:

— Теперь учусь...

Одно плохо в приятной беседе с хорошими людьми: была она короткой, короче, чем хотелось бы.

— Утвердили! — радостно оповестил Гуцуляк, спиной прикрывая за собой дверь.

Утвердили всех. На радостях пошли всей ватагой фотографироваться в липницкое фото, захватив по дороге Котогоя, который преувеличенно внимательно читал вывешенную у здания райкома «Молдова социалистэ»¹, потом в так называемый ресторан — полутёмное помещение с длинными, крытыми клеёнкой столами: выпить пива за левкауцкий комсомол! Потом в ожидании вечернего поезда на Пэдурикэ-Маре (лошадей в весеннюю распутицу Заболотный отказался дать наотрез) мученически прогуливались по непроходимым липницким улицам с единственной благородной целью: на людей поглядеть и себя показать. Чинных, степенных юношей в крестьянских кушмах или в бархатных форменных фуражках, сохранившихся ещё от «Шкоалэ де Агрикултурэ», уже хорошо знают в Липнице, незнакомые раскланиваются с улыбкой: «Небось, левкауцкие? Сразу видно!» Мы искренне недоумеваем: «Почему видно?» — «Ну, почему... Дружные очень!»

Есть такое место, навсегда родное — Левкауцкий техникум, стоящий на пересечении дорог в холмистой молдавской степи. Кирпичные стены, темнеющие среди оголённого парка, серебристая крыша главного корпуса, узкие коридоры, гулкая чугунная лестница, ведущая от главного входа в тесные классы и выше — в плотно уставленные койками дормиторы. Есть на свете помещения более удобные, светлые и просторные, только нет места роднее!

Едва полгода минуло, как пришла в Молдавию советская власть, лишь несколько месяцев назад приехали мы в освобождённую Бессарабию, сюда, в Левкауцкий техникум, трое молодых людей, только что окончивших московские вузы, — а сколько уже здесь пережито! Трудно поверить, что новые наши друзья, эти вот крестьянские юноши, встретили нас совсем недавно настрожённым молчанием, недоверчивыми взглядами исподлобья. Их убеждал секретарь райкома, старый коммунист Колесниченко:

¹ «Социалистическая Молдавия».

«Советская власть — это не новый хозяин над вами, поймите это, вы сами хозяева». И они тянулись к нему, раскрывались ему навстречу, уже несмело улыбаясь, но ещё не решаясь окончательно верить.

Юноши, из которых в «Шкоалэ де Агрикултурэ» готовили верных слуг домнула помещика и его величества румынского короля, в советском техникуме приучались чувствовать себя гражданами и хозяевами родной страны: и этот вот, впервые дорвавшийся до учёбы бывший батрак Думитру Гуцуляк, и страстный, лукавый, жизнерадостный, словно пламя, Илья Сашко, и непримиримый, требовательный к себе и другим Гриша Гончарюк, и мягкий, отчаянный Ваня Ведеш, и его друг Костик Прозоровский, милый, застенчивый мечтатель, и многие, многие другие. Им говорили: «Коллективный, совместный труд, труд для общества — это большая радость». Ох, они не верили! Мечтали о своей выгоде, о своей земле, о своём достатке, кое-кто занимался мелкой спекуляцией здесь же, в техникуме, — всё было. Всё было, и всё это они оставляли в дороге. Они и не знали раньше, что жизнь может идти по таким простым, человеческим и справедливым законам. Идеи, окрыляющие душу, нужны юношеству, как воздух, — с этими идеями они столкнулись впервые. Им говорили: «За идеи эти надо бороться. Идёт в мире смертельная борьба двух систем, двух лагерей, двух идеологий — и нет середины между ними, нет и быть не может». Нужно бороться? Тем лучше! Молодые, честные люди, дети тружеников и сами труженики, они навсегда определяли свой жизненный путь.

На площадке вагона у открытой двери стоит Котогой. Глаза его прищурены, словно он напряжённо вглядывается в ночную темноту, волосы отброшены со лба встречным ветром. О чём он думает в одиночестве, в стороне от притихших товарищей? Подойти к нему сзади, обнять за плечи, напомнить, смеясь, как когда-то, избитый преподавателем Наги, он сердился, что шум поднимают из-за таких пустяков, угрюмо отвечал собранию: «Ничего я не буду говорить, оставьте». Если напомнить, он слегка покраснеет, скажет со смущённой улыбкой: «Дураки мы были, Вера Михайловна, — верно?» Жизнь наша, наша гордость — наши ребята!..

Они учились бороться.

Семён Котогой весь второй ветеринарный курс поднял когда-то на защиту друга своего Гуцуляка; в тот вечер советская песня заглушила румынский монархический гимн в ученических дормиторах. А первые уроки советских учителей и занятия кружка, гордо именуемого «комсомольским!» И первый выход в село с агитацией за хозяйское, бережное использование доверенной молдавскому крестьянину земли, и первый субботник, впервые испытанное чувство ответственности за порученное дело, дело, нужное товарищам, всему коллективу, и общие собрания, на которые надо было приходиться, твёрдо зная, с кем ты и чего ты будешь добиваться, — всё вместили в себя эти неполные полгода жизни при советской власти. И агитация за депутата-коммуниста перед первыми в жизни советскими выборами, и буднично, как-то между прочим полученный советский паспорт, и наконец — предел мечтаний! — комсомольский билет, драгоценная книжечка с ленинским силуэтом.

Именно потому и не верится, что прошло каких-нибудь пять-шесть месяцев стремительной, до предела наполненной жизни: очень всё это было нелегко. Не всё достигалось сразу, и не все сразу достигали этого: иные вырывались вперёд, иные отставали. Удастся ли нам «подтянуть тылы», привлечь на свою сторону колеблющихся и равнодушных? Какова сила воздействия наших идей, нашего строя, нашего, советского воспитания? Достаточно ли твёрд и устойчив даже наш авангард, наши первые комсомольцы? Жизнь шла вперёд. Она ставила новые и новые задачи,

она всё это должна была определить и проверить. Закипая под снежными сугробами, затеявая весёлую разноголосицу, начиналась между Днестром и Прутом первая советская весна.

2. Наступление начинается

В эту пору года без особой нужды ни один человек не двинется в путь по расхлябанному, залитому талой водой молдавскому просёлку. Сани то со скрипом, с натугой вскарабкиваются на обледенелый бугор, то шумно ныряют в промоину; поминутно лопаются постромки, путник то и дело сползает с примятой охапки кукурузных стеблей, топчется, крихтит посреди дороги, неохотно поминая чьих-то родителей, оскользаясь и по колено проваливаясь в колею, полную студёной воды. Свяжет с грехом пополам оборвавшиеся концы, и только тронутся сани, путник усядется, успокоенно потянется за кисетом, — вновь круто остановятся лошади, виновато взмахнув хвостами. Уныла в эту пору года бессарабская степь: небо тяжело провисло, словно намокший, потемневший холст, очертания холмов едва различимы во влажном воздухе, оголённые роши провожают отчаявшегося путника неодобрительным вороньим криком. Природа ждёт одного, ждёт томительно, молчаливо: солнца! Но и тогда, когда поползут наконец с холмов свалившиеся снежные шапки, обнажая коричневую вялую траву, когда опрокинется в лужах промытое, сверкающее небо, раздробится на тысячи кусков в упрямых ручьях и неторопливых потоках, когда оживится, воспрянет и двинется обласканная солнцем степь, — даже и тогда надолго останутся просёлочные дороги Молдавии невеселы и пустынные. Обнажённый лоснящийся чернозём будет жадно присасываться к копытам, к колёсам — и долго будут тут и там торчать на дорогах вздетые к небу дышла безнадежно увязших крестьянских каруц, брошенных хозяевами прямо в степи до лучших времён. Какая нужда может гнать человека ранней весной по просёлочной безлюдной дороге?

Вчера до глубокой ночи при неровном свете керосиновой лампы читал Илья Сашко «Поднятую целину» Шолохова. Правильная, хорошая книга! Стоило Давыдову сказать казакам, что приехал он к ним для организации колхоза, даже общительный и любопытный дед Шукарь отошёл от него, разочарованно свистнув.

«Вот они какие, крестьяне эти, — все, как один, сдурелые», — думает сейчас Илья, досадливо отворачивая от собеседника хмурое, несчастное лицо с быстрым бешеным взглядом из-под сдвинувшихся рыжеватых бровей, искренне забывая в этот тяжёлый момент своей жизни о том, что ведь и сам он крестьянин, уроженец села Лукаши, и мать его крестьянка, и брат, и друзья — все такие же, как и он, крестьянские дети.

Павло Гандрабура сидит рядом с ним, лениво похлопывая себя кнутом по голенищам, с затаённой усмешкой поглядывая на тянущуюся вокруг серую, сумеречную степь.

Разговор не получается.

— Ты сапоги такие раньше носил, при румынах? — уже в который раз с новой силой подступает к Гандрабуре Илья. — Одежду имел такую вот хорошую? Тебя советская власть одела, обула, а ты...

— А что я? — не сразу отзывается Гандрабура. — Ну, что я? — поворачивается он к Сашко. — В колхоз не иду? И не пойду. Что ты со мной сделаешь? Я слышал, нет такого закона — силком в колхоз загонять...

Последняя фраза прозвучала вопросительно, насторожённо.

— Чёрт с тобой, не иди, — вздыхает Сашко. — Колхоз и без тебя обойдётся...

— Вот и ладно, — примирительно говорит Гандрабура и подёргивает вожжами. — Н-но, милые!..

Лицо у Гандрабуры смуглое, чистое. Очень молодят его весёлые, насмешливые глаза и пушистые чёрные усы, которые Гандрабура то и дело самодовольно пощипывает. Из-под пушистых, вьющихся усов выглядывают передние зубы, длинные и крепкие, как у белки.

«Красивый, чёрт,— думает Сашко.— Зубы вот...»

Гандрабура раздражал его невероятно. Собственно, кто он был, Павло, чтобы из-за него расстраиваться? Он даже был не в его десятидворке — в мунтяновой, — пусть бы Мунтян и агитировал его. И разговор-то между ними повернулся приблизительно так же, как происходил он когда-то в Гремячем Логу.

— К нам идёшь? — спросил Гандрабура, когда Сашко бочком вскопчил в нагнавшие его сани.

Ну, ясно было, что к ним, в Левкауцы,— куда ещё чёрт понесёт по этой дороге, по осевшему, талому снегу!

— О чём же сегодня речь будет? — с усмешкой спросил Гандрабура. — Опять, может, про колхозы?..

...Оф, уж эта усмешечка! Она раздражала Илью больше всего. Нет, пусть Мунтян сам со своим Гандрабурой возится — ему, Сашко, и своих хватает..

— Когда тебя советская власть обманывала? — сердится Сашко.— Посоветовали тебе в сентябре супряги — проиграл ты? Выиграл!

— То супряги,— уклончиво отвечает Гандрабура.

— Ты мне скажи — обманула тебя советская власть?

— Ну, это ведь как сказать... Если теперь, по-твоему, выходит, что я в колхоз итти обязанный, так, может, и обманула. В колхоз я итти не согласен. Всё.

— Да никто тебя не заставляет, господи!..

— Ну, и нечего толковать.

«Одного уговорить не могу, — расстраивается Сашко. — Хороший агитатор! А что я сейчас с десятью хозяевами делать буду? Товарищ Колесниченко сказал на районном комсомольском собрании: «Партия большую надежду имеет на левкауцких комсомольцев, они себя в предвыборные дни хорошо показали...» Телько настроение портит этот усатый, чёрт дёрнул к нему в сани сесть!»

— Ты послушай, милый,— доверительно заговорил вдруг Гандрабура,— вот ты меня сейчас поймёшь...

— Ну?

— Ты базарные цены знаешь немножко? Четыре рубля с полтиной килограмм сахару — хорошая цена? Тысячу рублей так себе, средненькая свинья стоит. А мануфактуры метр в магазине три рубля — чуешь?— Гандрабура подмигнул Сашко, толкнул его под бок. — Ведь это как жить можно! Я поросенка откормлю — я на него и сам сыт и одет, и семья сыта и одета, а кукуруза, а хлеб... Сидела на наших плечах до этого года дама одна, помещица Кайсановская,— ну, ты знаешь. Так для меня сейчас что дама эта, что колхоз — всё одно и то же. Опять на кого-то там работай, на чужого дядю,— своего хлеба и не попробуешь.

— Да куда ж он денется, твой хлеб?.. Поставки свежешь, как сейчас, и всё! Только выгодней при совместной-то обработке — машина!..

— Ну, кто спорит! — удивился Гандрабура.— Дураку ясно, что машинная обработка выгодней, вот... Он, кстати, не пойдёт, твой трактор, по нашим холмам. Вон наша земля какая — видишь?

— Пойдёт!

— А я, понимаешь ли, так полагаю: лучше немножко хлеба, да вот он — свой. Правильно я говорю? Ты меня, Сашко, и не трогай и не смущай, я и без колхоза твоего проживу. Да от одной коровы, если с умом взятыся, сколько заработать можно! Она у меня удойная...

— Ты мне скажи, дядя, куда твой хлеб денется из колхоза? Нет, ты скажи, куда? Молчишь!..

Крестьянин ответил нехотя классическим пожатием плеч.

— Я знаю?

— Вайнеску слушаешь? — горячо, с упрёком продолжал Илья. — Это ты, дядя, всякие кулацкие разговоры слушаешь! Слушай, слушай — он тебе такого наговорит! Он колхозному делу первый враг...

— Нас это не касается.

— Касается. Всё к Вайнеску ходишь?

— А кто мне запретит, ты, что ли? Пойдёшь в ГПУ на меня пожалуешься?

— Глупый ты, — огорчился Илья. — И зачем я только сел к тебе!

— Пешком ступай. Ну-ну... — Заметив движение Сашко, он приостановил лошадей. — Сиди, что ты! Сиди, ничего, молчать будем.

Замолчали.

— Ты не врешь, что хлеб в колхозе останется? — первый нарушил молчание Гандрабура. — А вот как, ты мне скажи, насчёт общего одеяла будет?

— Насчёт какого общего одеяла?

— Да вот, говорят, спят все в колхозе вместе, под общим одеялом — нет? Жёнами не очень считаются, между прочим, где чья...

— Иди, — изнеможённо отмахнулся Сашко. — Иди до своего Вайнеску. Верись ему — ну и иди. Видно, все тебе врут, и советская власть врёт, один Вайнеску ему не врёт, нашёл друга...

— Этого ты не тронь.

— Ну, и не трогаю.

— Молчим! .

— Молчим...

Снова замолчали. Сашко нерешительно тронул нагрудный карман.

— А, ладно, — решил он наконец. — Дам я тебе, дядя, документ огромной исторической важности. Называется он «письмо»...

— Ну-ну, — усмехнулся Гандрабура.

— Прислали его Плэчинте — студенту нашему — родственники из-за Днестра. Они с тридцатого года колхозники, пишут: так, Ваня, и так, передай своим родителям — пусть идут в колхоз, пусть не боятся, в колхозе только лодырям плохо... Ты возьми, возьми, прочтёшь...

— Читать-то я не очень... — Гандрабура неохотно взял письмо, опять хитровато усмехнулся в пушистые усы. — Бумага толстовата...

— Для закурки не годится, — согласился Илья. — Исторической важности документ! О, чёрт возьми!..

Собеседников от резкого толчка чуть не выбросило из саней, лошади остановились.

— Опять постромки! — рассердился Гандрабура. — И ты ещё тут с письмами своими, с райской жизнью...

— Ладно, — примирительно пробормотал Сашко, сползая вниз с высокой охапки кукурузных стеблей и помогая Гандрабуре, — не буду больше про райскую жизнь, а то до вечера не доедем. Тоже мне езда! То ли дело в колхозе...

— Молчим!

— Молчим... Пусть тебя Вайнеску агитирует.

— А по мне, что ты, что Вайнеску, — я сам по себе. Я на одной свинье знаешь, сколько заработаю?

— Ну, и ладно.

— Ладно.

А товарищ Колесниченко говорил на районном комсомольском собрании: надо правый берег Днестра до левого тянуть. Пойди вытяни! На

левом берегу разве такие крестьяне? Илья на левом берегу никогда не был, а знает: там настоящие люди, сознательные, не то, что тут... Приезжал в Левкауцы ещё в январе докладчик из Бельц; крестьяне левкауцкие послушали, разобрали, что речь сейчас про колхозы пойдёт, испугались, что так вот, сейчас, и записывать станут в колхоз, и не отвертись уже — всё, гата! — потянулись из сельсовета один за другим. Семичастный в президиуме и карандашом стучал и замечания делал — разошлись, как их удержишь? До конца доклада человек пятнадцать — двадцать осталось, не больше. А Колесниченко на районном комсомольском собрании очень остро поставил вопрос: правый берег от левого на двадцать три года отстал. На левом берегу — сплошная коллективизация, бесклассовое общество, социализм, а на правом — кулак ещё нетронутый сидит, в городах частное производство не ликвидировано, в деревнях сплошная мелкобуржуазная, единоличная стихия... Надо остороженько, понемногу коллективизацию начинать. Организовать несколько колхозов — пусть окрестные сёла посмотрят, поучатся, позавидуют, так и пойдёт дело.

«Партия большую надежду имеет на левкауцких комсомольцев, — закончил тогда товарищ Колесниченко. — Хорошее село Левкауцы, с него и начать можно...» Хорошее село!

Сашко тогда не выдержал, поднялся. Собрание шло в прокуренном клубе липницкого депо, народ кругом всё чужой, незнакомый, насмешливый — железнодорожники, учителя, служащие, в большинстве своём люди из-за Днестра. Это тебе не Левкауцкий техникум, где Сашко выступал более убедительно, чем кто-либо другой из ребят. Сашко взволнованно гмыкнул, не решаясь поднять руку, но Колесниченко подмечал обычно каждое движение среди аудитории, и он сразу обернулся к Сашко:

— Что, Илья, скажешь?

Илья кое-как изложил свои сомнения: не такое уж сильное село Левкауцы, — может, с другого начать? «И вообще, Алексей Васильевич, крестьяне наши ещё такие...»

Колесниченко лукаво подзадорил:

— Какие же?

Сашко промолчал: что он скажет? Скажет — нового они боятся, за собственность держатся, с ними о колхозе разговаривать трудно будет... Об этом сказать? Так ведь вот он какой, Алексей Васильевич, — крепкий, уверенный, весёлый, — разве его трудностями испугаешь? Рассказать, как левкауцкие крестьяне с доклада об Уставе сельскохозяйственной артели ушли? Алексей Васильевич об этом и без Ильи знает. Знает и вот — смеётся. А Колесниченко, словно прочитав мысли Сашко в беглом, смущённом взгляде, уже обернулся ко всей аудитории:

— Преувеличивать трудности, товарищи, не надо. Мы ведь двадцати трёх лет на решение этой задачи не попросим? Не попросим, конечно, они нам и не нужны. Быстрее, веселее, пойдёт дело, товарищ Сашко! Увереннее! Вот на лыжах ты никогда, наверное, не бегал... Знаешь: одно дело — по целине дорогу прокладывать, другое дело — мчаться по накатанной лыжне!.. — Вдруг засмеялся, неизвестно чему, и, потирая руки, с азартным огоньком в глазах добавил: — Только я и на лыжах любил, бывало, с наезженной лыжни свернуть в сторону — и через сугробы, через снежную пыль, по нехоженным тропам, по заячьим следам — здорово! — И подмигнул Илье так добродушно и просто, что тот невольно заулыбался, опускаясь на место, и подумал: «Что ж, Алексей Васильевич, не подведём, поборемся...»

Вот теперь и борись, спорь с таким Гандрабурой на глухом левкауцком просёлке! Жаль, что нельзя тут же, в поле, развернуть плакаты, бережно положенные на дно саней. На этих плакатах и трактор «СТЗ-15» — колёсный, на шипах, и «Универсал-2» — полегче, повыше —

Сергей Викторович говорил, что для пропашных культур. Молотилка, жнейка... Такой молотилки и у румынских помещиков не было — эта и молотит и сортирует сразу! Ещё трактор — «СХТЗ-НАТИ». Мощнось его в 32 лошадиные силы — перед таким трактором никакой Гандрабура не устоит!

— Ты, дядя Павло, приходи к Ковальчукам, как стемнеет. Я тебе одну штуку покажу...

— О господи!

Сани мотнуло на раскате, сначала в одну, потом в другую сторону — въехали в село. Вдоль села Сашко пробирался пешком, цепляясь за плетни и каменные, грубой кладки заборы: снег лежал тонким слоем на крышах и дворах, середина улицы представляла тёмное, непроходимое месиво. От сельсовета Илью окликнули:

— Мэй, флэкэуле!¹

Какой-то товарищ, видно приехавший из района, курил, облокотившись на перильца приспы². Илья в сгущающихся сумерках с трудом его узнал, а узнав, с удовольствием свернул к крыльцу. Был это Максим Ионел, молодой коммунист с замашками комсомольца, один из бригадиров Липницкой МТС. Его лоснящееся носатое лицо всегда было оживлено тонкой, проницательной усмешкой, характер был, насколько мог заметить Илья, неугомонный и въедливый. Ионел с силой потряхнул руку Ильи.

— Агитатор? Я знаю — Сашко. Ваши ребята ещё есть тут сегодня?

Из темноты нехотя падал редкий снежок. Илья выразительно оглянулся на собственные следы, проложенные от калитки до крыльца, — в следах чернела талая вода.

— Дурака понесёт по такой погоде!

Он тут же вспомнил, как Сергей Викторович, посмеиваясь, называет его хвастунишкой, и слегка покраснел. По самому строгому счёту он сейчас опять похвастался. Поэтому Илья счёл нужным добавить:

— Я в своей десятидворке давно не был...

Ионел, серьёзно разглядывая его, поспешно согласился:

— Ну, да, я понимаю... — Он тут же потянул Илью за рукав внутрь помещения: — Гай, помоги мне, мы тут совсем запарились...

В сельсовете, сердито перебрасывая один за другим листы большой конторской книги, сидел председатель сельсовета Евдоким Семичастный. Лицо Евдокима, обычно румяное и самоуверенное, выглядело сейчас потускневшим и жалким.

— Вот, — указал на него Ионел, — может, ты к нему, Сашко, подход знаешь...

— Я же сказал... — мрачно откликнулся Семичастный.

— Понимаешь, советская власть на местах называется! Я тут приехал специально списки инициативной группы уточнить, ну, его вписал, конечно, а он...

— Не могу, — не поднимая глаз, ожесточённо сказал Семичастный. — Я вам, товарищ Ионел, доложил уже — не могу!..

— Один случай на десять тысяч, понимаешь? Председатель сельского совета, так сказать, местная краса и гордость, не хочет в колхоз заявлять... подавать...

— Не хочет? — с отчаянием переспросил Семичастный.

— Не может! — с иронией поправился Ионел. — Понимаешь, не может, хоть садись и агитируй его, как какого-нибудь малограмотного. — Ионел тонко вздохнул, отворачивая нос. — Болен он...

— Болен? — печально переглянулся с ним Илья.

¹ Флэкэуле — паренёк.

² Приспа — узкий балкон-завалинка, обычный в молдавских домах.

— Болен,— удручённо повторил Ионел.— Здоровье товарищу не позволяет...

— Здоровье не позволяет,— упрямо наклонил голову Семичастный.— Вы смейтесь...

Максим даже руки заломил в отчаянии.

— Здоровье не позволяет в колхозе работать! А, Сашко?

— Оф, бедняжка!..— жалобно сморщился Илья.

— Не говори! И, главное, болезнь-то какая подлая, глубоко забралась. С виду парень — кровь с молоком, а хворь-то одолевает...

— Одолевает, ай-ай...

— Смейтесь вы,— угрожающе протянул Семичастный.— Смотрите, я ведь тоже советские законы знаю, меня не так просто...

— Главное что,— не обращая на Семичастного внимания, изливал свою скорбь Ионел,— главное, Сашко, он других агитирует...

— Агитирует?

— А как же! Положение обязывает. Всё-таки председатель сельсовета, не шутка...

— А самому итти в колхоз — хворь одолела?

— Оф, хворь, Сашко, хворь...

Хлопцы удручённо повесили головы.

— Не верите, да? — Семичастный с силой захлопнул книгу.— Я вам справку принесу, если не верите...

— Справку принесёт, мэй!..— тихо тронул Ионел Илью. Тот, искоса следя за Семичастным, спросил с глубоким трагическим вздохом:

— А знаешь, Ионел, как его болезнь называется?

— Как, Сашко? — Ионел едва сдерживал подступающие к горлу рыдания. — Как, дорогой?

Семичастный невольно приостановился.

— Ну-ка?

— А называется она «женадастжару»... Опасная болезнь!

— Опасная? — озабоченно переспросил Ионел.

— Очень опасная...

Оба фыркнули. Семичастный сплюнул с досадой и взялся за ручку двери.

— Смейтесь, что хотите, делайте,— с отчаянием сказал он.— С поста снимайте — не могу я...

— «Женадастжару»? — скороговоркой спросил Сашко.

— Может быть...

— Некрасиво что-то получается, товарищ Семичастный,— уже не дурачась, серьёзно сказал Ионел.

— А уж это вам видней — красиво или не красиво. — Семичастный потупил голову, повертел ручку двери, опять шагнул к ребятам.— Товарищи, не могу я...

— Не может!..— загрустил было Илья. Ионел чуть тронул его за локоть.

— Постой!..

— Не могу,— гораздо искреннее заговорил Семичастный.— Вы говорите «жена»... Ну, вы, товарищ Ионел, из Рыбницы, кажется, так? — Ионел молча кивнул.— Вы человек новый, вам простительно. А вот Илья — он всё знает...

— Чего это я знаю?

— Всё. Коня я в колхоз должен дать? Должен. А чей конь? То-то. Жены конь, не мой,— моей нитки нет в доме! Плуг отдать должен? Борону, сеялку? Вот и судите... Да мне и заговорить дома об этом нельзя, не то что... Снимайте с поста — не могу я...

— Эх,— только и сказал Ионел. Помолчал, выразительно глядя на

Семичастного, и, качая головой, сплюнул: — Продался ты, выходит, а, Евдоким?

— Вам, товарищ Ионел, легко рассуждать...

— Куда легче! Я до сих пор видел только, как бабы продаются,— и то, понимаешь, брезгал...

— Ладно!

Тяжело замолчали.

— Он же у себя дома, как батрак, работает, — возмущился Илья.— А всё говорит — нитки своей нет. Порядок это?

Ионел настойчиво спросил:

— Что делать будем? Нет, в самом деле, что будем делать? Может, уговоришь жинку?

Семичастный безнадежно махнул рукой. Сашко поддержал:

— Не пойдёт. Самая сволочная семья у нас после Вайңеску, если хотите знать. О Тудоре Гинку слышали? Брат её...

— Что ж будем делать?

— Что делать? Разводиться! — вспыхнул Илья.— Евдоким Иванович человек молодой, грамотный, ему социализм строить, а не...

Евдоким сидел безучастно, словно не о нём шла речь. Ионел косо глянул в его сторону.

— Очень ты, Сашко, просто рассуждаешь...

— А что? Вы же сами сказали — продался он. Конечно, продался! Женился на добре. Мы все дураками были до советской власти,— великодушно прибавил Илья, поймав быстрый, несчастный взгляд Евдокима.— Сколько же можно? С председателей снять его недолго — так ведь всё равно ему с людьми жить, как ни крутись...

Семичастный тяжело вздохнул, поднялся.

— Со свету они меня сживут...

— Ну, может, не так страшно?

Семичастный только отмахнулся. Помедлил у двери, тихо попросил:

— Вы меня в инициативную группу всё-таки не записывайте пока...

— Спи спокойно...

— Доброго здоровья!

— Бывай здоров!

Дверь закрылась. Ионел даже по столу стукнул с досады.

— Вот и строй с такими социализм! А, Сашко?

— Ничего, построим.

— И я говорю: построим. Зло берёт!

Илья глянул в тёмное окошко, заторопился.

— Хочешь — пойдём ко мне на беседу? В моей десятидворке хорошие люди есть.

— Если есть хорошие, пойдём. Знаешь, не привык я к капитализму, злюсь очень.

— Зачем к нему привыкать? Я, между прочим, тоже злюсь.

— Вот мы с тобой какие, а?

Понурились, сокрушённо вздохнули и тут же переглянулись, расхохотались от души, чрезвычайно довольные собой, этой вот своей деловой близостью и — проклятой, живой, замечательной, тяжёлой работой, которую, раз попробовав, не променяешь ни на какую другую: работой среди людей и с людьми.

3. Девочки

На одном из вечеров после окончания художественной части жена Сергея Викторовича, Наташа, недавно приехавшая к мужу с новорождённым сынишкой, подседа к Алёше Мунтяну.

— Почему вы не учитесь, послушайте? — удивлялась она. — Такой голос! Уверю вас: с таким голосом даже в Московскую консерваторию приняли бы немедленно...

Окружившие их ребята, наваливаясь друг на друга, с любопытством вглядывались в милое, молодое лицо директорской жены. Рошка, разобрав наконец, о чём идёт речь, насмешливо потрепал по плечу смущённого Алёшу.

— О, народный артист Молдавской республики Алексей Степанович Мунтян!

Алёша лениво отшутился: «Нет ещё такой консерватории достойной», но ночью долго не мог уснуть, вспоминая слова Наташи. Может, и правда поехать учиться? Принять-то приняли бы, пожалуй, — Алёша сам знал, что тенор у него хорош.

«Заслуженный артист Алексей Степанович Мунтян!» Алёша представлял себе собственный портрет в газете — такой красивый мужчина с подкрученными усиками и накрахмаленной грудью. Аплодисменты и крики «бис» в переполненном зале, рецензии под кричащими заголовками, сладкая власть над тысячами людей... Артист! Алёша усмехнулся в темноте и радостно потянулся. Даже представить себе невозможно эту блестящую, беспокойную жизнь...

Утро было будничным, обычным. Быстро оправить лоскутное одеяло на деревянной койке, сбегать в подвал к умывальнику, наскоро закусить в столовой... Алёша и думать забыл о вчерашнем — он, Мунтян, жизнь знает. Никто не распахнёт дверей с готовностью... Бог с ними, с аплодисментами, если ради этого надо в ниточку вытягиваться изо дня в день. Хороша бы слава, да не дешёва! А счастье? Счастье и так будет, только руку протянуть... Многого для счастья не надо.

В комсомол Мунтяна потянуло давно, с тех дней, как в техникуме даны были первые рекомендации. В комсомоле, как и в дружбе со Скутарём когда-то, Мунтян увидел одно: лестную отличку перед другими. Взрослый, самоуверенный парень, очень неглупый и многое схватывающий на лету, он среди людей вращался с обычной своей мягкой, приветливой усмешкой, беззаботно и легко, как рыба в воде. Чем, в конечном счёте, был он хуже Ведеша, Беженаря, Пети Галецкого? Сын середняка! Мунтян не видел, чем он был хуже. Советские учительницы долго колебались, медлили с рекомендацией; помогли, слава богу, ребята, они за Алёшу встали горой: «Мунтян? Он такой хороший товарищ, знаете? Такой простой, весёлый, всегда поможет...» Мунтяна приняли в комсомол. Скутаря это задело, Скутарь надулся; как Мунтян не видел, чем он хуже других, так и Скутарь искренне не понимал, чем он хуже Мунтяна.

Дружба между Скутарём и Мунтяном, вернее то, что оба они называли дружбой, не выдержала бы подобного испытания, но гибкой, покладистой натуре Мунтяна всё было нипочём! С обычной беспечной усмешкой попрежнему выслушивал он самые рискованные высказывания Скутаря, потом, весело подмигивая товарищам, позёвывал на комсомольском собрании: ни то, что он слышал от Скутаря, ни то, что говорилось на собрании, не занимало Мунтяна всерьёз. Ходил он и агитатором в Левкауцы, рассказывал односельчанам в сущности то же, что и все остальные комсомольцы, — только слушатели его никогда не бывали захвачены так, как у Ильи Сашко или Вани Ведеша. Мунтян легко мирился с этим. У каждого, в конце концов, свой талант — у него, у Мунтяна, свой. Скутарь неодобрительно спрашивал его по возвращении:

— Ну, агитировал за советскую власть?

— Моё дело такое... — примирительно улыбался Алёша.

И опять, снисходительно пошучивая, выслушивал, какую блестящую политическую карьеру сделает Скутарь, когда сюда, в Бессарабию, вер-

нутся королевские румынские войска. Скучно! Всё скучно. Всерьёз интересовала Мунтяна в техникуме только тихая, серьёзная девушка с перекинутыми на грудь косами, с опущенными глазами — Марица.

Марице он, видимо, нравился; когда вечерами он провожал её до девичьего dormитора, она подолгу задерживалась с ним у крыльца, её рука спокойно и доверчиво лежала в горячей ладони Мунтяна. Иногда он осмеливался и неловко целовал её куда-нибудь — в висок или в тёплый пробор. Марица отстранялась медленно и как бы нехотя.

— Не любишь, да? — хриловато спрашивал Мунтян.

Марица отвечала долгим, умоляющим взглядом. Понять было нетрудно: охотно принимая мужское покровительство, чистую дружескую ласку, она не могла, не хотела ничего обещать.

Решившись, больно стискивая её руку, он заговорил однажды:

— Тебе только слово сказать, Марица, только захотеть... Всё бросим, уйдём, — чего мы здесь не видели!.. Я тебе хороший муж буду, ты не думай; приведу тебя на село, заживёшь хозяйкой, люди завидовать будут, вот увидишь!..

Марица задумчиво покачала головой, губы её чуть заметно шевельнулись.

— Что? — не расслышал Мунтян.

— Никуда я отсюда не пойду, — громче повторила Марица и впервые за весь вечер прямо посмотрела в глаза Мунтяну. Мунтян крепче сжал её пальцы.

— Почему?

Марица опустила глаза, промолчала.

— Я тебе не нравлюсь, да?

Марица отвернулась.

— Нет, почему? Нравишься... Оф, Алексей, ты меня не спрашивай, я сама не знаю...

— Любишь кого-нибудь? — жёстко допрашивал Мунтян. — Илью Сашко, да? Нет, ты скажи — ты из-за него не хочешь?

Марица долго молчала. Она молчала не потому, что боялась или не хотела ответить, — она думала.

— Вот ты какой, — медленно и как будто бы даже удивлённо сказала она. — Если бы из-за Ильи, я от одной обиды ушла бы с тобой, не знаю... А я не пойду.

— Фельдшерницей быть захотелось? — насмешливо выпытывал Мунтян.

Марица сморщилась, замахала руками.

— Оф, что ты говоришь, какая из меня фельдшерница? Я сроду не выучусь...

Мунтян, посмеиваясь, привлёк её к себе.

— Ну, Марица? Глупая ты, хозяйкой же будешь... Соглашайся, фрумушика¹ моя! Сама подумай — куда тебе итти после школы? А я, смотри, какой парень, — беречь тебя буду, любить, со мной не пропадёшь... Марица!

Марица медленно покачала головой.

— Я и тут не пропаду. Тут люди хорошие...

Мунтян долго убеждал, прижимая её ладони к своей груди. Любит он её, любит! Марица перегибалась в его руках, упрямо отворачивалась, молчала. Мунтян находил её губы, она опять отворачивалась с силой, он, прижимая её к себе, опять целовал. Он смелел, терял голову. Марица вдруг рванулась, отступила на шаг. Заправляя сбившуюся набок кофточ-

¹ Фрумушика — красивенькая.

ку, исподлобья взглянула на Мунтяна; взгляд этот был откровенно враждебен.

— Зачем ты... так? — глухо сказала она. — Я больше не пойду с тобою.

«Тоже, цаца какая, недотрога, — зло думал Мунтян, возвращаясь в главный корпус. — К Заболотному отец послал — пошла, слова не сказала, а тут... Хуже я того Заболотного!..»

А Марица невесело думала, лёжа с открытыми глазами на узенькой койке: что с нею стало? Что заставило её сегодня оттолкнуть желанную когда-то судьбу — выйти замуж за самостоятельного человека, жить хозяйкой в собственном доме? Полюбишь всякого, с кем судьба сведёт, не девочка уж она — о любви-то думать... А Мунтяну она, видно, и правда нравится, парень он красивый, весёлый — хорошо бы зажили, не хуже людей...

И в самом деле — куда она пойдёт после школы? Вот, например, лето наступит, каникулы — куда она пойдёт?..

— Аникуца, — тихо окликнула Марица. — Ты не спишь?

— Нет, — тоже шёпотом откликнулась с соседней койки Аня и повернулась к Марице. Свет луны упал на худенькое, высунувшееся из-под одеяла плечо.

— Аникуца, как ты думаешь — Мунтян интересный?

— Мунтян? — задумалась Аня. — Интересный, конечно. А что?

Марица, поколебавшись, сказала:

— Он ко мне сватался сегодня.

— Марица!..

В коротком восклицании подруги Марица почувствовала только одно: тревогу. Неожиданно для себя она улыбнулась — ей, собственно, ничего уже больше не нужно было.

— Аничка, — тихо заговорила она. — Аничка, ты скажи, что с нами делается со всеми? Вот у меня сейчас никого на белом свете и... — Марица хотела сказать, что Сашко её не любит, но сдержалась. — Ну, словом, никого у меня... Мне бы сейчас к хорошей семье притулиться, замуж бы выйти, хозяйкой стать, а я... Куда мне сейчас, кроме как замуж! Ещё не всякий и возьмёт, ты же знаешь...

— Это тебя-то! — удивилась Аня.

— Не всякий ещё и возьмёт, Аничка, — убеждённо повторила Марица. — А я, дурочка, Мунтяну отказала — что ты скажешь? А теперь вот и думаю — то ли мне радоваться, что всё так вышло, то ли горевать... Чудно как-то... И знаешь, — голос Марицы слегка дрогнул, — плакать почему-то хочется...

— Я бы за такого, как Мунтян, тоже никогда не пошла, — задумчиво заговорила Аникуца. — Как тебе сказать? Он какой-то такой, Мунтян, — с ним скучно.

— Он весёлый, — усмехнулась Марица.

— Весёлый, а скучно! — Голос Аникуцы звучал сейчас особенно убедительно и задумчиво — так всегда бывает, когда человек говорит о том, о чём в эту минуту думает впервые. — Глупенькие мы с тобой девочки, слов у нас нет, правда? Вот Гриша бы сразу объяснил, а я не умею... Ну, будешь ты у Мунтяна хозяйкой в доме — так? Народишь ему детей, станете крестьянствовать, по праздникам в гости ходить, а дальше? Ну, любить он тебя будет, ласкать, пока молоденькая, — так? Вот и всё. Жизнь с ним маленькая, как на ладошке! — Аня высвободила из-под одеяла руку и протянула подруге открытую, узкую ладонь. — Вот она вся. Я не могла бы так, не знаю... А ты? Мне мало...

— Вот и мне мало! — удивлённо воскликнула Марица. — Ты говори...

— А что говорить? Мне очень учиться хочется. Ты, Марица, только

не говори никому — я после техникума дальше бы пошла, в институт, в академию...

— Что это — академия?

— А вот — Сергей Викторович кончал. Тоже институт, в Москве, там очень серьёзную научную подготовку дают...

— Оф, какая ты смелая, Анюта, — вздохнула Марица. — Учиться в Москве — об этом подумать страшно...

— Мне самой страшно, — вздохнула и Аникуца. — Я бы и не придумала никогда, это всё Гриша! — В голосе Аникуцы прозвенели нотки нескрываемой гордости. — Что ты, не знаешь его? У нас такой уговор, Марица, — ты только девочкам не говори! — никогда не разлучаться, никогда!..

— Вы поженитесь?

— Господи, я знаю? — тихо воскликнула Анюта и замолкла. — Ну да, конечно, поженимся, — ответила она собственным мыслям и засмеялась тихим, счастливым смехом. — Конечно, поженимся. Только он об этом не говорит, совсем не говорит, ты поверишь? Ну, ты не поверишь — он меня даже не поцеловал ни разу, сколько мы ходим вместе. Дружит, и всё — вот как с мальчиком всё равно...

— Ну, не так... — грустно улыбнулась Марица.

Аня подумала и опять засмеялась шаловливым, счастливым, высоко звенящим смехом.

— Да не так, конечно! Оф, Марица, — почти пропела она, откидываясь на подушке и мечтательно глядя в темноту, — как мы с ним жить будем красивенько...

— Счастливая ты...

— Очень! Нет, правда, счастливая! Вот Гриша — он настоящий, правда? Про таких в книжках советских пишут, ты не смейся. Он мне рассказывает иногда, что в книжках прочёл, а я думаю: это же про тебя, Гриша! Лучше тебя человека нет... Вот какая я болтушка, видишь? — вдруг смутилась Аня. — Ты только не смейся. А у нас ещё есть хорошие мальчики, не один Гриша. Котогой, например, Сашко, Ванюша Ведеш... Или Костик Прозоровский! Вот я рада была бы, если б ты с Костиком подружилась. Он очень честный, по-моему, и умный, самый умный из наших ребят!..

Сашко! Марица почувствовала такую боль, как будто громоздкий, тяжёлый, за всё цепляющийся предмет с усилием двинули у неё в груди. Подавляя стон, она стиснула зубы. Хороший, настоящий человек, про таких, Аничка говорит, в советских книжках пишут...

— Мы все сейчас, девочки, счастливые, — не замечая в темноте лица подруги, с невинным, беспечным эгоизмом продолжала Аня. — Никто нас замуж, как маму твою, не потянет силком; выберем сами, к кому душа лежит, самого-самого лучшенького! Ты брось того Мунтяна, не ходи с ним, столько у нас ребят хороших, — и опять засмеялась на высокой, звенящей ноте. — Такие хорошие — за всех бы замуж вышла, да вот Гришу люблю!..

А Марица лежала кверху лицом и глотала подступающие к горлу слёзы. Ну, выбрала она его, самого лучшего, единственного — что толку? Что ей — Заболотный был нужен? Мунтян? Вся жизнь такая несчастная, поломанная... И мамы нет, приласкать, посоветовать!.. Дышать при этой мысли стало совсем тяжело, усилием воли Марица отогнала мысль о матери. Илья! Сильное, волевое лицо Ильи, чуть запрокинутое, беззаветно, до слёз хохочущее — только так и умел смеяться Сашко! — дрогнуло, поплыло перед глазами Марицы, и опять Марица с трудом подавила готовый сорваться стон. Любовь — это всегда или большое счастье, или большое несчастье, или это не любовь вовсе...

4. Первый в районе

Между тем в доме у Семичастных бушевала буря. Человек, который вздумал бы прислушаться из сеней перед тем, как открыть дверь, вошёл бы безбоязненно: буря была почти беззвучной, она выражалась жестами, как в балете. Жена Евдокима, Тоника, женщина лет за сорок, металась по комнате, бесцельно хватаясь за мебель, руки её то заламывались над головой, то упирались в стену и, помедлив, отталкивались от неё, а страстное, грубоватое, мужского склада лицо выражало смещение и ярость. Семичастный сидел на лавке у печки, исподлобья следил за женой и с тем ожесточённым упорством, которое так характерно для людей слабых, негромко повторял:

— Ну, как мне с тобой жить, когда ты такая? Могу я с тобой жить? Ну, рассуди ты, как человек, могу я?..

В стороне, в углу, сидел ещё мужчина. Он не уходил, но всё же предпочитал держаться в тени, внимательно наблюдая всю эту сцену. С первого взгляда можно было установить его родство с хозяйкой дома — оба были словно чем-то придавлены сверху: лица широкие, короткие шеи, неуклюжие, сильно раздавленные в ширину фигуры. Это был брат Тоники, «кумнат» Евдокима Семичастного, так часто компрометировавший его Тодор Гинку. Несмотря на разительное внешнее сходство, природы у брата и сестры были, видно, совсем различны: брат был хитёр, уклончив, он и сейчас отмалчивался, хотя его вмешательства здесь, кажется, ждали. Тоника была менее сдержанной, более открытой, и, видимо, только далеко идущий расчёт удерживал её сейчас от каких-то последних, непоправимых слов. Кидая на мужа короткие яростные взгляды, она негромко стонала сквозь зубы:

— Молчи, ну...

Но Семичастный не собирался молчать. Со злобным, замкнувшимся лицом он продолжал:

— Никакого уважения от людей не стало! Что, в самом деле, могу я так жить, скажи, могу? Ко мне люди приходят, а их тут выгоняют — в самой последней семье такого не встретишь. Что теперь скажут? Хозяин я в этом доме, нет?

Тоника коротко бросила: «Нет!» Тодор Гинку медленно, важно кивнул головой.

— Я их так уважаю — и Степана Ивановича и Ольгу, а ты...

— А я не уважаю! — Тоника обернулась, упёрла кулаки в крутые бёдра, её прорвало: — Напугался — люди скажут! Люди! Разве это люди?.. Ольга Гаманюк, нищая эта, она весь свой век у Вайнеску из милости рабстала. Люди... Людей мы всегда рады принять, ты знаешь. Грех тебе говорить, грех: твой брат приезжал на рождество — я и вина на стол поставила и чистую скатерть стелила... Люди! Для этих я оборванцев, для их колхоза ночи недосыпала, бывало, недоедала, недопивала? Делиться я с ними буду! Колхозники — в... всех их! — Тоника грубо выругалась и вдруг, низко пригнувшись, схватилась за голову и пронзительно завизжала: — Не дам, не будет этого, пока я жива, не будет...

Тодор Гинку не повёл и бровью. Семичастный, глядя на жену всё так же ожесточённо и печально, твердил своё:

— Ну, могу я с тобой жить, если ты такая? О господи, дура ты старая, ты погляди на себя...

Уже несколько дней супруги Семичастные, как бы предчувствуя надвигающуюся грозу, разговаривали между собой лишь сквозь зубы и тогда, когда совсем нельзя было обойтись без слов. Уже несколько дней по селу из дома в дом ходила так называемая инициативная группа, ходили активисты и агитаторы, читали Устав сельхозартели, собирали

заявления о приёме в колхоз. Рано или поздно они должны были постучаться и в дверь председателя сельсовета Семичастного, это было неизбежно. И каждый из супругов готовился к неизбежному визиту по-своему. Как в тучах скапливается электричество, так и в душах их росло недовольство друг другом — и, если бы возможно было записать, какие гнезные монологи каждый из них безмолвно произносил в одиночку!

В дверь постучали наконец. Пришли степенный, всеми уважаемый крестьянин Степан Кошер, отец нашей Аникуцы, и Ольга Гаманюк, та самая женщина, что хозяйничала в дни выборов на избирательном участке, со своим открытым лбом и туго стянутыми к затылку русыми волосами. Вошли они оба скромно, приветливо поздоровались, и Тоника почти швырнула им тяжёлые дубовые стулья, даже не пытаясь изобразить ответной улыбки. Вот тогда находившиеся в комнате мужчины — и Тодор Гинку, зашедший к сестре «на огонёк», и застигнутый врасплох Семичастный — и заняли эти самые места: один — в самом углу, другой — поближе к печи, как бы расчистив плацдарм для непредвиденных действий хозяйки, лицо которой не предвещало ничего доброго.

Ольга Гаманюк заговорила доверчиво, радостно: вот колхоз они решили организовать, левкауцкие крестьяне, — первый в районе. Евдоким Иванович знает, конечно... Неудобно будет, если Евдоким Иванович и Антонина Петровна не вступят в колхоз: Евдоким Иванович на виду, председатель сельсовета, на него люди смотрят... А тётка Тоника пусть не тревожится — в колхозе же выгоднее работать, чем одному; она, Ольга, это докажет сейчас...

На Тодора Гинку Ольга пыталась не оглядываться. Её, как и Степана Кошера, явно стесняло присутствие этого человека, который, хотя по спискам кулаком и не числился, всё же гораздо ближе был к кулакам, чем к порядочным людям. Тоника поджала губы.

— Мы, милая, сами знаем, как нам выгоднее...

— Да вы послушайте! — упрямо возразила Ольга. — Вы послушайте, какую советская власть помощь даёт на первое время: в первый год, пока колхоз на ноги не встанет, — никаких налогов, тракторная бригада будет на полях левкауцких работать — вы, наверное, знаете товарища Ионела, молоденький такой ходит?.. С машиной — это ведь насколько легче работать. — Ольга даже засмеялась радостно. — Семена нам государство даёт в долг — сортовую пшеницу, мы такой и не сеяли никогда: в районе хотят, чтоб колхоз наш был образцовый, показательный... Евдоким Иванович, — удивлённо воскликнула она, — вы же всё знаете, что вы молчите?..

Это было ошибкой. Тоника вдруг округлила глаза, затрясла головой и сказала так тихо и внятно, что сразу видно было — женщина за себя не ручается и если запустит в головы гостям первым попавшимся под руку предметом, то гости, а не она будут в этом виноваты:

— И чего ходят... Чего ходят! Сию минуту уходите отсюда, слышать ничего не хочу, уходите!..

Ольга Гаманюк, улыбаясь с тем видом, с каким взрослые, подавляя раздражение, улыбаются на неразумную детскую блажь, готова была вступить в безнадёжную дискуссию, но в это время Тоника затопала ногами и поднесла руки к вискам, приготовившись завизжать что было силы, и Степан Кошер с необычной для него быстротой решительно поднялся, увлекая за собой Ольгу.

— Идём, Ольга Марковна, — твёрдо сказал он, — я в этом доме минуты не останусь. Здесь не председатель сельсовета — здесь какие-то сумасшедшие живут...

На Семичастного он даже не взглянул при этих словах. И Семичастный смолчал, не двинулся с места, не поднялся проводить гостей хотя

бы до порога: он почти наслаждался сейчас своим позором, смаковал его до конца, набираясь той отчаянной решимости, которая появляется даже у самого слабого человека, если под ногами у него разверзается бездна. И когда под окошком смолкли удаляющиеся возмущённые голоса Степана Кошера и Ольги, Семичастный мысленно сказал: «Всё!» — и перешёл в наступление:

— Думаешь, я с тобой жить буду, дура ты такая, после сегодняшнего позора?

...Сейчас Тоника визжала, пригибаясь к полу, и уже ни один человек, предварительно прислушавшись, не решился бы, конечно, войти в дом Евдокима Семичастного. Гроза бушевала в природе, с молниями, с громом, со всем звуковым оформлением, не довольствуясь яростной мимикой первых минут.

— А ну, не визжи, — сказал вдруг Тодор Гинку. — И ты замолчи, Евдоким. Тут подумать надо, что теперь делать. Жизни-то нам всё равно не будет...

— Это почему же не будет? — неожиданно спокойно и заносчиво возразила Тоника. — Кто это нам жить не даст?

— Они и не дадут, вот эти. — Тодор Гинку выразительно кивнул на окно. — А на что ты им, между прочим, нужна, фа? Только мешаешься!..

— Мешаюсь? Меня первую не трогай — я никого не трону, я вот какая! Да грех тебе говорить, Тодор, уж я...

— Всё равно, — жестом остановил её брат. — Они нам с тобой одно место припасли, милая, — на Соловках. Знаешь, где это? Нет? Ну, у мужа потом спросишь — он у тебя грамотный!..

В голосе Гинку прозвучало неодобрение, насмешка. Семичастный не шевельнулся. Его опущенные плечи и отрешённый страдальческий взгляд выражали только одно: «Всё! Вынудили человека, довели до крайности — всё!»

— В общем, поговорили — будет, — по-своему истолковав этот взгляд, с силой сказал Гинку и тяжело поднялся. — Вот установится дорога — надо как-нибудь верных людей искать, за Прут перебираться. Да-да, — ответил он значительным кивком на восклицание Тоники. — Здесь скоро такое начнётся — сама не обрадуешься. Вы промеж себя поговорите об этом, подумайте, я тоже посоветуюсь кое с кем. Или уходить надо, или...

Он не договорил, пошёл к дверям, в дверях задержался.

— А ты, Евдоким, смотри, — обернулся он к понурому Семичастному — Забыл, каким мы тебя в семью взяли? Вон ты какой гладкий у нас стал, а каким пришёл — забыл уже? Хозяин... — Грубое лицо Гинку выразило какое-то подобие иронической улыбки, он удивлённо pokrutil головой. — Хозяин, скажет тоже... Ладно, пошёл я!

После ухода Тодора Гинку в доме установилось тяжёлое молчание. Семичастный сидел всё с тем же ожесточённым и одновременно страдальческим видом, Тоника, оглядываясь на него, шумно двигалась по комнате. Она совершенно успокоилась, даже слова брата не встревожили её: выдумал, прости господи, Соловки какие-то... Были вещи, в которые Тоника верила нерушимо: в эту вот настоящую городскую посуду, например, дешёвую, правда, но выглядит она совсем, как дорогая, — в посуду, которую Тоника сейчас убирала в буфет, выплёскивая в рот оставшееся в стаканах вино и подбирая хлебом остатки пищи; в эти вот массивные стулья, которые она с усилием отставляла к стенке (даже у Вайнеску не было в доме городской мебели, а ведь он богаче!); в эти вот чёрные с красными розанами часы, которые надо было, взобравшись на сундук, подкручивать на ночь; в эту пышную постель, которую она сейчас деловито взбивала. Тоника подсела к мужу.

— Ну? — В конце концов, в семье чего не бывает! Коротенькое восклицание Тоники выражало и снисходительную усмешку над собственной слабостью и презрительную, жалостливую ласку. Она подождала и снова сказала, нетерпеливо тронув мужа за локоть. — Ну!..

Семичастный медленно повернул к ней лицо и поглядел на неё странным взглядом — серьёзным и печальным. И вдруг всё стало ясно от этого взгляда, и что-то неуловимо сместилось в самодовольном лице женщины.

— Не пуцу! — дрогнувшим голосом сказала она. — Да ты что, Евдоким, в уме?

С силой отбрасывая от себя её цепляющиеся руки, Семичастный поднялся; расстелив на полу простыню, стал скидывать в неё сорванную со стены одежду.

— Не пуцу, не дам,— испуганно повторяла Тоника, стараясь вырвать вещи и тем самым удержать мужчину, который молча и упорно уходил от неё; и, не смея кричать, боясь сказать что-либо, что оттолкнёт его ещё дальше, повторяла: — Евдокиме, ты что, в уме ты? Куда ты, ну? Не пуцу. что хочешь делай, — не пуцу...

Но не пустить она не могла, мужчина уходил.

— Нищим будешь! Нищим же будешь, ты про это думаешь? Что люди скажут, Евдоким, стыд-то какой!.. Евдоким!..

Мужчина уходил, не глядя на неё, не желая ничего слушать. Нахлобучил на голову новенькую кушму, закинул узел на плечи, двинулся к двери.

— Не дам! — с яростью закричала Тоника, вцепляясь в узел.— Моё добро, не дам, не ты нажил!..

— Дура ты, — жёстко сказал Евдоким и, свалив узел на пол, пихнул его ногой. — На, подавись...

Хлопнула брошенная с силой дверь. Кажется, Тоника, упав на узел, захлебнулась криком — это Семичастного уже не интересовало. «Дура ты, — без злости, с каким-то даже недоумением думал он. — Пошёл, Евдоким!» Из темноты раза два пролаяла собака, подбежала, сконфуженно виляя хвостом. Евдоким улыбнулся: «Не узнала, глупая...» Тяжёлая калитка на новой пружине рванулась у него из рук, с силой ударила Семичастного пониже спины, словно вышвыривая его на улицу. И Семичастному стало вдруг беспричинно легко и весело.

— Вот ты как теперь с нами,— как к одушевлённому существу, обратился он к калитке и даже укоризненно покачал головой. — Чувствуешь, глупая, — не хозяйин. Эх, глупая! — И совсем уже свободным, радостным жестом сдвинул кушму с затылка на брови.— Пошёл, Евдоким, эге! По-шёл!

Небывало снежной была зима сорокового года, спорой и дружной была весна. Шёл февраль, а уже сползал с холмов снег, обнажая на склонах бурую прошлогоднюю траву, кое-где стянутую поблёскивающим, хрупким ледком. И, осторожно обламывая, унося этот ледок, уже сочлись из-под снега первые весенние ручьи. Ещё очень медлительные и неуверенные, огибающие каждое препятствие, они вкрадчиво говорили только об одном: пора пробуждаться и жить, и вечно праздновать, и торопиться жить, торопиться... Всё увереннее, всё громче шумели ручьи, шумела коричневая снежная каша под санными полозьями, беспокойно кричали и шумно плескали крыльями птицы, напрасно выискивая внизу место, где можно было бы не замочить перьев. Не было такого места — тронулась степь! Тронулась, зашумела, пошла — и хлопотливая деятельность, которой охвачена была природа, казалось, передавалась и людям.

Обычно в эту пору человека без крайней нужды не вытащить из

дому, а тут по улицам села, шурша снежной кашей, снуют и снуют люди, пробираются по стеночке, хватаясь за плетень, из дома в дом, накинув кожушок на голову, или, встретясь на перекрёстке, подолгу стоят и взволнованно спорят о чём-то, не замечая, как с неба сыплется на них то ли первый дождь, то ли снежная крупка, как стыннут ноги от талой воды, проникающей в боканчи. Беспокойно живёт этой весною село. И, может быть, самое беспокойное жилище во всём селе — это небольшая комната при школе, квартира учителя Морей.

В эти дни, когда организовывался колхоз в Левкауцах, Морей не принадлежал себе. Он, может быть, и не спал бы и не ел, если бы не преданная Доминика, которая раза два в день появлялась в комнате Морей и ворчливо говорила:

— Что, в самом деле, не дают вздохнуть человеку! Идите, идите, Виталий Львович кушать будет...

Морей конфузился, удерживал посетителей, но людям приходилось подчиняться, потому что Доминика, взмахивая локтями, уже стелила на стол чистый рушник. И посетители уходили, часто не дальше школьного порога, где, присев на корточки и покуривая, терпеливо ждали конца учительской трапезы.

Доминика хитрила — ей и самой хотелось поговорить с Мореем. Она плотно прикрывала за посетителями дверь и, присев к столу, спускала с головы на плечи тёмный платок.

— А что, Виталий Львович, — начинала она издали, — племянница моя, Рая Руссу, что у Вайнеску живёт, — её-то приняли бы в колхоз? У неё, бедняги, ни кола, ни двора, вы знаете. Она говорит: совестно людей, что люди скажут? Вот, скажут, пришла на чужое...

— Мы, Доминика, только жить начинаем, — двумя руками, по-крестьянски, ломая хлеб, воодушевлённо говорил Морей, — для нас сейчас каждый человек...

— А вы ешьте, ешьте борщок, Виталий Львович... — Зелёные, лучистые, не по возрасту молодые глаза Доминики следили за каждым движением Морей с любовной материнской усмешкой. — Прибегала она ко мне вчера, Рая, плакала. Опять, говорит, избили её. Что за люди!

Морей расстраивался, бросал ложку.

— Говорил же я ей — в суд надо подавать, сколько терпеть можно!

— Да кушайте вы, Виталий Львович, — удерживала его старуха. — Побили — побили, что волноваться так? Я говорю ей: глупая, иди в колхоз. Иди, работать будешь, как человек, по трудодням получать. Никто, говорю, тебя обижать не будет. Правильно ли говорю-то?

— Вы, тётка Доминика, умная женщина. У вас что борщ, что речи — одно другого лучше...

— А уж особенно борщ, конечно, — по-девичьи краснея от похвалы, усмехнулась Доминика. — У меня к вам вопрос, Виталий Львович, как начать, и не знаю...

— И ведь какая хитрая! — Морей, посмеиваясь, принял за кость. — Вы меня и кормите-то неспроста, я знаю... Я, наверное, давно бы ноги протянул без этой вашей хитрости...

— Вот об этом я и говорить хочу, Виталий Львович... Вы уж меня, дуру, простите за вопрос: хозяйку вы в дом приводить не собираетесь?

— Что? Оф, уж эти мне почтенные женщины, все на один манер, — укоризненно покачал Морей головою. — Как только увидите свободного молодого человека, так вам его — женить! Нет уж! Я ещё погулять хочу, я вот какой...

— Куда вам гулять, седой уже, — не принимая шуток, вздохнула Доминика. — Да и не то у вас на уме. Я ведь это к чему, Виталий Львович, — уйти я хочу...

— Уйти? Куда?

Доминика потупилась, замолчала, рисуя по столу ногтем, похожим на изломанную морскую раковину.

— Э, тётка Доминика, может, это вы замуж собрались, а помалкиваете? Седина, как говорится, в голову...

Короткий, серьёзный взгляд Доминики говорил, что она и этой шутки не пожелала принять.

— Я, Виталий Львович, баба старая, одинокая, — словно не Морею сообщая, а сама себя уговаривая, заговорила Доминика. — Очень мне хочется на новую эту жизнь поближе посмотреть. Я уж, кажется, всё видела. Девичей была — никто не сватался: грязно жила, батрачила. Потом на мельнице мешки ворочала, вы знаете. Меня по имени и не называл никто: «Позовите ту бабу, что возле мельницы работает» — вот и всё, и весь разговор. Что вспоминать!.. Я, Виталий Львович, хотела бы в колхоз пойти — возьмут ли? Стара становлюсь, ноги к вечеру гудят, гудят...

— Да какая ж вы красавица, Доминика Дмитриевна! — восхищённо воскликнул Морей, торопливо вытирая пальцы. — Честное слово, ни одной женщины не любил, как вас!

— Вот это и плохо, — вся во власти серьёзных и торжественных мыслей, покачала головой Доминика. — Я вас, Виталий Львович, совсем молодым помню — и всё вы для людей, всё для людей, о себе, видно, никогда не научитесь думать... Ну, кто за вами доглядит без меня, кто постирает, кто приготовит?..

— Так жениться, значит, чтобы вы в колхоз без заботы шли? — задумчиво, с неопределённой усмешкой спросил Морей, и на лице его проступила краска. — Я, Доминика, знаете, подумаю и женюсь, что в самом деле!.. — И вдруг с изумлением увидел, как заблестели глаза Доминики, застилаясь внезапными слезами. — Господи, — вскакивая, пробормотал он, — господи, милая вы моя, да вы что?

Старуха, схватив его руку, припала к ней лицом.

— Вот обрадовали бы, хорошо-то как, — всхлипнула она и, откинувшись, крепко вытерла ладонью глаза. — Вы, Виталий Львович, не шутите, грех со старым человеком шутить...

— Какие тут шутки! Честное слово, женюсь, только не плачьте... А без этого не пойдёте в колхоз?

— Без этого не пойду, — отрезала Доминика и засмеялась.

— Вот видите! До шуток ли тут, судите сами...

А в дверь уже шли, услышав, что Морей поднялся из-за стола. Пришёл мош¹ Крестати, тяжело волоча большую ногу, протиснулся в свой любимый угол между столом и окошком, пришли старик Бонарь и молодой Бабий. Степан Кошер и Герман Думитру, уважительно потеснив книги, присели на сундук под окном и на краешек койки.

Виталий Львович привычно сидел в кругу крестьян, свёртывал папиросу за папиросой, рассыпая на колени табак. Лицо у него было внимательное, мягкое, затаённо смеющееся: слушать он умел и любил.

— Я, Виталий Львович, не пойду в колхоз, — сиплым голосом произносит Бонарь. — Думал, думал, твёрдо решил — не пойду; ты уже меня не уговаривай больше. Понимаешь, строиться мы задумали, делиться с сыном хотим. Вы уж нам не мешайте со своим колхозом; отстроимся, кончим дом — тогда другое дело, тогда и поговорим. Я затем и пришёл к тебе, чтоб сказать: не мешайте вы нам, христом богом прошу, не мешайте. Сын, понимаешь ты, женится...

— Прокопий?

¹ Мош — дел.

— Он. Женится, понимаешь... Парень у меня с характером — и коня ему дай, и землю отрежь, у меня голова кругом идёт. А тут ещё дом этот...

— Значит, Короля своего знаменитого сыну отдашь?

— Оф, не говори, Виталий Львович! У меня об этом Короле душа изболелась...

— Хороший конь!

— Куда лучше...

— А я всё думаю — чем колхоз выгоднее? — как всегда, плохо следя за движением беседы, весь во власти собственных беспокойных мыслей, вставляет Думитру. — Первое — это то, что коня кормить не надо. Коня ли, волов ли — большое это облегчение, что скотину не надо кормить. Так, Виталий Львович? А что, я вот думаю, — ну, не понравится мне в колхозе, не понравится — и всё! Обратного-то смогу я уйти?

Виталий Львович, прищурившись, глубоко затанулся.

— Умный ты человек, Герман, сам посуди: что это за колхоз будет, что за хозяйство, если каждый его будет по своему капризу туда-сюда тащить? Самого тебя мы ещё, может, отпустим — тоже раз двадцать подумаем! — а уж инвентаря твоего, как хочешь, не отдадим. Вступил в колхоз — так и держись колхоза, прыгать взад-вперёд нечего...

— Видишь, то-то и оно! — словно и ждал такого ответа, с удовольствием кивнул Думитру. Тут же добавил: — Страшно...

— Страшно?

— Очень страшно. Всё-таки, Виталий Львович, для нас это в первый раз. Если б сначала попробовать...

— Как в женитьбе! — хохотнул Бабий, почёсывая затылок под шапкой. — Попробовать сначала не всегда получается, женись не глядя...

— Ну, почему не глядя? — возразил Морей, быстрым взглядом давая понять, что вообще-то шутки он одобряет. — Вот в Мовиленах уже организовался колхоз — так туда с левобережья председатель колхоза приезжал, тоже молдаванин. Всё рассказал колхозникам — с чего начинали, как, какие ошибки были, — всё! Как теперь живут. Всё-таки не забудьте, первые-то не мы с вами. — Обернулся к небольшой ученической карте, висящей над койкой, указал на неё папироской. — Видите, какая страна? Большая. И вся — колхозная...

— ...Ну, а вы что скажете, мош Кристати? Вы что-то молчите всё...

Маленькие, опухшие глазки старика смотрят куда-то мимо Морей.

— А что я? — пожимает он плечами. — Я человек такой — серый. Я послушаю-послушаю, что добрые люди промеж себя говорят, да и спать пойду, вот как... Ноапте бунэ!¹ Серый я человек — трудный, старый...

Так вот и идёт каждый вечер в доме Морей, тем и кончается. Виталий Львович, закрывая дверь за последним посетителем, с надеждой взглядывает на стенные ходики — нет, куда там! В эту пору с визитом уже не пойдёшь, да ещё за четыре километра. Да ещё по такой дороге — ужас!

Виталий Львович, оглянувшись на занавешенное окно, вынимает из кармана кандидатскую карточку, на секунду задерживается взглядом на собственной фотографии: «Старый чёрт!» В кандидатской карточке лежит аккуратно сложенная записка. Просит вернуть книгу. Скучает. Надеется на скорую встречу. «Ваша М.» Написала и не подумала, наверное, как взволнует его это простенькое слово — «ваша»... Морей опять складывает записку, безнадежно смотрит на ходики. Который уже вечер так. Раздеться, лечь в постель, почитать перед сном? Ох, ещё тетрадки проверить... Спать хочется!

В дверь раздаётся негромкий, настойчивый стук. Доминика? Доминика стучит мягче, чаще совсем не стучит.

¹ Ноапте бунэ — спокойной ночи.

— Войдите!

Морей тут же невольно приподнимается: на пороге стоит Вайнеску.

— Вот так гости! — не в силах скрыть удивление, говорит Морей. — Проходите, присаживайтесь, гражданин Вайнеску. С чем пожаловали?

Вайнеску, деликатно присев на краешек табуретки, с любопытством оглядывает скромное убранство учительской квартиры: к Морюю он пришёл впервые. Говорить он не торопится — задерживается взглядом на узкой железной койке, на книжных полках, кивком головы указывает на висящий над столом портрет.

— Это кто же будет? Из советских кто-нибудь?

Тонкие, нервные пальцы Морей сворачивают папиросу. На миг он останавливается, тоже смотрит на портрет, на вдохновенное, слегка запрокинутое лицо.

— Один поэт русский. Очень талантливый. Пушкин.

Иронии Вайнеску предпочитает не замечать.

— Много очень книжек у вас. Читаете?

— Читаю иногда...

— Ну да, — важно кивает головою Вайнеску. — Образованный человек....

— Интеллигентный, — соглашается и Морей.

Уклончивый взгляд Вайнеску на одно мгновение встречается со взглядом Морей, и что-то очень тонкое мелькает в этих скрестившихся взглядах — насмешка, вызов. Но взгляд Вайнеску опять гаснет.

— А я, Виталий Львович, по делу вас потревожил: за книжечкой я одной...

— Пожалуйста...

— Поздно, может? Так у вас всё люди, всё люди, до вас не добьёшься...

— Пожалуйста, пожалуйста...

— Очень вы у нас человек влиятельный! Популярный...

— Слушаю вас, гражданин Вайнеску...

— Есть, говорят, такая книжечка у советских — «Цэлина рыдикатэ»¹, так по-нашему. Автора я забыл, да это ведь ничего?

— Ничего, я знаю. Шолохов автор.

— Очень я интересуюсь, Виталий Львович, книжечку эту прочесть.

Книжки у Морей не было: дал её Ване Ведешу, давно уже, а Ведеш, как и полагается хорошему товарищу, книгу эту, конечно, задержал — отдал почитать другому, другой не отказал третьему, третий не устоял перед четвёртым... Морей терпеливо ждал: молдавская молодёжь должна знать эту книжку, должна учиться по ней...

— Да зачем она вам? — пожимая плечами, спросил он у огорчённого Вайнеску.

— Так как же, Виталий Львович! — развёл руками Вайнеску. — Там, говорят, про всё это очень хорошо рассказано: как раскулачивают, кого... Про эти самые колхозы очень понятно написано, я поинтересоваться хотел...

— Колхозами, значит, интересуется?

— Виталий Львович, а как же! У нас теперь один путь, нам партия указала...

Морей промолчал. Разговор ему, видимо, начинал нравиться, в глазах забегали весёлые огоньки.

— А что, Виталий Львович, — осторожно спросил Вайнеску, подвигаясь к Морюю поближе, — вы сами не слышали случайно, куда теперь раскулаченных высылают?

Нет, разговор Морюю положительно начинал нравиться! Он ответил серьёзно, даже задумчиво:

¹ «Цэлина рыдикатэ» — «Поднятая целина».

— Право, не знаю. В Курганскую область, кажется,— точно, не скажу...

— Это где же Курганская-то область?

— Да не близко, в Сибири.

— В Восточной?

— В Западной.

— Ну, в Западной ещё ничего. Я извиняюсь, Виталий Львович, а климат там какой?

— Климат? Затрудняюсь ответить вам точно — континентальный, наверное. Я, знаете, не специалист.

Вайнеску значительно кивнул головой.

— Ну да, не специалист, конечно...

Замолчали. Морей деловито поинтересовался:

— Вам, может, книжечку дать про Западную Сибирь? Я могу.

Вайнеску оживился.

— А что ж, дайте...

Морей обернулся к полкам: нет, это всё не то, не то... Географией он никогда особенно не интересовался. Наклонился, стал рыться внизу, среди учебников.

— А что брать с собой разрешают — того не знаете?

— Того не знаю. Вот,— выпрямился Морей.— Вы и про Западную и про Восточную Сибирь почитайте, всё может пригодиться. Есть, например, такая область — Ханты-Мансийская...

«Сам бы читал, сволочь»,— подумал Вайнеску, но ничего не сказал. Благодарно склонив седую, клинообразную голову, принял книжку — стабильный учебник Баранского для восьмого класса.

— А что я ещё хотел спросить, Виталий Львович... В колхоз этот, что вы организуете, все, кто хочет, может вступать, по желанию?

— Заявления подавать могут все, — уклончиво ответил Морей.

— Да, я понимаю... А примут?

— Смотря кого. Вас, боюсь, не примут. Попробуйте.

— Молотилку сдам, сеялку. Я ж хозяин хороший... Пару коней сдам...

— Не знаю, попробуйте...

— Не примут?

— Думаю, что не примут.

— Дом отдам каменный, во дворе переживу, во флигеле, а?

— Не знаю, не знаю...

— Не знаете...— цедит сквозь зубы Вайнеску и решительно встаёт.— Ладно, извиняйте за беспокойство. Книжечка эта вам не нужна скоро?

— Ничего, не беспокойтесь...

Шаркающими шагами Вайнеску направился к двери. Придерживаясь за дверную щеколду, стоя спиной к Морю, глуховато спросил:

— А что, Виталий Львович, живёте вы одиноко, при школе, гостей вот принимаете в поздний час, — я вас спросить хотел: вы ничего не боитесь?

Виталий Львович, почувствовав что-то новое в его голосе, быстро, удивлённо взглянул на Вайнеску из-под клочковатых бровей.

— Бояться? Чего?

И не оборачиваясь, по самому тону Морей, Вайнеску мог понять: этого запугать трудно. Он продолжал угрюмо, глядя на ручку двери:

— Человек на человека не приходится, как не бояться! Я вам это из уважения говорю, по дружбе...

— Пойдите прочь! — негодуяше воскликнул Морей. На щеках его выступили неровные пятна, он поднялся, шагнул к Вайнеску.— Немедленно пойдите прочь, вы слышите?!

— Пойду, пойду,— криво усмехнулся Вайнеску.— Моё дело сказать, посоветовать... Сказано между четырёх глаз, никто и не слышал...

— Ступайте!..

Дверь захлопнулась. Морей опустился на койку, снова порывисто вскочил, заходил по комнате.

— Какая сволочь!

5. Судьба Георгия Рошки

Отец Аникуцы, Степан Кошер, подал заявление о вступлении в колхоз сразу, в первый же день. Жена его, Мария, лежала тяжело больная, врачи не могли определить, что с ней, а она, между тем, уже года два не вставала. Мария слышать не хотела о колхозе, огорчалась, плакала, отвернувшись к стене, часами не разговаривала с мужем или, наоборот, осыпала его упреками, говоря, что он не бережёт их скудного достатка, не жалеет её, не любит дочери. Аникуца раза два в неделю выбиралась домой помочь по хозяйству; всей душой будучи на стороне отца, до слёз жалела мать и, расчёсывая её свалевшиеся волосы, целуя родное измученное лицо, уговаривала мать, просила её не терзать себя напрасной тревогой, понять, подумать; застенчиво начинала: «А вот Гриша говорит, что...». «Молчи, молчи,— отталкивала её мать, голова её бессильно каталась по подушке,— вот и Григорий твой будет вроде моего, такой же — о господи, господи...» Анюта возвращалась в интернат задумчивая, рассеянная. «Очень маму жалко,— говорила она Марице.— Она, видно, помрёт скоро, её уж не волновать бы».

У Алёши Мунтяна родители наотрез отказались итти в колхоз. Отец грозился, что продаст дом и землю, поднимется в Вулканешты к старшей замужней дочери,— в Вулканештах, кажется, ещё не было речи о всех этих колхозах. Мунтян, возвращаясь из Левкауц в техникум, посмеиваясь, рассказывал, что отец его телегу ремонтирует, чтобы, «как придут в колхоз забирать», скрыться с семьёю в Плачештском лесу. «Старики у меня такие — тёмные»,— снисходительно пояснял Мунтян, пожимая плечами.

У Георгия Рошки было ещё сложнее дома. Отец и слышать не хотел о колхозе, а старший брат, давно отделившийся от семьи, тянулся за людьми: все его сверстники, с которыми Михаил Рошка и сейчас ещё любил с песней пройтись по селу,— и Бабий, и Антон Ковальчук, и многие другие — шли в колхоз как один. То, что отец злобился и брызгал слюною, едва лишь речь заходила о колхозе, Михаила Рошку не останавливало, наоборот — он весело говорил брату: «Пойду, ей-богу! Пусть лопнет от злости, старый чёрт... Куда люди, туда и мы — аша¹, Георге?...» Георгий, задумчиво усмехаясь, отмалчивался: даже в первые дни после прихода советской власти не было так сложно у Георгия на душе.

С малых лет Георгию внушалось, что земля—дело святое, что без собственной земли крестьянину нет жизни. Рошка сколько угодно мог в разговорах со старшим братом посмеиваться над отцом и осуждать его за скупость и упрямство — отца он тем не менее уважал, и уважал прежде всего за эту вот прижимистую хозяйскую хватку. С малых лет знал он, что хозяйство их, не такое уж большое, но крепко сколоченное,— это его, Георгия, хозяйство и что учиться его отдали, не считаясь со средствами, затем, чтобы легче и скорее смог он выбиться в самостоятельные хозяева, в большие люди. Михаила вот не отдали, а его отдали—он любимец отца, наследник! И когда Рошка подрёс и отец порол его за непутёвое шлянье по ночам чёрт знает где и с кем, Рошка внутренне соглашался с отцом: правильно, расчёт и в таких делах нужен. В самых хороших, со-

¹ Аша — так.

стоятельных домах исподволь присматривал отец невесту для весёлого и удачливого красавца-сына.

Внешне, казалось бы, ничего не менялось от отцовской воркотни: лихо отплясывал Рошка по праздникам молдавеняску и сырбу, первым запевал лукавые молдавские песни, вытаскивал из праздничного круга какую-нибудь девушку побойчее и, подмигивая товарищам, целовал её у всех на виду, пропадал до утра у какой-нибудь вдовы или разбитной бабёнки, покорно и уважительно, пряча смеющиеся глаза, выслушивал привычную отцовскую ругань, вновь исчезал до утра. Но и отец и сын знали: переберется парень и будет таким же заботливым хозяином, как и отец, виноградарем и землепашцем, человеком расчётливым и хитроватым, твёрдо знающим свою выгоду, никому не дающим обвести себя вокруг пальца. Когда Рошка принёс домой тридцатку, которую дал ему Заболотный за окраску мачты, отец, одобрительно посмеиваясь, спрятал деньги в холщёвый кошель: «Человеком становишься, Георге, смотри-ка... Там, в школе вашей, нет ли ещё на чём подработать? Нам бы на бара́шка сотни две скопить...»

Но в жизнь Рошки вошло и другое. С недавних пор, после первых уроков по механизации — вёл эти уроки сам директор техникума Сергей Викторович Седов, — после его уроков Георгию всё чудился шорох зерна, струящегося из жерла чудесной машины, которая, говорят, сама и косит, и молотит, и веет, и могучая лбина трактора, покорного лёгкому усилию человеческой руки, и убегающая из-под гусеничных колёс распоротая, вывернутая, покорённая земля. «Оф, не туда я попал, — расстраивался Рошка. — Погибель моя! Мне бы не на зоотехника-ветеринара, мне бы на механика учиться, — есть ведь и такие учебные заведения. Вот она, оказывается, смерть и погибель моя, эти вот машины!..»

— Сергей Викторович, — приставал он к Седову, — когда мы на эмтеэс пойдём? Вы ж обещали. Очень мне надо эти советские машиньки близко посмотреть, вы не знаете, очень!

А Сергей Викторович на всех своих уроках упорно повторял одно: этим машинам нужна новая организация труда, коллективная. Подобную машину не поведёшь по узенькой полосе крестьянского надела, она десятки и сотни гектаров подминает под себя добросовестно, просто, без видимых усилий. У Рошки были и темперамент и воображение — как он это себе представлял! Значит, так и проститься со старой мечтой о собственном хозяйстве, о независимости и достатке ради того, чтобы чувствовать дрожь разгорячённого мотора под своей рукой, чтобы, задыхаясь от горячего, сильного степного ветра, вспарывать плугом неоглядные массивы общей, но своей земли. Думай, Георге, думай...

Думать Рошка не был приучен и не очень умел, но старался изо всех сил. Его живое, весёлое лицо как-то погасло и осунулось в последние дни, он даже вздыхал время от времени, что совсем не шло ко всему его жизнерадостному облику с зачёсанными на затылок буйными кудрями и крепкой, как из бронзы отлитой, шеей.

— Дурак ты, Георге, — издевался над ним Скутарь. — Если бы советская власть не поджимала крепкого хозяина, он бы очень свободно мог такие машины иметь...

— И комбайн?

— И комбайн.

Рошка насмешливо свистнул. Впервые за всё время знакомства дружок и покровитель его Скутарь показался ему не таким уж умным.

— Нет? — рассердился Скутарь. — А ты думаешь, в колхозе будет комбайн? Как же! У них на весь Советский Союз машин восемь, вот они их и возят, показывают... Дураки вроде тебя разинут рот, пойдут в колхоз, их тут и прихлопнут: всё, назад нет хода! А Чеботарь рассказывал

нам, помнишь, как в том колхозе работают: колхозников в плуг впрягают. Крестьянин — дурак, он, как тот вол, всё выдюжит, не верно?

Рошка вздыхал. Что если и в самом деле всё это придумано для того только, чтобы простого крестьянина обмануть? Загнать его правдой и неправдой в колхоз, и пусть он там, бедняга, мучается, а государство выгоду получает... Поверить-то легко, легче лёгкого, а потом расхлёбывай!..

Пойти, может, к Чеботарю посоветоваться? Чеботарь, по всему видно, не очень даёт кому бы то ни было голову себе задурить. Держится независимо, не то, что Стучевский, перед советскими не заискивает, понаравиться никому не стремится, и даже последнему первокурснику видно, что очень не по душе ему все эти новые порядки. Пойти к Чеботарю? Можно ли с ним говорить по-человечески, по душам? Чеботарь всегда насуплен и раздражён, посмотрит сквозь тебя, словно и за человека тебя не считает. Это Рошку останавливало: нельзя на него так смотреть, не хуже он того Чеботаря, если на то пошло!

Пока Рошка сомневался, Чеботарь из Левкауц уехал. Прибыл какой-то инспектор из Кишинёва, привёз приказ, кажется, от самого наркома: преподавателя молдавского языка Авдия Георгиевича Чеботаря из техникума уволить.

— Чеботаря с работы снимают? — удивлялся кое-кто из ребят. — Такой опытный преподаватель, знающий...

— Что он знает? — возражали комсомольцы. — Ну, что он знает? Румынскую педагогику? Пусть едет в боярскую Румынию преподавать!

Чеботарь давал последние уроки бледный, ни на кого не глядя. Во время опроса на втором ветеринарном отвечал Костик Прозоровский, путался, испуганно оглядываясь на сумрачного, погружённого в свои мысли Чеботаря. Чеботарь отошёл к окну, вынул платок, приложил к глазам. Рошка, от природы не жалостливый, громко, сочувственно вздохнул и тут же оглянулся на товарищей. Гриша Гончарюк сказал отчётливо, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Демонстрация...

Чеботарь рывком повернулся, торопливо ушёл, забыв на кафедре свой массивный портфель. Староста курса, Костик Прозоровский, носил потом этот портфель ему на квартиру.

А Рошка так и остался со своими сомнениями. Может, с Мореем поговорить? Морей был первым учителем в жизни Георгия, авторитетнее Морей не было человека на селе.

Так только в сказке бывает: Морей он увидел тут же, едва успел о нём подумать. Шёл Георгий в субботу домой, встретил Морей, идущего в Левкауцкий техникум. Морей, впрочем, не шёл, а стоял в чёрной бараньей кушме, надвинутой на глаза, и в расстёгнутом кожухе, из-под которого виднелся его обычный изношенный, пропахший табаком свитер, стоял, опираясь на палку, на повороте дороги, огибающей холм, и внимательно рассматривал что-то на его пологом склоне. На Рошку Морей едва взглянул, рассеянно поманил к себе:

— Смотри, Георге...

Рошка недоумевал: смотреть было не на что. По крутому солнечному склону тянулись виноградники, низенький полуразвалившийся каменный заборчик и две-три черешни отделяли ближний из них от дороги. По этим черешням Рошка признал: виноградник был дела Кристати. Весенние потоки, промчавшись, вывернули, вымыли из-под растений бурую землю, пригнули, помяли, наполовину выкорчевали тянущиеся к жизни кусты, обнажённые корни их беспомощно висели над землёй, как бы моля о пощаде. Морей легонько вздохнул, тронул палкой покорно шевельнувшиеся корни. Рошка тихо сказал:

— А вверху ещё хуже.

Ему не надо было смотреть, что делается на вершине холма: он видел это множество раз. Отец чуть не плакал обычно, приходя с сыном по весне на обнажившийся из-под снега виноградник:

— Оф, доамне, доамне!..¹ Сколько труда, Георге...

Рошка меланхолически прибавил то же, что обычно отвечал отцу:

— Что делать, домнуле!..

Морей быстро взглянул на него:

— Не знаешь, что делать?

Ну, вообще-то Рошка это знал, чего тут не знать, грудной мальчишка сообразит и ответит. И на уроках Сергей Викторович рассказывал: поля — а в полях то же самое делается весной, если ещё не хуже, — поля надо пахать поперёк холма, а не вдоль, надо запрудить бороздами, удерживать вверху драгоценную влагу, надо заставить её кормить почву, а не смывать, не уносить её с собой. Рошка высказал всё это без особого энтузиазма: пустые разговоры! Крестьянские наделы тянутся, словно полотенца, от вершины к подножию холма — поперёк их не вспашешь. И тянутся они сверху вниз не случайно. Крестьянская справедливость! Хотя и невелик крестьянский надел — пусть получит каждый хозяин и похуже земли — наверху, и получше — внизу, и так себе, средней; пусть весенний поток, унося, калеча, уродуя его добро, всё ему же, к хозяйским его ногам, и принесёт: вывороченное, помятое, жалкое — и всё-таки собственное, ни с кем не поделённое, своё! В первый раз шевельнулось в душе у Рошки: к чёрту такую справедливость!

Морей убеждённо сказал:

— Землю обобществить надо, вот что!

Вот и всё, вот и поговорили, выходит; посоветовался Рошка с умным человеком!.. Морей тронул шапку, пошёл, а Рошка долго ещё стоял и смотрел на виноградник моша Кристати, на облепленные комьями земли, мокрые, грязные корни, которые — месяца не пройдёт — начнут умирать и сохнуть. И жалко ему было в эти минуты почему-то не растения, нет, а того шального, широкоглазого Георгия, первого среди товарищей плясуна и кавалера, у которого на душе когда-то было так бездумно и покойно, от которого жизнь не требовала ещё никаких решений.

6. Будни

Они не говорили между собой о любви. Клава скорее согласилась бы отрезать себе руку, чем допустить подобные разговоры с учеником. Но разве любви непременно нужны слова?

Их неудержимо тянуло друг к другу — Сашко и Клаву, — и, едва расставшись, они испытывали тревожное и настойчивое желание снова друга друга видеть. Илья выискивал любой предлог, чтобы на перемене заглянуть в учительскую или забежать вечером к нам на квартиру. Клава встречала его влажным, смеющимся взглядом, взгляд этот и ласкал и отталкивал одновременно, она оставалась попрежнему недоступной. Нужно было довольствоваться милой товарищеской близостью, когда руководитель агитбригады и комсомолец-агитатор часами сидели бок о бок над общей работой. Можно было по дороге в Левкауцы итти, держась за руки, и молча перебирать пальцы, в то время как ушедшие вперёд ребята что-то кричали издали и запевали песни. Можно было в субботу иступлённо крутиться под пронзительное пиликанье скрипки и, затерявшись в толпе танцующих, жадно смотреть в единственное лицо, разгоревшееся, страстное, очень серьёзное сейчас — и далёкое-далёкое... Вот и

¹ Доамне — господа.

всё, больше ничего и не нужно было. Может быть, нужно? Сашко чуть не стонал, если нежная, сильная рука касалась его плеча, ненавидяще стлкнувал эту руку, упирался лбом в стол. Это находило и проходило. Жизнь шла дальше — и не нужно было торопиться, нужно было принимать каждый день с его немудрёной, скромной красотой; истинное счастье всегда неторопливо, и каждый день в нём бездумен и предельно прост.

Илья выступал перед своими товарищами или крестьянами в Левкауцах. Слушатели сидели перед ним различные — или открытые, проглядывающиеся насквозь, или хмурые, замкнутые, сосредоточенные на чём-то своём. Сашко искал путь к их сердцам осторожно, на ощупь. Он замечал каждый свой шаг к победе: слушатели постепенно светлели, раскрывались душевно; смягчались и разглаживались их задумчивые лица. Вот, покорные воле Сашко, они вздохнули и переглянулись, вот нахмурились тревожно, вот шумно задвигались, засмеялись в ответ на его лукавую шутку. И в толпе слушателей всегда находилась Клава. Её могло тут и не быть, она могла быть далеко отсюда, но серьёзный, одобрительный взгляд её неизменно следил за ним из толпы: «Так, так, всё правильно. Так, Илья...» А когда все смеялись, она тоже смеялась, откровенно и шумно, как смеялась обычно, и Сашко попрежнему чувствовал на себе её весёлый, одобрительный взгляд: «Всё идёт хорошо! Так, Илья, так...» Как замечательно работалось под этим взыскательным дружеским взглядом!

За какую бы книгу ни брался Сашко — она уже читала её когда-то, за какое бы дело он ни принимался, каким бы новым, увлекательным и трудным оно ни казалось ему, — Клава уже прошла через то же самое, и радостно итти по проложенному ею пути. Она шла впереди, а он следом за нею, горячо и сбивчиво, слегка касаясь её плечом. Может, это была не любовь вовсе?

В молодости так бывает иногда: для полноты бытия нехватает только страдания, горя. Если его нет, его надо срочно выдумать, чтобы с новой силой почувствовать, какая она разная, какая она замечательная, эта жизнь! Сашко иногда уединялся, мрачнел, трагически спрашивал себя: любовь это всё-таки или не любовь? И это находило и проходило бесследно в бодрой, деловой поступи каждого нового дня. Не всё ли равно, в сущности! Мир человеческих отношений сложен и бесконечно богат, и кто будет требовать полной ясности, если отношения эти приносят счастье!..

Однажды на уроке русской литературы — урок был посвящён пушкинским «Цыганам» — в классе неожиданно разгорелся спор. Ещё на одном из предыдущих уроков было установлено, что романтический герой обладает незаурядным характером, что это человек сильной воли и кипучих страстей. Это, может, и у Земфиры незаурядный характер? Наш резонёр Тимофей Тетеля, осуждающе качая головой, первый пошёл в наступление:

— Хороша, нечего сказать! А ещё — как её? — романтический герой.. Сегодня с одним путается, завтра с другим...

Ребята, как всегда, посмеиваются над воркотнёй Тетели, но в конечном счёте они с ним совершенно согласны: действительно, сегодня с одним путается, завтра с другим — зачем о такой женщине книжку писать? Рошка поднимается и, обведя класс смеющимися глазами, тщательно выговаривает:

— Требуе ду-би-нушка!

В классе хохот. На защиту Земфиры неторопливо поднимается Ваня Ведеш.

— Разве так не бывает в жизни? — мягко убеждает он товарищей. — Сколь угодно бывает! Одного разлюбила, полюбила другого..

У нас в Левкауцах царствует неписанный закон: внезапно вспыхнувших дискуссий не прерывать, как бы далеко они ни уводили от цели урока. Я едва успеваю предоставлять слово.

— А зачем замуж шла? Зачем шла замуж? — горячо перебивает Ведеша Семён Котогой. — Надо было сразу оки иметь, не маленькая...

Высунулся и Сашко: у человека по каждому поводу есть своё мнение, не шутка...

— Очень часто бывает, что разлюбляются люди, — веско говорит он. — Главное что? Главное — она не обманывала никого...

— Погоди, вот тебе твоя жена так... — пророчески потрясает Котогой рукою.

— Пусть, — не сдаётся Сашко. — Что ж теперь делать, пусть! Сердцу не прикажешь...

— Ну, и что ж ты — отпустишь? — живо заинтересовываются вокруг.

— Мэй, ребята, Илья ещё похвалит: вот, скажет, честную жену бог послал!..

В классе опять хохочут, не смеётся один Тимофей Тетеля.

— Нельзя, — невесело и упрямо твердит он. — Вышла замуж — люби, если серьёзная женщина...

Надо прямо сказать: разоблачения Алеко так и не получается. Юноши, вышедшие из крестьянских семей, они твёрдо стоят на своём: Земфира сама виновата! Женщина должна семью беречь, семья — дело серьёзное. Куда это годится — ребёнка и мужа бросать из-за какой-то блажи...

— Зачем блажь — любовь!.. — не унимается Сашко.

Котогой не выдерживает:

— А Марица?

— Что Марица?

— А почему ты с Марицей не разговариваешь, что мы, слепые, не видим? Почему? Это ты на словах такой добрый... А когда она приехала с Заболотным, ты её только что не убил. Ты сам такой, как и все...

Оживление только что кипевшего спора сменяется мертвенным молчанием. Нападение Котогой неожиданно и, пожалуй, слишком прямолинейно — даже для юношеской, ко многому привыкшей аудитории. Сашко густо багровеет, отворачивается к окну. Что он может сказать? Что он другую женщину любит? Разве об этом скажешь? Так вот — здесь, в классе, перед прозаической классной доской, среди двадцати пар глаз, устремлённых на тебя с неодобрением и любопытством...

Впрочем, ничьи глаза на Илью не устремлены: всем немножко неловко. Пауза затягивается.

— Сёмка правильно сказал, — поднимается Гриша Гончарюк. — Марице помощь нужна была, а он перед ней Алеко разыгрывал. Ты, Илья, знаешь, кто? Индивидуалист. Вот как этот Алеко — на все сто процентов индивидуалист...

Сашко вспыхивает:

— Это ты слишком, Григорий!

— Нет, не слишком!

— Слишком, я тебе говорю...

— Нет!

— Ну, хорошо, потом об этом поговорим, — примирительно бормочет Сашко.

— Хорошо, — с достоинством соглашается Гриша, — поговорим потом! — И быстро переглядывается с Котогоем.

Вечером в опустевшем классе задерживаются Гончарюк, Котогой, Сашко и Ведеш. Ведеша пригласил Сашко, он здесь что-то вроде свидетеля защиты. Светлое, очень живое лицо Ведеша — это сейчас само со-

страдание, бережное и безмолвное. Ведеш знает: есть на свете чувства, о которых посторонние не говорят, не судят. Сам он ничего подобного не испытывал, но он хорошо знает: такие чувства есть. Котогой, прислонившись к дверному косяку, поглядывает вдоль коридора, чтобы кто-нибудь не подслушал их разговора невзначай. У Котогоя вид человека, вынужденного совершить очень неприятную и болезненную, но совершенно необходимую операцию. В сущности, всем четверым очень хорошо, и лучше всех — таковы мальчишки! — самому «обвиняемому», Илье Сашко.

— Ты говоришь, индивидуалист я, — с вкусом расположившись за преподавательским столом, обращается он к Гончарюку. — Неверно это. По-моему, мы все совсем мало стали о себе думать...

— А меня не интересует, — непримиримо возражает Гриша, — не интересует, мало ты о себе думаешь или много. Верно, Сёмка? Важно, что ты о других думаешь мало. Мы о Марице от кого узнали? От Клавдии Алексеевны, не от тебя...

— А Клавдия Алексеевна от кого узнала? — вскинулся Сашко — и затих. Правым себя во всей этой истории он всё-таки не чувствовал.

— Вот он обижается на меня, — приближается Котогой от двери. — Ты ему объясни, Григорий. Если нас в комсомол приняли, должны мы за других отвечать? Пойми, мы же не о любви говорим. Любишь кого-нибудь — ну, и люби, мало ли кто из нас кого любит...

Слова Котогоя прозвучали значительно, неволью сорвавшимся признанием, и все четверо по-мужски помолчали.

— Они не о любви говорят, мэй, — осторожно тронул Илью Ведеш. — Они спрашивают, почему ты равнодушен к Марице?

Сашко долго молчал, рисуя по столу пальцем какие-то узоры.

— Я не равнодушен, — глухо сказал он наконец. — Ребята, вы мне скажите: можно любить двоих?

Дело воспитания всегда таково: оно тем сложнее, чем дальше и глубже идёт работа. Это только кажется, что труднее вначале. Вначале ученики наши выбирали между белым и чёрным, между советским и несоветским, между новым и старым — какого неглупого и честного человека выбор этот может затруднить надолго? Но старое не уходит прочь безвозвратно, оно оседает, как мельчайшая пыль в трещинках кожи. И начинаются воспитательские будни, когда множество задач решается мелочами: словом или даже взглядом, кстати поставленной отметкой в журнале или карикатурой в стенгазете, мимолётным одобрением или брошенной вскользь насмешкой. День идёт за днём — и медленно, неуловимо что-то меняется в жизни коллектива, в отношениях людей. Как рассказать об этом?

Рассказать трудно. Рассердилась я, например, на Петю Галецкого однажды.

— Вы меня сами просили по математике помочь. Что я за вами, за каждым отдельно должна ходить?

Петя друг побледнел, прищурил тёмные, недобрые глаза, отчётливо произнёс:

— Хорошо, не помогайте, если вам трудно, не надо только кричать на меня.

Круто повернулся, пошёл. С трудом удержала его.

— Ладно, идём заниматься, ссориться потом будем...

— Вы не сердитесь, — объяснялся он со мною позднее. — Сам не понимаю, что со мною стало. Я бог знает что ответить могу, если на меня кричат...

Что должна была ответить я, воспитатель? «Правильно, Петя, на отца твоего и деда всякий кричал, кому не лень, а ты не давай себя в обиду».

Так? Я сказала: «Безобразие, мне математику надо знать или вам?..» Петя и без слов понял: правильно, Петя, никогда и никому не давай кричать на себя, самому дороговому, самому близкому человеку не давай... Мелочь! Об этих мелочах рассказывать трудно.

Шёл Сергей Викторович через двор, увидел Плэчинту, ковыряющего боканчем землю. Вгляделся в лицо его, остановился.

— Что с тобой?

Есть такая манера у наших ребят, манера, которую мы, советские преподаватели, ненавидим всей душой: случится с бессарабским парнем что-нибудь, пустяк, а он уже сам не свой, глаза делаются круглые, жалобные, весь вид выражает глубокую, застарелую покорность перед страданием.

— Ну, что такое опять?

— Плохо, Сергей Викторович, сказать нельзя, как плохо...

— Что же такое? Только глазами такими на меня не смотри, терпеть не могу... Ну?

Плэчинта раза два шмыгнул носом, внимательно разглядывая собственные боканчи.

— Сказать нельзя, Сергей Викторович...

Но с Седовым спорить трудно: уведёт к себе в кабинет, за локоток, вежливо, посмотрит в самую душу спокойными, немигающими глазами:

— Рассказывай...

Оказывается, в приднестровском селе, откуда родом Плэчинта, тоже организуется колхоз, как и здесь, в Левкауцах. Отец написал Плэчинте: если загонят семью в колхоз — он так и написал «загонят», — придётся Ване с техникумом проститься, отцу такой тяжести вовек не поднять...

Седов поморщился.

— Ничего не понимаю. Ты стипендию получаешь?

— А как же, Сергей Викторович!

— Очень большой путаник твой отец...

Плэчинта покорно вздохнул, нагнул голову.

— Ну, не горюй, всё устроится. Я сегодня твоему отцу напишу, объясню ему; он поймёт, не бойся...

— Спасибо вам большое.

— Глаза!

— Что «глаза», Сергей Викторович?

— Опять глаза несчастные!

Плэчинта грустно усмехнулся, ушёл. Седов молча походил по кабинету, вызвал к себе меня и Гончарюка.

— Ну-ка, комсомольские вожди, что у нас Плэчинта делает?

Гончарюк растерянно заморгал.

— Как «что делает»? Учится.

— Ничего не делает, Сергей Викторович.

— Видите! Пора нам таких ребят на передовую линию выводить. Дайте ему какое-нибудь поручение поответственной, такое, знаете, чтоб надо было почитать, подумать...

— Зелёный ещё?

— Очень.

— Скутарь говорит — он неспособный, — подчёркнуто сказал Гриша. — Он потому ничего и не поручает ему.

— Скутарь?

— Скутарь.

— Председатель учкома?

— Его, Сергей Викторович, давно переизбрать пора. Мы его когда выбрали? Когда дураками были...

Сергей Викторович взглянул на Гришу как-то странно, отстраняюще; сдержанно ответил:

— Что ж, попробуйте...

...— А председателем учкома у нас в техникуме до сих пор Скутарь, — говорил на собрании Котогой. — Планы утверждают! Зачем нам эти планы нужны, если председатель всё равно неправильный...

— Сам выбирал!

— Выбирал. Выбрали его, потому что дураками были. Когда это было? В сентябре. Выбрали потому, что привыкли при румынах под его команду жить. Хватит! Есть предложение, Григорий, хватит, не надо нам такого председателя..

Ученическое собрание шло в переполненной столовой. Ребята удивлённо притихли: предложение Котогой было неожиданным, речь шла не о перевыборах, не о Скутаре — о плане работы учкома. Грища Гончарюк, который вёл собрание, словно только и ждал выступления Котогой, оживился, с силой взмахнул рукой, словно что-то об землю бросил.

— Правильно! Вот правильно, Сёмка, я сам об этом хотел говорить, Может, объяснишь ребятам?

— Что ж тут объяснять? — Котогой неторопливо отделился от стенки, около которой стоял. — Вы отца Скутаря знаете, нет? Я тоже не знаю. А Скутарь в прошлом году хвастался, что отец его в «Сфатул Цэрий»¹ был... Это правда, Скутарь?

Скутарь, сидевший в президиуме, чуть покраснел, ничего не ответил.

— Видите? — кивнул в его сторону Котогой. — Он теперь молчит, за свою шкуру трясётся. На собрании он помалкивает, он только на стороне всякие разговоры ведёт...

Скутарь возмущённо выпрямился.

— Какие разговоры? Гончарюк, пусть он докажет, что в самом деле.. Какие такие разговоры?

— Рошка, о чём с тобой Скутарь говорил?

Рошка беспечно удивился:

— Когда?

— Ну, вчера хотя бы, после уроков?

— О Марусе! Мэй, Семён, какое твоё дело?..

Кое-кто засмеялся, большинство оглянулось на Рошку неодобрительно, хмуро.

— Председатель учкома! — рассердился Котогой. — Какой он председатель учкома! Говорили тут, что учком хорошо работает. А кто им руководит? Клавдия Алексеевна, вот кто! Неправду я говорю? Пора Клавдии Алексеевне отдых дать, надо делового председателя выбрать.

— Батюшки, — взволнованно засмеялась Клава. — Они, Верка, нам с тобой скоро пенсию определяют, вот увидишь...

Собрание зашумело. В рядах поднялся Мунтян, улыбнулся мягкой примирительной улыбкой.

— Я думаю, ребята, так: Скутаря нам обижать не стоит — не за что. Он всё-таки старается, работает. В газету кто всех чаще заметки даёт? Скутарь. На собраниях кто самый активный? Скутарь. Кто соревнование по техникуму наладил? Опять Скутарь...

— Клавдия Алексеевна!

Мунтян не обратил внимания на выкрик, улыбнулся ещё добрее, шутило добавил:

— Да техникум наш вовсе пропал бы без Скутаря. И учится он стлично...

¹ Марионеточный «парламент», созданный румынскими оккупантами в Бессарабии.

— Кому он помогает, отличник?

Скутарь величественно поднял брови.

— А кто меня просил?

— А тебя и не попросишь — вон ты какой...

— С мест не кричать! Когогой! — стучит карандашиком Гриша. — Мунтян, ты кончил? Кто будет ещё говорить?

— Дай я скажу, — поднялся Костик Прозоровский — Послушайте, товарищи...

Синие, серьёзные глаза Прозоровского и его девичьи брови казались сейчас особенно тёмными на сильно побледневшем лице.

— Были мы на каникулах дома, — тихо заговорил он. Начало было необычным, все замолчали, оглянулись на Костю: ну, были мы на каникулах дома, и что? Костя молчал, словно собираясь с силами. Клава осторожно поторопила:

— И что, Костик?

— А вот что: по сёлам сейчас отцы наши, крестьяне, примериваются, думают, как они будут при социализме жить — социализм вот он, рядом! Ну, и не всем это нравится, вот что я хочу сказать. Я, например, у себя в Миклошанах такие речи слышал. — Костик побледнел ещё больше, и все поняли, что речи эти он слышал в доме кулака-отчима. — Такие речи...

В мёртвой тишине Костик замолчал. Говорил он по-молдавски, Клава не всё поняла, но смотреть в потемневшие глаза Прозоровского было трудно, и она тихо воскликнула: «Не надо, Костик!» Костя, едва взглянув на неё, с усилием продолжал:

— У советской власти большие враги есть у нас в Молдавии. Мы все об этом должны думать. А кто такой Скутарь? Друг он нам или враг? Мы не можем на это глаза закрывать, ребята, поймите! Сейчас такая борьба идёт..

— Ну, если мне тут не верят. — двинулся Скутарь.

Чей-то голос в рядах страстно выкрикнул:

— Подожди!

Ведеш пробирался к президиуму, яростно работая локтями.

— Подожди, Николай! Ты не понимаешь, тебе объяснить надо...

— Ничего мне не надо объяснять!..

— Надо!

Ведеш встал против Скутаря, с трудом переводя дыхание, с высоко вздымающейся грудью, с возбуждённым, очень серьёзным, даже значительным лицом, с которого он сейчас убирал волосы рассеянным жестом. И каждый, кто смотрел сейчас в это горящее юношеское лицо, в чуть расширившиеся от волнения, очень светлые глаза, — каждый вспомнил то, о чём не вспоминал до сих пор и не думал: что когда-то, совсем недавно, Ведеш и Скутарь, как это ни странно, были неразлучными закадычными друзьями. И Скутарь, видно, подумал об этом: что-то очень недоброе промелькнуло в его узких, холодных глазах, он выжидательно прикрыл веки.

— Я про тебя, Коля, всё скажу, я не могу иначе, — негромко сказал Ведеш, и каждое слово его было отчётливо слышно в напряжённой тишине. — Вот мы сидим здесь — видишь? — Гончарюк, Когогой, Анюта Кошер, Гуцуляк, Плэчинта, Макаровский Василе — все! Мы советскую власть, когда она пришла к нам, приняли с благодарностью, навсегда. Мы думали: будем теперь красиво, правильно жить, как все советские люди живут, — так, ребята? Мы думали: за советскую власть ничего не жалко отдать, даже жизнь.. Вы не смейтесь...

Никто и не думает смеяться. Ведеш говорит с той предельной искренностью, от которой иногда неловко, и кое-кто из ребят смущённо переглядывается, но не смеётся никто, все серьёзны.

— Даже жизнь — ты не поймёшь этого, — глядя прямо в покрывшееся пятнами лицо Скутаря, продолжает Ведеш. — А у тебя, Николай, тодько одно на уме всегда! Тебе хочется над людьми первым быть. Ты не спорь, — быстро протягивает он руку, заметив протестующее движение Скутаря, — лучше не спорь, мы тебя здесь все знаем, не спорь! Тебе наша жизнь, вот эта, не дорогá, — и ничего тебе здесь не дорого, тебе снова надо выше нас всех стоять. Слушай, хочешь, чтоб мы тебе поверили? — внезапно перебивает он себя, подхваченный новой мыслью. — Хочешь, чтоб поверили? Пожалуйста, поработай на какой-нибудь другой работе — поскромнее, попроще, — тогда поверим. Только честно, тогда поверим, ведь правда, ребята? В столовой хотя бы подежурь, на кухне... А председателем пусть кто-нибудь другой будет!

Помолчал, отыскивая потерявшуюся мысль, добавил:

— Я хочу, чтоб ты понял, ты не понимаешь ничего, ты такой какой-то... урод — прости меня!.. — Ещё помедлил, махнул рукой: — Всё, кончил я! Костик очень правильно, ребята, говорил...

Гриша негромко предложил Скутарю:

— Говорить будешь?

Скутарь медленно поднялся, ненужно перебирая на столе бумажки.

— Если меня тут уродом называют...

Не докончил, направился к выходу, касаясь пальцами сидящих в проходе, угловатый, узкий, как складной нож, со своими плоскими, прижатыми к затылку волосами, с высоко поднятым самолюбивым лицом. Его провожали недоуменными взглядами. Ваня Ведеш возбуждённо крикнул ему вслед:

— Дурак!..

— Дурак, конечно! — повторял про себя Скутарь. Не разбирая дороги, он шёл через парк, проваливаясь по щиколотку в снег и отводя от лица холодные, мокрые прутья. Вошёл в пустую аллею, упал на сырую скамью: — Дурак, Николай, надо было про отца сказать!..

Странно, что такая простая вещь не пришла ему в голову сразу. Скажи он про отца — и всё было бы в порядке, и вся эта крикливая сволочь прикусила бы языки. Сказать или не сказать — может быть, ещё не поздно?

Из пограничного села Фалешты в «Шкоалэ де Агрикултурэ» никто не учился; никто не знал, что отец Скутаря — один из последних бедняков в округе. Тощий от постоянного голода и болезни, вздрагивавший от каждого окрика, отец двигался на длинных, костлявых ногах как-то неровно, толчками, его узкие, как у сына, глаза, стянутые по углам зеленоватой коростой, виновато, испуганно моргали. С глазами Николая они никогда не встречались — отец отводил свои: он словно боялся сына, словно сжимался от той холодной, презрительной ненависти, которую читал в упорном сыновнем взгляде. Работу отец всегда выполнял самую чёрную, неблагоприятную, от него пахло нечистотами, свалкой; приходя домой, он иногда плакал, отворачиваясь от жены и сына. Всё это лишь усиливало брезгливую ненависть Скутаря к неумелому, несчастному человеку, который смел называться его отцом.

Мать была не многим лучше. Пачика Скутарь и в тяжёлой жизни умудрилась сохранять гибкость и податливость располневшего с годами стана и сытый, ленивый взгляд избалованной кошки. В селе про неё говорили всякое, и Николай знал лучше чужих людей — говорили не зря. Когда кто-нибудь из соседей с угрозами и воплями прибегал к дому Скутарей — глаза Пачики наливались лёгкими слезами, она не защищалась, не оправдывалась, только покорно вздыхала:

— Что ж это, о господи... Вот ведь как получается нехорошо.

Потом, улучив минутку, сама бежала к обидчице, торопливо совала ей что-то в руку.

— Оф, помирится, Лена, прогнала я твоего-то... совсем прогнала, ну его! Он мне мониста принёс — на, возьми...

Но не проходило и недели — всё начиналось сызнова, и Пачика Скутарь сокрушённо вздыхала, прикрывая дверь, чтобы сын и муж не слышали неистовствующей во дворе бури.

— Лена, да что ты! О господи, как это всё нехорошо получается...

Но это всё было так, между прочим, от нечистоплотности и лени. Постоянным расположением матери пользовался владелец местной закусочной и мелочной лавчонки Цыплован, человек немолодой и богатый. Бездетный Цыплован и сдал когда-то Николая Скутаря директору «Шкоалэ де Агрикултурэ» домнулу Михалеску с рук на руки, как родного сына.

С тех пор, вот уже четвёртый год, Николай Скутарь не был в своих Фалештах. В каникулы отсиживался у дальнего родственника в Лукашах или гостил у многочисленной родни Цыплована. Деньги на жизнь привозила ему мать.

— Как ты добралась? — равнодушно осведомлялся Николай, когда мать появлялась во дворе «Шкоалэ де Агрикултурэ», потная и пыльная после дальней дороги.

— Подвёз по доброте управляющий здешний, господ Кайсановских, — неохотно отвечала женщина. — Приезжал зачем-то в Фалешты до Цыплована, я знаю...

Скутарь недоверчиво бормотал:

— Нужна ты тому управляющему, возить тебя...

Одно веко у матери чуть приподнималось, она усмехалась медленно и лениво. Потом, расстёгивая кофту, вынимала деньги. Из-за пазухи вываливался дешёвый нательный крест, виднелись едва прикрытые грязной рубашкой груди. Скутарь нетерпеливо отворачивался. Деньги пахли свечами, керосином, селёдкой — лавчонкой Цыплована. Скутарь спешил проститься с матерью, холодно размыкал обнимавшие его руки. Об отце он не спрашивал: отца не существовало.

Когда-то Скутарь врал, что отец его — зажиточный человек, бывший член «Сфатул Цэрий», что мать — вовсе не мать ему, а из милости живущая в доме нянька. Может быть, теперь уместно было вспомнить, что он — сын крестьянина-бедняка, трудящегося человека? Скутарь содрогался от отвращения: ни за что! Ни за что, это ведь всё ненадолго. Скорее бы выучиться, выбиться, сделать карьеру! Кто посмеет напомнить ему, богатому, влиятельному человеку, о проститутке-матери, о бедняке-отце? Да и кто тогда догадается, что домнул Скутарь, блестящий господин в собственном экипаже, в костюме бухарестского покроя, высокомерный и властный, — сын несчастных, грязных фалештских Скутарей?

...Потерпеть ещё немного. Вот и Чеботарь говорил, и домнул Саккара говорит об этом: совсем немного осталось потерпеть!..

В то время как Скутарь с промокшими ногами, дрожа от пронизывающей сырости, размышлял так в отдалённой аллее пустого парка, постанывая от бессильной ненависти и сжимая кулаки, в уютной маленькой гостиной за кружевными занавесками на окнах шёл разговор примерно на ту же тему, и вёл этот разговор скромный старичок с неуловимыми глазками, кассир техникума Саккара.

Собственно, начал разговор не Саккара, а хозяин дома, преподаватель Стучевский. Евгений Николаевич вернулся с ученического собрания расстроенный, раздражённый.

— Я не понимаю, — жаловался он зашедшему скоротать вечерок

Саккаре, — я не понимаю, что делается с нашими учениками. Нашими учениками! Они вообще уже не ученики или во всяком случае не наши ученики. Я их учил не этому, не знаю...

Юлия Михайловна с улыбкой вмешалась в разговор:

— Что-нибудь случилось, Женя?

Речь шла о мальчиках — можно было уйти на кухню, заняться пирогами. Женя всегда расстраивается из-за своих учеников, он очень привязан к ним, это естественно...

— Они так хорошо всегда учились, — говорил между тем Стучевский, — Скугарь, Прозоровский, Ведеш... Сидели рядом, вместе гуляли, поведение их было образцовым, безупречным; это был пример дружбы — вы, домнуле Саккара, не можете не помнить... Лучшие ученики! А теперь?.. Какая взаимная ненависть, какое озлобление, ужасно!..

Саккара пробормотал что-то в ответ.

— Что? — не расслышав, склонился к его тонким, бескровным губам Стучевский.

— Помнится, об этом мы уже говорили с вами, — метнул Саккара на Стучевского быстрый, настороженный взгляд, — о результатах советского воспитания...

— Да, да, ужасное воспитание! — быстро закивал головою Стучевский — Прозоровский говорит о классовой борьбе! Хотел бы я знать, что он понимает в классовой борьбе! В чём-то подозревает своего товарища, называет его врагом... Прозоровский! Такой культурный, миролюбивый юноша, из хорошей семьи..

— Мы уже говорили об этом с вами, — настойчиво повторил Саккара. — Но вы так дорожили своей лояльностью, что..

— Я согласен, да, разговор этот не совсем лоялен, что делать! Вы бы видели Ведеша..

— Болтовня! — с неожиданной резкостью перебил Саккара. — Всё, что вы говорите сейчас, — всё это пустая, ни к чему не обязывающая болтовня! — Стучевскому показалось, что Саккара сделал движение подняться, но Саккара только плотнее уселся в кресло — Меня интересует не это. Меня интересует, когда домнул Стучевский, такой красноречивый, такой искренний, такой глубокойдейный, когда он перейдёт наконец от слов к делу?

— От слов к делу? — растерянно пролепетал Стучевский. — Простите, я не совсем понимаю...

— Не врите — прекрасно понимаете! Да, когда вы изволите перейти наконец от слов к делу? Вспомните, что говорил этот ваш бесноватый знакомый из Левкауц, Морей, в этой самой комнате: война уже идёт, и извольте принять в ней участие, извольте — в каком-нибудь из борющихся лагерей. Думаете на серединочке пересидеть, ни нашим, ни вашим? Этим вот дешёвеньким фрондёрством отделаться? Не выйдет! Это я, Саккара, вам говорю — не выйдет; а если я что-нибудь говорю...

Стучевскому казалось, что он в бреду, он ничего не понимал. Разговор их неожиданно резко повернул. Но не только в этом было дело. Что-то неуловимо сместилось в атмосфере самой комнаты. в отношении друг к другу двух взаимно расплосженных собеседников. Только что перед Стучевским сидел скромный служащий, тихий и немного старомодный человек, с готовностью поддакивал всему, что говорил Стучевский, вздыхал в лад, жаловался на обострение суставного ревматизма, целовал ручку у Юлии Михайловны. Где он, куда он делся, этот старичок? Выпрямился в кресле, напрягся, маленькие, злые глазки его не бегают, как обычно, — они прямо и требовательно смотрят в лицо Стучевскому, словно он, Саккара, имеет право приказывать в этом доме, распоряжаться; и по заострившемуся, словно оголившемуся лицу его видно: он

не сжалится, не дрогнет, не пощадит, он на всё способен... Так вот оно что! И Стучевский, ещё не успев до конца осознать всё, что произошло между ними, похолодел и сжался внутренне, как всегда терялся и сжимался перед всяким откровенным проявлением силы.

— Я не понимаю, — едва выговорил он, — я не совсем понимаю, что вы хотели бы...

— Что бы я хотел? — переспросил Саккара, и в его издевающимся голосе Стучевскому опять послышалось что-то такое, что заставило его ещё раз взглянуть испуганно, быстро в это оголившееся лицо.

— Вы знаете, я всегда... — торопливо пробормотал он. — Я боюсь, что это очень рискованно, но я понимаю...

— Ничего рискованного я вам не уполномочен предложить, — враждебно перебил его Саккара. — Не валяйте дурака! Вы опытный, заслуженный педагог, вы среди учащихся могли бы быть очень влиятельны, авторитетны, а вы сдаёте свои позиции без боя. Слушайте, что от вас требуется конкретно... — Саккара придвинулся ближе к Стучевскому, положил ему руку на колено, и нервы Стучевского до предела напряглись. — Надо почаще говорить с учениками, побольше быть среди них... Учитесь у советских преподавателей... — Саккара криво усмехнулся. — Они не расстанутся со своими учениками, они постоянно с ними... Здесь учатся юноши призывного возраста; эти юноши должны знать, что в предстоящей войне судьбы Бессарабии и Румынии неразрывны...

— В предстоящей войне?

— Да, в войне! Возьмите себя в руки, слушайте, что вам говорят. И не вздумайте вилить...

— Домнуле!..

— За вами всё время наблюдают, имейте это в виду. Я искренне советую вам, — Саккара опять доверительно тронул Стучевского, — не упускайте возможности жить лучше, чем вы живёте. Когда переменится существующий порядок...

— Переменится порядок!

— Да, да — проснулись! — переменится порядок. — Саккара одновременно и уговаривал, и требовал, и откровенно издевался. — Послушайте, перестаньте прикидываться божьей коровкой! Ведь вы же скончательно скомпрометированный перед советской властью человек: устроили из своего дома место подозрительных сходов, принимали Сивенко, Чеботаря, поддерживали приятельские отношения с ними. Конечно! Вас чудом не арестовали в январе вместе с Сивенко. Я всё знаю. — засмеялся он, крутя пальцем перед бледным, изнеможённым лицом Стучевского. — Лойяльный человек! Вы же во сне видите, чтоб сюда, в Левкауцы, вернулся домнул Михалеску, чтоб всё было, как и до двадцать восьмого июня. Я думаю, что кое-кого в Липнице это могло бы всерьёз заинтересовать — некоторые мысли преподавателя Стучевского, неосторожно высказанные вслух...

Глаза Стучевского были прикрыты, лицо искажено болезненной гримасой. Саккара удовлетворённо кивнул.

— Успокойтесь! Успокойтесь, ну! Вам ничего не грозит, но надо же работать... Надо внушить бессарабским юношам недоверие к Советскому Союзу, неуверенность в будущем. Я спрашиваю: вы понимаете меня? Я вам могу гарантировать, что обмана с нашей стороны не будет. В ближайшие полгода произойдут события решающие — и всё, что вы пережили при русских, покажется вам дурным сном. Вы довольны, конечно?

«Юленька! — мысленно повторял про себя Стучевский. — Юленька, дорогая...» Это был кошмар, он должен был кончиться как можно скорее, он не мог продолжаться дольше!

В гостиную вошла Юлия Михайловна, оживлённая, сияющая.

— Женечка, приглашай домнула Саккару к столу. Чай и сладкий пирог, необыкновенно удачный!.. Что с тобой, Жучок, тебе нездоровится?

— Я всегда говорил вашему мужу: он беспощаден к себе...— вздохнул старенький, побитый молью чиновник Саккара, беспокойно двигаясь в кресле.— Евгений Николаевич перегружает себя недопустимо...

7. Имени Котовского

Машина, тяжёлыми ошмётками откидывая весеннюю грязь, рвётся через обнажённые от снега поля, взбегая с разбега на холмы, осторожно, на тормозах, спускается в низины, опасливо огибает по целине места, разрытые весенним потоком. Пролетают сёла, вперевалку убегают с дороги куры, мелькают лица отступивших в сторону, к обочине, крестьян в неизменных чёрных кушаках и коричневых сукманах, смеющиеся женщины в мужских сапогах, в шалевых платках, припущенных на брови. Чистенькие молдавские дома под камышовыми кровлями, подпёртыми коричневыми столбиками, омёты кукурузной соломой посреди подсыхающих дворов, брошенные с осени у сарая ивовые корзины, фруктовые сады, опоясанные низкими каменными оградами, — всё это, виденное тысячу раз, такое же, как дома, на левобережье. И всё, что предстоит пережить сегодня Колесниченко, — сколько уж раз он это переживал и в родном своём селе и в партийных командировках!

Всё можно предсказать заранее: если приехала в Левкауцы тракторная бригада — а Ионел должен приехать сегодня в Левкауцы до света, — значит, ещё не въезжая в село, у околицы, увидит он замороженную машину, бредущую по полю толпу; на собрании кулаки пойдут в наступление, кое-кто их поддержит, стеной встанет на кулака исконная беднота. Больше всего пугать и останавливать крестьян будет мысль об уравниловке, больше всего вопросов поэтому зададут о трудоднях, и заранее можно сказать, что многие подадут заявление прямо на собрании, а некоторые, почесав в затылке, заявления свои заберут обратно. Обычный рабочий день, и нелёгкий, — почему же так молодо и празднично он чувствует себя сегодня?

Или это раннее утро действует так на него — солнечное, бодрое, молоденькое, словно жеребёнок, бегущий за маткой? Или это потому, что рядом в машине сидит повязанный праздничным шарфом крестьянин из Плачешт, бывший конюх пана Лясковского, Яков Ведеш, сидит торжественный, взволнованный, очень серьёзный — и хочет того Колесниченко или не хочет, а на всё, что должно произойти сегодня, смотрит он немножко и его глазами.

За то, чтобы Яков Ведеш был председателем будущего колхоза, высказалось большинство левкауцких крестьян: поведение Ведеша во время выборов в Верховный Совет лишь упрочило его авторитет.

— О чём вы думаете, Яков Васильевич?

Ведеш ответил не сразу:

— Думаю, в среду уж сеять начнём. Никогда так спокойно мы о посевах не думали — поверите? У Ляковского весной толпы стояли во дворе, без шапок, на коленях некоторые. Христа ради просили немножко зерна — Христа ради! Себя, детей продавали...

— И это мне всё знакомо, — задумчиво отозвался Колесниченко. — Всё, как и у нас было, так же...

Ведеш убеждённо возразил:

— Так, да не совсем, товариш Колесниченко...

Покорно подчиняясь движению дороги, взлетели вверх, — внизу развернулось село, стиснутое холмами. Колесниченко улыбнулся своей мысли: у околицы темнела толпа.

Вот уже можно различить носатую, хитрющую физиономию Ионела; вытирая тряпкой руки, он что-то объясняет столпившимся крестьянам, расхаживая у огромной лобастой машины. «Счастливые! — неожиданно подумал Колесниченко. — У них не так, как у нас: разве мы с такой техникой начинали?..»

У крыльца сельсовета, видно ожидая райкомовскую машину, стоит Ольга Гаманюк. Она сразу устремляется навстречу Колесниченко.

— Беда, Алексей Васильевич!..

Кругом, покуривая, деловито и мирно разговаривают о своих делах крестьяне; в стороне стоит группка молодёжи из Левкауцкого техникума. Колесниченко останавливает на ней любовный взгляд — не утерпели, пришли хлопцы! Хлопцы толпятся вокруг двух простеньких, застенчивых девушек в клетчатых платочках — видно, тоже студентки. Молодцы, и девушек своих с собой привели: пусть смотрят девушки, как начинается в Молдавии социализм! Всё правильно, никакой бедой не пахнет.

Колесниченко примирительно улыбается.

— Ну, какая у вас, Ольга Марковна, беда?

Оказывается, кое-кто из крестьян ушёл от греха в лес, чтобы, того гляди, не записали в этот самый колхоз. Детей позапирали, дети дома плачут. Ушло двенадцать семейств: Кошуляны, Присакар с женой, Мунтяны..

— Мунтяны?

— Да. Вот Алексея родители.

— Мунтян, пойдика сюда!

Подошёл Мунтян — в серой смушковой шапке, в колушке, небрежно брошенной на одно плечо.

— Почему твоих родителей на собрании нет?

Мунтян смотрел на Колесниченко удивлённо и весело.

— Так вы же знаете, Алексей Васильевич..

— В лесу?

— В лесу. — Мунтян снисходительно засмеялся. — С утра, как узнали, что собрание будет, запрягли волов — и в Плачештский лес! Я им говорю: стыда я наберусь сегодня с вами, хоть, говорю, оденьтесь, нечистый вас заберит совсем, — не лето! Ну, оделись. Картошки я им натолкал в каруцу..

— Заботливый сын!

— Я о своих родителях предупреждал, Алексей Васильевич, — они ужас какие несознательные. Они думают: их в колхоз силком погонят..

Яков Ведеш осторожно напомнил:

— Видите, а у вас этого не было, Алексей Васильевич..

Колесниченко промолчал: это, к сожалению, было..

Помещение сельсовета приготовлено для торжественного собрания: стол накрыт красным, на стене за столом президиума — непременно в таких случаях домотканые ковры. А торжественности всё равно нет и быть не может: слишком много народу. Сидят на скамьях, на подоконниках, на корточках вдоль стен, теснятся в проходах. Сзади скамей стоят вплотную, дыша друг другу в затылок, кое-кто щёлкает семечки, сплёвывая в кулак или прямо на грудь себе, пересмеивается с соседом. Те, кому удалось протиснуться вперёд, садятся прямо на пол, сидят так, как сидели бы на вокзальном полу, — беззаботно, основательно, никуда не торопясь, сбившись группами, иные к президиуму спиной. И здесь — негромкие разговоры и осторожное стрескивание семечек. Женщины растегнулись, спустили платки на плечи. Мужчины оттирают шапками лоснящиеся лица. В одном углу Гандрабура шумно отбивается от смеющихся односельчан.

— Рядом с Сашком не сяду,— упрямо твердит он.— Не сяду рядом с Сашком! Жизнь мне, что ли, не дорога — с ним рядом садиться?

— Да что я тебе сделал? — краснеет от злости Илья.— Не садись, пожалуйста...

— Рядом с Сашком не сяду! — смеясь, отбивается Гандрабура.— Он меня сунет в колхоз, как того курёнка в ши,— я и прокукарекать не успею... Он меня уже заговорил однажды, хватит, я с ним больше ни за что не сажусь!

Передние оглядываются сердито.

— Садись, тише ты, чёрт усатый! Началось...

Президиум уже занял свои места; перед столом, засунув пальцы за ремень и выжидательно глядяваясь в толпу, стоит Колесниченко.

— Что ж, товарищи, поздравляю вас...

Крестьяне недружно затихли. Кто-то весело крикнул:

— А мы — вас, товарищ секретарь райкома!

— ...Поздравляю вас с организацией первого в нашем районе колхоза; с тем, что становитесь вы сегодня на единственно правильный путь, завещанный великим Лениным трудовому народу,— на путь социализма...

Похлопали. И Гандрабура, всё-таки опустившийся рядом с Сашко, похлопал тоже.

— Хлопаю я, видишь?

— Слушать мне не мешай! — сердито отозвался Илья.

Гандрабура весело согласился:

— Это ладно!..

Колесниченко шагнул вперёд, почти вошёл в толпу расположившихся на полу у самого президиума женщин.

— Оскандались мы с вами сегодня, товарищи, не всё у нас ладно получилось на первый раз...

Толпа насторожилась.

— ...Односельчане ваши, двенадцать семейств, в лес ушли, угнали скот с собой, позапирали детишек дома. Значит, не все ещё имеют доверие к советской власти. Хочет советская власть, чтоб лучше, богаче, счастливее жил молдавский крестьянин, а крестьяне не все верят. Говорит советская власть, что силой в колхозы никого гнать не будет, а иные, видно, и тут не верят — в леса уходят, «спасаются».

Колесниченко так сказал это, что в толпе облегчённо вздохнули, переглянулись: нет, не сердится товарищ секретарь райкома и не очень расстроен, это только вначале так показалось. Гандрабура локтем тронул Илью.

— Верно, ушёл кто-то?

— Кое-кто ушёл...

— Это зря. Власть зачем обижать? С властями надо жить мирно...

Яков Ведеш сидит в президиуме сзади Колесниченко. Во всей его неторопливой манере, в том, как он склоняет голову, слушая сидящего рядом Морая, много особого, одного ему присущего печального достоинства и уважительного доверия к людям. Ваня не спускает глаз с отцовского лица, тихо, взволнованно смеётся.

— Ты что? — удивляется Илья.

— Какой у меня отец сегодня! Хорош, верно?

— Начнём приём в колхоз? — предлагает Колесниченко.— Веди, Ионел, собрание.

Приём начался. Колесниченко глядявался в толпу спокойными, смеющимися глазами: конечно, всё то же. Вот встаёт крестьянин Герман Думитру, растерянно моргая, прижимает к груди потёртую кушму. Бонтя, что не примут: инвентаря мало, на шесть ртов он один работник.

Примут! На то и пришла сюда в Бессарабию, Думитру, твоя родная советская власть...

И Антона Ковальчука примут, и тётку Доминику, и Ольгу Гаманюк, и младшего Бабя. И Степана Кошера примут. И старого Бонаря. Бонарь беспокойно озирается, поднимая руку. Так и есть, всё, как и у нас было когда-то: Сейчас будет заявление просить обратно.

Бонарь просипел, вытягивая жилистую шею:

— А моё заявление, товарищ председатель, я вас попрошу — верните мне. Не хочу я в колхоз этот вот итти... С сыном я делюсь, дом строю — мне без вашего колхоза забот хватает...

— Договорились же мы, мош Бонарь! — удивился Морей.

— Тебе, Виталий Львович, хорошо договариваться — ты на жалованье живёшь, на казённой квартире, а я — крестьянин простой, я всё своими руками, всё! Мне, между прочим, трудно...

Бонаря толкали со всех сторон, уговаривали: «Идём, Илие, ничего, идём...» Бонарь коротко кланялся, прижимая шапку к груди.

— Дом! Дом я строю, братцы! Вот отстрою дом — тогда пожалуйста, я тогда сам приду в колхоз, звать не надо...

Колесниченко спросил как бы между прочим:

— Товарищ Бонарь, вы тут в заявлении пишете: четыре гектара земли у вас, конь... Вы не с приходом советской власти, не в сороковом году получили всё это — коня, землю?..

— Конь! — ахнуло собрание. — Всё врёт старик, это ему Короля жалко!

Бонарь опустил голову, ничего не ответил. «Вот и ещё новое, своё,— подумал Колесниченко. — Наш бедняк тринадцать лет жил со своей землёй, он уже твёрдо знал в тридцатом году: бедняку без коллективизации нет ходу. А этот на свою землю ещё налюбоваться не успел, ему и мучиться на этой впервые полученной земле сладко. Лишь несколько месяцев назад, плача от радости, вёл он домой первого в своей жизни коня...»

— Король — племенной производитель, — напомнил Семичастный. — Зачем его в частные руки отдали?

— Ну, отдали, отнимать не будешь, — пожал плечами Колесниченко. — Ошиблись, конечно... Так как же, товарищ Бонарь?

— Вы бы видели коня, Алексей Васильич! Король — одно слово...

— Отнимать не будешь...

— Бедный я человек был, — жалобно пояснил Бонарь, взгляд его так и бегал с одного лица на другое. — Вы уж оставили бы меня, а? Дом я строю...

— Ну, дед, давай на прямоту. — Ионел рубанул воздух ладонью. — Коня жалко?

— И коня я Прскопию отдам, всё ему — куда мне! Оставили бы вы меня — сын старший женится, забот сколько...

— В колхоз пойдёшь?

— Оставили бы вы меня...

— Ионел, — твёрдо сказал Колесниченко. — Отдай заявление...

— Алексей Васильич!

— Ничего, отдай.

Бонарь отошёл, провожаемый тяжёлым, неодобрительным молчанием.

— Потерял ты совесть, Бонарь...

Бонарь возразил вяло:

— Вам хорошо говорить, Виталий Львович...

Ионел взял следующее заявление, не сумел скрыть своего удивления:

— Вайнеску!

Нечему удивляться. Вот и кулак стал другой. Этот с обрезом не ходит, собак на активистов не спускает. Этот хитрит, маскируется, переждать

хочет: может, будут какие-нибудь перемены, не попустит бог, чтобы так и удержалась в Бессарабии советская власть...

— «Обязуюсь быть честным трудовым колхозником,— читает Ионел.— Сдаю в колхоз молотилку, сеялку, двух коней...»

— Хватит, не читай! — поднимается Антон Ковальчук, блестя горячими цыганскими глазами. — Простачком прикидывается! Он осенью посеянную саботировал...

— Саботировал, а как же! — кивает головой Герман Думитру. — Есть предложение, председатель: не надо, не желаем!..

— Так человек говорит — честно трудиться будет,— хитрит Ионел.

— Не надо, не желаем,— гудят разрозненные голоса. — Ионел, кто там дальше у тебя? Говорили — колхозы без кулаков будут.

— Ну, послушать-то надо человека!

— Кого слушать — Вайнеску? Тю! В жизни своей он тебя слушал?

— Всё-таки живая душа, братцы...

— Слушал он тебя, душу живую, в жизни своей?..

— Двух коней сдаёт, молотилку...

— Молотилку у него советская власть всё равно отнимет! — потрясает в воздухе рукой Ковальчук. — Не так? Не отнимет — попросим...

— А вот за это тюрьма,— не выдерживает Вайнеску. Он протиснулся из-за грубки, где стоял до сих пор, взгляд его пронзителен и откровенно враждебен.

— Между прочим, это за эксплуатацию тюрьма, — миролюбиво замечает Ионел.

Марица в рядах страдает, сжимая руку Анюты.

— Господи, и зачем человек на такой стыд пошёл? Что ему надо было в том колхозе? Живёт хозяином...

— А ты не знаешь? — откликается Грица Гончарюк. — Сволочь он, первый враг нашему делу... — Аникуца дергает его за рукав, но он продолжает упрямо: — И твой отец такой же...

Марица молчит, брови её сдвинуты, лицо печально и строго. Отец? Об отце не надо бы...

— Ты не обижайся,— слегка прижимается к ней Анюта.

— Пусть он идёт отсюда! — шумят между тем женщины. — Кто там знает, что у него на уме! Председатель, скажи ему — пусть он идёт...

— Может быть, вы скажете что-нибудь, гражданин Вайнеску?

— Ничего не скажу,— оскорблённо отвечает Вайнеску, отирая лицо затыком в кулак платочком. — Человек к вам с чистой душой, с охотой, а вы его гоните!.. У вас так не пойдёт колхоз...

— Пойдёт!

— Посочувствовал...

— Ионел, скажи ему — пусть он отсюда идёт!..

— А я, товарищи граждане, думаю так,— поднимается в рядах Михаил Рошка. На некрасивом лице его бегают такие же, как у брата, горячие, шальные глаза. — Я думаю: принять Вайнеску можно всё-таки... Можно! Почему не принять, если человек до нас со всею душой? Главное что: главное — он хозяин хороший. Ты, Антон, кричишь... Ты молотилку в колхоз дашь? Не дашь, нет у тебя молотилки!.. А у Ивана Макаровича есть. Он и дом отдаст, если мы попросим. Ведь так, Иван Макарович, уступишь дом?

Вайнеску поспешно согласился: господи, и дом отдаст, конечно. Если люди просят — конечно, отдаст!..

— Видите! — обрадовался Рошка. — Вот оно — когда человек до нас с чистой душой!.. Ты ведь, Антон, не дашь дома...

Собрание притихло. Кто-то громко вздохнул:

— Я же говорю: живая душа, если подумать...

— Послушайте! — высоко взметнулся голос Ольги Гаманюк. — Граждане, вы меня послушайте! Михаил Рошка сам заявление в колхоз не подал!..

— Подал! — весело удивился Рошка. — Раньше тебя, может, подал, фа! Твоё-то какое, между прочим, дело?

— Дело! Мне до всего дело есть, не притворяйся! Говоришь, заявление подал, а сам телегу новую в землю зарыл — что, мы не знаем? В землю зарыл, в саду, под грушей — вот, Миша! Это с таким ты сердцем в колхоз идёшь? Только людей смущаешь! Есть предложение, товарищи, — Михаила Рошку в колхоз не принимать!

— Вот тебе раз! — завозился рядом с Ильёй Гандрабура. Собрание зашумело.

— Стой, Ольга Марковна! — застучал по столу Ионел. — Товарищи, тише! Обсуждаем заявление Вайнеску...

Ольга, садясь, взволнованно отмахнулась.

— Вайнеску мы обсудили уже...

Из-за спины Вайнеску выдвинулась короткая, неповоротливая фигура Тодора Гинку.

— Собрание у вас, смотрю я, ненастоящее, — безапелляционно заявил он, и все недоуменно на него оглянулись. — Крик какой-то, а не собрание. И правды на этом собрании нет. Подал вам человек заявление, вы его обсудите честью, по-хорошему, а вы сразу кидаетесь людей обижать. Зачем людей обижать? Товарищ Вайнеску у нас...

— В... себе возьми такого товарища!

— Видите! Разве это собрание? Товарища Вайнеску мы все знаем, его всё село уважает, кого ни спроси. Старик уже. За что тут на собрании издеваются над ним? В общем, мне такое собрание не нравится, пошёл я... Пошли, мэ! Всякие тут издеваться будут...

Толпа заколебалась, кое-кто пробивался к дверям за Вайнеску и Гинку. Гандрабура, глядя вслед уходящим, спросил у Ильи с беспокойной усмешкой:

— Итти, что ли? Нехорошо тут у вас получается...

Вскочил Морей, упёрся кулаком в стол, по лицу его пошли белые и красные пятна.

— Тодор Гинку!..

И тут же в толпе сидящих на полу женщин тяжело завозилась, поднимаясь с колен, Доминика.

— Стойте, Виталий Львович, стойте, я скажу! Над людьми издеваться, говоришь ты, нельзя?! Встань, встань, Рая, — потянула она сидящую на полу женщину, но та, ниже склонившись, заплакала в голос. — Вот она, Рая Руссу, видишь? Ты погляди, погляди! Погляди на руки её — они все в мозолях кровавых. Из-за кого? Из-за Вайнеску! Spина у неё вся в синяках, лицо — из-за кого всё? Всё из-за Вайнеску! Глаза из-за кого выплаканы? Всё из-за него... Так для кого мы колхоз создаём — для Раи Руссу или для Вайнеску, сволочь ты! Издеваться над людьми нельзя! Ты бы об этом не здесь, ты бы об этом раньше говорил. Издеваться нельзя!.. Над нами так издевались всю нашу жизнь, так издевались, что...

Слова Доминики потонули в женских проклятиях и криках. Рая Руссу бессильным жестом протягивала президиуму в кровавых мозолях ладони, залитое слезами лицо её мелко дрожало. Доминика, придерживая племянницу за плечи, пыталась объяснить перегнувшемуся к ним Колесниченко:

— Батрачка она... Батрачка!.. Около того Вайнеску всю жизнь... Ребёнок у неё с голоду умер...

Колесниченко потемневшими глазами глядел в толпу. «Так, да не совсем», — подумал он словами Якова Ведеша Правильно! Потому что борьба есть борьба, она всегда неповторима, всегда различна — как огонь, как молодость, как самая жизнь...

— Голосуем, товарищи! — предложил Ионел. — Кто за то, чтобы гражданина Вайнеску принять в колхоз? Голосуют те, кто заявление подал! Один, два... восемь! Восемь голосов за принятие Вайнеску...

— Подожди, Ионел! — крикнул Илья. — Тут Гандрабура руку поднял, а заявление он не подавал...

— Я, может, подам, откуда ты знаешь! — возмутился Гандрабура.

— Тогда и голосовать будете. Семь голосов за принятие Вайнеску! Товарищ Рошка, вы что же?

— Если про меня тут говорят такое. . я — как это? — воздержавшийся на сегодняшний день .

— Понятно! Кто против того, чтоб... Ого! — Ионел не успел договорить — лес рук поднялся над головами. — Здорово! Ну, как, гражданин Гинку, нравится вам наше собрание?

Гинку рванулся к выходу. За ним в молчаливо расступающейся толпе с потемневшим лицом последовал Вайнеску.

— Больше никто не выходит? — деловито осведомился Ионел — Продолжаем приём, товарищи...

Приняли Пушкаша с женой, ещё одного Бабия, Раю Руссу.

— Ну, Ольга Марковна, держись! — предупредил Ионел. — Читаю заявление: Михаил Рошка...

— Нельзя его принимать, — сразу встрепенулась Ольга. Заговорила убедительно, очень искренне, прижимая к груди концы спустившегося на плечи платка — Нельзя, товарищи! Сказал тут Алексей Васильич: вступаем мы на ленинский путь сегодня... С чистой душой надо на этот путь вступать!..

— Какая женщина хорошая! — тихо воскликнула Марица. — Какая с людьми смелая, Аничка, смотри...

— А я вам с Анютой давно говорю, — опять непримиримо отозвался Гриша, — сидите, как монашки, в техникуме у себя. Обидно!..

Аникуца тронула его плечом.

— Не сердись, ну...

Михаил Рошка, положив руки на перехватывающий его фигуру красный кушак, возразил уверенно, нагло вато:

— Может, и Гаманюки что-нибудь припрятали перед тем, как в колхоз вступать, — я же ничего не говорю...

Увидел в толпе пристальный, напряжённый взгляд брата, сбился — брата он не ожидал здесь увидеть, — решительно махнул рукой.

— Дам телегу!

— Врёт он! — Лицо Ольги разгорелось, она тоже взмахнула обнажённой по локоть рукой. — У него старая телега, он ее и отдаст, а новую он закопал в саду, под грушей...

— Новую отдам! Пристала .. — Рошка безобразно выругался, швырнул оземь кушму, двинулся к выходу.

— Стой, чудака, проголосуем...

— На чёрта мне голосование ваше, раз так...

Чёрт дёрнул Георгия сюда прийти: с мнением брата Михаил считался. Перед братом хвастал: я, мол, не то, что отец, я человек сознательный...

Слово взял Колесниченко.

Говорил о том, как проходила коллективизация десять лет назад в Советской России, какие ошибки были, как этих ошибок избежать... Между прочим, говорил. «В колхоз надо столько души, столько заботы вложить,

сколько в своё хозяйство раньше вкладывали, — вот тогда и жизнь ваша зацветёт...»

Гандрабура слушал Колесниченко, задумчиво пощипывая пушистый ус. Осторожно поинтересовался:

— Что, секретарь этот — наш, молдаванин, или приезжий какой?

— Толковый?

— Ничего...

— Наш, дубоссарский. — Илья пригляделся к лицу Гандрабуры, неожиданно предложил: — Может, подадим заявление, а? Сейчас всё это и оформим, очень просто...

— Не хотел я с тобой садиться, эх... Тревожишь ты меня...

— Карандаш — вот он, бумаги достанем...

— Выгоды ты не понимаешь моей!..

Михаила Рошку приняли. Товарищ Колесниченко за него заступился: таких, говорит, воспитывать надо. Приняли, как доложил собранию Ионел, семьдесят девять человек, земли обобществили больше двухсот гектаров: столько-то под паром, столько-то под озимым посевом, столько-то под виноградниками... Единодушный вздох пролетел над собранием: такой господэрии¹ и у помещиков Кайсановских не было!..

...Поднимается человек на колокольню, карабкается в полутьме, иногда ошупью, а поднимется, выглянет — и душа у него замрёт от неожиданно распахнувшегося перед ним простора, и вот так же вздохнёт он: осторожно, ошеломлённо...

Деду Крестати, виноградник которого врезался в самую середину колхозного массива, предложили другой участок в обмен — Германа Думитру, на самом краю. Разгневанный Крестати, раздвигая клюкой людей, подступил к президиуму.

— Что ж это — румыны жить не давали, советские не дают? Придумали — старому человеку на край света переться со своей старухой... Да пойдите вы, раз так, туда и туда со своей колхозной жизнью...

Собрание заинтересованно выслушало его отборную ругань. Ионел предложил:

— А вы, диду, до нас ступайте вместе со старухой своей.

— Тьфу! — с сердцем ответил Крестати и ушёл, стуча клюкой.

Кто-то из молодёжи свистнул было: «Вот и иди до того Вайнеску, жалься...» Его строго одёрнули: за что человека обижать? Он, может, у того Вайнеску и болезни все свои нажил...

А колхоз решили назвать именем Котовского. Предложил это название Степан Кошер, и Колесниченко охотно его поддержал: «Потому что очень хороший человек был Григорий Иванович, я его лично знал...»

Разговор о Котовском мог бы большой получиться — у многих засветились глаза. Степан Кошер — тот из Ганчешт родом, мальчишкой с ним играл, у Бабия отец одновременно с Котовским сидел в тюрьме, рассказывал о Григории Ивановиче, Ковальчук своими глазами видел Котовского, как он с саблей наголо скакал во главе своей бригады... Может, только похвастал?..

Колесниченко не выдержал, с мальчишеским увлечением вставил:

— А я с Григорием Ивановичем по домам ходил, в левобережных сёлах молдаван переписывал, когда АМССР создавали. Мечтал Котовский республику молдавскую на обоих берегах поставить... Не дожил Григорий Иванович... — Колесниченко тут же спохватился: — Потом, потом, товарищи... Поделись своими планами, Яков Васильевич...

¹ Господэрия — хозяйство.

К Ведешу приглядывались — всё-таки с ним жить, с ним работать! — а он, словно вовсе не замечал этого, держался на людях так ненавязчиво и просто и так естественно, как может себя держать лишь очень чистый душевно человек. Заговорил о посевах, об огородах, о покосе, о фермах — свиноводческой и молочной. Герман Думитру предложил: овец бы неплохо каракулевых завести! «Как, Алексей Васильич, поможет нам государство?»

Государство помочь обещало.

Гандрабура задумчиво прислушивался. Хотел сказать насмешливо — насмешка не получилась, и прозвучало проче, чем он хотел:

— Вы пруд ещё возьмите, что возле Левкауцкого техникума. А что, товарищ Колесниченко, хороший пруд! Подумаешь, четыре километра...

Вот это да! Все даже примолкли. Взгляды, устремлённые на Колесниченко, были красноречивее слов: не томи, соглашайся, смотри, как всё хорошо получается...

— А на плотину мы бы камни межевые свезли, — неуверенно предложил Антон Ковальчук. — Видели вы, товарищ Колесниченко, какие у нас в поле межевые камни большие? Я всё думаю: какой дурак их на поле волок!

— Хорошая плотина будет, — задумчиво согласился Колесниченко.

Ожидание стало невыносимым: межевые камни свезти на строительство колхозной плотины — в этом было что-то символическое. Крестьяне не знали этого слова. Колесниченко улыбнулся, махнул рукой.

— Будет и пруд, берите!..

Ионел беспомощно разводил руками — его не слушали. Кто аплодировал горячо, беззаветно — это прежде всего наши ребята, молодёжь, кто возбуждённо и радостно делился своими соображениями, не слыша собственного голоса в общем шуме. Антон Ковальчук пробовал даже приплясывать, положив руки на плечи соседям, как в молдавеняске, и что-то старательно выделывая ногами в безнадежной тесноте.

Удалось наконец добиться какого-то порядка. Гандрабура, словно только и ждал минуты тишины, поднялся, швырнул зачем-то оземь сорванную с головы кушму.

— Пиши! — крикнул он, весело оглядываясь на удивлённого Сашко. — Пиши меня в колхоз, председатель! Сдаю лошадь, плуг, каруцу исправную...

Сашко хохотал. Радостно смеялся, сочувственно поглядывая на Илью, Колесниченко. Идёт социализм в Молдавию — и так же, как и десять лет назад по ту сторону Днестра, распахиваются перед ним в Бессарабии человеческие сердца!

...А на улице давно уже яркое утро сменилось сияющим днём, и день отошёл, сменившись прохладным вечером.

Из сельсовета, с наслаждением вдыхая свежий воздух, вышли затёпавшиеся, голодные, очень довольные левкауцкие студенты. Вышли, удивились:

— Что спать не идёте, мош Бонарь?

Бонарь одиноко, в нерешительности стоял у ворот, не сразу ответил:

— Может, пойти всё-таки в этот колхоз? Куда же я без людей? Хожу-хожу тут...

— А вы пойдите, ничего...

— Может, и правда, пойти? Прокопий чуть из дому не гонит: осрамил, говорит, перед всем народом. Это отцу-то родному, а?

— Ничего, бывает...

— Мне, старому, обидно...

— Ничего!..

На обратном пути луна то пыталась заглянуть в лицо, то как будто отставала. Ребята шли позади девочек, деловито разговаривали о своём: всё-таки и они, агитаторы, поработали неплохо.

Марица, прислушиваясь к их разговору, боялась оглянуться. Каждый раз встречала она какой-то странный взгляд Ильи — серьёзный, приглядывающийся, — или это лунный свет обманывал? Впервые в жизни шли они с Ильёй вот так — вместе, в большой группе людей, объединённых большим и общим чувством, думающих об одном... А о чём же думает она сама, Марица? Гриша сегодня об отце её, кулаке Бахчеване, очень резко сказал...

— Давай всегда с мальчиками в село ходить, ладно? — оглядываясь назад и прижимаясь к её плечу, шепнула Аникуца.

Марица, опустив голову, тихо откликнулась:

— Я знаю?

8. Что такое счастье?

Это был необыкновенный человек — суровый, волевой, неподкупный. Он отказался от любви дорогой ему девушки, так как эта любовь помешала бы ему всей душой отдаться революции. Когда рабочие впервые вышли на первомайскую демонстрацию, он шёл впереди них, высоко над головой поднимая знамя своей партии. Солдатские штыки преградили ему дорогу — он пошёл навстречу смерти непреклонно и гордо, потому что так нужно было русской революции. Друг хотел заслонить его своим телом, но он отстранил своего друга с дороги. «Знамя должно быть впереди!» — гневно закричал он. А как говорил он это своё последнее слово на суде!

Костик закрывал глаза и видел перед собой сильную, гибкую фигуру Павла Власова, его красивое волевое лицо, его глаза, горевшие вызовом, пламенной верой. «Человек партии — я признаю только суд моей партии...» Как это прекрасно — всю свою жизнь посвятить большому, благородному делу!

Жизнь шла в напряжённой учёбе, в тихих занятиях по вечерам, в многочисленных собраниях, в душевных беседах. Иногда казалось, что она идёт стороной. Она не шла стороной. Рядом с Костей сидели за ученической партой такие же, как он, дети молдавских крестьян, перед ними, как и перед всей советской молодёжью, лежал прямой, как стрелка, путь. Кончит он техникум, будет специалистом; громадные колхозные стада, буйные табуны, могучие отары — всё это пройдёт через его руки. Мало! Чего он хотел? Костик и сам затруднился бы это сказать, но твёрдо чувствовал только одно: этой спокойной, полезной для общества жизни ему было мало, мало! Он был очень молод — может быть, в этом было всё дело?

Костик не знал, что именно с романа «Мать» у многих бессарабских подпольщиков начиналась их революционная биография, что эту книгу новичку предлагали с первой-второй встречи: тронет ли она, всколыхнёт ли его душу? Костя перечитывал по нескольку раз одну и ту же страницу, над некоторыми плакал, скрываясь от товарищей, вглядывался в отдельные строчки, забывшись, трогал их пальцами, пытаясь понять, в чём скрытая сила напечатанных на бумаге слов. Иногда останавливал Ваню: «Смотри, как замечательно написано...» Ваня быстро прочитывал, изумлённо соглашался: «А правда — здорово!» Но Ваня был человеком совсем иного склада: книжное слово возбуждало его на миг и тут же забывалось. Самым увлекательным для него прежде всего оставалось живое, деятельное общение с людьми.

Костик провожал товарища добрым, понимающим взглядом. Что он

должен сделать — необыкновенное, большое, — чтобы выразить людям громадную свою любовь? Ребята хорошо относятся к Косте, обращаются к нему охотно, уважительно, с едва уловимым оттенком ласковой насмешки; он лучший ученик, хороший товарищ, скромный человек, охотно поможет, если обратиться к нему за помощью и советом, — всё? Ничего они все не знают про Костю, ничего!..

Если бы спросили Костю, счастлив ли он, он затруднился бы ответом. Можно ли считать себя счастливым, чувствуя такую мучительную неудовлетворённость, такое душевное изнеможение от сознания собственных нераскрытых сил, живя лишь предчувствием каких-то больших, настоящих чувств, необычных событий?

Весна обрушилась на всех нас внезапно, словно стихийное бедствие. Это была настоящая южная весна с соловьиными трелями в шелестящем парке, с ленивой дремотой затаившегося в низине пруда, с густыми, томными вечерами, из которых, конечно, нельзя потерять ни одного. Спорить с такой весной бессмысленно. Ворвавшись в класс через распахнутые настежь окна, она вносит туда вечерние ароматы и шорохи, шелестит страницами, треплет волосы бедных студентов ласковой, прохладной ладонью. Она ведёт себя, как расшалившаяся девчонка, уверенная в своём очаровании и силе. Гриша с трудом отрывает от окна мечтательный, строгий взгляд.

— Где Илья, кто знает?

— С Клавдией Алексеевной ушёл, — негромко откликается Прозоровский. — Кажется, в Левкауцы — я знаю?..

— Молодец, — вздыхает Гриша — Лучше нас всех работает. Мэй, ребята, кто со мной — наших агитаторов встречать?

Ребята поднимают головы, переглядываются.

— Вот надумал, — ворчит Тимофей Тетеля. — Завтра письменная, а ему гулять! Хорошо тебе...

— В самом деле — письменная завтра, — с сомнением говорит Прозоровский.

— Вставай, Ванюша, — тормозит Гриша Ведеша — Идём, Костик, ничего. Что мы, письменных никогда не писали? Вера Михайловна, вы не пойдёте, конечно...

— Я не пойду, конечно! Что я — не человек, что ли?

Мы покидаем класс, почти крадучись: совесть наша всё же не вполне спокойна, надо прямо сказать! Оставшиеся смотрят нам вслед с завистью, не очень доброжелательно. Когда мы спускаемся по лестнице, нас, громяхая по чугунным ступенькам, нагоняет Котогой.

— Что? — насмешливо спрашивает Гриша.

— Не могу, — мрачно отвечает Котогой. Мотивировка у него всё та же: «Что я — не человек, что ли?..»

Конечно, ни одна прогулка не может обойтись без Алёши Мунтяна, во всяком случае сам он в этом глубоко убеждён. Он идёт впереди, приплясывая на ходу, и ребята подпевают ему, качая в такт головами:

Марицэ, Марицэ,
Тынэрэ фетицэ..
Еу м'аш ындурэ
Ши те-аш сэрута...¹

¹ Марица, Марица,
Молодая девица..
Как бы я тебя жалел,
Как бы целовал...

— Черти, крикуны! — расстраивается Гриша.— За этим я вас звал? Соловья спугнули .

— Рота, стой! — командует Мунтян — На меня равняйся! — И валится на землю, выше головы закидывая ноги в неуклюжих боканчах. Закружился, поплыл небесный свод над запрокинутой головой. Мунтян притих, потом вздохнул:

— Оф, дурни мы, надо было девочек с собой пригласить...

— Разве они пойдут? — откликается Гриша.— Они же зубрилки! Монашки, я говорю...

Словно задремавшее овечьё стадо сбилось плечом к плечу — теснятся до самого горизонта округлые спины холмов, повитые лёгкой пеленою тумана. Впереди, под ногами, за дремлющим прудом поблёскивает серебристая крыша главного корпуса.

Мигнул и погас в одном из классов последний огонёк.

— Тетеля к письменной приготовился, — усмехнулся Гриша.

— Ты не смейся,— серьёзно возразили ему,— смеяться завтра будем...

— А зачем шли?

— Усидишь тут...

Медленно поворачивается небесный свод вокруг притихшей земли. Какая она маленькая, какая она тёплая и обжитая, наша земля! Хочется прижаться к ней щекой и косо, как младенец у материнской груди, доверчиво следить за величественным движением вселенной...

Молодость — дорогая одежда,
Много бы я дал, чтоб она не порвалась.
Идут дни, иду и я с ними,
Старею, грустно мне...

Неторопливо, задумчиво разворачивает песню Мунтян.

Есть одна девушка на свете — молчаливая, с тихой улыбкой, с серьёзным, внимательным взглядом... Кажется, жизнь отдать, чтобы только приклонила головку к плечу, сказала бы доверчиво, как другу, о чём она думает целыми днями. Взглянула бы ласково!. С тех самых пор не смотрит. Всё безразлично ей — здесь ты или нет тебя, с кем и куда ты идёшь, чему ты смеёшься с другими...

Старость — одежда тяжёлая,
Много бы я дал, чтоб её сбросить.
Идут дни, иду и я с ними,
Старею, грустно мне...

— А что — я вот думаю, думаю, — звенит напряжённый гришин голос, — что это такое — счастье? Говорят «счастье», — оживлённо продолжает он, поворачиваясь на локте, — а спросить Ну, хоть кого угодно спросите: «Счастливый ты?» Он скажет: «Нет, не счастливый...» Вот Которой — ты счастливый?

— Мне всё чего-то нехватает, всё нехватает чего-то, не знаю, — смущённо улыбается Сёма.

— Он вчера всю стипендию Поштарю проспорил, какое уж его счастье! — небрежно бросает Мунтян.

— Глупый ты, — с досадой говорит Гриша — Голос у тебя хороший, а сам ты — глупый .

— Был бы у меня такой голос, я бы счастливый был, нет? — вторит Ваня.

Умереть бы — так смерть не идёт,
Жить бы — так не с кем.

Идут дни, иду и я с ними,
Старею, грустно мне...

Маркс написал в своём гимназическом сочинении: «Опыт считает самым счастливым того, кто сделал счастливыми наибольшее число людей». Эти слова мне и вспоминаются сейчас.

— Нет, я не об этом говорю,— помедлив, возражает Гриша.— Я не о том, что для других надо счастья добиваться, я о маленьком счастье — для себя...

— А такого не бывает,— тихо вставляет Прозоровский.

Гриша быстро оборачивается к нему.

— Глупости! Почему не бывает?

— Не бывает! — Костик пожимает плечами, спорить ему не хочется.

— Вера Михайловна, пусть он скажет — почему не бывает?

Мне, собственно, спорить тоже не хочется. Я говорю то, что думаю: счастье, по-моему, это полная отдача себя, это раскрытие всех внутренних сил, всех возможностей человека.

На сколько я их старше — на три-четыре года? Есть вопросы, в которых важно только одно — жизненный опыт. Ребята смотрят недоверчиво.

— Как это?

— Просто! Когда проявит человек всё, что в нём заложено: весь свой разум, способности, силы — всё проявит, раскроет, отдаст,— лишь тогда удовлетворён он и счастлив. Когда почувствует, что ничего не осталось в нём не понятого другими, не нужного другим. А кому это «другим»? Людям!

— Людям!..— задумчиво откликается Костик.

Гриша молчит, молчат другие ребята. Потом Гриша говорит упрямо:

— Я не об этом...

— Об этом, Гриша...

— Не об этом. Я о маленьком счастье, для себя!..

— Мать Павла Власова пожалела одну девушку-революционерку,— говорит по-молдавски Костик. — «Бедная вы моя, — говорит, — матери у вас нет, пожалеть вас некому...» — «Я не бедная, — отвечает она, — я очень счастливая. Если бы вы знали, какое великое дело делаем мы!» А девушка эта от богатого отца ушла, в тюрьмах сидела...

— О чём он, ребята?

— Он всё об этой книжке, о «Матери», — с мягкой усмешкой откликается Ваня.

Надолго замолчали, прислушиваясь к грустной, задумчивой мелодии.

Идут дни, иду и я с ними,
Старею, грустно мне...

— Нет, не понимаю,— опять начинает Гриша.— Как это можно: в тюрьме сидеть, голодать и всё-таки чувствовать себя счастливым? Это вы, наверное, не голодали никогда, а нам, слава богу, приходилось...

— И при чём это здесь? — вступается Котогой.

— Не знаю... Этим революционерам, которые голодовки объявляли в тюрьмах, хотелось им есть? Хотелось!

— Хотелось, конечно!

— Ну, и всё. Что вы мне говорите, что говорите? — вспыхивает Гриша.— Какой человек счастливее — голодный или сытый? Сытый, верно?

— А тебя покормить — и ты уже счастливый будешь? — набрасываются на Гришу товарищи.— Нет, не будешь? Вот дадут на обед вместо фасоли свинину жареную — и ты уже себя счастливым объявишь? Нет?

— Ну, нет, конечно...

— И всё,— в тон Грише говорит Котогой.

— И что? — недоумевает Гриша.

— И ничего,— так же победоносно отвечает Сёма.

Оба смотрят друг на друга непримиримо и в то же время растерянно: нить спора безнадежно потерялась.

— А если дать человеку возможность безгранично развивать свои способности,— настойчиво продолжаю я,— освободить его от заботы о куске хлеба насущного, гарантировать конституцией право на труд, на образование, на отдых...

— Он будет счастлив? — возмущённо перебивает Гриша.— Неверно! А ему любимая женщина изменит — и всё... Вот вам и счастье!..

— Ай, какая эта любимая женщина несознательная...— невольно смеются ребята.

Костик умоляюще восклицает:

— Ребята, серьёзно!

— Нет, что, в самом деле, с несознательными женщинами делать? — смеётся Ваня.

Гриша смотрит на него с яростью.

— Смеёшься? Вера Михайловна, серьёзно! Ведь человеку для счастья не только общественная жизнь нужна — нужна ему любовь, семья... Не нужна разве?

— Кто же спорит? Конечно, нужна.

— Ну?

— Любовь всё-таки действительно не подчиняется конституции, — пробую я пошутить и тут же встречаю быстрый, яростный взгляд Гриши: шутить нельзя.— Ты не сердись, я серьёзно говорю. Не подчиняется конституции любовь. И при коммунизме, наверное, человек будет мучиться от неразделённой любви, терять близких, будет знать сомнение в своих силах, страдать от неудач — всё это будет. Что делать, от этого никуда не денешься...

— Видите!

— Ничего я не вижу. И всё-таки коммунизм — самый справедливый строй. Почему? Потому что он даёт человеку возможность — понимаешь, возможность! — предельно раскрыть свои силы, не думая о куске хлеба насущного, не заботясь о завтрашнем дне. Потому что он ставит перед человеком такие цели, в сиянии которых меркнут, забываются личные неудачи. Чем больше цель, которую ставит перед собой человек, тем твёрже он стоит на ногах...

— Это верно!

— А ты о маленьком счастье толкуешь, для себя... Оно неустойчивое, ненастоящее, если для себя только...

Молодость — дорогая одежда,

Дорого бы я дал, чтоб она не порвалась.

Идут дни, иду и я с ними...

— Григорий! — тихо восклицает Сёма. — А как же комсомол?

— Я разве отказываюсь от чего-нибудь? — поднимает голову Гриша.— Мне бы сейчас сказали: умри, Григорий, чтоб завтра мировая революция победила,— я умру, не скажу ни слова. Или — пусть меня мучают, в тюрьме гноят, я на это раз и навсегда пошёл. Вера Михайловна, я вот за что: я за то, чтоб у человека было и большое и маленькое счастье, а?

Я засмеялась.

— Я тоже!

Гриша перевернулся на спину, торжествующе воскликнул:

— Договорились! Вы, Вера Михайловна, не очень радуйтесь: я ещё буду думать!

— Думай.

Все мы знаем, что на гришином языке значат слова «буду ещё думать». В последнее время они могут значить только одно: об этом мы ещё поговорим с Аникуцей.

Гриша сам недоумевал иногда: что в ней есть, в этой простенькой, бесхитростной девочке, чем она так его к себе привязала? Вечерами, провожая её до дормитора, ревниво приглядывался к ней: обыкновенная, красота ведь немного...

Анюта задумалась, глядя на носки своих тяжёлых, шаркающих по камню башмаков. Пальцы её лежат в его горячей ладони... С неожиданной нежностью и умилением Гриша сжимает эти жёсткие, спокойные пальцы. «Господи, что это? — думает он. — Горит, горит, как светлячок, тихим, ровным таким огоньком...»

— Анюта, — чуть дрогнувшим голосом тихо окликает он, — маленькая, о чём ты думаешь сейчас?

Анюта тыльной стороной ладони смахнула со лба светлую прядку волос, доверчиво взглянула на Гришу.

— Знаешь, мне девочки не верят, что мы с тобой так ходим...

Гриша нахмурился.

— То есть?

Аникуца снова взглянула — спокойно, доверчиво.

— Ты понимаешь...

Гриша понял, конечно. Он и сам часто думал: никто никогда не дружил так, как они с Аникуцей. Парень из молдавского села, он прекрасно знал, как относятся обычно крестьянские парни к девушкам, видел прямолинейность и грубость их отношений. Откуда взялось то, что было между ним и Анютой: чистота помыслов, та полная душевная открытость, которую и с юношей-товарищем Грише не довелось испытать? Ещё ни разу не видел он между девушкой и юношей подобной дружбы. Всё рассказать им — они засмеются: ведёт даром время, разиня, разве с девушками так нужно? Или нет, не засмеются, пожалуй. Они ведь видят, а не смеются, не удивляются, даже завидуют — они все теперь какие-то другие стали...

Гриша сказал неожиданно, и голос его пресекся:

— Ты, может, думаешь, я не человек... Думаешь, мне тебя поцеловать не хочется?..

Он и сам похолодел от этих невольно сорвавшихся слов, даже капельки пота выступили у него на лбу. Вот и всё! Вот и конец их необыкновенной, такой... ну, словом, такой необыкновенной дружбе. Всё. Он не решился взглянуть на Аникуцу, потом решил, взглянул: глядя в сторону, она тихо смеялась.

Гриша стиснул её пальцы.

— Ты что?

Анюта глубоко вздохнула, медленно повернулась к нему, неожиданным мягким движением охватила его шею; прикрыв глаза, прижалась губами к его губам.

— Ну вот, — сказала она, оторвавшись, — вот и всё...

Никогда её лицо не было таким красивым, как сейчас, в голубоватом лунном свете, таким чистым и тонким. Глаза её смеялись и были сейчас такие глубокие, такие сияющие — ни у одной красавицы на свете не было таких глаз. Гриша молчал, не отводя от неё взволнованного взгляда. Вот она вся, и нет человека на свете дороже и ближе...

9. Впервые вместе

Когда прежде в Молдавии замечали весну? Запавшие от голода глаза детишек — вот что такое была весна. Неотступная забота о том, как достать семян для посева, где раздобыть кукурузы до следующего урожая. И запах, томящий запах раскрытой земли — не своей земли! Для молдавского бедняка он всегда был связан с постылыми ярмарками рабочей силы, с горьким холопым унижением, с тупым безразличием к нищенской своей судьбе ..

Какая необычная была в этот год весна!

В степи, за околицей, мерно тарахтят тракторы, туда тянет неудержимо — если бы не работа! Оживлённо и людно у большого навеса, оставшегося еще от господ Кайсановских, — сюда колхозники стягивают инвентарь. Молодой цыган, с голой грудью и курчавой непокрытой головой, весёлый, потный, опустившись на колени у костра, ловко орудует молотом, помогая себе частыми гортанными вскриками:

— Хоп, хоп, хоп, хоп!

Смуглый полуголый старик помогает ему, с усилием разводя мехи, кося на зрителей смеющимися молодыми глазами. Ещё костёр, ещё крики «хоп, хоп, хоп, хоп!» и частые удары о железо двух горячо заспривших между собою молотов. Пасутся стреноженные лошади у грязных шатров, суетятся пёстро одетые женщины у распряжённых повозок, бегают со смехом и криками дети, красивее которых нет, вероятно, ни у одного народа в мире, с болтающимися на смуглых шеях нательными крестиками, с нематыми физиономиями и всклокоченными волосами, выгоревшими на солнце и светлыми от пыли.

Прибыли они сюда на рассвете. Небывалое в Бессарабии дело: цыгане заключили договор с председателем колхоза. Молдаванин, ещё год назад неграмотный, и старик-цыган, никогда не бравший карандаша в руки, деловито поставили свои подписи на украшенном серпом и молотом бланке.

Кое-кто ворчал на поднявшуюся с прибытием цыган суету, большинство обрадовалось их прибытию, как счастливому предзнаменованию.

— Вот увидите, — говорили крестьяне, — пойдёт у нас дело. Люди худого себе не ищут, а вот — к нам идут. Пойдёт дело!..

Против импровизированной кузни, на просторном дворе Пушкашей, работает оценочная комиссия. За спинами оценочной комиссии, в сарае, сооружают станки для коней, и шорох рубанков, торопливое постукивание плотничьего топора сливаются с громоханием железа у цыганских шатров и перестуком кузнечных молотов. Скрипят груженные зерном каруцы, шумно перетирают жвачку нераспряжённые волю, с морд их почти до земли, густо затрушенной соломой, тянется клейкая слюна

Хозяйка дома, Настёнка Пушкаш, мелькая босыми ногами, то и дело пробегает через двор, награждает мимоходом шлепками своих и чужих ребятишек, шныряющих здесь же, между конскими копытами и воловьими рогами; все звуки на дворе и вокруг перекрывает на мгновение мужественный мальчишеский рёв. Настёнка весело оправдывается:

— Твой и ревёт, Ольга! Он у тебя вовсе пропадёт возле такой матери...

Члены комиссии в этом шуме пытаются сохранить деловую сосредоточенность и даже торжественность и находятся в том приподнятом, возбуждённом состоянии, когда не замечается ни усталость, ни голод.

Вновь прибывающие ревниво заглядывают в списки

— Ковальчук вчера больше всех кричал на собрании, а где он — тот Ковальчук?

— Бонарь здесь! Братцы, Бонарь здесь, вот чудеса! Когда его принять успели?

— Безлошадных много. Смотри, шестьдесят шесть человек пришли, а лошадей — двадцать четыре. Евдоким, ты всех лошадей записал?

— А где Бонаря конь? Ага, вот он! Я уж думал...

— Ты, дядя, меньше думай! — весело советует Семичастный.

Яков Ведеш серьёзно откликается:

— У нас всё верно...

Серьёзен он, как всегда, и, несмотря на окружающую суету, очень спокоен. Его зовут проверить борону — можно её наладить или так и пропала уже та борона, отработала век? Ведеш идёт охотно, трогает проржавленные зубья, опускается на корточки у цыганских костров.

— Как, Онисим, думаешь?

Подъезжали ещё каруцы. Ведеш придирчиво осматривал волов, инвентарь, пересыпал из ладони в ладонь зерно, качал головою.

— Плохое зерно — мелкое, сорное... Ты, Евдоким, зерно не записывай, нам хозяин другое зерно привезёт...

— Яков Васильич, какое есть!

— Ничего, ничего, мы подождём, езжайте...

— Какое есть, Яков Васильич! Да на чёрта ваш колхоз, коли так...

Ведеш отходит, не отвечая. Взгляд его печален и строг: ему стыдно.

Через час крестьянин этот вернётся; всё так же ругаясь и чуть не плача, ссыплет в колхозный амбар хорошее, полноценное зерно.

«Не ошиблись, хороший председатель будет!» — одобрительно приглядываются к Ведешу крестьяне.

А сам Ведеш ни за что не поверил бы, что кажется этим людям спокойным и ровным: был он непривычно взволнован, и если бы его сейчас спросили, чего ему хочется — так вот, для души, для себя лично, — он с удивлением подумал бы, что больше всего хочется ему уйти от людских глаз, совсем немного побыть одному и дать себе волю, поплакать. Много он видел за свою жизнь, холоп помещика Лясковского, очень много обиды и горя...

В редкую тихую минутку Ведеша неизменно тянет туда, где у коновязи переминаются в ожидании колхозные кони. Особняком стоит Король. Кажется, если бы не наивное желание покрасоваться своим гибким и горячим корпусом, ни секунды не находящимся в покое, своей маленькой породистой головой с раздувающимися ноздрями, своей мощной грудью, Король давно бы разрушил ударом копыта пустяковый загончик, куда его временно поставили, и с весёлым ржаньем умчался бы в степь, на которую уже сейчас косится поверх голов загадочным, бешеным взглядом.

— Убежать хочешь? — ласково говорит ему Ведеш. — На что мы тебе, правда? Эх, ребёнок...

Он смело заходит в загончик к Королю, и от уверенных, хозяйских его прикосновений конь затихает и тычется трепетными ноздрями в подставленную ладонь.

— Конюх я, — смущённо улыбается Ведеш окружающим коня крестьянам. — Вся моя жизнь в таких вот красавцах...

Старый Бонарь, не отходящий от Короля ни на шаг, спокойно заглядывает в смягчённое лицо Ведеша.

— Товарищ председатель, — монотонно начинает он каждый раз одно и то же, — отдали бы вы моё заявление назад, а? Товарищ председатель? Право, отдали бы... Не могу я...

Солнце садится. Длинные тени поползли от дома, от надворных строений, стало прохладно и сыро. Застонали колёса, пронзительно завизжали разворачивающиеся каруцы — это волов стали переводить во двор к Герману Думитру. В низких лучах заходящего солнца, наперерез общему

движению, медленно приближалась к воротам Пушкашей длинная, неуклюжая каруца, запряжённая парой круторогих волов. Оттуда что-то кричали встречным, встречные охотно уступали дорогу, взмахивали шапками, тоже что-то кричали вслед.

— Ну вот, — приглядевшись, весело сказала Ольга, — а вы сомневались... Вот и Ковальчуки!

Въехавшие во двор Ковальчуки выглядели необычайно торжественно: сам Антон Ковальчук, раздумавшийся — то ли немножко пьяный, то ли очень весёлый, — в паларии, украшенной алой лентой, в ярко расшитой по груди рубашке, подпоясанной широким зелёным кушаком, и жена его, прямая и строгая, закутанная в огромную солнечно-жёлтую шаль, которая сейчас, на закате, светилась, как медная. И оценочная комиссия и крестьяне, вышедшие из сарая, чтобы поглядеть на Ковальчуков, — при виде этого великолепия все развеселились. Но ещё шумнее и откровеннее стало веселье, когда жена Ковальчука всё с тем же торжественным и важным лицом неуклюже вылезла из каруцы и, обернувшись, достала украшенный лентами глиняный плесский кувшин с изогнутой ручкой. Сам Ковальчук, порывшись на дне каруцы, вынул из соломы румяный пшеничный каравай, похлопал его, как ребёнка, шумно положил на стол перед комиссией.

— А ну, принимайте Ковальчуков со своим хлебом-солью! Пиши, Евдоким, — сдаю пару волов, исправный инвентарь, повозку. Кланяйся, жена, приглашай людей с нами выпить...

Жена Ковальчука истово поцеловалась с Ольгой, подала мужчинам жёсткую, лодочкой сложенную ладонь, поклонилась.

— Вот как по-доброму приехали, — вся светилась Ольга, радостно хлопоча около стола. Степан Кошер, ворча, сдвигал к краю стола бумаги.

— Вы смотрите, Яков Васильевич, — смеялся Морей, — они, может, нарочно нас смазывают. Может, у них борона испорчена или плуг пэ-ржавел?

— А смотрите, ради бога, — беспечно отмахнулся Ковальчук, — у Ковальчуков всё к одному: что борона, что вино, что волы...

— Ты, однако, не очень хвастайся, — усмехнулся Морей.

— О господи, — огорчился Ковальчук, — Яков Васильевич, что вы скажете — хорошие волы?

— Волы хорошие.

— А вино? Вот вы сейчас попробуйте — лучше моего вина во всём Липницком районе нет. Не верите? Кого угодно спросите! Ты моё вино, Евдоким, пил когда-нибудь? — Ковальчук шумно расставлял стаканы — запасливые Ковальчуки и стаканы прихватили с собой. — Пьём, товарищи! Эй, кто там в сарае возится, — пьём! Мы с жинкой гуляем сегодня...

Выпили. Вино, и верно, оказалось хорошим. Может, не лучшим в районе, но хорошим — с этим пришлось согласиться. Ковальчук, самодовольно посмеиваясь, взялся ещё наливать, когда в воротах показался мош Крстати.

Крстати шёл медленно, волоча обёрнутую тряпками ногу, опираясь на толстую клюку. Семичастный уважительно поднялся, подвинул к нему табуретку поближе.

— Что скажете, мош Крстати?

Крстати сел, болезненно сморщился, вытянул впереди себя большую ногу.

— А вот пришёл узнать, — отвечал он, недоверчиво ощупывая лица собравшихся своими маленькими, опухшими глазками, — не примете ли вы в колхоз такого, как я, старого дурня?

Все, кто был за столом, радостно, возбуждённо засмеялись. Ольга, раскрасневшаяся от вина, глядя на старика блестящими глазами, поспешно закивала головой.

— Конечно же, господи...

— Придётся ему за это вина налить! — восхитился Морей. — Антон, ты не спи...

— У него, Виталий Львович, вина нехватит...

— Как нехватит? — ужаснулся Ковальчук, повернулся к каруце. — Как это нехватит? А это видели? — Он отвернул кожушок, и все расхотались, увидев притаившийся там небольшой, литров на шестнадцать бочонок. — Я же говорю — мы с жинкой гуляем сегодня, — очень довольный произведённым эффектом, продолжал Ковальчук. — Пей, Кристиати, хорошее дело надумал — пей... Мы с тобой сегодня в колхозную жизнь вступаем...

Налили и Кристиати.

— Старый я, трудный, — всё так же недоверчиво поглядывая в смеющиеся лица; медленно, с трудом, словно ноги передвигая, подбирал Кристиати слова. — Может, найдётся у вас для меня какая-нибудь поспокойнее работа? А дом забирайте, ну его, дом-то, нам со старухой и каморы хватит...

— Какой дом, мош Кристиати?

— Мой дом — какой! — рассердился Кристиати. — Нужен вам будет дом для колхоза, под какую-нибудь там канцелярию, я знаю? Гай, забирайте мой! Хороший дом, поместительный, чего смотрите? Хороший дом!

...А было с Кристиати так. Вчера, после возвращения с собрания, когда он, расстроенный и злой, грел в тазу с водой распухшие ноги, в окно ему постучал не кто-нибудь, а старик Вайнеску. Сколько живёт мош Кристиати на свете, не помнит он, чтобы Вайнеску хоть раз завернул к его дому.

Вошёл, оглядел просторную касу, видимо удивился: касу свою Кристиати со старухой держали чисто.

— Так и живёте — вдвоём?

— Так и живём, между прочим, — отозвался крестьянин, не спуская с гостя вот так же, как и сейчас с членов комиссии, маленьких недоверчивых глаз.

— Да, времена! — неизвестно почему вздохнул гость. — Смотри-ка ты, и не выгоняли тебя из твоего дома?

— Не выгоняли, а что? — удивился Кристиати. — И Семичастный сколько раз заходил — нет, не говорил ничего...

— Отнимут! — убеждённо сказал Вайнеску. — Теперь отнимут. Теперь этому колхозу непременно будет хороший дом нужен — под правление или как там у них называется, не знаю!..

Кристиати ответил сдержанно, не совсем убеждённо:

— Нет такого закона — отнимать...

— Закон! — даже обрадовался Вайнеску. — Думаешь, что тебе прежние времена? Закон... — Вайнеску выругался. — Слышал, как они со мной насчёт молотилки говорили? Вот тебе и закон... Эти отнимут!..

Старуха поспешила было от печи с рушником в руке, с дымящейся чашкой взвара — Кристиати повёл бровью: не надо, мол... Старуха растерялась.

— Грушек, старик?

— Не надо, сказал я, — громко повторил Кристиати.

— А ты бы поговорил, поговорил нашим мужикам, — словно ничего не заметив, заговорил Вайнеску. — Война, слышно, не за горами, иностранные державы на нас идут... А она такую работу взялись делать: межевые камни в пруд валить, о господи... Как они потом те камни вытягивать будут? Валить-то легко! Вот ты и думай...

Кристати, с нарочитой медлительностью обёртывавший тряпками ногу, приостановился.

— В какой пруд?

— Известно, в какой — в левкауцкий. Участок твой завтра распахивать будут, знаешь? А столб межевой — туда, в пруд, плотину, видишь ли, делать! Рыбки захотели, сволочи! Слышал я, тебя они тоже с собрания попросили — нет? Ну, какие люди, подумать...

Кристати промолчал. Уклончивый взгляд его выражал одно: «Попросишь меня, как же! Я сам кого хочешь попрошу...»

— Фермы хотят завести молочные, ещё какие-то, я ведь не знаю точно, — не дождавшись ответа, продолжал между тем Вайнеску. — Овец каракулевых развести... Овец каракулевых! — Вайнеску опять выругался.

Кристати сдержанно отозвался:

— Ну, не так это просто — овец каракулевых развести...

Он быстро соображал: на собрании Морей сидел, Степан Кошер — люди всё деловые, не пустозвоны; о Колесниченко тоже слова дурные; ещё никто не сказал... Э-эх, Кристати!..

— Разведут! — не замечая изменившегося лица собеседника, продолжал Вайнеску. — Этим что — разведут... Это мы с тобой думаем — как нам жить да кто нам поможет, а этим что! Им сейчас государство для агитации чего хочешь даст, вот как пруд дали — сразу! А... — И Вайнеску вскочил, забегал из угла в угол просторной касы.

Кристати, попрежнему не глядя на него, низко, до самого пола, склонился над своими тряпками.

— А вы, домнуле, — помедлив, осторожно спросил он, — вы ко мне по делу какому-нибудь пришли или, может, так, без настоящего дела?..

Вайнеску остановился, ненавидяще глянул вниз, на широкий, упрямый затылок крестьянина, низко поросший седыми нечёсанными волосами.

— Торопишься, оф, торопишься, Кристати, — вкрадчиво, укоризненно заговорил он. — Нам ведь не завтра умирать. Сколько уж в нашей жизни менялось всё, и ещё переменится — переменится, я тебе говорю, ты ещё мои слова вспомнишь... Сам посуди: куда ты пойдёшь, кроме меня? Куда тебе итти? Ты человек одинокий, больной, я понимаю. Тебе бы сейчас у печи сидеть да огонь помешивать — вот и вся твоя работа... Кому ты нужен? А я бы тебе хоть сейчас — и салца, и маслица, и яичек. То-то! — Вайнеску опустил рядом с Кристати, подмигивая неизвестно кому, так как Кристати попрежнему не смотрел на него; хихикая, толкнул его локтем. — Ты людям-то, людям скажи — обратно столбы межевые трудно, оф, трудно будет поднимать...

... — А то слышал я, — при общем смехе закончил свой рассказ Кристати, — волк овцу однажды жалел: «Ты, — говорит, — беззащитная ты, — говорит, — бедная, держись до меня, я тебя, сироту, приласкаю...» Уговорил меня Вайнеску! — Опухшие глазки Кристати заискрились хитрым старческим смехом. — Я и про дом бы сам не догадался — он надоумил. Берите мой дом, что ж, — нам со старухой на людях и помирать веселее... Трудодни мне за дом положите или так?

Кристати отвёл взгляд в сторону, насторожился.

— Что-нибудь придумаем, старик...

— Придумаете? Ну и ладно! Ну-ка, дрэгунэ, — обернулся он к восьмилетней дочурке Пушкашей, с любопытством прислушивавшейся к разговору, — беги скоренько до моей старухи, скажи: дай, бабуся, старикову скрипку. Я вас, молодых, сейчас поучу веселиться...

И долго в этот вечер усталые, но радостно возбуждённые люди плясали под старенькую скрипочку Кристати, долго слышался со двора

Пушкашей гул голосов, и согласный топот ног, и восторженные стоны цыганского бубна. До поздней ночи, разливаясь по улицам села, звучали над Левкауцами мягкие и задорные мелодии молдавских песен, исполненные лукавства и страсти.

Лéлицо Марио,
Лелицо Марио,
Оф Лелицо, оф, оф, оф!

И хозяйки подолгу медлили, прикрывая ставни, прислушиваясь с улыбкой.

— О, то наши, котовцы...

10. В Лукашах

Что бы ни делали наши ребята — изучали творчество Пушкина или Отечественную войну 1812 года, готовились к контрольной по химии или к зачёту по анатомии, или спорили ночью в степи о том, что такое счастье, — всё это происходило на бессарабской земле, и земля эта — кое-где обобществлённая, разлившаяся сплошным массивом, или ещё исполосованная межами — требовала своего. Шёл апрель; в апреле она должна была зеленеть нежными всходами озими, дымиться под паром. Земля! Крестьянский юноша может мечтать о Тимирязевской академии, о московских улицах и библиотеках, — выйдя в поле, он с тревогой присматривается к земле: тепла ли она, влажна ли, мягко ли взбита бережными крестьянскими руками. И опять, как и осенью, пополз тревожный слух: кулаки саботируют посев, пугают крестьян близкой войной. Нельзя успокаиваться: борьба идёт за сознание каждого крестьянина, за каждый вершок ещё не обработанной, не распаханной земли. На этот раз сами ребята затормозили Седова.

Сашко пришёл к нему хмурый, озабоченный, положил Седову на стол развёрнутый лист «Молдова социалистэ».

— Пора нам, Сергей Викторович, по сёлам собираться...

— Агитировать?

— Агитировать. Смотрите, Лукаши...

Заметка была подписана «В. Сашко». Василий коротко сообщал о небывалом энтузиазме трудового крестьянства, о том, что село Лукаши берёт пример с Левкауц и осень сорок первого года думает тоже встречать по-колхозному. Сообщал и о трудностях: о нехватке рабочего инвентаря, о саботаже кулака Бахчевана.

— И чего государство возится с такими, как Бахчеван? — удивился Илья. — Я бы этого гада...

Седов что-то хотел сказать, промолчал, потом всё-таки сказал осторожно:

— Так ты же его боишься...

— Я боюсь? — Сашко даже задохнулся и внезапно побагровел. Господи, он, Илья, уже забыл, а Сергей Викторович всё помнит.

— Никого я не боюсь, — как можно спокойнее сказал Сашко. — Вы пустите меня в Лукаши — хоть одного, хоть с ребятами. У меня уже есть опыт с кулаками разговаривать, Сергей Викторович, правда...

Сергей Викторович согласился. Дело там, конечно, не в одном Бахчеване, и ещё кое-кого потревожить придётся, пусть, в самом деле, Сашко наберёт бригаду...

Бригаду Сашко подобрал быстро: конечно, Ведеш, конечно, Гончарюк, Котогой, Беженарь, ещё полдесятка мальчишек. Гриша предупредил: «Аникуца тоже пойдёт!» Сашко радостно удивился: «Вот какие у нас девочки стали!»

На следующий день, когда бригада столпилась у крыльца и обеспокоенно поглядывала на пасмурное, обложенное тучами небо, случилось то, чего никто не ожидал: вместе с Аникуцей от девичьего dormитора подошла Марица.

Ребята молча переглянулись. Марица приближалась энергичной, быстрой походкой, махая перед собой руками, глаза её были опущены, губы сжаты. Остановившись перед Сашко и не поднимая глаз, Марица глухо сказала:

— Я тоже псйду...

На какое-то мгновение Сашко захотелось послать всё их предприятие к чёрту. Что он должен был сделать: отказать ей? Угадывая его колебания, Марица коротко глянула на него из-под белого, обматывающего голову платка.

— Я не буду мешать, ну...

Сашко ничего не ответил, повернулся, пошёл, вслед за ним двинулась вся бригада. Котогой нерешительно сказал:

— Девочкам бы лошадь надо, что ли? Итти-то далеко...

Аникуца благодарно отозвалась:

— Не надо, что ты...

Марица точно не расслышала, не повернула головы; всё с теми же упрямо сведёнными бровями, с опущенными глазами решительно двинулась за Сашко.

Котогой всё-таки отстал, километра через два нагнал ребят на тарахтящей каруце.

— У Заболотного едва выпросил! — ликующе кричал он издали. — Тпру! Садитесь, девчата. А ну, хлопцы, кто? Ещё двоих возьму, больше не потянет...

Когда каруца отъехала на порядочное расстояние, ребята дали себе волю. Большинство осуждало Марицу.

— Ну, зачем она впуталась, только руки свяжет. С Бахчеваном и так разговаривать несладко.

Гриша неожиданно заступился за Марицу.

— Надо человеку — вот он и идёт, — сердито возразил он. — Что мы про неё знаем? Ничего не знаем толком. А она, смотрите, какая в последнее время стала...

Ребята согласились. Марица в последнее время очень изменилась, независимее стала, суше. Кто её знает — может, это ей, действительно, нужно: посмотреть, как отец её разговаривает с советской властью.

— Зачем вы Марицу взяли с собой? — негромко и сердито выговаривал Василий брату, провожая бригаду к дому Бахчевана. — Такое у вас дело важное — политическое! — а вы...

— Ладно, взяли уж, — примирительно пробормотал Сашко.

— Симпатиченькая, я понимаю...

— Ладно!

Когда за высоким, грубой кладки каменным забором знакомым лаем залилась собака, когда залязгали изнутри запоры на калитке, Марица заметно побледнела, и всем, кто решился в это время заглянуть ей в лицо, стало до боли жаль её. Бахчеван приоткрыл калитку, помедлил, загоразивая дорогу, но, увидев Марицу, подался назад. Молча, не здороваясь, не поднимая глаз, Марица прошла в родной дом; за ней, тоже молча, последовали остальные.

Ничего за это время не изменилось в просторной горнице с горами подушек на сундуках, с киотом в углу и с неизменными полосатыми домотканными дорожками на стенах. Так же, как и несколько месяцев назад, нежно склонялись друг к другу влюблённые на скреплённых веерами открытках. Тот же освещающий стеклом на стене диплом

Липницкой сельскохозяйственной выставки 1936 года, те же покрытые жёсткими коврами скамьи, тот же кусок деревянной улицы за глухим, никогда не открывающимся оконцем, и цементированный колодец, и грубо раскрашенный петух на деревянном распятии. Так и могла пройти вся жизнь, подумать только! Марица вздрогнула: за спиной Бахчевана встала в дверях, подбоченившись и выпятив жирную грудь, вдова Гарбулица, которую взял себе Бахчеван за хозяйку, спокойно и нагло переводила заинтересованный взгляд с одного лица на другое.

Бахчеван тяжело двинулся от дверей к столу.

— Что ж, здравствуйте, гости дорогие! Здравствуй, доченька! Угощать прикажете или как?

Все ждали, что ответит Марица, но она сидела в углу на сундуке смертельно бледная и не говорила ни слова. Тогда Гриша ответил немногословно:

— Угощать не надо.

— Та-ак, — крикнул Бахчеван.

Сел, выжидательно поглаживая широко расставленные колени. Молчание затягивалось, становилось неловким.

Заговорил Илья. Он говорил, насупив брови, горячо, непримиримо, Бахчеван слушал его с возраставшим недоумением. Увидев в калитке молчаливую и, как ему показалось, виновато склонившуюся дочь, Бахчеван не сомневался, что разговор будет идти именно о ней — о её содержании, или о возвращении домой, или, на худой конец, о замужестве. То, о чём говорил Илья, Бахчеван даже не сразу понял. Весенняя вспашка, посев яровых — ах, вот куда поворачивают эти, как их, молодые товарищи! Посев их касается, как же.. Касается их, сколько он, хозяин Бахчеван, земли засеет! Холодное бешенство сдавило Бахчевану горло. Отыскали агитаторов! Осенью это отродье и подойти к его дому не смело, чуяла кошка, чьё мясо съела, а теперь... Бахчеван властно повёл рукой.

— Ладно, ты, Сашко, помалкивай, я тебя знать не хочу, — жёстко сказал он. — Я вот слышать хочу, что моя доченька любимая скажет, с чем она к отцу своему пожаловала — в полгода раз...

Марица молчала. Она смотрела из угла страдальчески расширенными, полными слёз глазами и молчала, не в силах произнести ни слова.

— Молчит! — возмущённо закричала Гарбулица и, вывернувшись из-за Бахчевана, тряхнув жирной грудью, пошла прямо на Марицу. — Молчит, бесстыжая! Отца бесчестить, дом позорить — это она умеет, ах ты... Она говорить не умеет!

— Молчать! — стукнул кулаком по столу Бахчеван, и непонятно было, к кому относится это восклицание, так как все, кроме Гарбулицы, молчали, только ребята подались ближе к Марице. — Молчать! — повторил Бахчеван и коротко кивнул дочери: — Говори!

— Оф, тата... — тихо простонала Марица и, закрыв лицо руками, отрицательно затрясла головой. Бахчеван смотрел на неё неотрывно, жёстко.

— Ну за чем-нибудь пришла же, — выжидательно сказал он, — просить о чём-нибудь? Ну? Молчать! — прикрикнул он опять на открывшую было рот Гарбулицу. — Ну, Марица?

Марица опустила руки, через силу прошептала:

— Не просить.

— Оставьте вы её! — не сводя с Бахчевана ненавидящих глаз, тихо воскликнула Аникуца.

Бахчеван сжал пальцы в кулаки, сдержался, бешено взглянул на дочь.

— Говори!

— Оставьте её! — бледнея, как и Марица, настойчиво повторила Аникуца. — Она так пришла, с нами...

Марица, не поднимая глаз, кивнула головой: правда, она так пришла, с ребятами.

— Оставьте, тата...

— Оставить? — даже задохнулся Бахчеван. — Я — оставить? Я, родной отец, её оставить должен? Она там бог знает с кем будет валяться, в этом вашем, с позволения сказать, учебном заведении, — Бахчеван грубо выругался, — а мне это всё равно, я её оставить должен? Ну, извините...

Бахчеван двинулся к дочери. Ребята вскочили.

— Стойте! — встревоженно крикнула Аникуца. — Марица, ты что-то сказать хочешь?

Губы Марицы беззвучно шевелились.

— А ему не всё равно, — с трудом произнесла она.

Теперь уже не только каждый из ребят, но и сама Марица понимала, что пришла она сюда напрасно.

— Это он твой любовник, да? — кричал Бахчеван, указывая на Сашку дрожащим пальцем. — Ты от Заболотного к этому ушла, да? К сопляку, мальчишке! Или, может, к этому? К этому? Ну, признавайся...

— Как вам не стыдно! — воскликнула Аникуца, но, взглянув на подругу, замолчала. Лицо Марицы было неузнаваемо, такой горело оно сосредоточенной, до конца осознавшей себя ненавистью. Потемневшие, сузившиеся глаза её отталкивали от себя и дом этот с тусклыми, никогда не открывающимися оконцами, с его постылой озлобленностью и скукой, и жалкого, беснующегося отца, и чужую наглую бабу за его плечами, — здесь, за этими оконцами, могла вся жизнь пройти, подумать страшно!.. Сашку, который за минуту перед тем готов был выгораживать Марицу и клясться, молча взял её за руку, потянул за собою.

— Пойдём! Тут такого наслушаешься — всю жизнь не отплюёшься. Пойдём, хватит!..

Марица пёкорно двинулась за ним, не сводя с отца полного боли и недоумения взгляда. Илья, пропустив вперёд ребят и Марицу, задержался в дверях, непринуждённо прислонился к притолоке.

— А сеять вам всё-таки придётся, домнұле Бахчеван, — сообщил он хозяину и даже попытался дипломатически улыбнуться. — Знаете, придётся сеять! — Он не выдержал, потемнел, шагнул к Бахчевану. — Мы не Марицу вам показывать приводили, понимать надо, чёрт бы вас побрал совсем! Придётся сеять! У, сидят тут... недобитые сволочи! Подождите! Где в Советском Союзе кулаки? Нет их!

Его не слушали. Гарбулица махала кулаками у него перед носом, пытаясь достать Марицу, Бахчеван кричал, не слушая: «Я по нынешним временам не хозяин, нет, с неё спрашивайте! Ты её любовник, да? Это ты хозяин, что же, все вы хозяева, так вас...» — и кидал под ноги Илье какие-то ключи. Он выбрасывал их из кармана, срывал со стенки. Ребята, не говоря ни слова, отжимались в сени, увлекая за собой Марицу.

— Пойдём, — тянул Гриша Илья. — Думаешь, он не понимает ничего? Посеет! В тюрьме ему хочется сидеть, судиться? Посеет, я тебе говорю, ну его к чёрту!..

На дворе было совсем темно, тихо моросил тёплый весенний дождь. Прошли несколько шагов вниз по улице, и Марица, которую Илья опять взял за руку, вдруг зарыдала, прижимаясь лбом к его плечу.

— О господи, господи!..

Ребята остановились. Сашко нетерпеливо и сконфуженно махнул им рукой.

— Ступайте!..

Ребята пошли вперёд быстро, не оглядываясь. Сашко притянул к себе худые, дрожащие от рыданий плечи Марицы. Он пытался поднять ей голову, заглянуть в глаза, но она трясла головой, давилась слезами и так прижималась к Сашко, точно пыталась на груди его спрятаться от обиды и горя. Никогда в жизни Илья не испытывал такого острого чувства жалости и нежности. Он и сам не замечал, что осторожно касается губами платка и влажных, выбившихся из-под платка волос.

— Марица! Илья! Марица-а! — донёсся с порывом ветра голос Анюты. Впереди на дороге темнела каруца. Марица подняла на Илью умоляющий взгляд, и он понял её без единого слова: ей ничего сейчас не нужно было, только побыть бы с ним вот так ещё немножко! Они не сказали друг другу ни слова, даже не взглянули больше друг на друга, но, точно по взаимному уговору, схватились за руки и, увязая в чернозёме и спотыкаясь, кинулись в сторону от дороги, в открытое поле, в темноту, в мелкий морозящий дождь.

11. Тревога

Петя Галецкий лениво прислушивается к редким звукам, нарушающим дремотную тишину праздничного полудня. Между коленями у него зажато деревянное макетное ружьё, на рукаве — красная повязка.

Тихо. Все ушли на первомайскую демонстрацию в Левкауцы. Обратное, наверное, мало кто вернётся, разойдутся по домам на два праздничных дня. И бричанские уйдут, конечно... А Петя сиди, дежурь, пугай недобрых людей этой вот деревяшкой. Лучше было бы охотничью берданку взять, но берданку Сергей Викторович никому не даёт. Он и макетных винтовок никому не даёт, но тут уж Петя настоял на своём: что, в самом деле, за дежурство — с пустыми руками... Седов посмеялся, уступил: дежурь, говорит, получше, знаешь, какая теперь международная обстановка сложная.

Вчера был торжественный вечер, премировали лучших учеников книгами. Петя тоже выходил на сцену, и ему много хлопали, и было неловко как-то, даже щёки горели: будто и в самом деле что-нибудь особенное делал. Учился! Вот они лежат рядом, в траве, чтобы не выгорали на солнце — голубые, красные, серые, — первые собственные книжки в жизни! Не в дормиторе же их пустом оставлять!..

Хорошо погуляли вчера, весело! Много танцевали, пили вино у Ицека в буфете. Клавдия Алексеевна вдруг потащила ребят на улицу, учила их какой-то советской игре. Надо парами стоять и кричать: «Гори, гори ясно», что-то в этом роде, а потом двое бегут в разные стороны и их ловят. Девчонки визжали и смеялись, как сумасшедшие. Петя бежал с Пачикой, и она тоже визжала, а когда он поймал её наконец и захотел поцеловать — темно, всё равно никто не увидит, — Пачика вдруг сделала испуганные глаза и торопливо шепнула: «Я вот Клавдии Алексеевне скажу, не лезь...» Петя не дурак, он поцеловал куда-то, в ухо, кажется, а Пачика вырвалась, толкнула его изо всех сил и, пригнувшись, побежала на место. Девчонка ещё! Ну, Клавдии Алексеевне не пожаловалась всё-таки...

Оф, какая жара, и тишина какая! Только что-то звенит, звенит в воздухе. Пробегает собака с высунутым дрожащим языком. «Вот кабы бешеная, — дремотно думает Петя — сейчас бы шум поднялся, суета». Очень хочется суеты и шума.

От пруда, тяжело опираясь то на одно, то на другое колено, поднимается дядя Миша и проникновенно, со вкусом ругается. Лицо у него усталое, красное, довольное. Вслед за ним так же тяжело поднимается Настя с блуждающей, счастливой улыбкой на губах. «Выпили», — догадывается Петя.

Вчера дядю Мишу тоже очень хвалили — здорово, говорят, работает у себя на конюшне. Ну, это верно, все знают: здорово. Премировали его отрезом на костюме. Отрез дядя Миша обхватил, прижал к себе, как грудного ребёнка, долго медлил, желая что-то сказать, потом, так и не сказав ничего, махнул рукой и стал спускаться со сцены под шумные, весёлые аплодисменты, а единственный глаз его подозрительно блестел.

— Ты думаешь, хлопчик: ага, выпил, тёмный дурак, необразованный, — остановившись перед Петей, с трудом внушает ему сейчас дядя Миша. — Выпил! Михаил Пахолко, понимаешь, почёт ценит... Ведь теперь как? Поработал ты — честь тебе, уважение; не работаешь как следует — в потылицу тебя, старого дурня... Так? То-то...

Назидательно погрозил пальцем Пете, пошёл. Петя, усмехаясь, окликнул:

— В Левкауцах что было, мэй?

Дядя Миша не расслышал, опираясь на Настю, повернул к дому. Слышно было, как, встретив кого-то в боковой аллейке, хрипловато, но с энтузиазмом кричал «ура» Первому мая.

Снова заскрипела дорожка под лёгкими шагами. В гору поднималась Клавдия Алексеевна в светлом платье, с букетиком анютиных глазок на груди. Лицо её было покойно, задумчиво, она, не замечая того, улыбалась. Вот интересно: о чём думает человек, когда у него такое лицо!

— А, Петя! — остановилась Клавдия Алексеевна. — Скучаешь?

— Не подходите, застрелю, — лениво отозвался Петя, погрозив деревяшкой.

Клавдия Алексеевна засмеялась, присела рядом. Петя взглянул искоса в её беззаботное, ярко освещённое солнцем лицо. Какая она молодая, эта Клавдия Алексеевна! Недаром столько мальчишек тайком выводят «К» и «А» на промокашках и целую неделю мечтают о том, как пригласят её на танцы в субботу...

— В Левкауцах всё кончилось уже?

— Давно. Бричанские тебе привет передать просили.

— Черти, — беззлобно ругнулся Петя.

Сзади, от техникума, неслышно подошёл кооператор Ицек, деликатно покашлял в кулак.

— Вина, Клавдия Алексеевна, не купите ли? Осталось бутылки две от вчерашнего, никак не могу распродать...

— А как же! — испугалась Клава. — Надо же мне дежурного развеселить. Стойте, что это?

Снизу, из-за пруда, донеслась надрывная, пронзительная жалоба скрипки.

— Это Сашко, его скрипка, — уверенно сказал Ицек. — Слух у меня, Клавдия Алексеевна, просто необыкновенный. Потрясающий слух...

— Жалуетесь, — прислушался и Петя.

— Жалуетесь? — быстро обернулась Клава. — Почему?

— Я знаю? — Петя скосил невинный, насторожённый глаз. — Вам лучше знать. Наверно, не любит кто-нибудь...

Клава добродушно засмеялась, мягким движением нахлобучила Пете на нос его паларию.

— Ладно, — поднялась она. — Приходи, Петрика, сегодня вечером Первое мая справлять. Всех, кто домой не уйдёт, зови. Мария Михайловна, — заторопилась она, завидев в боковой аллее Смерчинскую, — приходите к нам сегодня Первое мая справлять!

Вокруг двух бутылок слабого столового вина было поднято непропорционально много шума. Клава выражалась энергично: «Будем пьянствовать». Сергей Викторович озабоченно морщился, заглядывая на дно своей чашки.

— А дотянете ли вы меня до дому-то, хлопцы?

Хлопцы застенчиво улыбались. Гостей к нам набилось порядочно. Мария Михайловна даже Морея привела с собой, сменившего ради праздника обычный свитер на тёмный костюм с жиденьким галстуком, то и дело сбивающимся набок. Клава суежилась, рассаживая гостей вокруг стола на принесённую из беседки садовую скамейку и перевёрнутые чемоданы: стульев решительно не хватало.

— А Марица? — вдруг спохватилась она. — Марица к Анюте не ушла сегодня?

Хмурый Сашко изнеможённо пробормотал:

— Не надо Марицу...

Этих слов никто не расслышал, кроме Клавы, ответившей ему сердитым, удивлённым взглядом. Вася Беженарь сбегал за Марицей. Марица пришла оживлённая, улыбающаяся; вот уже несколько дней лицо её светилось затаённой тихой улыбкой, а движения были порывисты и легки, как у человека, с трудом скрывающего какую-то большую радость.

— Буна сяр!¹ — воскликнула она от порога, и, оглянувшись на неё, все невольно улыбнулись в ответ. Один Сашко ниже наклонил хмурое лицо, но как раз на него Марица и не смотрела. И потому, что она, не глядя, чувствовала присутствие Сашко, она на миг прислонилась лбом к плечу Беженаря, рядом с которым села, и тихо засмеялась.

— Мальчики, какой сегодня день хороший!..

— Что я сижу, — спохватилась Мария Михайловна. — Клавдия Алексеевна, вы подождите, я же сегодня утром пирог пекла, его съесть надо...

Сергей Викторович тоже забеспокоился.

— А ну, Галецкий, сбегай ко мне домой. Может, нам Наталья Николаевна пришлёт чего-нибудь на бедность. И спроси — вина у нас дома нет ли? Скажи: обидели мужа, выпить не дают...

— И Наталью Николаевну зови, — напомнила Клава.

Сергей Викторович махнул рукой.

— Не пойдёт она! Сейчас с Вовкой самая возня идёт...

Но Наташа пришла — с трёхмесячным карапузом на руках. Вслед за ней Галецкий тащил целую кошёлку всякого добра.

— Пришла? — засветился Сергей Викторович. — А я думал, ты серьёзная женщина, всяких этих гулянок терпеть не можешь, предпочитаешь дома сидеть...

В конце концов, получилось не так плохо. И хоть вина было совсем мало, умудрились выпить и за Международный день солидарности, и за левкауцкий комсомол, и даже за петину будущую жену. Мальчишки с набитыми ртами весело переглядывались: не хуже, чем дома, получается; главное — весело...

Морей, вытирая жирные от пирога пальцы, посмеиваясь, сказал:

— А я в это время сидел обычно. Первый год не сижу...

— Как сидел? — не поняла Клава.

— Так, обыкновенно. Как тридцатое апреля — так меня уже в Липницу везут на казённый счёт...

— Арестовывали?

— А как же! Два раза в год — на Седьмое ноября и на Первое мая. Обшарят всего, дом весь перевернут вверх ногами, повезут. Везут, а ты думаешь: обойдётся на этот раз или не обойдётся, отпустят или так уж и не отпустят... Ну, отпускали дня через три...

— Василия нашего раза три арестовывали, — негромко вставил Сашко.

Морей подтвердил:

¹ Буна сяр — добрый вечер

— Всегда одних и тех же. Повезут тебя — а там уж Руссу из Пэдурикэ-Маре, Гмыря с Извора, отец Гончарюка вашего. Вот — Василий Сашко из Лукашей. Был жив сын моша Кристиати — с ним вместе катались... Ну, это неважно всё...

— А что же важно? — удивилась Мария Михайловна.

Наташа, прижимая к себе ребёнка, отозвалась тихо, как эхо:

— Виталий Львович, а что же важно?

Виталий Львович внезапно насупился, замолчал — и все примолкли. Клава осторожно напомнила:

— Важно — что?

— А важно вот что, — не сразу начал Морей. — Есть у меня друг, настоящий, замечательный человек — коммунист, не буду говорить, кто он. Друг! — с силой повторил Морей. — Вы его немножко знаете... И была у этого друга жена...

— Есть?

— Была! — резко возразил Морей. — Верная подруга, тоже коммунистка, подпольщица...

Глядя поверх нас увлажнившимся взглядом, Виталий Львович рассказывает то, что слышал в предвыборную ночь от друга своего, депутата Чебана, рассказывает, как арестовали Первого мая на улице жену Чебана, как избивали её на глазах у мужа, а он не мог, не имел права броситься ей на помощь. Он принадлежал партии — и должен был идти равнодушно дальше, как будто не любимую женщину, не жену избивают в нескольких шагах, не ей выворачивают руки. А она кричала: «Прощайте, товарищи! Мужайтесь!..» Ему кричала, единственному на свете человеку, удаляющемуся вдоль улицы ровной, спокойной походкой. Ему она позднее писала из бухарестской тюрьмы: «Спасибо за всё, чему ты меня научил, за всё, что мы пережили вместе...»

— Была она совсем молодой, — с видимым усилием рассказывает Морей. — Она шла по улице Кишинёва в серой блузке с цветущей веткой каштана в руках, шла и улыбалась навстречу любимому... Не смела перейти на другую сторону, не смела подойти, взять за руку, заговорить — только прикрыла на секунду глаза: «Всё в порядке, следуй за мной», — и прошла. И всё. Оборвалась славная, самоотверженная жизнь, оборвалась любовь...

— Любовь не оборвалась, не верю, — тихо говорит Наташа. — А как её звали, эту женщину?

— Так же, как и эту девочку, — Марией...

Марица неожиданно вспыхивает, почти до слёз. В её беглом смущённом взгляде, невольно скользнувшем в сторону Сашко, — немое признание. К счастью, никто не замечает этого взгляда — все потупились и молчат, — и Сашко не замечает...

Сашко не хочет ничего замечать. С той самой ночи, которую провёл Сашко вместе с Марицей в поле, на дороге из Лукашей в Левкауцы, Сашко думает о себе только плохо и мучительно разбирается в собственных чувствах.

Когда ребята, покричав, уехали без них в Левкауцы, когда скрип перегружённой каруцы умолк вдаль, Сашко привлёк к себе Марицу и заглянул ей в лицо. И столько любви и доверия было в ответном девичьем взгляде, столько безмолвной, затаённой тоски, что Сашко не сказал ни слова, только прижал её голову к своему плечу, и они постояли так молча, не замечая времени и сыпавшегося на них мелкого тёплого дождя, а потом пошли, крепко сжимая друг другу пальцы, и Сашко выбирал места посуше и заботливо указывал Марице дорогу, а Марица повиновалась ему так доверчиво и серьёзно, словно и в самом деле ей, так много пережившей за этот вечер, было не всё равно, придёт она в тех-

никум с промокшими или сухими ногами. Говорили они мало, больше молчали. Говорили о том, что дождь этот хорош для посева, но вот он кончается уже, о том, что ребята сейчас беспокоятся о них, наверное; в какой-то связи говорили об Аникуце Кошер. Потом Сашко решил и сказал:

— Не стоило тебе в Лукаши итти, по-моему...

— Не знаю, Илие; по-моему, стоило...

— Что ты, отца своего не знаешь? Уговорить его думала?

— Не уговорить...

Илья беспощадно продолжал:

— Только нам помешала агитацию делать...

Марица уныло согласилась:

— Помешала...

Надолго замолчали. Марица заговорила медленно, с трудом подбирая слова:

— Ты пойми, Илие, я вам очень верю всем — комсомольцам. Советским людям верю. А отец у меня — вот... ну, ты знаешь... кулак: — Это слово Марица произнесла с усилием. — Пойми, я хотела сама всё видеть, всё понять... Может, и он немножко прав, пойми, это вся жизнь моя... Отец ведь... Ну, увидела...

Она замолчала. Сашко беспощадно спросил:

— Что увидела?

Марица взглянула на него умоляюще, промолчала.

— С ним всё кончено теперь, конечно?

— Конечно...

— Как же ты дальше жить будешь?

Он не смотрел ей в лицо: боялся её ответа. Марица ответила неожиданно спокойно и грустно:

— Проживу...

Конечно, проживёт! Растроганный Сашко тихонько пожал ей пальцы. Секунду назад он боялся взглянуть ей в лицо, сейчас он спросил сам, и голос его чуть дрогнул:

— Ты меня любишь?

Она ничего не ответила, только вырвала руку и пошла немного быстрее. Он нагнал её, настойчиво повторил свой вопрос. Зачем ему нужен был её ответ, зачем?

Сашко даже стонал, вспоминая свою настойчивость. Зачем он добивался ответа: из легкомыслия, тщеславия? Ну, так, честно, положила руку на сердце: не всё ли ему равно? Всё равно или нет? Оф, запутался он...

Марица так ничего и не ответила, а когда он сделал движение обнять её, испуганно, умоляюще шепнула: «Не надо...» А потом как-то сразу успокоилась, повеселела и уже смеялась, уже шутила, как будто не было недавней смертельной бледности и слёз.

Ребята даже внимание обращают: с тех пор она неузнаваема стала. Смеётся этим милым, тихим смехом, с ним первая не заговаривает, только смотрит издали доверчиво и благодарно. Разве он сказал ей что-нибудь? Он никому и ничего не обещал. «Дело не в словах, — обрывает себя Илья. — Не надо было так сразу». Не тот уже человек Марица, и он, Илья, уже не тот. И есть ещё одна женщина на свете — ради неё хотя бы надо было тысячу раз подумать...

Илья страдал, когда ни о чём не подозревавшая Клавдия Алексеевна обращалась к нему с прежней дружеской непринуждённостью, весело, просто. Марица не выходила у него из головы — та девушка в Лукашах с гневным, бледным лицом, сильная и беззащитная. Та девушка, которая доверчиво прижималась к нему, прося у него помощи и поддержки. Он думал о ней, как ни об одной девушке не думал прежде, — как о ров-

не, о верном и славном товарище, неизменном и твёрдом, который пойдёт за тобой до конца и — как та Мария — не дрогнет в беде... И что уж скрываться перед собой! — о её плечах, губах, о всей её женской прелести, во стократ усиленной возмужавшей, испытанной любовью... Вот он какой, оказывается: сложную и трудную любовь отдаёт вот за эту открытую, простую, рвущуюся к нему навстречу. Нет, не то... Двоих любит! Любит двоих, обманывает...

Клаве казалось, что она всё понимает. Чем больше замыкался и дичал Сашко — а смятению и тоске жизнерадостный, беспокойный Сашко отдавался так же охотно и страстно, как и всякому другому чувству, — тем ласковее и теплее относилась к нему Клава. Однажды она рискнула его подбодрить: «От этого не умирают, ты потерпи, Илья». Сашко ответил ей странным взглядом, перевёл разговор. Как проклинала она себя позднее за эту фразу!

Ненормально шла наша жизнь. То есть именно нормально: студенты готовились к окончанию учебного года, к экзаменам. Усиленно зубрили до обеда и по вечерам, влюблялись друг в друга, спорили над книжками, мечтали о летней практике в колхозах левобережья; от этого учились ещё упорнее: поговаривали, что возьмут за Днестр только лучших; в жизнь техникума прочно вошли волейбол, и городки, и прогулки в степи на закате — кажется, чего нормальнее? Не к этому ли стремились мы с самого начала, чтобы ребята наши, как и полагается советским студентам, нормально работали, нормально отдыхали?

И вот тут, в этой обстановке успокоенности и тишины, произошло событие, послужившее нам предостережением.

В учительской шло комсомольское собрание. Распахнулась дверь, сверкнув глазами, заглянул Рошка, что-то крикнул по-молдавски. Ребята сдёрнуло с места вихрем, они не успели объяснить ни слова. Только Гуцуляк на секунду задержался в дверях:

— Спокойно, Сергей Викторович: пожар!

Горел громадный амбар, стоявший за воротами чуть в стороне от других хозяйственных построек, амбар, в котором хранился весь наш наличный запас зерна. Ребята, учителя, рабочие бежали к амбару со всех сторон, гремя пустыми ведрами и кувшинами. От амбара к пруду, скрываясь под Горой, уже тянулась организованная Заболотным цепочка. Огонь капризно взбегал по карнизам, по углам — от него нельзя было оторвать взгляда. Распахнутая дверь амбара словно облизывалась время от времени длинным огненным языком. Многие растерянно толпились вокруг амбара, вздыхали; в ногах у собравшихся металась и верещали кем-то выпущенные в суматохе из соседнего сарая свиньи; ребята помоложе пытались загнать их обратно, падали на них и визжали ещё громче. Заболотный, стоя в стороне на пригорке, озабоченно прищёлкивал языком и повторял, ни к кому не обращаясь:

— Рушить бы, рушить надо...

Из ворот выбежали комсомольцы и с разбега остановились. Заболотный поспешил к ним.

— Рушить бы надо, а, ребята? Как охватит сейчас со всех сторон — другие постройки загорятся. Моя-то вся рабочая сила в поле, вот беда...

— Нельзя рушить, что вы! — не сводя глаз с купающегося в огне строения, сквозь зубы пробормотал Гриша. — Погибнет зерно, нельзя...

Он смотрел на огонь так, словно примеривался, как удобнее с ним схватиться. Лицо его, недавно бледное, сейчас точно вспыхнуло: повеселело, ожило, загорелось недобрым, азартным огоньком.

— Комсомольцы! — громко сказал он и поднял руку. — Комсомольцы, кто со мной — спасать зерно?

На товарищевой он не смотрел, упорно и неотрывно смотрел в распах-

нутую дверь амбара. Кто-то из стоявших в стороне тихонько ахнул. Гуцуляк испуганно воскликнул:

— Попалимся, что ты! Ты же смотри...

— Боишься? — не оборачиваясь и не отрывая глаз от огня, спросил Гриша. — Иди, становись в цепочку, я силком никого не тащу. Комсомольцы! — снова крикнул он. — Кто огня не боится, за мной!

Пошёл, не оглядываясь, всё убыстряя шаги, к зловеще облизывающейся двери; по дороге сорвал у кого-то из подвернувшихся первокурсников кушму, вывернул её наизнанку, плотно надвинул на уши. Его уже перегоняли. Пробежал Ведеш с выражением весёлым и беззаветно отчаянным, словно он наперегонки бежал, а не в огонь бросался; диковатый, мрачный Сашко с выражением сосредоточенным и страстным; Семён Котогой со своей смущённой улыбкой, которая как бы говорила: «Очень шумно получается, у всех на виду... Так уж пришлось, товарищи, мы не виноваты...» Ведеш в самых дверях отчаянно свистнул, так, что вздрогнули и приостановились работающие в цепочке, взмахнул рукой, оглянувшись на товарищей, скрылся в дверях. Вслед за ним, пригнувшись, устремились остальные.

Рошка в толпе завозился, шумно хлопнул кушмой по колену, стал её выворачивать. Скутарь искоса глянул на него, презрительно скривил губы:

— На глазах у начальства покрутиться хочешь! Куда ты, там же одни комсомольцы...

Рошка прищурился, пристально, серьёзно глянул в холодное лицо Скутаря: оф, не нравился ему Скутарь в последнее время! Скутарю ничего не ответил, только вдруг закричал так отчаянно, что стоявшие вблизи вздрогнули и отпрянули — и все оглянулись:

— Братцы, пропадаю!

Натянув на уши вывернутую кушму, кинулся в амбар вслед за комсомольцами. Кое-кто в толпе засмеялся:

— Ну, парень!..

— Товарищ Заболотный, что же вы смотрите? — плачущим голосом кричал Гуцуляк; он метался у самой двери, вздрагивая и отступая каждый раз, как приближался к ней слишком близко. — Что вам дороже — зерно ваше или люди? Ведь поपालятся ребята, товарищ Заболотный!..

— Почему столпились? — раздался голос протиснувшегося через толпу Седова. — Быстро тащите топоры, крюки — рушить надо!..

— Сергей Викторович... — Гуцуляк так и бросился к нему.

Седову объяснили: комсомольцы решили спасти зерно. Седов в ярости тряхнул Заболотного за плечо.

— Кто разрешил? Это вы их послали?

— Сергей Викторович, — взмолился Заболотный, — имей совесть! Это не я. Я им, наоборот, говорил: рушить надо...

Гуцуляк робко вступился:

— Товарищ Заболотный рушить велел, это правда...

Седов быстро оглянулся на Гуцуляка.

— А ты тут что делаешь, товарищей бросил?

Подытоживали не слова, а бешеный, полный презрения взгляд. Гуцуляк засуетился, зачем-то стягивая пиджак, сбросил шапку.

— Димитрий, шапку! — крикнул Седов. Гуцуляк не расслышал, отмахнулся, скрылся в амбаре. Кто-то укоризненно воскликнул:

— Сергей Викторович!

Тот стиснул челюсти.

— Ничего...

Спокойно, вполголоса он тут же, в толпе, отдавал приказания одному, другому, ни на минуту не отрывая глаз от дверей амбара. Только один этот насторожённый, внимательный взгляд и выдавал скрытое на-

пряжение, в котором находился Седов. Люди под его руководством постепенно включались в работу, толпа рассасывалась. Вторая цепочка обогнула амбар, протянулась к самым дверям. Откуда-то тащили топоры, ломы. Испуганно оглядываясь на пожар, пробежала в изолятор, наверное за аптечкой, Марица.

Из амбара, между тем, один за другим появлялись комсомольцы, пригибаясь под тяжестью мешков, крикая, сбрасывали с плеч свою ношу, размазывали рукавами копоть и пот. Лица их почернели, были неузнаваемы. Из прогоревших мешков, шурша, высыпалось на землю чуть дымящееся зерно.

Потом в дверях амбара стала Аня Кошер. Стоять здесь ей было трудно: над правым виском потрескивали волосы, щёку невыносимо пекло. Можно было отодвинуться, но Аня не отодвигалась: если бы это было ей под силу, она тоже кинулась бы сейчас в огонь и вытаскивала оттуда мешки. С размаху окатывала она водой выбегающих из амбара и устремляющихся к амбару ребят. Ребята ухали, скалили зубы, встряхивались, как щенки. На первый взгляд казалось, что всем им очень весело, но ни один из них не смеялся, кое-кто, сбрасывая тяжести с плеч, невольно стонал.

— Сергей Викторович! — вдруг отчаянно закричала Аня.

Внутри амбара что-то зловеще треснуло, и вся охваченная огнём постройка словно вздохнула. Седов оказался у дверей в ту же секунду. Жар стал сильнее, это было ощутимо даже здесь, на улице.

— Назад! — что есть силы закричал Седов. — Сейчас же назад!

Но ребята уже выскакивали налегке, без мешков, задыхающиеся, с воспалёнными, слезящимися глазами. Сашко, открывая рот, никак не мог произнести ни слова, наконец прохрипел, указывая назад, на дверь амбара:

— Гришка там!

Седов выругался и, прикрывая локтем лицо, кинулся в амбар. Его тут же охватило нестерпимым жаром, казалось, ещё секунда — и начнёт тлеть одежда. Открыть глаза было невозможно, впечатление было такое, что они сейчас лопнут. «Как здесь пролезешь, жарища такая», — подумал Седов и шагнул глубже. Потом шагнул ещё глубже. Он шёл наугад, ощупывая вытянутой рукой воздух. Споткнулся на обвалившуюся горящую балку и, плача от ярости, отдёргнул обожжённую ногу. «Сейчас крыша обвалится», — подумал он и пошёл дальше. Потом он ещё раз споткнулся — на этот раз на мягкое, на мешок — и не увидел, но догадался, что где-то здесь должен быть Гриша. Гриша, беспомощно расставив руки и подняв ослеплённое лицо, стоял совсем рядом с Седовым. Седов хотел крикнуть, но не смог; тогда он ощупью нашёл руку Гриши и с силой потянул его за собой. «Чёрт такой, — подумал он. — Сейчас непременно в мешок вцепится». Но Гриша не вспомнил о мешке, покорно двинулся за Седовым.

Найти обратную дорогу было трудно, это Седов почувствовал сразу, и на какую-то долю секунды ему стало страшно. И он опять подумал, что сейчас обвалится крыша. Потом снова споткнулся о горящую балку, снова обжётся, догадался: «Та самая» — и изо всех сил дёрнул Гришу за руку. Но Гриша не понял и тоже споткнулся. Потом стало легче, потянуло свежим воздухом из распахнутой двери. Седов решил, что можно, пожалуй, открыть глаза, но в эту минуту что-то холодное, свежее с силой ударило ему в лицо и грудь, у него перехватило дыхание — и Седов потерял сознание.

Когда он открыл глаза, ему показалось, что прошло уже очень много времени, хотя с того момента, как Седов кинулся за Гришей в амбар, прошло не больше пяти минут. За спиной его весело и злобно, уже в пол-

ную силу, плясал огонь — кажется, обвалилась крыша. Сам он сидел на земле, мокрый до нитки, перед ним стоял, тоже весь мокрый, Гриша Гончарюк, к плечу его, смеясь и плача, прижималась Аникуца, вокруг толпились другие ребята, и все, притихнув, взволнованно глядели на Седова.

— Чёрт бы вас всех взял,— очень искренне сказал Седов, и все вокруг радостно заулыбались.— Ну, ну, ладно, нежности потом, рушить надо...

Гриша опять поднял руку:

— Комсомольцы!..

После обеда, к которому в этот день от пережитого волнения и усталости почти не притронулись, умывшись, переодевшиеся, лоснящиеся от жира, которым были густо смазаны обожжённые места, комсомольцы снова собрались в учительской на прерванное собрание. Они чувствовали себя героями, были оживлены, очень довольны собой, и, когда Сергей Викторович вошёл в учительскую, все они, даже Митя Гуцуляк, уже искренне забывший о своей слабости, обернули к нему торжествующие физиономии, на которых ясно было написано: «Ну, хвалить будете? Правильно! Нас сегодня полагается хвалить...»

— Сколько у вас зерна осталось невынесенным? — обратился к Грише Седов.

— Мешков шесть,— виновато ответил Гриша.— Больше никак нельзя было вытащить, Сергей Викторович...

Седов усмехнулся.

— Что ж вы так сплеховали, герои?

А глаза его и Гриши в это время вели свой разговор. «Здорово мы с тобой из огня лезли?» — спрашивали смеющиеся глаза Седова. «Никогда я этого не забуду, Сергей Викторович, спасибо!» — горячо отвечали гришины глаза.

— Ну, вот что, друзья мои,— так и не присев, взял слово Седов,— задаваться нам с вами особенно не приходится. Забыли мы с вами, на какой планете живём, в какое время, забыли, что за каждым нашим шагом следят враги. Борьба ещё не кончилась, ещё идёт...

— Сергей Викторович,— перебил Велеш,— вы думаете, что это нарочно поджёт кто-нибудь? Вот видите,— обратился он ко всему собранию,— а что я вам говорил: там само никогда не загорится, кому туда ходить!..

— Подождли, конечно,— солидно кивнул головой Сашко.

Так и постановили комсомольцы на этом собрании: очень успокоились, надо впредь быть пожестче, потребовательнее друг к другу.

12. Перед грозой

Мунтян и Скутарь собирались в гости к Стучевскому, брились, отмывали руки и шеи, брызгались одеколоном. Стучевский просил захватить с собой ещё ребят. Охотно согласился всегда и на всё готовый Рошка. Он был радостно удивлён: никогда не было, чтобы Стучевский приглашал в гости учеников! Скутарь возразил:

— Почему? Мы к нему не в первый раз идём...

Позвали Петю Галецкого, тот отказался:

— Очень надо! У меня ещё по анатомии зачёт.

Тетеля даже слушать не желал о визитах. Рошка предложил позвать Гончарюка. Скутарь недовольно поморщился.

— Гончарюка не надо...

В дверях дома Стучевских встретили Марию Михайловну. Она шла в техникум, удивилась:

— А вы на физический кружок разве не идете сегодня?

Ребята смущённо замялись, совсем забыли про физический кружок... На крыльцо выглянула Юлия Михайловна.

— Заходите, заходите, мальчики, Евгений Николаевич вас уже ждёт. Знаешь, Мацюся, Женя всё с ребятами возится, всё с ребятами...

Юлия Михайловна, о чём бы ни говорила в последнее время с сестрой, и даже тогда, когда сестры вовсе не было дома, вела с нею постоянный спор, доказывая, что Женя глубоко порядочный, страстно влюблённый в своё дело человек, достойный самого большого доверия, самого большого... А как он любит своих учеников!

— Женя! — звонко и радостно закричала она. — К тебе опять пришли твои студенты!

Мария Михайловна ушла, приветливо кивнув ребятам головой, а из гостиной суетливой и мелкой походкой вышел Евгений Николаевич, на ходу протягивая ребятам руку. Лицо его выразило минутное разочарование.

— Что ж вас так мале?

Мунтян мягко улыбнулся:

— Зачёты...

На столе кипел самовар, приветливо поблёскивала посуда, темнело вино в графине. Юлия Михайловна поспешно убирала лишние приборы. Сидя между нею и Скутарём, Рошка переводил с одного лица на другое ожидающий, заинтересованный взгляд, но ничего особенного не происходило. Шёл вежливый, никому не нужный разговор: «прошу вас», «спасибо», «покорно благодарю», «пожалуйста»... Долго выдерживать разговор в подобном стиле Рошка не мог. Гости больше всего были озабочены тем, чтобы не уронить крошек на скатерть. Евгений Николаевич сучливо помешивал ложечкой в стакане. Зато Юлия Михайловна старалась вовсю: подвигала гостям то вазочку с вареньем, то ломтиками нарезанный домашний кекс и изо всех сил занимала их разговором.

— Вы, Алёша, тоже участвовали в этой истории — спасали аерно?

Мунтян легонько пожал плечами.

— А как же!

— Для этого нужна большая храбрость, я себе представляю.

— Какая там храбрость! — посмеиваясь, отмахнулся Мунтян. — Вообще-то я, может, и не трус, не знаю... А тут струсил — поверите? Крышата ведь каждую минуту могла обвалиться... Стыдно одному оставаться, вот и всё. Комсомольцы все пошли. Рошка тоже пошёл — он вообще не комсомолец...

От восхищённого взгляда Юлии Михайловны Рошке стало неловко. «Пошёл — большое дело!» — презрительно подумал он.

— Безрассудство, — буркнул Стучевский.

Мунтян пожал плечами.

— Может быть, не знаю...

— Массовый психоз!

— Может быть...

Помолчали.

— Очень храбрый мальчик этот Гончарюк, — со вздохом начала опять Юлия Михайловна.

— Григорий? Он храбрый, — охотно согласился Мунтян. Скутарь премо-молчал; Стучевский вяло поддержал:

— Был когда-то очень примерным учащимся, очень...

На этом разговор о Грише Гончарюке исчерпался. Юлия Михайловна оживлённо спросила:

— А что, не скушают ли ученики о Чеботаре? Он, говорят, прекрасно знал свой предмет...

— Знал,— подтвердил Мунтян. — Но у нас сейчас тоже очень порядочный преподаватель, по-моему, даже лучше Чеботаря, сильнее...

— Опытный, знающий преподаватель, да, — склонил голову Стучевский.

Снова установилось долгое молчание.

— А девочкам, наверное, очень трудно учиться,— не сдавалась Юлия Михайловна.— Подготовка слабее, это много значит, должно быть...

— Нет, они стараются, они неплохо учатся,— поддержал Юлию Михайловну Мунтян. — Некоторые очень неплохо..

Скутарь улыбнулся.

— Например, Марица...

— Очень красивая девушка,— понимающе кивнул головой Стучевский.

И о девочках исчерпался разговор.

Юлия Михайловна умоляюще смотрела на мужа. Не замечая её взгляда, Стучевский задумчиво постукивал пальцами по столу.

— Вам, наверное, очень скучно сейчас без широкой общественной деятельности,— обратился он к Скутарю.— Вы к ней так привыкли...

Скутарь вспомнил собрание, на котором его сняли с председателя учкома, самолюбиво вспыхнул. Юлия Михайловна поспешила ему на помощь:

— Помню, Коля, как вы проводили парад «Стража Цэрий» — в каком это было году: в позапрошлом, прошлом? Все мальчики в форме — форма была красивая, правда? Все со значками...

«Пропадите вы со своими воспоминаниями», — угрюмо подумал Скутарь.

Стучевский перебил жену:

— Когда начнётся производственная практика, я думаю назначить вас руководителем одной из групп...

— Первокурсников?

— Да. Это не очень законно, но я уговорю руководство: лаборантов у нас нехватает. Между прочим, вы будете получать деньги по количеству часов...

— Настоящий начальник,— усмехнулся Мунтян.

— Начальник, да,— задумчиво согласился Стучевский.— Что ж, у Скутаря большие организаторские способности. Мне думается, его недооценивают у нас...

— Эге, Николай! — негромко воскликнул Рошка.— Значит, не поедешь ты с нами на левый берег!..

— А я и не очень стремлюсь, если хочешь знать...

— О?

— Конечно!

— Я тоже думаю,— вступился Стучевский,— что всё это практически не так интересно. Поле и поле — что, вы никогда не видели, как кукуруза растёт? Да и неизвестно, что будет до тех пор, до июля... Возможны изменения...

— Какие изменения, домнуле? — Скутарь насторожённо вытянул шею. Стучевский утвердительно кивнул ему:

— Обстановка очень тревожная...

Очевидно, разговоры о возможной войне здесь уже были: никто не удивился, удивился один Рошка. Юлия Михайловна всплеснула руками, но и это делала она, кажется, не в первый раз.

— О господи, Женя!

— Война, конечно, не касается нас,— поспешил успокоить жену Стучевский,— и думаю, что лично нас она не заденет. Войска перекатятся

через нашу голову, только и всего — не бог знает, какой стратегический пункт Левкауцы!.. Правда, Румыния связана договорами...

Рошка ничего не понимал: при чём тут Румыния? Недоуменно оглянулся на товарищей, лица их попрежнему выражали вежливую заинтересованность. Чёрт знает что! Впервые пришло Рошке в голову, что уважаемый домнул Стучевский недалеко ушёл от дружка его, Скутаря, — тоже не бог знает как умён, если послушать. «Поле и поле. Не видели вы никогда разве, как кукуруза растёт?» И это о поездке на левый берег, о том, что для Рошки являлось пределом мечтаний, решением личной его судьбы. Поле и поле! В том-то и дело — как же на левобережье поле! Уйти бы! Целый вечер пропадёт в дурацких разговорах...

Он развлекался, как мог. Упорный, смеющийся взгляд Рошки медленно переходил с одного лица на другое. Больше всего веселил его Скутарь: чем-то он очень напоминал Рошке индюшонка. У Скутаря тянулась из воротничка худая птичья шея, сзади смешно торчали влажные, заглаженные к затылку волосы, на лице светилось наивное, торжествующее тщеславие: домнул профессор говорил с ним сейчас о том, о чём не всегда и не со всеми говорят, говорил, как с равным, — это одно, видимо, и интересовало Скутаря в происходящем разговоре.

Домнул профессор попрежнему вызывал Рошку на непочтительные размышления. Он словно добросовестно и озабоченно выполнял навязанную ему трудную роль: где надо — по ходу пьесы — значительно опускал голову и подчёркивал слова, где надо — прижимал концы пальцев к вискам и изображал сдержанное отчаяние, где надо — иронически кривил губы, а сам насторожённо прислушивался к голосу невидимого за кулисами режиссёра, испуганно ожидая от него одобрения или осуждения. «Чего он пыжится? — с весёлым недоумением думал Рошка. — Что ему надо, перед кем он старается?» — Чем дольше Рошка смотрел на Стучевского, тем больше ему хотелось оглянуться, не стоит ли кто-нибудь за спиной. Один раз он даже осторожно оглянулся и улыбнулся собственным мыслям.

— Вы скучаете, Георге, — расстроилась Юлия Михайловна, стала угощать Рошку каким-то необыкновенным печеньем, которого Рошка у себя дома в селе, конечно, никогда не ел. К печенью Рошка остался равнодушен. Женщин он не уважал, разговаривая с ними, смотрел им на грудь или на губы. Юлию Михайловну стеснял этот упорный, смеющийся взгляд, стесняла смуглая, крепкая шея Рошки, не признававшая галстуков и воротничков, тёмные, нависающие на лоб кудри. Она внезапно покраснела, под каким-то предлогом обратилась к мужу.

«Ага, то-то!» — совсем развеселился Рошка.

Единственным, по мнению Рошки, кто вёл себя по-человечески, был Мунтян. Мунтяна Рошка вообще уважал, Мунтян, как и Рошка, не придавал цены словам и никому не позволял задурить себе голову. Он и сейчас всё пытался добиться чего-то у Стучевского, чего — этого Рошка не мог, да и не хотел понимать; Мунтян настойчиво спрашивал, не сводя со Стучевского добродетельного, весёлого взгляда:

— Ну, и что же, по-вашему, нужно делать, домнуде?

Юлия Михайловна, как и Рошка, политическими разговорами не интересовалась. Но настойчивость Мунтяна чем-то встревожила её, она оживлённо предложила:

— Может быть, вы споёте, Алёша? Я могла бы вам аккомпанировать, если хотите, а Евгений Николаевич сыграет на скрипке...

Прошли в гостиную. Юлия Михайловна, перебирая ноты, радостно шептала:

— Ах, какой у вас, Алёша, чудесный голос! Если бы у меня был такой голос, я бы... не знаю...

Скучно! Кресла мягкие — на такие кресла даже садиться страшно, занавески на окнах из тонких кружев, скрипки, акварели; про Стучевских говорят «культурная семья», «культурные люди». Нет, скучно! Если прийти к советским учителям, они, смеясь, предложат сесть на чемодан — мебели они с собой не везли, да и здесь не запасали, — поведут разговор о вещах простых и нужных. С ними можно соглашаться или не соглашаться, но чувствуешь, что ты человек, как все люди, — стоишь на земле двумя ногами. И нет этих бесконечных «спасибо», «пожалуйста», «ах, извините». Если всё это называется культура, то не слишком ли её много за один вечер!..

В общем, когда речь зашла о Саккаре, Рошка охотно вызвался его позвать, за что получил ещё два-три «ах, пожалуйста» и «будем вам очень благодарны». Вспомнил о Саккаре Скутарь. Юлия Михайловна тоже спохватилась:

— Женечка, в самом деле, почему нет Саккары? Ты его сегодня не видел?

Выяснилось, что уже два дня никто не видел Саккары.

— Очень много работает, да, — вздохнул Стучевский.

— Одинокий человек, — вздохнула и Юлия Михайловна. — Это очень хорошо, что он зачастил к нам в последнее время. Всё-таки семейный дом, знаете, домашний уют — это для каждого необходимо...

Вернулся Рошка минут через двадцать. В гостиной, чуть улыбаясь звукам собственного голоса, пел Мунтян, Юлия Михайловна старательно аккомпанировала ему, приближая к нотам широко открытые глаза, Скутарь сидел в кресле против Стучевского и курил, закинув ногу за ногу, а Евгений Николаевич, которого, видимо, развязность Скутаря коробила, стараясь не глядеть на него, покачивал в такт мелодий гладкой, словно облизанной, головой.

Рошка нетерпеливо огляделся, с восторгом выпалил:

— А домнул Саккара ушёл!

Мунтян замолчал, все недовольно обернулись к Рошке.

— Ушёл? Ну, и что же? Куда?

— Никто не знает куда! Совсем ушёл. Забрал деньги из кассы — говорят, за пятнадцать тысяч будет — и ушёл!

— Врёшь! — двинув креслом, неожиданно закричал Стучевский.

Рошка забыл обидеться: лицо Стучевского внезапно переменилось, чуть напряжённое выражение сменилось выражением откровенной растерянности и страха.

— Скрылся? Неизвестно куда? — испуганно повторил он. — Но почему, почему? И как же...

Он метался по комнате и, трогая мебель, рассеянным жестом как бы отталкивал её от себя. Забыл о ребятах, не замечал жены, испуганно за ним следившей. Ребята почувствовали себя неловко, взяли за шапки.

— Мы пойдём, домнуде...

Стучевский ничего не ответил, даже не оглянулся на них, слабо отмахнулся. Взгляд его, попрежнему никого не замечая, бессмысленно шарил по комнате. Неожиданно он крикнул:

— Мама!

Из кухни выглянуло испуганное старушечье лицо. Час от часу не легче! Значит, эта старуха, по-крестьянски повязанная простым платочком, имени которой никто не знал и которую все принимали за прислугу Стучевских, старуха, которую никто и никогда не видел у Стучевских за столом, лишь руки её мелькали в дверях, подавая и принимая посуду, старуха, которая, судя по расположению и меблировке комнат, и спала где-нибудь там же, на кухне. — значит, эта старуха — мать учителя Стучевского! Мать или, может быть, теща?

Ребята осторожно прикрыли за собой дверь. Что такое со Стучевским, отчего он так испугался? И откуда Рошка узнал о Саккаре?

Рошка не отвечал, лицо его погасло, вид был такой, словно он мучительно выбирал, куда ему плюнуть.

— Георге, скажи! — настойчиво приставал к нему Скутарь. — Куда ушёл Саккара, когда? Что он говорил — никто не рассказывает? Да говори, это же очень важно...

— К чёрту! — сказал Рошка. — Ни в какие такие дома я больше не хожу, хватит!

Никаких подробностей о Саккаре так и не было известно. Исчез — как в воду канул. Может быть, Стучевский всё-таки знал что-нибудь? С этого вечера стал Стучевский ко всему безучастен, рассеян, испуганно вздрагивал, когда его окликали. И никого не удивило, когда однажды в ночь Стучевского арестовали: он словно только этого ареста и ждал, нервничая, как нервничает путник на полустанке перед тяжёлым, но неизбежным отъездом. Только кое-кто из наших рабочих удивлялся: «Что ему надо было, подумать! Образованный человек, работа хорошая, семья, от людей уважение имел».

13. «Молодость — дорогая одежда»

Вечером после пожара Илья Сашко, дуя на обожжённые пальцы, пошёл к девичьему интернату.

— Нина, вызови Марицу! — крикнул он в полуотворённое окно.

Марица вышла тут же. Лицо её в полутьме показалось Сашко испуганным.

Илья молчал, дул на пальцы. Зачем он позвал её? Он и сам не знал, Марица тоже молчала.

Шагах в пятнадцать старый Шевчук помешивал костёр из прошлогодних листьев. Сашко предложил:

— Посмотрим...

Около костра молчать было легче. Костёр плясал, взмахивая широкими огненными рукавами. Шевчук ворчливо сказал:

— А тут сейчас Герман Думитру был. Говорит, котовцы интересуются: что за пожар у нас был, почему... Видали? Все подробности им подавай...

Илья отозвался серьёзно:

— Так и надо. Дружба!

Шевчук бросил в огонь ещё охапку листьев. Костёр задохнулся, задымил. Илья тронул Марицу за локоть.

— Пойдём...

Она двинулась за ним шаг в шаг, плечом к плечу. Сашко взял её руку в свою, Марица едва уловимо погладила его пальцы.

— Обжёт? Жёсткие какие...

Спустились к пруду. На берегу были беспорядочно свалены межевые камни, срезанные с левкауцких полей. На одном из камней, сгорбившись, сидел Герман Думитру.

Сашко весело взмахнул рукой.

— Привет колхозу Котовского! Что вы здесь делаете, мэй?

— Камни вот привёз. Смотрю: на хорошем месте ваша школа стоит...

Сашко охотно согласился:

— Красиво.

Пруд словно дремал, в стальной поверхности его еле заметно вздрагивали чёрные берега. Дремал лес, заглядевшийся в воду, всё было неподвижно и немо. Только совсем близко журчала вода в протоке, да всплёскивались и тихо курлыкали лягушки.

— У вас, говорят, пожар был сегодня? — спросил Думитру.

— Был. Думают все, что поджог, между прочим...

— Очень свободно.

Помолчали. Думитру снова спросил:

— Прополку в техникуме начали уже?

— Скоро начнём. А у вас?

— У нас начали.

Опять помолчали.

— Как, рыбку будете в этом пруду ловить?

— В рыбку не верю, нет.

— Не верите?

— Нет. Зря это всё, широко замахнулись.

— А во что верите?

— Как тебе сказать... Сижу, смотрю вот...

Поднялись в лес, вышли к самому краю его, сели под развесистым дубом. Из-за холма выплывала огромная, красная луна; казалось, что она движется, как минутная стрелка часов, — крошечными рывками. Избегая смотреть Марице в лицо, Сашко спросил так, точно разговор их в поле не обрывался:

— Ну, а всё-таки ты меня любишь?

Марица ничего не ответила, опустила голову. Илья подождал, сказал совсем тихо:

— И я тебя. Очень.

Что это был за вечер! «Как тяжело, — уговаривал себя Сашко, проснувшись наутро ни свет ни заря, но продолжая притворяться спящим, — как тяжело всё у меня получается в жизни!» Но как он ни ворочался, как ни вздыхал, горя упорно не получалось. «Эгоист, двурушник проклятый!» — ругал он себя, но и это получалось неискренне. Он не чувствовал себя двурушником. Со вчерашнего вечера он весь и без остатка принадлежал Марице.

Может быть, именно во время пожара, когда радостно играя с опасностью, напрягая, как и товарищи его, все свои силы, Илья почувствовал, что так он больше не может: не может жить презрением к себе и тоской, в состоянии душевной подавленности и смятения. Пусть он очень плохой человек, — он больше не может. Каждое сердце имеет свою меру и горя и радости; плохая или хорошая — душа Сашко больше не принимала горя.

И вот словно не было никакого разрыва между прощанием в сентябре и новой их встречей всё на той же дороге из Лукашей в Левкауцы, и далёким, как будто не с ними бывшим, казалось всё то, что их разлучило когда-то, и надуманными, пустыми казались переживания последних дней. Как она вдруг заплакала вчера, Марица, быстрыми, лёгкими слезами, стыдливо отворачиваясь от Ильи и в то же время прижимаясь к нему. «Оф, Илие, сердце моё, мой товарищ...» Русское слово «товарищ» она сказала, неумело выговаривая последние звуки, — может быть, поэтому так свежо, так хорошо прозвучало между ними это слово?

Сашко открыл глаза и с наслаждением потянулся. Скорее! Скорее начать этот день, полный счастья, любви, работы. И, уже спуская с постели ноги, вдруг опять задумался. «Не отказывайте мне в вашей дружбе, поймите, Клавдия Алексеевна, замечательный вы человек, я так люблю вас». Он сам удивился, какой неожиданной теплотой отозвались в его сердце эти слова: «Правда, очень люблю вас, вы поймите...» И с эгоизмом молодости, рвущейся к счастью, тут же утешил себя: «Она всё поймёт, она такая...»

Клава поняла. Она поняла раньше, чем Сашко сказал хоть слово, —

по тому, как он пытался стереть со своего лица смущённую, счастливую улыбку. Но, поняв, она всё же спросила:

— Что-нибудь случилось?

Ого, ещё бы! Но Сашко молчал. Мысленно он умолял её: «Ну, спросите что-нибудь ещё. Ещё что-нибудь, чтоб было легче...» Клава словно читала его мысли, она спросила:

— Ну, вы наконец-то объяснились с Марицей?

Она, кажется, именно так и сказала: «наконец-то...» Это ободрило Сашко. Он заговорил взволнованно, сбивчиво: «Вы знаете, она совсем одна осталась, ей надо помочь». «Да, Илья». «Она так изменилась за последнее время, совсем неузнаваемой стала». «Да, Илья, да». «Это же мой комсомольский долг...» Клава искренне возмутилась: «При чём тут комсомольский долг?»

Илья со стыдом подумал: «Ну, конечно, словно раньше не было этого комсомольского долга...» Клава молчала, отвернувшись к окну. На лице её всё больше проступало незнакомое Илье выражение горделивой, сдержанной, сосредоточенной силы. Илья не понимал её сейчас: он не знал, что бывает страдание без стонов, без слёз, даже понаслышке не знал, что есть люди, презирующие страдание. Не понимал, но, потрясённый, угрюмый, внешне безучастный, со смутным восхищением и благодарностью смотрел в это преображённое, прекрасное лицо. «Вот и всё», — медленно сказала Клава. И ещё раз повторила — так, словно пыталась до конца осознать происшедшее: «Вот и всё...» Илья пробормотал: «Клавдия Алексеевна, поймите, я никогда не смел рассчитывать...» Клава ответила не сразу, с трудом разжимая губы: «Не надо, Илья, я всё понимаю...»

И они долго сидели у окна, выходящего в парк, и, держась за руки, молчали. Потом Клава тихо отняла свою руку. За окном неистово заливался соловей, свист его звучал то призывно и вкрадчиво, негромко и нежно, то взвизвал внезапно вверх ликующе и победоносно. Илья уже думал о своём — о чём со вчерашнего вечера не мог не думать: о тихом, взволнованном смехе Марицы.

Как легко и бездумно понесло их друг к другу — Сашко и Марицу. Разлучали их только занятия. Илья не умел заниматься вдвоём, тем более заниматься с Марицей. Но, склоняясь над учебниками, Сашко чуть покусывал губы и, ощущая лёгкую боль, улыбался. Как изменился с товарищами обычно насмешливый, самоуверенный Сашко — он чувствовал себя обласканным, раскрытым, размягчённым душевно. И Марица словно раскрылась — она стала оживлённее, свободнее в обращении, высказывалась самостоятельнее, смелее. «Вот когда Илья влюбился всерьёз, — посмеивались ребята. — Посмотрите, словно умытый ходит». «Жаль, Марицу нельзя в комсомол принять, — расстраивались комсомольцы. — Такая хорошая девчонка стала!»

Медлительно, плавно течёт наша жизнь — точно полноводная, могучая река меж раздавшихся берегов. Тревоги, неприятности, огорчения — всё смывается её чистой, спокойной волной.

В техникуме идут экзамены. Сразу после утреннего чая ребята берут свои конспекты, перебрасывают одеяла через плечо и отправляются заниматься в парк, или к пруду, или в лес — на какое-нибудь раз навсегда облюбванное место. В главном корпусе, который сейчас, в ослепительном блеске летнего дня, кажется промозглым и мрачным, как гробница, остаются немногие. Упрямо стиснув кулаками виски, одиноко занимается Илья Сашко. Когда ему становится неважно, он хватается лежащую наготове скрипку, со звоном распахивает раму и, вскакивая на подоконник, качая головой в такт, выводит мелодию самого яростного, сумасшед-

шего темпа. Одна, две минуты... Все, кто занимается неподалёку от главного корпуса, поднимают от конспектов головы и терпеливо ждут.

— Илья перестоялся! — смеётся Гриша.

Гончарюк, Прозоровский, Марица и Аникуца занимаются в беседке. Друг другу они явно мешают — девочки учат математику, мальчики — анатомию, но вместе им хорошо, расставаться им не хочется, и они искренне убеждены, что помогают друг другу.

— ... А потом мы с Аникуцей поедem в Москву, — мечтательно говорит Гриша. — Кончим там Сельскохозяйственную академию, будем учёные люди...

— Я, может, и не поеду с тобой, — смеётся Аникуца.

— Мы же поженимся, нет? — удивляется Гриша. — Как, Марица, стоит мне жениться на этой девчонке? Неприглядненькая она...

— Неправда!

— Поехать хочется, — неожиданно говорит Костик. — Далекo-далекo... Проехать весь Советский Союз из конца в конец, побывать на Кавказе, в Крыму, на Дальнем Востоке, Волгу посмотреть... Жить долго-долго и весь мир объехать...

— Здрóрово! — подхватывает и Гриша.

— Что мы видели, кроме Левкауц, — ничего! Объехать весь мир, посмотреть, как люди живут где-нибудь в Италии, во Франции, в Англии...

— Очень здóрово! — опять повторяет Гриша. — Аничка, едем с Костей?

— И меня возьмите, — смеётся Марица. Она тут же спохватывается, зажимает уши руками. — Мальчики, вы с ума сошли, завтра алгебра...

На закате учебники откровенно откладываются в сторону. На площадке гудит под ударами волейбольный мяч, ссорятся и азартно покрикивают друг на друга игроки, замахиваются мячом на неумелого судью. По их злым, возбуждённым лицам струится пот, шутить с ними сейчас опасно, и судья предсудомительно скрывается от них за столб.

— Слушать арбитра! — кричит он оттуда и свистит в два пальца. — Тетеля, на подачу!

— Тимофей подаёт! — затихают противники и весело подмигивают друг другу. Задние, посмеиваясь, отходят к самым краям площадки. Невозмутимый Тимофей Тетеля неторопливо осматривает мяч со всех сторон, точно примериваясь, с какой стороны ударить, осматривает вдумчиво, основательно, подбрасывает наконец — и гулкий удар, словно из тяжёлого орудия, сотрясает окрестности.

— Аут, аут! — кричат, выпрямляясь, оправившиеся от невольного испуга противники.

— Бис, Тетелю, Тетелю! — бурно аплодируют, изнемогая от хохота, зрители.

И хотя аут совершенно очевиден, команда Тетели отчаянно протестует, и капитан команды, Клава, разгорячённая, красная, в спортивной майке с засученными рукавами, обо всём забывшая в пылу игры, в том числе и о преподавательском престиже, ныряя под сетку, бежит на площадку противника и, всех перебивая, кричит:

— Ну-й адэвэрат, ну-й адэвэрат! ¹

А Сашко и Марица уходят в степь. Они идут, держась за руки, словно провожая уходящее солнце, — юноша в фетровой паларин, с сильным и страстным лицом, обожжённым молдавским солнцем, и несмелая, молчаливая девушка, гибкая, как виноградная лоза, с тяжёлыми косами, падающими на грудь из-под белого платка.

Сердца их полны, они взволнованы и серьёзны — им не хочется раз-

¹ Ну-й адэвэрат — неправильно.

говаривать, не хочется шутить. Взгляды их изредка встречаются и медленно, нехотя расстаются — только страстно вздохнёт Илья, только тихо улыбнётся Марица. Лёгкое движение сплетённых пальцев красноречивее всяких слов.

Бегут, догоняя и мягко касаясь друг друга холмы, кое-где окроплённые виноградниками, кое-где тронутые лёгкой строчкою сои, катятся и катятся к горизонту, и шелестящие волны золотистой пшеницы перекатываются через их гребни. Доносится откуда-то еле слышное погромыхивание трактора; от села, далеко впереди закатившегося в низинку, изредка доплёскиваются звонкие, чистые человеческие голоса.

Причудлив и ярок закат в бессарабской степи. Рдеют в небе облака, взметённые в одну сторону, словно застывшие вихри, клубятся за ними другие, вздымаются, громоздятся друг на друга, словно раскалённые горы, третьи. Внизу, по самому горизонту, расплескалось, растеклось ручьями плавленное золото, огибая озёрца спокойной лазури.

Догорает один из июньских вечеров памятного сорок первого года.

(Окончание следует)



К. ВАНШЕНКИН



Самая насущная забота
Всякого труда и ремесла —
Это чтобы новая работа
Лучше прежней сделана была.

Но бывают в жизни неудачи,
Вещи с завидною судьбой,
Бледные. И так или иначе
Хуже прежде сделанных тобой.

И начнёшь, случается, до срока
Убеждать себя же самого:
— Это положительно неплохо,
Нет, ей-богу, это ничего...

Будь недолгим это заблужденье!
Ты вперёд, мечта моя, лети!
Новой песни светлое рожденье
Будет мне наградою в пути...

...Но труднее будет год от года
Добиваться, сидя у стола,
Чтобы наша новая работа
Лучше прежней сделана была.



С. ЗАЛЫГИН

★

ОТВЕТ

Рассказ

„**Д**орогой Андрей!
Подумать только, что ещё совсем недавно я сомневалась! Почему? Ведь Вы всегда так серьёзно досадовали, что в каждой нашей встрече не хватало пяти минут. А уезжая в командировку, просили проводить Вас. Говорили, что это нужно нам обоим. Всё было совершенно ясно.

И всё-таки, уже на перроне, когда носильщик совсем некстати подошёл и заговорил о багажной квитанции, — я всё ещё сомневалась!

Потому что ждала. А дождавшись, не могла Вам ответить. У меня всегда были обязанности, всегда я их чувствовала. Но в молодости обязывают стремления, а не пережитое. Там другое.

В моём возрасте голова не закружится от первого знакомства, но с одного взгляда я могу сказать: из тех ли встреченный мною человек или не из тех, среди которых может быть он.

Если же из тех... Как об этом рассказать?.. Когда молодая девушка или женщина сравнивает мужчину с другими мужчинами — это конец её чувства. В моём возрасте начинают с этого, а это так трудно!

Вы плохо отозвались о нашем общем знакомом, а у меня сомнения не в нём, а в Вас... Вы догнали троллейбус, вскочили уже на ходу — я испугалась за Вас и ещё больше обрадовалась тому, что могла так испугаться. Вы рассказывали, что Ваша работа отмечена приказом по главку, и небрежность, с которой Вы об этом говорили, опять повергла меня в сомнения, а вот когда Вы не поладили со своим начальником, были неприятности, Вы волновались, сердились — мне тоже было грустно, но тут я узнала, что нужна Вам. А без сознания своей необходимости человеку нигде нет места.

Когда Михаил был на фронте, я впервые поняла, чем мы не умели дорожить. Если бы я стала говорить о подробностях, они касались бы самых ничтожных вещей: не во-время приготовленного завтрака, неудавшейся вечеринки, затерявшейся куда-то книги, ненужной покупки. Но, должно быть, когда-то эти мелочи оказались сильнее нас.

Не знаю, вероятно, нужно было, чтобы один из нас заболел, а другой день и ночь стоял у постели больного, или чтобы настала разлука на полгода, на год. Может быть, и так — нам нужно было несчастье, чтобы оно научило нас. А оно нас жестоко наказало. И если я перенесла пэтерю, так только потому, что знала — и все это знали, — ради чего погиб Михаил. Как трудно должно быть женщинам в том мире, где нет этого оправдания!

Так я осталась одна, научилась распознавать отношения в чужих семьях, давала правильные советы в семейных делах, а в книгах сразу и безошибочно привыкла угадывать намерения автора сблизить или раз-

лучить своих героев. В этом смысле я и на жизнь смотрела, как на книгу: вижу, понимаю, но не участвую.

Глядя на людей со стороны, я уверилась, будто я мудрая женщина, которая всем обязана давать советы, но сама не подвержена чувствам. А жизнь попрежнему щедра. И вот теперь я знаю, что всё должно быть по-другому, и мне стыдно перед собой за ту роль беспристрастной тётушки-советчицы, которую я добровольно и даже с какой-то гордостью выполняла много лет.

Всё-всё должно быть по-другому! Я знаю, с чего начинается потеря счастья, и не хочу потерять его ни крупинцы!

А Леночка?

Она часами готова слушать Ваши рассказы о мостах, о туннелях, об изыскателях. Но семья для неё — это она сама и мать. Сумеет ли она принять другую семью? Нужно, чтобы это было, не может быть у неё и у меня разного счастья. Как это сделать — ещё не знаю.

Леночка бережно хранит портсигар с изображением всадника на гарцующем коне; для этого портсигара она связала сумочку с изображением тёмных гор и оранжевого солнца. Она испытывает огромное удовольствие, надевая на себя отцовский патронташ, и в то же время становится как-то взрослее за этим детским занятием. Слово «отец» она произносит тихо и робко, даже когда речь идёт и не об её отце. В воображении её живёт человек всегда и во всём справедливый, в котором нет ничего обыкновенного.

Однажды мы поссорились, и Леночка крикнула мне:

— Если бы жил мой папа, он не позволил бы меня обижать!

Она плакала в тот раз, как никогда прежде, и долго мне пришлось успокаивать её и успокаиваться самой.

Вы должны знать об этом. Пока Вы этого не знали — я не могла ответить, а только просила Вас не сомневаться. Мне не стыдно сказать дочери обо всём — не подумайте так. Но у меня нет уверенности. Вдруг она выслушает меня и скажет: «Разве нам плохо вдвоём, мамочка? Разве для меня может быть кто-нибудь лучше, чем мой папа?» И в самом деле — разве не я научила Леночку так обожать отца, которого она совсем не помнит? Разве не я гордилась этой её любовью и находила в ней утешение для себя?

Воф так и бывает среди женщин: бездетные — лучшие воспитательницы, а вдовы — знатоки семейной жизни, и всё до тех пор, пока дело не касается своих собственных детей и своей семьи.

И я воспитала свою дочь так, что в решительную минуту она может и не понять меня. Всё считала её маленькой, считала, будто я и она — это одно и то же, а ей уже одиннадцать лет, у неё свой характер, и нужно искать, что поможет мне в её характере.

У неё ещё детская, но уже осмысленная любовь к людям, о людях она не умеет думать плохо. Потом, может быть, мне поможет её любопытство, хотя я заранее представляю, какой ворох самых неожиданных вопросов обрушится на мою голову. Наконец, если она поверит, что так нужно, — я могу быть уверена во всём остальном, потому что она умеет держать слово.

Ещё я могу пойти в школу, поговорить с пионервожатой, с учительницей — они помогут, но вначале всё зависит от меня, от того, как я сумею с ней поговорить.

А что мне может помешать в этом, чего я боюсь?

Уже давно меня тревожит, что Леночка равнодушно проходит мимо краешнего, и вдруг это значит, что у неё небогатая душа?! Ей больше нравится цирк, чем опера. В картинной галерее бесконечные «зачем» и

«почему», ни на минуту она не замолкает, ничему не удивляется, в ней мало чувств.

Как я помню себя в её возрасте — это ночи без сна и сон под музыку целую неделю после каждого концерта; это старики, женщины, дети, которые сходили с полётов и неотступно следовали за мной повсюду после каждого посещения галлерей. А новая книга? Ведь это был новый мир, я входила в него, затаив дыхание, а расставалась с грустным убеждением, что никогда не узнаю ничего более интересного.

Правда, у меня уже тогда были другие склонности, и впоследствии моей специальностью стала книга; у Леночки не те интересы — она, наверно, будет что-нибудь строить, но, если ей чуждо всё это, как же она меня поймёт? И как вообще она будет жить?

Я долго готовилась к разговору с Леночкой, перебрала в памяти книги о путешествиях. Пусть книга не имеет никакого отношения к нашему разговору, нужно только, чтобы у девочки создалось то настроение, которое я ищу в ней.

Есть такой рассказ.

По реке плывёт пароход, и на нём — сверстники моей Леночки, мальчики Вася и Юра. Вася каждое лето много раз проплывает из конца в конец этой реки вместе со своим отцом — капитаном парохода. Всё давно уже стало для него неинтересным и таким привычным — река, города, леса по берегам, — что кажется ему, не на что смотреть вокруг. Вася сидит в каюте и читает книги об увлекательных путешествиях в пустынях и горных странах.

А другой мальчик — Юра — вырос в пустыне, в небольшом посёлке, вокруг которого пески и пески на сотни километров. Он едет на пароходе первый раз в жизни. Речная вода кажется ему чудом, на каждой пристани он сбегает на берег, набирает воду в пригоршню и бросает её вверх, чтобы капли блестели на солнце.

И не только капли — всё вокруг светится для него необыкновенными красками в этом необыкновенном мире.

Мальчики знакомятся и очень завидуют друг другу. Васе кажется, что нет на свете счастливее тех людей, которые без дорог и маяков пускаются на верблюдах в путешествие по безбрежным пескам пустыни, а Юра не перестаёт восторгаться всем тем, что он видит вокруг себя, — он всю жизнь готов бы плавать на васином пароходе. Когда же друзья расстаются, каждый из них по-своему приходит к мысли, что самое интересное на свете не пустыни и не реки, а люди, которые встречаются на реках, в пустынях, в тундре, в городах и сёлах Родины.

Почему я остановилась на этом рассказе?

Он очень напоминает Вас. Вы тоже рассказываете о природе, как будто она умный союзник Ваших дел, только нужно правильно понять её. Если же не поймёшь, как будто говорите Вы, можно так и прожить жизнь, ничего не увидев и не услышав в природе.

Так же, как и во всём том, что Вы рассказывали нам, в этом рассказе много солнца и простора, в нём наш русский одушевлённый пейзаж, и мне казалось, будто, читая его, я буду разговаривать с Леночкой на лоне природы. Такой разговор всегда бывает и проще и смелее.

Я думала: мы прочтём рассказ вслух, я заставлю Леночку задуматься, притихнуть, потом мы заговорим с ней о Вас, потом... Но только мы кончили читать, как она сказала:

— Неправильно он делает!

— Кто он? — не поняла я.

— Писатель! Конечно, неправильно. Поговорили друзья и разошлись. Чего же тут интересного? Что они теперь будут делать — совершенно неизвестно. А нужно, чтобы они вместе отправились в пустыню, поехали

на верблюдах и там открыли драгоценности или построили канал. Вот тогда будет настоящий рассказ!

И Леночка пустилась фантазировать.

У меня всё ещё отпуск. Я приносила другие книги, много книг, мы гуляли с Леночкой, ходили с ней в кино, несколько раз ездили с дачи в город, и я подружилась за это время со своей дочерью какой-то новой, незнакомой прежде и радостной дружбой, но так и не нашла момента, чтобы начать разговор. Я боялась потерять эту нашу новую дружбу, не была уверена в успехе, а без этой уверенности нельзя начинать. Если в первый же раз она не поймёт меня — потом будет ещё труднее её переубедить.

А сегодня в нашем посёлке с утра было шумно: День железнодорожника, приехали гости с соседних станций на митинг — многие работники здешнего ремонтного завода награждены орденами.

Леночка убежала в сад пионеров. Вечером она долго не приходила, я забеспокоилась и пошла её встретить.

Вхожу в сад. Вижу: на пенке стоит пионервожатая — она только немного выше Леночки и старше года на три-четыре, но уже все замашки заправского педагога — и с пенка произносит речь. Оказывается, за детьми, которые приехали на праздник с соседнего разъезда, не пришла дрезина. На разъезд уже позвонили, чтобы родители не беспокоились: детишки останутся ночевать у своих друзей. Теперь вожатая объясняла, что эти детишки — не просто гости, а общественное поручение, что только активные пионеры получают к себе домой по одному гостю, причём самые активные и примерные — самых маленьких.

Поэтому моя Леночка была очень горда, когда пионервожатая вывела из шеренги девочку всего лет семи и сказала:

— Эту я никому бы не поручила, кроме тебя. Сделай так, чтобы этой маленькой девочке было очень интересно с тобой. Чтобы она и после приезжала к тебе в гости и привозила своих подруг!

Через несколько минут мы шли домой и за обе ручонки вели наше «общественное поручение», которое называлось Тоней и было уже зачислено в первый класс начальной школы на разъезде Крутой Лог.

Я хотела было начать общую беседу, но Леночка сказала мне тихо и поучительно:

— Когда у тебя гости, я не вмешиваюсь в разговор...

Я пошла медленнее, а девочки побежали вперёд. Леночка изо всех сил старалась выполнить наказ пионервожатой, я редко видела её такой возбуждённой.

Стало уже совсем темно. Взошла луна, и небо засветилось звёздами. Когда подошли к железнодорожному переезду, я увидела, что девочки стоят на полотне и Леночка, наклонившись к Тоне, что-то рассказывает ей.

— Вот-вот! — говорила она быстро. — Вот эта избушка — ночь. Сама ночь. Смотри: так можно нарисовать ночь — один глаз закрыт, спит, а другой дремлет и смотрит немножко. И одного уха не видно — оно спит, а другое насторожилось, слушает. Я на уроке рисования, когда начнутся занятия в школе, обязательно нарисую такую ночь. И ты тоже нарисуй. Обязательно!

Я встала в стороне, и, когда внимательно взглянула на будку, мне тоже показалось, будто одно оконце, в котором мигал неяркий свет, — это дремлющий глаз, а белая труба на крыше — чуткое и большое заячье ухо.

Объяснив всё про будку, которая так хорошо изображает ночь, Леночка спросила Тоню:

— Ты кем будешь — моей дочерью или моей сестрёнкой?

— Если дочерью, то я уже слишком большая для тебя, — рассудила Тоня — Лучше я буду твоей сестренкой.

— Хорошо! — согласилась Леночка — Смотри, сестрёнка, вот это всё, что вокруг, — страна, в которой ты ещё никогда не была. А я уже всё знаю здесь, я здесь путешествовала и могу всё объяснить тебе и рассказать... Хочешь, я сейчас привяжу для тебя звёздочку на ниточку?

Леночка засмеялась какой-то своей выдумке и, схватив Тоню за руку, побежала с ней вниз, под насыпь. Там, внизу, их светлые платища ещё помелькали в одну и в другую сторону и остановились.

— Вот отсюда видно, что звезда на ниточке! Смотри! Ведь, правда, привязана?

Некоторое время Тоня молчала, потом вздохнула и ответила:

— Нет, я не вижу...

— Это потому, что ты ещё маленькая. Встань позади меня и смотри, куда я показываю рукой. Наклоняйся! Наклоняйся ещё больше!

И вдруг Тоня захлопала в ладоши.

— Вижу! Совсем вижу! Привязана!

Они постояли здесь, обнявшись, а потом побежали дальше по дороге. Я сошла с насыпи, встала на то место, где только что стояли девочки, но долго ничего не могла понять. Наконец догадалась. Стержень открытого шлагбаума был поднят кверху, чёрные витки его растворились в темноте, их совсем не было видно, а витки белой краски составляли как будто одну тонкую спираль или нитку... И можно было так встать, чтобы на конце этой нитки увидеть одну из бесчисленных звёзд, мерцавших в бездонном, тёмном небе. Снова я удивилась леночкиной фантазии и быстрее пошла по дороге, чтобы догнать девочек.

Потом я видела, как Леночка вскочила на придорожный столбик, сложила руки над головой, а Тоня считала, сколько звёзд было в охапке у Леночки.

Помните — с правой стороны дороги растут огромные тополя? Вот там они начали новую игру. Теперь густые тени этих тополей были странами. Здесь были Голубая Земля, остров Восхищения, остров Павлика Морозова, полуостров Бесстрашного Пионера, я уже не помню всей этой географии. Лунные промежутки между тенями представляли моря и океаны, их мои путешественницы пересекали на кораблях-молниях или просто «вплавь». Леночка без умолку рассказывала о том, как эти страны они скоро соединят мостами, что каналы пересекут их из конца в конец.

— Вот эта земля, — говорила Леночка, — называется Землёй Зноя и Жажды. Здесь до сих пор не могли жить люди, потому что нет ни капли воды. Совершенно ни одной капли. Но я знаю — там, в глубине, течёт под землёй большая река. Мы её отроем и поднимем воду. Ты слыхала про артезианские колодцы? Нет? Это ничего. Я научу тебя, как их надо делать!

Я узнала в этих словах книжку про двух товарищей — Васю и Юру — и ненаписанное продолжение этой книги, которое так нужно было Леночке. Я узнавала в её фантазии, такой яркой и неожиданной даже для меня, множество других книг, а потом уловила *и Ваши рассказы. Конечно, это были они, то и дело я даже слышала запомнившиеся мне из Ваших рассказов выражения и случаи и стала ждать, когда же Леночка назовёт Ваше имя. Она не назвала Вас, а я всё-таки была уверена теперь, что она пусть безотчётно, но признаёт Вас, что Вы ей нужны.

Мы вернулись домой часа два тому назад.

Тоня хотя и маленькая, но уже совсем самостоятельная девочка. Она всё может сделать для себя ничуть не хуже Леночки, но она быстро поняла, что сопротивление бесполезно, и позволила «старшей сестрёнке» ухаживать за собой, раздеть и уложить спать; я устроила их на террасе

Там они пошептались и замолкли. А я принялась за это письмо, которое пишу вот уже несколько дней.

Все мои сомнения исчезли. Завтра поговорю с Леночкой, и она всё сразу поймёт. Будет всё просто и хорошо. Просто, и всё тут. И почему я так боялась, что Леночка не поймёт меня? Только потому, что она не такая, как я сама была в детстве? Я умела только видеть и любоваться тем, что мне казалось интересным и красивым, и была счастлива от удивленного. Леночка же не только должна видеть, она должна ещё участвовать во всём том, что занимает её

Начала было писать и задумалась о Вас. О Вас или о себе — я теперь не могу провести различия.

Вспомнила, как мы в первый раз встретились у Софьи Яковлевны на её именинах. Я вышла на кухню помочь Соне приготовить какую-то закуску, и за несколько минут мы с ней выработали общее мнение о Вас.

— Очень много видел и очень много знает, — решили мы. — Особенный человек. Но у него никогда не будет настоящей семейной жизни. Какая уж там семейная жизнь, если человек десять месяцев в году бродит по белому свету?! Одержимый человек. Написал книгу о своих изысканиях, пишет вторую, у него известное всем специалистам имя, но и лет уже тридцать шесть. Так он и останется на всю жизнь вдвоём со своей любимой проблемой строительства какой-то грандиозной железной дороги. Ясно!

Соня сказала:

— Не дай бог слишком особенного мужа! Счастье чаще всего бывает в обыкновенных семьях!

И я не только не возразила Соне и простила ей нотки гордости за своего круглолицего Лёвочку, который обладает одним-единственным талантом — обеспечивать при любых условиях безбедное существование Сонечки и двух сыновей-близнецов, — но ещё воскресила в памяти чей-то рассказ о неудачной семье. Все несчастья этой семьи происходили от большого таланта супруга, одержимого искусством и потому невыносимого в семье. Торопливо, не очень веря в то, что я говорю, я поведала эту семейную историю Соне, и, очень довольные друг другом, приготовленной нами закуской и весёлым вечером, мы вернулись с ней в шумную столовую.

Как всё это далеко теперь, когда ни за что на свете я не уступлю никому обязанности всегда беспокоиться за Вас и за Ваши дела, всегда ждать Вас и с горечью провожать в очередную поездку!

Я ещё вспоминала многое и о многом думала, как вдруг вошла Леночка.

— Ты не спишь? — удивилась я — Ну, пожалуй, это ничего, хотя уже совсем поздно. Садись вот здесь, рядом, мы поговорим с тобой.

Леночка осведомилась о том, какие продукты есть у нас в кладовой, попросила разбудить её завтра утром как можно раньше, чтобы она сама приготовила Тоне завтрак, пока та ещё спит, затем она примостилась на диване, подогнув под себя голые ноги и щурясь от яркого света электрической лампы.

Я обняла её за плечи. Какая она уже большая! Удивляешься тому, что она такая большая выросла, радуешься, что вот уже не одна — рядом с тобой почти взрослая дочь, и в то же время так жаль, что нельзя, как прежде, прижать её к себе всю и особенно почувствовать, что и она и я — это одно и то же.

Сначала мы посидели с ней молча, потом я стала рассказывать ей обо всём.

И вдруг я поняла, что мне ужасно страшно.

Она слушала и говорила: «Да, да, да...» Если бы она крикнула: «Нет, нет и нет!» — и упала бы на диван и заплакала, я бы не испугалась так. Я склонилась бы над ней и стала гладить её и успокаивать. Но теперь я сидела на диване, а Леночка стояла передо мной босая на полу, гладила мои щёки, волосы, лоб и говорила:

— Да, да, да... Конечно... Вот ты меня водишь в кино и везде и всё не говоришь мне этого... Да, да... Ведь мы не снимем со стены портрет моего папы? Не снимем? И патронташ тоже останется в кожаном чемодане?

Она говорила очень тихо и как будто прощала меня за что-то, как будто ей было трудно меня простить...

Я не должна была показать ей, как мне страшно. Я не знаю, что было бы, если бы я заплакала. Мне нужно было овладеть собой, заставить её почувствовать, что она совсем ребёнок, а я взрослая. И я сказала:

— Ну вот... Хорошо. Иди и сейчас же ложись спать! Если ты проспичь утром и проснёшься позже Тони, тебе будет очень неловко перед ней.

Она ещё погладила меня молча по голове и ушла. Вот как всё это было трудно! Но теперь я знаю — ты будешь с нами. Приезжай скорее.

Твоя Ольга».

г. Омск.



Н. ЕМЕЛЬЯНОВА

★

НОВАЯ ФИГУРА

Рассказ

Год назад Ефим Князев, учёчник машинно-тракторной бригады, настоял на том, чтобы старшего своего сына Василия послать учиться в фабрично-заводское училище. Для этого ему понадобилось долго уговаривать свою жену Катерину, женщину ещё молодую, иногда любящую поспорить, но в сущности уступчивую. В этом же вопросе она неожиданно оказала мужу крепкое сопротивление.

От кого-то она слыхала, что в городе за учениками фабрично-заводских училищ нет никакого надзора; в будни они ещё кое-как учатся, а в праздники сходятся с ребятами другого училища и бьются с ними стенка на стенку.

Когда, открыв широко голубые свои глаза, раздумываясь от волнения, Катерина выпалила всё это мужу, он, человек обычно серьёзный, поднял голову от стола, за которым ужинал, вернувшись с полей, и громко расхохотался.

— Вот всегда с тобой никакого разговора нет! — закричала Катерина. — То молчишь, чего-то обдумываешь, то смеёшься надо мной. Что из того, что ты грамотней, ум и у меня есть: не пушу сына.

— Катя, — сказал Ефим, поднимаясь и подходя к жене; недопитый стакан молока остался стоять на столе, — ты послушай только...

— А чего я от тебя услышу? Сказал — хуже не придумаешь. И я сказала: не пушу!

Ефим обнял жену, но она оттолкнула его, села на лавку и заплакала.

— Всё это ты напрасно, Катя. Послушай...

После нескольких неудачных попыток добиться примирения Ефим принёс из чулана сушившийся там табачный лист нового урожая и стал резать его. Закурив, он сидел и снова начал:

— Катя, ведь мы с тобой оба виноваты, что Василька учился на одних тройки. Какое же это окончание седьмого класса? Едва-едва вывез. Тут и твоё материнское послабление и моя ошибка. Ему бы уроки учить, а он по ребятам ходит, курить начал... Учителям грубит, а они ему прощают, да ещё говорят мне: он парень хороший, это у него пройдёт. Учиться тут он будет плохо, он все слабые стороны учителей понял. В городе его ремеслу научат, руки у него умнее головы.

— А что люди говорят? Слышал?

— Какие люди-то, Катя? Самые устарелые...

Так понемногу Ефим всё же уговорил Катерину, и Василька поехал в большой сибирский город учиться.

...И вот теперь прошёл год, и Ефим почти ничего не знает про сына, — как он там учился, о чём думал, какой стал; писал Василий редко. Самому Ефиму поехать в город не пришлось: зимой работал на лесозаготовках, весной дорога рано испортилась, потом начался сев. Катерина после

Нового года ездила в город и вернулась совсем с другими мыслями; рассказывала, что Василька вырос. Кормят их там хорошо, сама пробовала. Мастер такой чудак, всё говорит пословицами: «Глаза боятся, руки делают», «За дело берись смело!» Про то же, как Василька учится, вовсе не рассказывала. Мастер говорит, что он сильно толковый, а к чему — не поняла. «Не выпущу, — говорит, — из рук, пока человека из него не сделаю!»

— А как «стенка на стенку»? — спросил Ефим.

— Какая стенка? А, вот ты про что... — Катерина оборвала речь и скупо добавила: — Не слыхала там о стенках.

— Так я и ожидал! Кое-кто ещё у нас всегда больше других знает! А о деревне что Василька говорил?

— А чего ему теперь деревня? — сказала жена. — Сам же сына в город направил, так теперь ему надо, чтобы сын ещё деревню поминал. Василька теперь городской.

Эти слова надолго заняли внимание Ефима. Что жена переменяла отношение к учёбе сына, его не удивляло: она всегда была недоверчива к новому. Когда в колхозе впервые посеяли Тулунскую пшеницу, сняли прекрасный урожай и Ефим смолот мешок полученного в счёт трудодней зерна, Катя даже плакала: «Не надо этой Тулунской, привези Гарнет!» А у Гарнет, которую всегда сеяли, зерно красноватое, мука темнее, и в печении хлеб из Тулунской пшеницы оказался много белее и подъёмнее. Тогда на трудодни Ефим взял и той и другой. Катерина, увидев мешки, всплеснула руками и закричала: «Почему ты одной Тулунской не взял? Она же куда лучше, чем Гарнет!».

Но Ефим вовсе не думал, что, отправив сына на учёбу в город, он оторвёт его от деревни. Каким он увидит сына? В последнем письме Василий писал, что вступил в комсомол и скоро приедет домой на каникулы...

Василий приехал в тот день, когда его не ждали. Отец был на полях, мать — на ферме. Несмотря на ослепительно солнечный, жаркий день, Василий и его товарищ Степан шли по деревне в чёрных шинелях внакидку и чёрных же форменных фуражках. В руках они легко несли большие, почти пустые чемоданы, приобретённые в городе.

В июльский этот день почти все были на сенокосе, но всё же в деревне заметили торжественно шагавших ребят. По деревне необычайно быстро разнеслось, что приехал Васька Князев и антонидин Степанка, шли они в хорошей одежде; рассмотрели даже жёлтые туфли Василия.

Когда Василий открыл калитку, во дворе никого не было. Он остановился и жадно осмотрел двор. Всё так же лежали сани на брёвнах, так же около крыльца была сложена длинная поленница сухих берёзовых дров. Как будто и не было зимы, не было длинных месяцев ученья в городе. Всё, как было!

Из-за поленницы вышел маленький мальчик в синей, полосочками, рубашонке и без всякого признака штанов. Он дошёл до середины двора, мягко переступая босыми ножками, с любопытством вглядываясь в неизвестного человека, но близко подойти опасался.

Василька шагнул к нему и хотел поднять на руки, но мальчик не дался, отбежал и закричал.

«Эх, и Юрка меня не узнал! — с горечью подумал Василий. — Ну-ну, не трону тебя».

Он взошёл на крыльцо, схватывая взглядом изрезанную им когда-то ступеньку, ряд крынок, кадушку с водой, коромысло. В избе он поставил на пол чемодан и остановился. За ним хлопнула дверь, и вбежал младший брат Васильки, Кеша.

— Ой, Василька приехал! — закричал он, подбежал и остановился против брата.

— А наши где? — не здороваясь, спросил Василий.

— На полях. Ой... — Кеша смотрел во все глаза.

— Что ойкаешь?

— Ты чего-то больше стал...

— Конечно, не меньше, а больше! — Василий похлопал брата по плечу, потом наклонился, и они поцеловались.

Первые дни все в доме чувствовали наступившую с приездом Василия полноту семьи. Мать, как остановилась в день встречи на пороге с сияющими глазами, так с этим выражением и смотрела всё время на сына, выросшего и возмужавшего за год. Ефиму же казалось, что сын в чём-то изменился в городе. И то новое, что сразу бросалось в глаза, беспокоило отца.

Прежде всего Василька стал франтить. Брюки, купленные ему отцом, чтобы носить их по праздникам, Василька надевал каждый день. Он подходил к зеркалу несколько раз на день, тщательно причёсывался, долго всматриваясь в своё круглое, совсем мальчишеское лицо, иногда снимал со стены пиджак отца, перед зеркалом накидывал его на плечи, но, повернувшись раза два, вешал пиджак обратно.

Иногда к нему заходил Степан, красивый, черноглазый, разговаривал всё шуточками, но, соскучившись, скоро уходил. Василька тоже ходил к Степану, и младшая сестрёнка товарища, Верунька, с восторгом рассказывала Кеше, что Василька со Степаном курят городские папироски, раз даже выпивали без мамки и пели песни. Василька и по вечерам стал ходить.

Правда, дома, перед людьми, Василька показывал себя серьёзнее, чем был год тому назад. Когда в избу к ним заходили колхозники или трактористы, он садился в стороне и слушал, о чём говорят. Теперь, во время уборочной кампании, непременно заходила речь о хлебе. Хлеб был посеян во-время, вызрел, и теперь, когда он почти был в руках, все боялись каждой помехи в уборке. Говорили о том, что хлеб лежит на токах открытый и от недавно прошедшего дождя пшеница греется, и о том, какие овсы прекрасные убрали вчера комбайном, и что на сушилке опять нет порядка, как и в прошлом году.

Мать горячо вступала в беседу, её голубые глаза синели и гневно сверкали.

— А на токах что делается! — всплескивала она руками. — Надо заводить крытые тока, а они сплошь открытые. Зерно отсыревает. Это наше счастье, что сейчас сухо, а если бы перепадали дождички, всё зерно сгорело бы. Пшеницу-то подмоченную сгребали!

Ефим останавливал жену: хотя всё это на самом деле было, но, сказанное вслух горячо и громко, казалось преувеличенным.

— Не останавливай, я правду говорю, — повышала она голос. — Пакулова да Щукина из начальников прогнать, вот дело и выправилось бы. А то как мужик, так норовит командовать, а женщинам судьба — работай да работай, крути веялку!

Ей возражали, что председатель дело ещё наладит.

— Председателю некогда: он то женится, то разводится. В колхоз надо настоящих руководителей. А то собирают воскресник, идут те, кто постоянно ходит на работу, а кто не ходил, того и не вытацишь.

Сын сидел и, поглядывая на мать, слушал её звонкий, возмущённый голос. Сам же он рассказывал всё о городе: какие в нём чистые улицы и как удобно, что в городе не ходят на реку по воду, а открыл в доме кран — и бежит вода...

Ефим думал, что сын спросит его о том, как идёт сенокос, и поможет на уборке, но Василий только спросил: «Накосили ли на корову?» — и больше не интересовался этим. Зато безвыходно пропадал на песках,

купался и жарился на солнце, уходил гулять с ребятами старше себя и только раз сказал отцу, что хорошо было бы пойти порыбачить. Прежде он любил ходить вместе с отцом на реку, но этот месяц у Ефима был горячий — не до рыбалки было.

Отец расспрашивал Василия, как идёт его учение и работа. Вместо ответа сын начал ему рассказывать о своём мастере, Иване Евдокимовиче.

— ...Ну, нет, он совсем не старый, — ответил он на вопрос отца, — но всё знает, на фрезерном станке работает — красиво смотреть. Что бы ни спросил его — объяснит. И всем интересуется: что ты читал и кто твой любимый герой? Мне сначала было удивительно: он должен нас труду учить, а он обо всяких посторонних вещах разговаривает.

— Посторонних? — спросил отец.

— Ну, конечно, — кивнул Василий, — я так считал.

— Что ж; — спросил отец, — тебе это не нравилось?

— Сначала не нравилось: он же старший. Но была у нас с ним встреча, и я понял, какой это человек.

Но о встрече с мастером в этот раз Василька не рассказал.

Как-то отец увидел у Васильки комсомольский билет.

— Как же ты в комсомол вступал, сынок? — спросил он.

— А мне, — ответил сын, глядя на книжечку, — и в этом Иван Евдокимыч помог разобраться. «Ты, — говорит, — в комсомол иди не для того только, чтобы тебя вели, а чтобы самому вести...» Вот он какой!

Однажды, недели через две после приезда, Василька не ночевал дома и вернулся только вечером другого дня.

— Где же ты был целый день? — спросила мать, ставя на стол большую сковороду с жареной рыбой.

Отец сам только приехал с полей, сегодня он ездил на велосипеде и устал; загорелое его лицо с резкими правильными чертами совсем почернело. Юрка сидел на окне и звонко смеялся: Кеша подкрадывался с улицы и хватал его за ногу. На лавке у окна сидела сестра матери, толстая, весёлая тётка Даша; мать позвала и её к столу.

— Что же ты не сказался, сынок, куда идёшь?

— Будет он тебе сказываться, — ответила тётка Даша, — у него такие дела пошли, о которых матери последними узнают.

— Ты ещё молодой, сынок, — улынулась мать, поняв намёк сестры.

— Молодой, да ранний. Он там с комбайнерочкой переглядывался. А Сергей Трофимыч нынче около своего комбайна ночует, так и молодёжь вся с ним... будто им тоже надо, в четыре часа вставши, комбайн проверять.

Тётка Даша и мать засмеялись чему-то далёкому, милому, но хорошо им известному.

«Ну, у Трофимыча он только хорошее увидит и услышит», — подумал Ефим, представляя себе степенного, темноволосого комбайнера, который во время уборки всегда ночует в поле, встаёт до солнышка, осмотрит свою машину и потом работает «до закатимого». Молодёжь его любит, все просятся к нему работать...

— А самих-то... самих... — смешливая тётка Даша едва перевела дух, — не добудишься: ночка-то была звёздная, тёплая, все песни перепели.

Ефим подумал: «Рановато, рановато тебе за девчатами, сынок!» — но ничего не сказал: он и всегда-то был молчалив, а к такому вопросу и вовсе не знал, как приступить.

Неожиданно, на другой день, Василий попросился поехать с отцом на поле. За ним сейчас же потянулся и Кеша, и даже Юрка сказал: «Хочу поле». Ефим подъехал на буланом гладком коне, запряжённом в телегу.

— Кеша, быстро! Соломки подбрось! — И, когда Кеша положил солому на телегу, сказал: — Вы с Юркой останетесь дома.

Видя оживление отца и чувствуя его радость от того, что они едут вместе, Василька и сам оживился.

— Ох, как хорошо, — сказал он, глядя, как плотно и уверенно печатает буланный круглые следы на мягкой пыльной дороге, — давно я на коне не ездил! В городе всё машины да машины. Я, конечно, и на машинах не ездил... — И Василька, как прежде, по-детски захохотал.

«Ага, прорняло тебя! — Ефим стегнул коня, и перед ними стали показываться широкие разливы поспевающих хлебов. — Погляди, погляди ещё, подыши родимым воздухом!»

Поглядев и подышав, Василий сказал:

— Конечно, иногда хорошо и на лошади, но на каждый день нужна машина. У Федота Степаныча есть машина?

— Есть, — коротко ответил отец.

Они остановились в тракторной бригаде у опушки рощи, и Ефим сразу пошёл проверить, сколько у них в наличии горючего. Потом Ефим у будки разговаривал с другим комбайнером. Чекменёвым, молодым и видным, как бывает «виден» боевой командир. Чекменёв жаловался на возчиков, что они запаздывают. Василий смотрел, как к току подъехал на паре коней Сенька Пряхин, быстро своротил один мешок овса, высыпал его, потом — другой, третий... На току светились золотом груды насыпанного непровеянного овса. Около веялки возились два человека: оба здоровенные, они перевернули её и что-то долго налаживали в ней. На золотом сыпучем овсе сидели девушки, знакомые Васильки, и они сразу же стали звать его помогать.

— Помогать отдыхать, что ли? — спросил Василька свысока.

— Нет, он пойдёт Тане помогать! — сказала одна из девушек. — Вон она, как старуха, согнулась. — И все громко засмеялись.

Василька, не отвечая, подошёл к другой веялке: стоя друг против друга и взявшись обе за одну ручку, её крутили две девушки. Они раскраснелись, косынки, повязанные низко на лоб, намокли от пота.

— Ох, Василька, помоги! — сказала Таня, тоненькая, большеглазая; с ней Василька учился в школе.

— А ну, пустите обе, я один покручу, — ответил Василий. Он стал крепко, словно врос в землю, и начал крутить.

— Подсыпай! — то и дело кричала Таня подруга. Таня подсыпала, Василий крутил, танина подруга отгребала чистое зерно.

— Вот так-то и веем! — сказала Таня, махнув запылёнными ресницами. Она сняла с головы косынку, белый её лоб с прилипшими кудрявыми волосами так светло покоился над тёмными бровями, отличаясь от загорелых щёк и обожжённого солнцем носа, что Василька как-то особенно хорошо подумал о Тане.

Но веялка не очень-то располагала к мыслям, крутить её было нелегко, а сдаваться не хотелось, и Василька крутил да крутил.

Ефим давно увидел сына у веялки, заметил, что он сменил Таню, и одобрительно поглядывал в их сторону. Таня была умница, прекрасно училась в школе, а когда вместе с ребятами помогала во время уборки, всё спорилось в её руках.

— Я поеду к Чекменёву, — сказал Ефим сыну, — а ты тут побудь..

— Нет, папа, я с вами... — Василька отошёл от веялки и не сразу разогнул натруженные свои ладони. Он крикнул девушкам, чтобы не скуцали, и побежал за отцом.

Ефим видел, как Василька подбегал к нему, складный, красивый парень, и видел ещё, как две девушки у веялки, повернувшись, провожали его взглядами.

«Ну и шустрый же парень Василька!» — с одобрением подумал он. Отец с сыном побывали на комбайне, но не у Трофимыча, а у молодого комбайнера Чекменёва, и у Ефима отлегло от сердца, когда он увидел, как сын всюду лазил, смотрел и расспрашивал Чекменёва, а тот спокойно и весело отвечал ему, как большому.

Этот день доставил Ефиму много радости. Вечером, когда отдохнувший буланый легко бежал к дому и звёзды густо высыпали на тёмном небе, он чувствовал, как его плеча касается плечо сына, и был спокоен: Василька казался ему прежним, город не изменил его любви к родным полям.

Ефим спросил:

— Ну как, сынок, хорошо на полях?

— Хорошо, отец, — ответил едва различимый в темноте Василий, и Ефим понял это «хорошо», как заложенную с детства любовь к полям, земле и труду на ней.

Но у Васильки в этом слове было своё: он вдруг уловил, что всё это — начало собственной его жизни, такое светлое и ясное, что сердце замерло и всё сказалось словом: хорошо!

Проходили дни каникул Василия один за другим; и сын то огорчал чем-либо отца, то радовал своим вниманием к деревенской жизни и снова огорчал, когда Василька говорил, что он видит жизнь и работу в деревне по-другому, чем раньше, и многое в ней ему не нравится.

Каникулы Василия подходили к концу. Уже зашла однажды к Ефиму в избу Антонида, мать васильева товарища Степанки, и, посидев, спросила грустно:

— Когда думаете Васильку отправлять?

— Ещё успеется, это дело нетрудное, — сказал Ефим, — машины от сушилки одна за другой идут.

— Мой раньше поедет, чтобы добиться места в общежитии.

Катерина, всю зиму страдавшая, что Василька живёт не у родных, а в общежитии, где, по её мнению, его могли как-то и чем-то обидеть среди других ребят, узнала недавно, что, именно живя у родной тётки, Степанка «избаловался», стал выпивать и постоянно опаздывал на занятия. Она сказала:

— Конечно, надо добиваться общежития: там они все вместе, все на виду.

— То-то и есть, — вздохнула Антонида, — так уж пускай вместе и едут.

У Катерины навернулись на глаза слёзы, и она их смахнула пальцами: скоро уедет и её Василька! Ефим же понял, что Антонида не надеется на своего Степана и хочет, чтобы в дороге ему был надёжный товарищ.

— Годами ваш Василька моложе, а умом старше, — подтвердила его мысль Антонида.

«Так-то оно; может, и так, — подумал Ефим, — а я-то и не успел разглядеть, какой стал Василька: быстро как время пробежало! И на рыбалку с ним не сходил».

Василька сидел в горнице и, обняв Юрку, показывал ему картинки — разных домашних животных. Юрка водил пальчиком и называл: «Это — козлик».

— Ну что вы, папа, зачем я раньше поеду? — ответил Василька отцу. — Моё же место в общежитии от меня не уйдёт. Вот не сходить ли нам вместе на рыбалку?

— Непременно ходим, — обрадовался Ефим, — в воскресенье и пойдём.

В субботу Ефим, не говоря истинной причины сборища — желания проводить сына, — позвал соседей. Катерина нажарила, наварила, напекла всего, что умела.

Собрались поздно: после трудового дня приходили не все разом, а по двое, по трое. И самого Ефима долго не было.

Когда он вместе с комбайнером Чекменёвым вошёл в избу, на лавках тесно сидели принарядившиеся женщины. Ваня Чекменёв победным своим взглядом обвёл собравшихся, и сейчас же молодые женские лица склонились друг к другу, чернобровая Прасковья Маркина зашептала с соседкой и кто-то засмеялся. Ваня прошёл к столу особенной, пружинящей походкой, протянул Васильке руку, сказал:

— Здорово, Василька.

Это было не очень обычно: Чекменёв не всегда здоровался первым и со старшими. Все поняли, что он хотел сделать уважение самому Ефиму.

Стали усаживаться за стол. Ефим, наливая стаканы, поглядывал на дверь и дотянул-таки до того момента, когда в дверях показалось круглое лицо Федота Степаныча, председателя колхоза. За ним, высокий и худощавый, с пристальным взглядом, вошёл новый председатель сельсовета, товарищ Гончаров, недавно присланный из района. Это было неожиданно: Ефим сегодня встретил и пригласил его, но не ожидал; он встал, освобождая своё место.

— Поспели во-время, — сказал Федот Степаныч, сядя и окидывая взглядом стол.

— Тебе бы так на поле попевать! — сказала Катерина тихо, но так, что сестра её, тётка Даша, и ближайшие соседки услышали и засмеялись.

— Федот Степаныч нынче из района вернулся, у него теперь задора в характере прибавилось, — вкрадчиво подхватила тётка Даша, и, как всегда, смех вызвали не слова её, а выражение лица, с которым она говорила. Ефим, нахмурившись, взглянул на жену, и смех в том конце на мгновение затих.

— И Кузьмичу в районе за подмоченный хлеб спину подсушили, — басом сказал Иван Пакулов, которого женщины недолюбливали за привычку командовать ими.

— Удивляюсь на мужиков, — бросила ему вызов Катерина, — на других говорят, а сами чего смотрели?

— Эта режет, ни на кого не поглядит! — одобрил большой, неторопливый дядя Прокопий. — Наши порядочки только задень... — и рассказал, как он в правлении три раза выписывал себе соли по несколько килограммов, а сам не проверял, что ему пишут. Глядит, на него за лето два центнера соли записали!

Кругом захохотали.

Поднялись стаканы, вилки протянулись к тарелкам. Ефим углом глаза увидел, как Василька выпил до дна налитые ему полстакана вина, покраснел, но неторопливо стал закусывать.

«Вот уже и сын стал взрослый», — подумал Ефим.

Вторые полстакана Василька отодвинул, сказал: «Мне довольно», и Ефим увидел, как одобрительно посмотрел на Васильку Гончаров. И вот уже раскраснелись лица, платочки появились у женских пылающих щёк. Обмахиваясь, молодая и весёлая Прасковья Маркина, словно случайно, задела плечо Чекменёва. Он взглянул на неё, она встала, перешагнула через скамейку, вышла на середину избы и запела, подплывая к столу и зовя:

Выходи, милёночек,
Ваня Чекменёночек...

И сейчас же счетовод Карпухин достал из-за спины стоявшую на окне гармонику.

Ваня встал и пошёл по кругу, вольно неся своё ловкое тело, отбивая сапогами какую-то немислимо частую, но ритмическую дробь.

Ваня переплясала Прасковью и поклонился Катерине.

Быстро поправив шёлковый, алыми розанами, платок на голове, сжав губы, словно готовясь к трудной работе, Катерина подняла зажатый в руке платочек и пошла к Ване, напряжённо неся голову. И вдруг улыбнулась задушевно и просто. Улыбка сразу разомкнула губы, напряжённое выражение лица исчезло, согнутая судорожно рука разжалась, и платочек затрепетал над её головой. И уже гордостью озарилось лицо.

«Вот оно моё, всё тут! — говорило теперь оно. — Старший сын мой едет в город, он учится, а все вы, мои соседи, с которыми я живу когда и дружно, а когда и нет, все вы — моя семья. И вы не осудите меня за радость».

— Ну как, Ефим, сына провожаешь? — спросил Федот Степаных, глядя на розового, немного подвыпившего парня.

— Провожая, Федот, пора, — ответил Ефим.

— Что же, он теперь в городе пожил, в деревне ему, поди, не нравится.

— Почему не нравится? — пожал плечами Василий, глядя через стол на председателя колхоза. — Здесь же я дома.

— Дома! Однако же уехал из дома.

— Как вы судите, дядя Федот, не насовсем же я уехал.

Федот Степаных сказал с усмешкой:

— Что же ты в деревню приедешь? На полях работа трудная...

— Работа от человека зависит, — сказал Чекменёв, подходя и усаживаясь за стол.

— Трудная, трудная... — резко ответил Василий. — А вот у нас мастер, Иван Евдокимыч, говорит: работа до тех пор трудна, пока ты не задумаешься, как её облегчить. А задумаешься — сделаешь!

— Правильно говоришь, Василий Ефимыч, — раздался голос дяди Прокопия, и Василий посмотрел на него, не зная за столом никакого Василия Ефимыча. И вдруг покраснел.

— Чего ж, — насмешливо прищурившись и дожёвывая кусок пирога, выговорил председатель колхоза, — вот ты бы и взялся.

— Я не отказываюсь, — звонко сказал Василий. — И возьмусь, когда кончу училище.

— Ну, — добродушно сказал Федот Степаных, как заслон, ставя перед собой широкую ладонь. — Посмотрим ещё, какой из тебя помощник получится.

— Ну что ж, дядя Федот, посмотрим. Я год тут не был, приехал, гляжу — ничего у нас не изменилось. А когда я вернусь, ты уезжай на год, приедешь — посмотришь, всё ли останется таким, как было.

Одобрительные голоса покрыли его слова. Ефим, смутившийся было от выступления Василия, увидел, что сын пришёлся по душе гостям.

— Вот тебе и Василька! — сказала тётка Даша. — Ходил, франтил, с девушками песни пел, а умное слово сказал.

— А чем он не взрослый, Федот Степаных? — сказал дядя Прокопий. — Я в его годы, помню, в ту германскую, за отца на сходку ходил. И говорить там приходилось: «Что же это, мужики, наша семья меньше против дяди Игната, а поскотины городить на нас больше кладёте?» А у самого голосишка тонкий.

Товарищ Гончаров подвинулся и наклонился через стол к Василию:

— А я тебя, парень, увидел, как ты ещё с приятелем в деревню шагал: что это, думаю, за новая фигура — в чёрной шинели в такую жару! Ну, учись, учись. Василька!

За столом начался свой — взрослый — разговор, кто помоложе затянул песню, а Васильке стало скучно. Среди взрослых он был один: девушек и парней не было обычая приглашать на такие вечера.

Он пересел поближе к двери и вскоре вышел из избы. Луна высоко стояла в небе, и в её свете вся улица была отчётливо видна. Из открытого окна в чистый тёплый воздух лилась песня:

Не ругай, мама, за милого,
Подумай по себе..

Василий пошёл к дому тётки Даши, зная, что сейчас, когда она сидит у них, к Варе, её дочке, наверное, зашли ребята. На крыльце было темно. Он подошёл вплотную и услышал шёпот: «Василёк!» Две девушки быстро вскочили со ступенек.

— Кто это? — крикнул Василий.

— Угадай! — И дверь в избу захлопнулась. Василий вошёл за девушками.

В избе были только Варя и танина подружка, которую Василий видел на току. Они чему-то смеялись, с ними сидели Фёдка Пономарёв и Славка Рагозин. Васильке показалось, что сейчас на крыльце была Таня.

— Одну-то я знаю, а вот где другая? — сказал он, угадывая, что Таня должна быть где-то близко, и осматриваясь.

— Ты почему запоздал? — спросил Фёдка. — Мы уж тебя ждали, ждали.

— Неудобно было раньше уйти.

— Тебя, что ли, к взрослым уже причислили?

— Нет, не то, а там председатель сельсовета новый пришёл...

— Так тебе-то что? — насмешливо сказал Славка.

Он был всегда такой чистенький, любил поддеть товарища. Василька не ответил.

— От нас все тарелки к вам унесли, — сказала Варя, — и вилки тоже.

В это время Василий увидел пригнувшуюся за столом девушку: он никак не мог ошибиться, кто это.

— Таня, — сказал он, — выходи, я тебя нашёл.

Таня подняла над столом голову в спутанных кудрях, пригладила рукой волосы и села прямо. Глаза её блестели.

Василька уселся рядом с Таней и, хотя говорил с Фёдкой, сидевшим напротив, чувствовал, когда она взглядывала на него, и сейчас же поворачивал голову в её сторону.

— Магнит! — захохотал Славка.

Варя вытащила растрёпанную колоду карт и сдала по шесть листиков в «подкидного». Но играть в карты никому не хотелось. Таня взяла червонную шестёрку и повертела в пальчиках.

— Дорога! — сказала она. — Это Васильке в Томск.

— Так ты в понедельник уезжаешь? — спросил Фёдка.

Понедельник, когда Василька собирался ехать, был послезавтра.

— Во вторник! — сказал Василька, взглядывая на Таню.

— Пойдёмте лучше гулять, — предложила танина подруга.

— Пошли.

И все, взявшись за руки, пошли по длинной, освещённой луной улице села. Таня шла между Варей и Василькой.

— Небось, тебе не хочется уезжать! — Фёдка считал, что отдыхать всегда лучше, чем учиться.

— Нет, мне очень хочется.

— Значит, скорее хочешь уехать от нас? — спросила Таня. — Надоело в деревне...

— Мне здесь никогда не надоест. Кончу и приеду сюда работать.

— Тут и заводов-то нет, — фыркнула танина подруга, — а ты будешь рабочим.

— Заводов нет, а эмтеэс?

— Так кем же ты приедешь?

— Электромехаником, вот кем.

— Ты же учился едва-едва... — свистнул Славка.

— А вот посмотришь, мы ещё будем вместе учиться! — Василька жжал маленькую руку Тани: это он сказал не ребятам, а ей одной.

— Запоём? — сказала она.

Когда Василька вернулся домой, гости в избе ещё беседовали. Он постоял, прежде чем войти в комнату, чувствуя в себе сильный и полный поток жизни. Двор, освещённый луной, стал как будто шире, чище, изгородь из белоствольных берёзок светилась, как серебряная; стоял неистовый звон каких-то кузнечиков или сверчков, — кто их знает, чего они так раззвенелись сегодня?

Наконец-то отец с сыном выбрали время для рыбалки. Тихий солнечный день стоит над успокоенной рекой. Они сидят в лодке, медленно сплывающей по родимой Черемшанке.

Ефим совершенно беззвучно опускает весло в воду, и, повинаясь тихим его движениям, лодка подходит то к одной талине, то к другой. Василька хватается за талину, и лодка останавливается. Отец забрасывает удочку и вытягивает большого окуня.

Над лодкой нагнулась ива; кривой её ствол с нижней стороны весь облеплен сухим илом. Ил легко осыпается.

— Вот до каких пор вода стояла, — показывает Василька.

— Не так большая вода была нынче. Нехватило влаги на полях. Урожай собрали ниже, чем ожидали.

Необыкновенно уютная речка Черемшанка обмелела к осени, тихое её течение заметно по медленно уплывающему от лодки листку. Сегодня, в безветренный день, вода гладкая, и лишь посередине плёса косяком серебрится на солнце мелкая рябь. Серые сухие осины, желтеющий ивняк, кусты подсыхающей смородины отражаются в воде.

Василий смотрит и думает, что с водой всё в природе становится красивее и если нарисовать на картине берег Черемшанки с этой узенькой тропинкой и шиповником, а воду снизу отрезать, то без этого ясного повторения картины выйдет совсем не то. А вот вода течёт, прозрачная, бесцветная, но ловит и отражает все цвета на свете, поит траву и землю и всё оживляет вокруг.

Отец наконец решается спросить:

— Ну как же ты, Василька, думаешь дальше жить? Какие у тебя мысли на будущее?

— Думал, папа, пока на механика выучиться...

— На механика? — задумывается отец. — Что же, хорошее дело... — Его загорелое лицо как будто худеет на глазах у сына. Продольные морщины у рта углубляются. Глаза серьёзно всматриваются во что-то видимое ему за плечами сына: пожалуй, пройдёт его дорога далеко от родной деревни. Ну что ж, пусть будет ему удача на любой дороге.

Василька видит, что отец думает сейчас о нём, и говорит доверчиво:

— У меня, папа, сначала работа вовсе не ладилась. Стали уж говорить: «Не будет толку, парень недисциплинированный». А мне казалось: разве это дело — дают вручную плашку обрубить и опилить её под угольник? Это же всё машина может сделать! Иван Евдокимыч раз как-то подошёл ко мне и спрашивает: «Ты, Василий, скажи прямо: работать не хочешь, или у тебя не ладится?» — «А вам чего? — грубо так я ему

ответил. — Ну... не ладится». — «Помочь тебе хочу; и у меня, было время, тоже не ладилось. Ты пойми, что эта работа не зря тебе даётся, а чтобы развить глаз и руку. Какой ты слесарь будешь, если инструмента себе сделать не сможешь? Не говоря уж — механик!» Подвёл меня к верстаку и показал, как надо делать. А уж тут, дома, — глаза Васильки заблестели, — я раз Чекменёву помогал в ремонте мотора, он меня похвалил за аккуратность в работе. Ну и знает он машину назубок!

— Чекменёв — первый комбайнер... Не хуже Трофимыча.

— В моторе очень электропроводка интересная. Чекменёв говорит: учишься на электромеханика.

— Ну, тут учёба нужна повыше, — говорит Ефим, — а ты только семилетку кончил, мало это.

— У нас в ремесленном, — говорит Василька серьёзно, — можно так: учишься и рядом с учёбой подготавливаешься за десятилетку.

— Вот как? — Отец догадывается, что Василька не раз думал об учёбе, ему нравится, что сын не стал звонить о своих планах. — Смотри, сынок, трудно будет. Но если решил, твёрдо этого дела держись.

— У меня, папа, всё бы ничего, да с правописанием не ладится...

— Ничего, Василька, одолеешь, — уверенно говорит отец.

Он смотрит на сына, на прямой его, почти не загоревший лоб, хорошие серые, задумчивые глаза.

— Ну что ж, — говорит отец, — выбирай! Выбирай себе путь в жизни.

На тихой речке раздаётся тяжёлый всплеск — перевернулась большая рыба. Широкими кругами колеблется вода, рябь расходится к берегу и покачивает сперва отражения высоких деревьев, за ними покачиваются отражённые ветви тальника и густых смородиновых кустов уже под самым берегом.

Отец видит, как смотрят глаза сына на этот любимый обоими мир, на высокое небо над ними, в котором трубят уже, пролетая, журавли. Они улетают и всегда возвращаются на родимые места.

Снова слышится глухой всплеск уже далеко от лодки. И, стараясь, чтобы Василий не заметил, как печалит отца мысль о расставании с ним, Ефим говорит:

— Щученция! Огромная рыбина!

Голос у Ефима довольный и радостный.



А. Э. КОППАРД

★

ДВА РАССКАЗА

Альфред Эдгар Коппард — видный английский писатель старшего поколения (род. в 1878 году). Сын плотника, он рано начал тяжёлую трудовую жизнь. В поисках заработка много ездил по стране и имел возможность наблюдать быт и нравы самых различных слоёв населения Англии. Профессиональным писателем стал лишь в начале двадцатых годов. Коппард выпустил около двадцати сборников стихов и рассказов. Лучшие его новеллы проникнуты искренней любовью к простым людям. Писатель рисует тяжёлую участь деревенской и городской бедноты, безрадостную судьбу детей, вынужденных трудиться уже в самом раннем возрасте, резко бичует мещанскую косность и эгоизм мелких и крупных капиталистических хищников.

Уже в одном из своих ранних рассказов («Вклад в общее дело») Коппард выступил с решительным протестом против империалистических войн. Он один из организаторов созданного в 1951 году писательского объединения в защиту всеобщего мира и вице-председатель Английского комитета защиты мира. В прошлом году Коппард возглавлял делегацию английских писателей, посетивших СССР.

Пятьдесят фунтов

П

осле чая Филипп Рептон и Евлалия Барнс обсуждали своё мрачное материальное положение.

Рептон был лондонский журналист из категории неудачников. Худой, сутулый, всегда скучно резонёрствующий и кокетничающий своими несчастьями, он писал статьи о «Едином налоге», «Разумной диете», «Обречённости того-то и того-то» или о «Подлинном смысле того-то и того-то»; всё это делалось с бездушной старательностью и подписывалось: Ф. Стик Рептон.

А Евлалия была бойкая, порывистая шатенка, нимало не склонная к резонёрству; она уже успела быть и модисткой, и продавщицей, и прислугой, и ещё чем-то в баре. Ф. Стик Рептон «подцепил» её, как говорится, в такой момент, когда она слонялась по Лондону без пенса в кошельке, и даже без кошелька вообще, — и вот он до сих пор ещё её не бросил.

— Ничего не понимаю! Мрак и жуть!

Лалли возилась со спичкой у счётчика газового камина¹, потому что с наступлением вечера на верхних этажах всегда становилось очень холодно даже в сентябре. А их квартира находилась на пятом — «О, пятнадцать тысяч ступенек!», как поётся в песне. Из их окна за дымовыми трубами можно было видеть ярко сияющие на Хай-Холборн огни, слышать звонки и гудки автобусов. И это было единственное утешение.

— Прикрути газ! Сбавь огонь! — заорал Филипп.

Газ вспыхнул с ужасающим треском. Лалли, стоявшая на коленях,

¹ В Англии потребление газа (как и электричества) и сейчас строго нормировано. Для того чтобы включить газ в камин, надо опустить монету в особый счётчик. (Примеч. перев.)

вскинула руки вверх, уронив при этом коробку спичек, и сказала «Чёрт!» таким же тоном, каким вы сказали бы «Доброе утро!» молочнице.

— Не надо было этого делать — понимаешь? — проворчал Рептон. — Ты когда-нибудь так взорвёшь нас ко всем чертям.

И до чего это похоже на Лалли! Вся она в этом, всегда с ней так: то пережжёт газ, то накидает целые глыбы сахара в чай, то одно, то другое, то третье... Ах, эта Лалли!

В первые дни их совместной жизни, начавшейся так внезапно и недозволительно шесть месяцев тому назад, скрытые наивные прелести Лалли восхищали его своей неожиданностью; они то пробивались наружу и вспыхивали ярким огнём, то меркли, то опять ярко вспыхивали. Лалли была для Рептона не одной какой-нибудь звездой, а целой цепью туманностей на его небосклоне.

Квартира, в которой они жили, была неважная, очень маленькая, но зато с очень высоким потолком. Тонкая газовая трубка устремлялась с центра потолка прямо к центру скатерти на столе, словно желая определить, розовая ли скатерть, шафранная или желтовато-коричневая (определить это было в самом деле трудно); но, установив, что скатерть, каков бы ни был её цвет, испачкана десятками винных пятен и завалена какими-то большими конвертами, газовая трубка в ярости от своего разочарования круто сворачивала, уходила вбок и показывала свой огненный язык олеографии с изображением Моны Лизы, висевшей над камином.

Конверты были настоящей пыткой для Лалли; они казались ей отвратительным и страшным отражением чего-то такого, что понять невозможно. На столе или где-нибудь в комнате всегда валялось несколько конвертов; они были набиты рукописями, которые редакторы отклоняли, не читая; они не могли прочитать их так скоро, даже если бы этого хотели. Так и дошло дело до той точки, когда, как говорила Лалли, уже надо что-то предпринять.

Рептон сделал уже всё, что только мог. Он писал непрерывно, весь день и всю ночь, но все его проекты увядали, не успев расцвести; утром, днём и вечером рукописи приходили обратно, непрошенные, как снег в летнюю пору. Рептон чувствовал себя подавленным, растерянным, измученным. Но ничего другого он попросту не умел делать, прямо-таки ничего! Если оставить в стороне его необыкновенное дарование, он был ни к чему не пригоден — это хорошо знала Лалли, и вот его последовательно, с тупым упорством убивали редакторы. Уже прошло много недель с тех пор, как они в последний раз прилично пообедали. Если случалось когда-нибудь достать что-нибудь в самом деле вкусное, они съедали это молча, сосредоточенно и до последней крошки. Насколько могла судить Лалли, нельзя было надеяться, что такая еда придёт к ним ещё раз когда-либо в этой жизни.

Но ужаснее всего была гордость Филиппа.

Он на самом деле был слишком горд, чтобы попросить кого-нибудь о помощи. Не то чтобы гордость не позволяла ему принять помощь, если бы ему таковую предложили. О, нет! Если бы она пришла откуда-нибудь, он принял бы её с радостью. Но у него была та нервическая, трусливая гордость, которая заставляет человека замыкаться в себе. Он никого ни о чём не просил. Как раненое животное, он прятал от всего остального мира свою беду. Одна только Лалли знала, как он нуждается, но почему не видели этого другие и в первую очередь эти гнусные редакторы! Его собственные потребности так скромны, а сам он так великодушен!

— Фил! — сказала Лалли, усаживаясь за стол. Рептон сидел, развалившись в плетённом кресле подле газового камина. — Я не намерена

больше ждать, я должна найти работу. Да, должна. Мы опускаемся всё ниже и ниже. Так не может продолжаться, это бессмысленно, и я уже не могу это выдержать.

— Нет, нет, дорогая, я не могу допустить...

— А я хочу! — вскричала она. — О, почему ты так горд?

— Горд! Горд! — Он уставился в камин; его усталые руки беспомощно свисали с кресла. — Ты не понимаешь! Есть вещи, через которые должна пройти не только наша плоть, но и наш дух...

Лалли очень любила слушать такие его высказывания, и это было счастливое совпадение, потому что Рептон очень любил рассуждать в таком роде. В глубине души Лалли была убеждена, что перед Филиппом легко открываются никому другому не доступные, почти невообразимые тайны высшей мудрости.

— Это не гордость; просто есть у меня определённый стиль жизни, мой стиль жизни, а всё это не подходит к моему стилю. Я бы этого не вынес, навсегда бы лишился покоя; я не могу как следует объяснить, но ты должна мне поверить, Лалли...

Свою голову он держал при этом высоко; говорил очень быстро, а под конец почти гневно.

— Если б только у меня были деньги! Это важно не для меня. Я-то всё могу выдержать. Со мной это уже случалось и ещё случится не раз, я несколько не сомневаюсь. Но я должен думать о тебе.

Вот это было уже страшно скучно. Лалли встала, подошла к нему и остановилась у его кресла.

— Почему ты такой глупый? Я могу сама подумать о себе и как-нибудь пробиться. Мы ведь не женаты. У тебя есть своя гордость, но я не должна из-за этого голодать. У меня тоже есть гордость, и я не хочу тебя обременять. Если ты не позволишь мне работать сейчас, пока мы вместе, мне придётся тебя оставить.

— Оставить! Оставить меня теперь! Когда дела так плохи! — Полная растерянность изобразилась на его побелевшем лице. — О, если так, — пожалуйста, уходи, уходи!

Потом с трагическим видом встал, взял её руки в свои и нежно погладил их.

— Не будь дурочкой, Лалли; это минутная слабость, только и всего. Бывало со мной и похуже, но обычно тянулось не слишком долго. Всегда, в конце концов, что-нибудь подвернётся, всегда что-нибудь приходит. Есть в этом и хорошее и плохое, и хорошего всё-таки больше. Ты пойми!

— Я не могу вечно ждать даже ради хорошего. Я не верю в хорошее, я его никогда не видела, никогда не чувствовала, от него мне нет никакой пользы. Я могу или пойти и украсть, или шляться по улицам, или сделать ещё что-нибудь дурное. Но в чём добро добра, если от него нет никакой пользы?

— Погоди, погоди, — уже стал заикаться Рептон, — а в чём польза от зла, если и оно ничего нам не даёт?

— Я хотела сказать... — начала Лалли.

— Ты ничего не хотела сказать, моя девочка.

— Я хотела сказать, что, когда у нас нет выбора, глупо и ни к чему разводить мораль или болтать о гордости. О, дорогой мой! — Она соскользнула к нему и прижалась к его груди. — Я не о тебе говорю, ты для меня всё; поэтому так меня и бесит то, как они с тобой обращаются! Всё время удары и удары, и никакого утешения. Так оно уж и будет, я чувствую, что ничего не изменится, и мне становится страшно.

— Плюнь на это! — Рептон поцеловал Лалли и стал её утешать: она ведь его любимая. — Когда жизнь к нам несправедлива, — говорил, си, — даже мечты наши окрашиваются в чёрные тона несчастий, горе-

стей, зла. У меня, например, бывает иногда странное, неизвестно откуда взявшееся ощущение, что меня когда-нибудь повесят. Да, повесят, хотя я даже не понимаю, за какую вину меня можно было бы повесить. А в другие моменты, вообрази, у меня бывает такое же особого рода предчувствие, что когда-нибудь я стану — кем, как ты думаешь? — премьер-министром Англии! Ну что же, здесь уж логика бессильна! Но я знаю, что стану делать в этом случае, у меня есть свои планы, я даже уж составил список членов моего кабинета! Да, вот какие дела.

Но Лалли твёрдо решила уйти от него, оставить его на время и начать зарабатывать себе на жизнь. Когда дела поправятся, она к нему вернётся. Она так ему и сказала. У неё есть друзья, которые готовы подыскать ей кое-какую работу.

— Но всё-таки что ты собираешься делать, Лалли? Я...

— Поеду в Глазго, — сказала она.

— Глазго? О Глазго такое говорят!.. Помилуй бог!

— У меня там есть друзья, — упрямо продолжала Лалли. Она уселась на ручке его кресла. — Я написала им на прошлой неделе. Они могут достать для меня работу почти в любое время, и я могу у них остановиться. Они хотят, чтоб я приехала, — даже прислали деньги на дорогу. Я считаю, что я должна поехать...

— Значит, ты меня не любишь! — простонал Рептон.

Лалли его поцеловала.

— Нет, любишь, в самом деле? Скажи!

— Да, мой дорогой, — сказала Лалли, — конечно, люблю.

Какое-то беспокойство овладело Рептоном: он угрюмо отстранил её. Куда умчалась бурная страсть?

Лалли серьёзно на него посмотрела, затем сказала нежно:

— Любимый, не грусти и не принимай это близко к сердцу. Я готова пойти за тобой на край света...

— Нет, нет, не надо на край света, — тупо возразил Рептон. Увидев, что она снисходительно улыбнулась, он мрачно рассмеялся в ответ, а затем опустился опять в кресло. Она поднялась и стала бесцельно прохаживаться по комнате, пока он опять не заговорил. — Так я тебе уже надоел?

Лалли решительно двинулась к нему и присела на корточки у его кресла.

— Если б ты мне надоел, Фил, я бы покончила с собой.

Погружённый в свои унылые думы, он как будто её не замечал.

— Что ж, так оно и должно было кончиться. Но любил я тебя безумно.

Лалли теперь уже плакала на его плече, а он вертел рассеянно в пальцах прядь её густых каштановых волос, как будто это печатка на цепочке от часов.

— Я подумал, что мы сможем, собственно говоря, пожениться, как только пойдут на лад наши дела.

— Я вернусь, Фил! — Она нежно прижалась к нему. — Как только ты захочешь!..

— Неужели ты в самом деле уйдёшь?

— Да, — сказала Лалли.

— Ты не должна уходить!

— Я бы не ушла... если бы... если бы хоть что-нибудь тебе подвернулось. Но по нынешним нашим делам я должна уйти, чтобы освободить тебя. Понимаешь, Фил, мой дорогой?

— Ты не должна уходить. Я возражаю. Я просто люблю тебя, Лалли, вот и всё, и я хочу, конечно, чтобы ты осталась.

— Но что мы будем делать?

— Я... не... знаю. Иногда вдруг что-нибудь сваливается с неба. Но мы должны быть вместе. Ты не смеешь уходить.

Лалли вздохнула: он глуп. Рептон начал мысленно обсуждать тот обидный для него факт, что она ведь предприняла этот шаг втайне от него, что она ничего ему не говорила о своём намерении переехать в Глазго. А теперь у неё уже есть деньги на проезд, и она уже всё равно что уехала! Да, теперь уже всё кончено.

— Когда ты собираешься уехать?

— Не скоро ещё. Приблизительно через две недели.

— Бог мой! — простонал Рептон.

Да, теперь уже всё было кончено. Ему никогда и в голову не приходило, что это так кончится, что она первая бросит его. Ему всегда рисовалась трогательная сцена: с достоинством и с мягким юмором он скажет ей, что, мол... Правда он ещё не нашёл всех нужных слов, которые ей скажет, но очень хорошо представлял себе всю обстановку. И вот перед ним Лалли с деньгами на проезд в Глазго, всеми мыслями устремлённая в Глазго и уже, можно сказать, отбывшая в Глазго! Какое там достоинство, какой там мягкий юмор! Он был взбешён — рбижен и взбешён; в глубине души он кипел. Но он сказал ей с мрачным спокойствием в голосе:

— У меня уже столько было разных несчастий, что я, можно полагать, перенесу и это.

Вид у него был скорбный и трагический.

— Милый, родной Фил, я же для тебя это делаю.

Рептон насмешливо фыркнул.

— Мы всегда очень ошибочно толкуем мотивы наших поступков; природа издевается над нами. Просто я тебе надоел, и я не могу тебя за это осуждать.

Евдалия так была расстрогана, что могла только ещё раз всхлипнуть. Тем не менее она сообщила своим друзьям в Глазго, что приедет к ним в назначенный срок.

На другой день, под вечер, когда Евдалия была одна дома, прибыло письмо на её имя. Адвокатская фирма в Корнхилле приглашала её зайти. Луч надежды блеснул в душе Лалли: это могло означать, что ей предлагают работу и что она останется после всего в Лондоне! Если это так, она примет предложение, не сходя с места, и пусть Филипп потом уж рассуждает, правильно или неправильно она поступила.

Но в конторе в Корнхилле её ждала гораздо более удивительная новость. Она показала своё письмо мальнику-рассыльному, у которого был едва заметный нос пуговкой и почти начисто обгрызенные ногти, и он сейчас же проводил её к какому-то пожилому человеку, у которого были очень длинные ногти и огромный нос. Приветливо улыбаясь, этот длинноносый господин повёл её вверх по лестнице, в мрачную берлогу какого-то джентльмена с реденькими седыми волосами и пергаментно-жёлтым цветом лица. Задав ей несколько вопросов касательно истории её семьи и, как оказалось, вполне удовлетворённый и несколько не удивлённый её ответами, желтолицый джентльмен сообщил ей потрясающую новость: она имеет право на получение наследства в сумме 80 фунтов, завещанного ей недавно умершей и давно ею забытой тёткой. Оставалось выполнить только некоторые формальности, удостоверить её личность и тому подобное, и уже приблизительно через неделю этот джентльмен обещал ввести Лалли во владение наследством.

Движение Лалли к выходу из конторы, её появление на шумной улице и дальнейшее следование до Холборна — всё это совершалось в состоянии упоения, экстаза, такого экстаза, при котором жизнь ста-

нвится сразу в тысячу раз богаче и дышать в тысячу раз легче, каждое движение рождает восторг, а каждая мысль приносит наслаждение. Она отдаст все свои деньги Филиппу, и, если он очень сильно захочет, она теперь даже выйдет за него замуж. Впрочем, десять фунтов она, может быть, бережёт для себя. Остальных семидесяти фунтов им хватит... невозможно определить, на какой срок им хватит этих денег. Они смогут позволить себе кое-какой отдых, поедут вместе куда-нибудь за город — он ведь так устал и издёрган. Пожалуй, лучше ничего не говорить Филиппу до тех пор, пока эта миленькая сумма не будет в её руках. Ни за что никогда нельзя поручиться в жизни — во всяком случае, если дело идёт о деньгах; что-то страшное может случиться вдруг в последний момент, и у неё прямо из рук вырвут эти деньги. О, тогда она сойдёт с ума!

Поэтому Лалли в течение нескольких дней строго хранила свой удивительный секрет.

Предстоящая разлука вызвала у Рептона нежную грусть, которая была поистине трогательна.

— Евлалия, — говорил он; он стал вдруг называть её только полным именем. — Евлалия, мы знали с тобой прекрасные дни, чудесные дни, они уже никогда не придут снова!

Она пролила немало слёз за это время, но всё ещё хранила глубоко в сердце свою упоительную тайну. Не раз приходило ей в голову, что дурацкая гордость Филиппа заставит его даже и сейчас отказаться от её денег. Глупый, глупый Филипп! Конечно, всё было бы иначе, если бы они поженились; тогда он, понятно, взял бы деньги, и это были бы вообще его деньги. Придётся придумать какую-нибудь уловку, чтобы победить его колебания. Колебания — ужасно скучная вещь, но именно они делают Филиппа столь возвышенным человеком: не так уже много найдётся на свете мужчин, которые отказываются принять деньги от девушки, с которой они живут.

И вот через неделю её снова вызвали в контору в Корнхилле, и она получила там от седовласого джентльмена чек на 80 фунтов, выписанный «на Английский банк приказу Евлалии Барнс». Мисс Барнс пожелала получить деньги по чеку немедленно; поэтому длинноносому пожилому клерку поручили сопровождать её в Английский банк, здесь же рядом, и помочь получить деньги.

— Очень приятное поручение! — восклицал этот джентльмен, пока они переходили через Греднидл-стрит за Королевской биржей. Мисс Барнс признательно ему улыбалась, и он стал ей рассказывать о других неожиданных дарах судьбы, которые были ниспосланы людям за время его службы, — огромные суммы, дело шло об очень важных персонах! — и Лалли заключила, что Блэкбин, Карп и Рэнсон — это какие-то универсальные раздатчики божеских щедрот.

— Однако я лично... — сказал наконец, откашлявшись, клерк, у которого был, повидимому, хронический катар верхних дыхательных путей, — я лично ещё ни разу не получал такого подарка и никогда уже не получу. Если б я получил — знаете, что бы я с ним сделал?

Но в этот момент они уже входили в порталы банка, и, в охватившем мисс Барнс деловом возбуждении, она забыла спросить клерка, как бы он распорядился наследством, и таким образом осталась, быть может, без весьма ценной информации. С одной пятидесятифунтовой и шестью пятифунтовыми купюрами, спрятанными в сумочке, она пожелала всех благ длинноносому клерку, который горячо пожал ей руку и заверил её, что Блэкбин, Карп и Рэнсон будут всегда счастливы выполнить любые её поручения. Затем она помчалась по улице, лёгкая, как птица, и бежала, пока у неё не перехватило дыхание. В этот момент она оказалась как

раз против окна машинописного бюро. Влетев в это бюро, Лалли положила листок бумаги перед некоей великолепной Гебой, которая стучала там на машинке.

— Пожалуйста, перепишите мне это,— сказала Лалли.

Красавица-машинистка прочла записку и внимательно посмотрела на счастливую наследницу.

— Не нужно никакого адреса,— сказала Лалли,— на обыкновенном листе, пожалуйста.

Через несколько минут она получила аккуратно напечатанный листок, вложенный в конверт, заплатила, что полагалось, и поспешила в районное рассыльное бюро. Здесь она изменённым почерком написала на конверте имя получателя — Ф. С т и к Р е п т о н у, э с к в а й р у, — и их холборн-ский адрес. Потом перечитала письмо:

«Дорогой сэръ!

Как и многие другие, я безгранично восхищаюсь Вашим литературным талантом и потому прошу Вас принять это осязательное выражение моего восхищения от постоянного читателя Ваших статей, который по чисто личным мотивам желает остаться неизвестным.

Ваш искренний

Доброжелатель».

Сложив вместе пятидесятифунтовый банкнот и письмо, Лалли аккуратно согнула их вдвое и сунула то и другое в конверт. Служащий бюро дал это письмо мальчику в форме, и тот вышел, так беззаботно насвистывая, что Лалли немного встревожилась: он выглядел слишком маленьким и несерьёзным, чтобы ему можно было доверить пятьдесят фунтов.

Затем Лалли вышла из бюро, разменяла одну из пятифунтовых бумажек и угостила себя завтраком; он обошёлся ей в полкроны, но стоил этих денег! О, как обворожителен и восхитителен был теперь Лондон!

Она собиралась уехать через два дня, но теперь сразу же может написать своим друзьям в Глазго, что она раздумала, что ей удалось устроиться в Лондоне. Какая прелесть, как здорово! А сегодня вечером он пригласит её отобедать в городе, в каком-нибудь приличном ресторане, а потом они пойдут в театр. Ей, собственно, не хотелось выходить замуж за Фила, они так хорошо обходились без этого, но, если он будет настаивать, Лалли не станет особенно упорствовать. Они уедут за город на целую неделю. Чего только не делают деньги! Чудеса! Она посмотрела вокруг себя: можно ли сомневаться, что ни у одной из сидящих здесь женщин, как бы хорошо она ни была одета, нет в сумочке целых тридцати фунтов!

Когда Лалли в середине дня возвращалась домой, она вдруг ясно поняла, что её восторженность неуместна; она должна быть сдержанной, покорной, такой, как всегда, а не то он сразу догадается. Хотя по длинным пролётам лестницы она взбежала вприпрыжку, в комнату она вошла очень степенно.

Но вот она увидела Рептона. Он стоял у окна, понурый, как загнанная лошадь, и Лалли не смогла уже сдержаться, бросилась к нему, обняла его и закричала:

— Милый!

— Ну, ну! — улыбнулся он.

— Я так люблю тебя, Фил, мой дорогой!

— Но... ты ведь меня бросаешь!

— О, нет! — сказала она твёрдо. — Я не бросаю тебя, нет!

— Вот и хорошо. — Рептон пожал плечами, но заметно повеселел.

О пятидесяти фунтах он не упомянул: может быть, ему ещё их не доставили или он готовил ей сюрприз.

— Пойдём погуляем, чертовски славный день, — предложила Лалли.

— Что-то не хочется. — Он потянулся и зевнул. — Как будто время пить чай, разве нет?

— Ладно, мы... — Лалли уже готова была позвать его выпить чаю где-нибудь в другом месте, но во-время одумалась. — Да, пора. В самом деле, пора пить чай.

Так они и остались дома пить чай. А потом Рептон сообщил ей, что условился с кем-то встретиться. И ушёл, оставив Лалли обиженной и растерянной. Почему он не упомянул о пятидесяти фунтах? А не доставлено ли её письмо по какому-нибудь другому адресу?

Стрило подняться подозрению, как Лалли уговорила себя, трагически уверовала в это: конечно же, она сама написала на конверте неправильный адрес. Теперь это было уже непоколебимое убеждение. Она написала № 17 вместо № 71. А потом ей ещё показалось, что она написала на конверте не Лондон, а Глазго. Это невозможно, но всё-таки — какой ужас! — а вдруг кто-нибудь другой уже наслаждается этими пятьюдесятью фунтами?

Её страхи не улеглись и после того, как она сбежала вечером в рассыльное бюро, потому что шустрый парнишка, которому доверили её письмо, уже ушёл домой и его можно было допросить только завтра утром. Теперь Лалли уже не сомневалась, что он напутал: ведь он так легкомысленно обращался с этим важным письмом! Лалли никогда не доверяла, и никогда уже не будет доверять таким ничтожным мальчишкам, у которых картуз так лихо надев набекрень, волосы так нагло сияют помадой, а сами они всё время что-то насвистывают, как будто специально для того, чтобы свести вас с ума. Она сгорала от желания спросить, где живёт этот мальчишка, но не решилась, как отчаянно ей ни хотелось этого. Она не смела это сделать, потому что это уже подвергло бы её чему-то такому, что она могла только чувствовать, но не могла назвать. Надо сохранять выдержку, Лалли, и ничто, даже любопытство, не должно брать над тобой верх.

Она снова поспешила домой, хотя спешить было ей несвойственно, а сейчас для этого вообще не было оснований, и дома написала письмо своим друзьям в Глазго. Потом ей пришло в голову, что разумнее не отправлять ещё сегодня письма; лучше подождать до утра, когда она узнает, что именно сделал ужасный маленький рассыльный с её письмом. Трудно было надеяться, что в постели она сможет уйти куда-нибудь от своих дум, но она всё-таки легла. Когда Фил пришёл домой, она ещё не спала. Пока Фил раздевался, он успел рассказать ей о лекции, на которой только что был, — что-то насчёт сокращения населения в сельскохозяйственных районах, — но и после того, как он улёгся рядом с ней, ничего не сказал о пятидесяти фунтах. Ничто, даже любопытство, не могло её заставить изменить принятое решение, и поэтому она постаралась успокоиться и через некоторое время неожиданно для самой себя заснула.

Утром, за завтраком, Фил спросил её, какие у неё планы на сегодня.

— О! — небрежно ответила Лалли. — У меня много всякого дела; я сейчас уйду. Какая досада, что овсянка получилась сегодня такой отвратительной, но, Фил...

— Отвратительной? — перебил её Фил. — Она вкуснее, чем когда-либо, по-моему. Куда ты идёшь? А что думаешь — наш последний день... Понимаешь, надо нам провести его вместе...

— Фил, дорогой! — Она протянула ему руку через стол, чтобы он её погладил. — У меня несколько дел. Но я скоро вернусь, хорошо? — Она встала, подбежала к нему и поцеловала его.

— Ладно, — сказал он. — Не задерживайся.

Лалли поспешила в рассылное бюро, беззаботная, как птица. Так было вначале, но, когда она подошла к помещению бюро, прежние страхи овладели ею снова. Она сразу увидела того маленького наглеца, и он без всякого смущения, весьма лаконично сказал ей: «С добрым утром!» Лалли немедленно допросила его, и, когда он с победоносным видом предъявил ей рассылную книгу, долго подавляемое подозрение вырвалось наружу, заслонило всё остальное и повергло её в полное смятение. Ей даже не хотелось посмотреть в книгу: оставалась ещё тень надежды, и, пока оставалась эта тень, она готова была поклясться, что ужасная правда — не правда, а ложь. Но вот она увидела расписку в получении письма, начертанную хорошо знакомым почерком через всю страницу: Ф. Стик Рептон. Дольше невозможно было сомневаться, и она почувствовала мучительную боль, точно ей вонзили в пылающее сердце холодный кинжал.

— Так, так, спасибо, — сказала Лалли спокойно. — Ты лично вручил ему письмо?

— Да, мэм, — ответил мальчик и описал ей наружность Филиппа.

— Он при тебе открыл письмо?

— Да, мэм.

— И ничего не просил передать?

— Нет, мэм.

— Хорошо. — Порывшись в своей сумочке, она добавила: — Вот, возьми себе шесть пенсов.

Лалли вышла на улицу. Она горько усмехнулась сама себе. «Так вот он какой, после всего! Жестокий и низкий человек!» Он решил её отправить, а деньги утаить для себя! Как это подло! Жестокий и низкий, жестокий и низкий!

Она бубнила себе под нос: «Жестокий и низкий, жестокий и низкий!..» Это как-то облегчало острую боль в её груди. А он ждёт её дома, ждёт с улыбкой на устах, потому что они должны ведь провести последний день вместе! Так пусть это будет в самом деле их последний день! Она разорвала письмо к её друзьям в Глазго, потому что теперь она уже должна к ним поехать. Такая жестокость и низость! Пусть ждёт!

Подошёл автобус — она вошла, взобралась на вышку; свежий воздух охладил её горящее лицо. Автобус шёл далёким маршрутом в Плэйстоу. Она ничего не знала о Плэйстоу и ничего не хотела знать о Плэйстоу, но ей было безразлично, куда привезёт её автобус; ей хотелось двигаться, двигаться, быть как можно дальше от Холборна и от него и не сразу дать волю давно сдерживаемым слезам.

От Плэйстоу она повернула назад и дошла до самой Майл Энд Роуд. Здесь, куда бы она ни сворачивала, всюду она встречала священников, десятки священников. Вероятно, предстояло собрание какого-нибудь благотворительного общества или что-то в этом роде, подумала Лалли. У неё было смутное желание поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, и она внимательно приглядывалась к священникам. Исповедь принесла бы ей облегчение. Но не было здесь никого, кому она могла бы поведать своё горе, и, разочарованная, Лалли вошла в довольно приличный ресторанчик, возле которого очутилась в этот момент, и съела там какую-то рыбку.

Рядом завтракали три жирных священника — жирные, розовые, лысые, приветливые, гладкие и очень похожие друг на друга.

— Вчера я был у Картера, — сказал один из них.

Лалли любила прислушиваться к разговору незнакомых людей и не раз уже пыталась представить себе, о чём могут говорить между собой священники.

— А, Картер! Вот что! Славный малый, этот Картер. Ну и как он вчера?

— Картер любит читать проповеди, ты же знаешь! — вскричал третий.

— О да, он это любит.

— Ха-ха, он такой!

— Ха-ха-ха, ещё бы!

— Отличный проповедник, что ни говорите!

— Здорово читает, верно!

— И здорово исполняет весёлые куплеты — это он тоже умест.

— Да?

— Да!

На столе три стакана воды, хлеб; наступает молитвенное молчание. Потом:

— Он давно уже женат?

— Двенадцать лет, — ответил тот священник, который вчера видел

Картера.

— О, двенадцать лет!

— Я и сам только двенадцать лет тому назад женился, — сказал самый старший из них.

— Неужели?

— Да, я очень долго собирался.

— О да, ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха, то-то!

— Гм... А вы — семейный?

— Нет.

Как изящно и деликатно принимали они пищу; как изящно и деликатно!

— Моё приходское правление помещается в великолепном старом доме, — продолжал тот, который недавно женился. — Он был первоначально построен в 1700 году. Сгорел. Отстроен в 1784-м.

— Неужели?

— Гм!

— Семнадцать спальных комнат и два прекрасных теннисных корта.

— О, здорово! — вскричали остальные, а затем не без грации набросились на какое-то бесцветное бланманже.

Лалли вышла из ресторана и некоторое время шаталась по улицам без цели, потом вдруг оказалась у кинотеатра. Здесь было тепло и уютно, и, пока она сидела в мерцающем мраке зала, немного притупилась её душевная боль. Подчиняясь прихоти своих до крайности напряжённых нервов, она почти весь вечер бродила в этом районе. Лалли знала, что если она уйдёт отсюда, то пойдёт уже домой, а итти домой ей не хотелось.

Фонари в киосках Майл Энд Роуд отбрасывали яркий, рассеянный свет; и, хотя всюду чем-то дурно пахло, приятен был тихий гул уличной вечерней торговли.

Какой-то человек лепил леденцы из огромного шара тёплой, сладкой массы, которая дрожала и скользила у него в руках, как живая; казалось, что цирковой атлет борется с огромным питоном.

Здесь были ларьки, в которых продавались скобяные изделия, фрукты или рыба, горшки или сковороды, кожа, бечёвка, гвозди, часы настоящие или для украшения — всё, что вам угодно.

Матрос предлагал вам гроздь зелёного винограда и при этом рассказывал нелепые истории, виноград он доставал из пробковых бочек, которые, как он клятвенно уверял, были похищены им лично у королевы Гюнолулу. Люди, стоявшие вокруг, громко смеялись и над матросом и над королевой.

г. Вы могли здесь купить старые номера юмористических листков — четыре штуки на пенни, или рулон туалетной бумаги почти по такой же цене, и любое из них употребить вместо другого.

— Всего по три пенса за фут, mesdames, — кричал совершенно вспотевший от надрывного крика разносчик дешёвых товаров, — вот перед вами отрез материи; она выткана из андалузского джута тройной крепости, спрессована под двойным давлением с каучуком, доставленным с острова Пагама, и расписана художником, который отравил повара своего-педешки. Это такая материя, mesdames, которую царь небесный не постеснялся бы расстелить в своей гостиной, если бы только ему представилась возможность. И что ж, я прошу с вас только три пенса за фут! Mesdames, я всегда отличался скромностью!

Лалли наблюдала всё это, присматривалась и прислушивалась; потом уже смотрела и ничего не видела, слушала и ничего не слышала. Её горе было не только любовным разочарованием; это было крушение идеала, в котором некогда нашла прибежище её любовь, жестокое и низкое предательство. Даже ночное небо, такое мирное и звёздное, сквозь завесу её непролитых слёз выглядело взъерошенным, сердитым, тяжёлая туча её горя совсем скрыла от неё тёплый свет луны.

В горестном и бесцельном скитании по улицам провела она свой день, их последний день, а сейчас, когда Лалли уже поздно вечером возвращалась в Холборн, она вдруг заторопилась, потому что луч новой надежды вдруг воссиял перед ней посреди всего этого мрака. А что если после всего этого неисправимый чудак решил прибереечь своё сенсационное открытие до последнего дня, даже до последнего часа? И вот теперь, когда Лалли, как он уверен, ещё ничего не знает и уже потеряла последнюю надежду, когда настало время последнего прощального поцелуя, — вот теперь он возьмёт её на руки и, смеясь, убьёт в одно мгновение все её горести, развернёт скользкую пятидесятифунтовую бумажку, как флаг победы! Может быть, нет, даже наверно, — именно поэтому он просил её сегодня выйти с ним вместе из дому. О, какая она безрассудная, злая и глупая девчонка!

И, окрылённая вновь воскресшей верой, она побежала, почти задыхаясь, домой, туда, где он ждал её со своей сенсацией.

Ещё снизу она могла увидеть, что их комната освещена. У неё едва хватило сил, чтобы подняться по лестнице и открыть дверь.

Фил встал и так странно на неё посмотрел. Беспомощно, почти виновато, она засмеялась. Не сказав ни слова, он быстро пошёл ей навстречу, яростно стиснул её в своих объятиях — он, её молчаливый, пылкий друг, всегда такой любящий и волнуемый. Когда она крепко прижалась к его груди, сразу ушло куда-то любовное разочарование и развеялись все сомнения; кто-то вырвал из груди чувство обиды и утопил в бурном блаженстве. Она чувствовала только умиротворение, счастье близости, его страстных поцелуев, прикосновений его губ к тому мягкому пушку над её верхней губкой, который всегда так её огорчал, а его приводил в восторг. Снова зазвучали в её ушах те мягкие, бессмысленные, ласковые слова, которые она так любила слушать от него, а потом он подхватил её на руки, выключил свет и отнёс её на кровать.

Жизнь, которая родилась из любви, питается только любовью; если нет необходимой нам пищи, как можем мы утолить голод? Померкнет Млечный путь, упадут в зыбкую пустоту звёзды: мы не можем ни удержать их в руках, ни уничтожить их усилием ума и воли.

Как это Фил когда-то называл её? Дурёха! В конце концов, это ведь его собственные пятьдесят фунтов, она по собственной воле отдала ему деньги, он мог распоряжаться ими, как ему вздумается. Подарок есть подарок. Не стыдно ли сначала послать кому-нибудь деньги, а потом

терзаться жадностью и ждать, чтобы они к вам вернулись? Да, она завтра уедет.

На другой день он разбудил её рано, поцеловал и сказал:

— Когда уходит твой поезд?

— Поезд! — Лалли вырвалась из его объятий и соскочила с кровати.

Прекрасный день, сияющий день! Какой чистый, прозрачный воздух! Она быстро оделась и ушла в другую комнату приготовить завтрак. Скэро и он пришёл туда; они ели в молчании, хотя всякий раз, когда они оказывались близко друг от друга, он нежно её ласкал. Потом она пошла в спальню и уложила свой чемодан; теперь уже больше ничего не оставалось делать; ждать чего-нибудь от Филадельфии уже было невозможно. Ни одна женщина не верит, что можно принести её в жертву, и меньше всего те женщины, которые сами смело и спокойно жертвуют собой. Когда Лалли уже собралась уходить, она перенесла свой чемодан в столовую; он тоже хотел надеть шляпу и пальто.

— Нет, — сказала тихо Лалли, — ты не пойдёшь со мной.

— Что ты, дорогая! — запротестовал он. — Глупости!

— Я не хочу, чтобы ты шёл со мной! — закричала Лалли так строго, что это его озадачило.

— Но не будешь же ты сама тащить чемодан до вокзала?

— Я возьму такси.— Она застегнула перчатки.

— Дорогая!

Его смешные заклинания уже только раздражали Лалли.

— Какой вздор! — Положив свои руки в перчатках на его плечи, она холодно его поцеловала.— Прощай! Пиши мне часто. Ты будешь сообщать мне о твоих успехах — да, Фил? — И потом уже не совсем твёрдо: — Люби меня всегда. — Она посмотрела удивлённо на две знакомые родинки на его щеках; в каждой из них было по пучку волос, которые не удавалось сбрить.

— Лалли, милая, любимая моя! Я никогда не любил тебя так, как сейчас, в эту минуту! Ты мне сейчас дороже, чем когда-либо!

И тут она почувствовала, что настал момент, когда надо сделать последнее горькое разъяснение. Но она не решилась это сделать, она оставила это так. Она не могла так глубоко оскорбить его, сказав ему прямо, что знает всё о его вероломстве. Милостивое божество взирает с улыбкой на наши маленькие грешки; Лалли знала о вероломстве Филадельфии, но торжествовать по этому поводу значило бы посмеяться над своей собственной гордостью. Пусть же он до конца выдерживает этот стиль изящной меланхолии, как бы он ни был фальшив. Лучше расстаться так, лучше запомнить напоследок эту физиономию, чем какую-нибудь совсем отвратительную маску, хотя за ними скрывается одно и то же в обоих случаях. Капризная память принесла ей на одно мгновение виденную где-то когда-то картину: покачиваясь величественно, как волны прилива, слоны нацупывают хоботом земляные орехи.

Лалли сбежала по лестнице одна. В конце улицы она обернулась, чтобы бросить последний взгляд назад. Он стоял там, наверху, у окна, и махал ей рукой. Она тоже помахала ему рукой.

Перевод с английского Л. Борового.

Джонни Флинн

Спустя два или три года после Золотого юбилея королевы Виктории ежедневно, рано утром, на Майл Энд Роуд можно было видеть мальчика лет десяти, медленно шагавшего в сторону Уайтчепеля. Джонни Флинн был бледный, худенький, в широкой, не по росту большой, чёрной куртке

и так же не по росту коротких чёрных штанах. Вид у мальчика был не очень-то здоровый, чувствовалось, что он сильно устаёт. Он тащился ежедневно за несколько миль от дома своей тётки в Хэгни, и случалось, что налетал, как бы в полусне, на разные предметы — такие, как прогуливающиеся полисмены (они были податливы и вежливы), или такие, как почтовые ящики (эти были в другом роде). Какой-нибудь полисмен добродушно встряхивал его и говорил:

— Эй! Куда ты идёшь?

— На работу, сэр.

— На работу? Какая у тебя может быть работа?

— У мистера Алебастера, портного, сэр.

— А, у портного! Гляди, как бы он не взял тебя под напёрсток и не придушил. Ну что ж, шагай дальше, только не сбивай людей с ног. Можно подумать, ты спешишь в Букингемский дворец!

Джонни смущённо улыбался и говорил:

— Больше не буду! Доброго здоровья, сэр!

Но вот он приходил в Уайтчепель; здесь была Леман-стрит, а за Леман-стрит — другие улицы и великое множество лавок с забавными фамилиями на вывесках, вроде Гринбаум, Гольдански, Файнсилвер и Арцыбашев. В этих лавках торговали чужеземными товарами, которые выглядели очень непривлекательно и дурно пахли. Здесь оглушительно грохотали по мостовой сотни повозок, а женщины, пьяные уже в восемь часов утра, сидели у порога домов, поддерживая голову руками. И от них тоже дурно пахло. Затем, теперь уже очень скоро, он подходил к высокому, мрачному зданию казарменного типа. Здесь в первом этаже гнездилась еврейская беднота; поднявшись вверх по крутой каменной лестнице, он останавливался на тёмной площадке у двери. Надо было ждать, пока придёт мистер Сэлки, старший гладильщик, у которого находился ключ.

Мистер Сэлки был высокий темноволосый молодой человек с бледным рыбым лицом. Он квартировал в какой-то харчевне и слыл женоненавистником. По воскресеньям мистер Сэлки совершал дальние прогулки. В остальное время он гладил брюки большим раскалённым портновским утюгом.

Джонни говорил: «Доброе утро, сэр!» Мистер Сэлки отвечал только «гы», но при этом на его лице появлялось некоторое подобие улыбки.

Первым делом в портновской мастерской надо было развести огонь, большой огонь, а потом поддерживать его, подбрасывая то и дело кокс. Затем вывести из помещения все бесчисленные обрезки сукна и бумажной ткани. Набив этими обрезками деревянный ящик, мальчик взваливал его на плечи и относил по тёмному коридору в другую, меньшую, комнату с окном, которое было, можно сказать, символом мрака, потому что света оно не давало и выходило на грязный двор, где в течение всего дня Джонни мог видеть только людей, направлявшихся в уборную. Колоссальная груда обрезков закрывала весь пол в этой комнате — в ней ничего больше не было, и неразрешимая задача Джонни состояла в том, чтобы разбирать и сортировать обрезки. Эта груда никогда не уменьшалась; казалось, она неуклонно и неумолимо растёт, грозя поглотить мальчика. Иногда Джонни с трудом удавалось протиснуться в дверь, чтобы войти в комнату. Ненавистная гора тряпья была обильно полига слезами — слезами его детского страдания и отчаяния. Он опорожнял ящик и возвращался в мастерскую.

Приходили восемь или девять женщин и начинали свою работу: шитьё брюк. Посредине комнаты стоял массивный стол; женщины усаживались с трёх сторон на старых пустых ящиках — на стульях, конечно, было бы удобнее, но при их работе они не годятся. Комната была большая и хоро-

шо, освещалась двумя окнами. В летнее время приятнее было сидеть поближе к свету и подальше от огня; зимой — наоборот. Иногда работницы потели от жары, иногда чихали и кашляли, но никогда не дрожали от холода. У каждой женщины к лифу была прикреплена подушечка с иголками, на коленях лежали ножницы и катушки ниток, а руки были заняты шитьём одежды для неизвестных им мужчин. У каждой женщины было обручальное кольцо на среднем пальце, рано ссутулившиеся плечи и чёрт знает какие чувства в сердце. Это были большей частью молодые женщины, но выглядели они старухами, тогда как мистер Сэлки и мистер Албастер были молоды и выглядели молодыми. Всё это вызывало в памяти Джонни тот вопрос, который был поставлен на одном объявлении:

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНА СТАРЕЕТ РАНЬШЕ, ЧЕМ МУЖЧИНА?

И в ответе говорилось что-то о мыле какой-то фирмы...

Любимицей Джонни была, конечно, Элен. Она была самая красивая. Джонни в ней нравилось всё: милостивое лицо в веснушках, белокурые волосы, статная фигура. Джонни восхищался ею, хотя она обращалась с ним не очень-то ласково и была такая же несдержанная, как старая миссис Грэйнджер. Она, конечно, в некотором роде довольно нелюбезна, думал Джонни, и немножко задирает нос, но зато у неё чудесная улыбка. Элен была замужем за мойщиком бутылок по фамилии Смизерс, и у них была маленькая девочка Хетти, лет шести-семи. Эта девочка со слабыми глазами, обу́тая в тяжёлые башмаки, часто приходила сюда и подолгу просиживала на лестнице, поджидая мать. А миссис Грэйнджер была сморщенная старуха, которая по субботам напивалась, чтобы осветить радостью остаток своих дней. Пиво, как она объясняла, подходит для её желудка гораздо больше, чем горячий суп. Когда Джонни впервые пришёл к ним на работу, она принялась его расспрашивать:

— Ты славный паренёк! Сколько тебе лет?

Руки у неё были скользкие и узловатые, сама — тощая, но с могучим задом.

— Десять, — ответил встревоженный мальчик.

— Господи, помилуй нас! В твоём возрасте надо ходить в школу. Почему ты не ходишь в школу?

— У меня плохое здоровье, — сказал Джонни.

— А кто бьёт здоров на этом свете? Мы все такие. — Старуха покашляла и отхаркнула в пожелтевший от табака носовой платок. — А что с тобой такое?

— Сам не знаю, — признался Джонни.

— Почему же ты знаешь, что нездоров?

— Чувствую, — сказал Джонни.

— И где ты чувствуешь?

— Здесь, в печени, — прошептал мальчик. — Она на полтора дюйма ниже, чем полагается, и мы ничего не можем поделать. Моя мать — вдова!

— Значит, твой отец умер?

— Да. Она живёт в деревне.

— А ты где живёшь?

— С тётей и дядей. Там, в Хэрни. Он машинист.

— Так это же чудесно! Тебе нравится?

Мальчик подумал.

— Не знаю, — сказал он медленно.

— Господи, помилуй нас! — прошамкала старуха. — Ты должен как можно чаще выходить на свежий воздух.

В углу сидела девушка и подрубала на машине швы. Мистер Сэлки

снял с огня горячий утюг и принимался гладить на столе брюки сквозь мокрую тряпку, которая вскоре наполняла воздух запахом влажного сукна. Это было неизбежно зло, потому что если все остальные кроили, шили, смётывали петли или пришивали пуговицы и вообще «сооружали» брюки, то искусство гладильщика вносило последний и завершающий художественный штрих. Гладильщик — король портновской мастерской, и здесь им был мистер Сэлки. Ни один штатский, от переплётчика до епископа, не позволит себе надеть брюки, которые ещё не вытюжены. Разве что готтентот или ещё какой-нибудь бесстыдник; в конце концов, можно себе представить и переплётчика, который способен пойти на это, но, конечно, не епископа! Пусть они будут сшиты из сказочной материи, пусть на них золотые пуговицы, шёлковые петли и неслыханные штрипки и пусть всё это озарено высочайшим благородством покроя, — пока брюки не получили крещения мокрой тряпкой и по ним не прошлись горячим утюгом, они ничего не стоят.

Мистер Сэлки (он слыл женоненавистником) что-то весело насвистывал; проворно орудуя утюгом, а затем начинал задираТЬ женщин.

— Ну как, мои леди?

Пухлые, яркоалые губы его складывались в гримасу, придававшую ему вид человека злобно-язвительного, но лицо у него было доброе, очень бледное и совсем гладкое. Ни одного волоска и даже намёка на растительность нельзя было увидеть на его подбородке или на его руках. За работой он снимал с себя пиджак, жилет и воротничок и оставался только в полосатой рубашке и брюках, которые держались на поясе. На ногах у него были до блеска начищенные ботинки на пуговках. Он закатывал свои накрахмаленные манжеты, и запонки позвякивали всякий раз, когда он вскидывал руки.

— Здорово напроказили со вчерашнего вечера? Признавайтесь!

«Леди» переглядывались и хихикали.

— Что вы, Эрни, помилуй бог! — кудахтала миссис Грэйнджер. — Вот даже Элен скажет...

— Будто!

Гладильщик наваливался тяжёлым утюгом на ни в чём не повинные брюки.

— О боже, вы посмотрите, миледи, — вызывающим тоном вдруг восклицала старуха. — У него сегодня какой-то бес в глазах.

Несколько озадаченный, мистер Сэлки цедил сквозь зубы:

— Сушие чертовки. А вы — почише всех.

— Нет, Эрни, нет! — Очки старухи ободряюще поблёскивали в его сторону. — Я, слава богу, получила своё много лет назад.

— Получила своё!..

— Много раз, и я не стану это отрицать, — говорила старуха.

— Ну и чертовки, скажу я вам, — ворчал гладильщик.

— А мужчины! Господи боже мой! — набрасывалась на него миссис Грэйнджер. — Вы не можете даже сами сшить себе штаны!

Мистер Сэлки в ответ огрызался, и женщины про себя смеялись, хотя и прикидывались, будто сидят тихо, мирно. Это забавляло Джонни, но и он считал неприличным смеяться и тоже не показывал вида, что ему смешно.

Когда-то в школе мальчик из их класса рассказал Джонни очень солёную шутку, и это была до того хитрая и потешная шутка, что Джонни счёл необходимым пересказать её шёпотом своему отцу. Отец расхохотался. «Ты только не говори маме», — умолял мальчик. И отец тогда сказал: «Что ты, не скажу. Не бойся». Но Джонни был уверен, что он сейчас же пошёл и рассказал матери, и ему было очень неприятно об этом думать.

Шутки прекращались, когда входил мистер Алебастер, потому что он был хозяин. У мистера Алебастера были короткие, кривые ноги, лицо розовое, а густая его шевелюра изящно вилась. И голос его, можно сказать, курчавился, потому что мистер Алебастер шелестявил. Он казался очень весёлым человеком и редко бывал груб с кем-либо. Его место было у стола, напротив мистера Сэлки. Там он стоял с сантиметром вокруг шеи, с ножницами или куском мела в правой руке; делая мелом отметки на любом отрезе ткани, который лежал перед ним, он целые дни кроил брюки из саржи, фланели, шерсти, вигони, твида и всевозможной другой бренной материи. Очень искусный в своём деле человек. И, к тому же, внимательный к другим. Он никогда не позволял Джонни оставаться в мастерской во время обеденного перерыва. Зимой и летом, в ясную погоду или в ненастье Джонни приходилось выходить на улицу.

— Ты должен дышать свежим воздухом, — говорил мистер Алебастер. — Это полезно для пищеварения, и полиция ко мне не будет приставать. Если пойдёт дождь, можешь постоять под мостом.

Никто, кроме мистера Сэлки, не имел права оставаться в мастерской в часы обеда; таков был закон, раз навсегда установленный порядок. Как же получалось, что миссис Смизерс иногда всё-таки там оставалась? Джонни очень хотелось знать: почему? Мистер Алебастер ничего не знал об этом, а Джонни знал, и все женщины знали; больше того, хотя они сами не пользовались подобной привилегией, они радовались, когда это случалось с Элен. И Джонни вместе с ними радовался — по-своему, потому что муж Элен был противный, жестокий человек, который её совершенно изводил, и для неё лучше было, конечно, как можно меньше бывать дома. Миссис Грэйнджер не раз советовала Элен, как ей вести себя со Смизерсом.

— Ты не позволяй ему командовать, моя девочка. Вигони его и не пускай к себе. Он грязная, подлая тварь, а господь бог послал его тебе только как испытание.

— Что же я могу сделать? — спрашивала Элен. — Я его законная жена, и есть ещё маленькая Хетти.

— О боже милостивый! — Миссис Грэйнджер казалась озадаченной, но выражалась всё ещё очень решительно. — Вышвырни его вон и не пускай к себе. Вообще с мужьями и жёнами, которые связаны святым таинством брака, венчаны под звон колоколов, ничего не разберёшь. Всё это надо отменить, и только тогда будет какой-нибудь прок от христианской религии.

Итак, Джонни Флинну приходилось гулять по улицам. Если только не было дождя, он старательно обходил железнодорожный мост, потому что там когда-то убили человека и кто-то нарисовал на стене белый скелет. И вот Джонни гулял. Поблизости находилась лавка резника; на мостовую стекала кровь убитых птиц; разлетающиеся по воздуху перья попадали в неё, окрашивались в её цвет и уплывали вместе с ручейком крови. А рядом, в пекарне, можно было видеть человека, который бросает в огромную печь хрупкие листки теста, похожие на кусочек белого бархата, и другого человека, который вытаскивает их оттуда уже такими плотными, как фарфоровые тарелочки.

Побродив немного, Джонни развязывал свой пакетик с едой — куски хлеба и ломтики мяса, обёрнутые в обрывок газеты. Он недоверчиво обнюхивал мясо, но, как бы от него ни пахло, выбрасывал в сточную канаву и с отвращением жевал один только хлеб. Вчера была солёная свинина и позавчера тоже; и завтра будет солёная свинина, и послезавтра, и после-послезавтра. Что бы ни случилось, он получал её в течение всей недели; за шесть дней мясо прокисало и приобретало качества, которые ему совсем не положены. Тётка, благоразумная и вечно занятая женщина, не

могла готовить ему ежедневно свежую еду — об этом и думать было нечего, да это и не считалось обязательным. Каждую субботу, с вечера, она покупала для личного и безраздельного потребления Джонни небольшой кусок солёного мяса и по воскресеньям варила его. Уже на другой день или через день у Джонни портился желудок. Самый вид этого ужасного куска мяса, который лежал, не уменьшаясь, в кладовой, терзал Джонни даже во сне. Ему никогда не приходило в голову пожаловаться на это тётушке, а если бы и пришлось, он бы не сделал этого, потому что не любил жаловаться. Если он и не был спартанцем в полном смысле слова, то склонности имел, можно сказать, спартанские. В жизни, считал он, всякое случается — и хорошее и плохое, — вот и всё, что, по правде, можно знать, и ничего тут не изменишь.

Джонни очень любил евангелические гимны. Всякий раз, когда он испытывал какую-либо радость — а это случалось нередко, — он возносился сердцем горе и пел самому себе, что он, Джонни,

Грядет во врата нового Иерусалима,
Омытый чистой кровью агнца.

А если он чувствовал душевную печаль — это тоже случалось нередко, — то бормотал себе под нос:

Не было от века песни более сладостной,
Иисусе, блаженный Иисусе!

Возможно, что у Джонни был особый талант душевного озарения, унаследованный им от матери. Под воскресенье она всегда брала его с собой в церковь, где служили какие-то сёстры в капюшонах и какой-то проповедник со странными глазами, который иногда ораторствовал с большим подъёмом. Во время церковной службы сёстры подходили к молящимся и спрашивали:

— Спасли ли вы душу?

— Да, мэм, благодарю вас, — отвечала миссис Флинн.

— Хвала господу нашему! Спас ли свою душу ваш мальчик?

— Да, мэм, — говорила мать, и в глазах её ярко светилась надежда. — Надеюсь, что и он.

— Хвала господу нашему, сестра.

Но как только эта леди отходила от них, Джонни склонялся к матери и говорил ей с упрёком:

— Зачем ты это сказала?

— Но ты должен спасти свою душу, Джонни, ты же отлично это знаешь.

— А я не собираюсь, — отвечал он ей назло. — Никогда, нет, никогда.

— Смотри, будь хорошим мальчиком, Джонни, а не то попадешь в ад. Конечно же, ты должен спасти свою душу. Во что бы то ни стало!

Затем, увидев, что он надулся, мать нежно гладила его руку, и он уже опять её любил; так что, когда они вставали, чтобы запеть: «Грядем во врата», Джонни с удовольствием присоединялся к общему хору и восхищался приятным голосом своей матери.

Но в вопросах религии Джонни стоял на стороне отца. Отец был атеист. Он даже вступил в «Армию скелетов» — так назывался клуб, члены которого расхаживали по улицам с духовым оркестром, в масках или с вымазанными сажей лицами и носили с собой озорные плакаты. Они вели открытую войну с «Армией спасения». Всё же, когда его отец умер — год тому назад, один из его приятелей соорудил маленький деревянный крест, выкрасил в чёрный цвет и водрузил на могиле отца. Тогда Джонни взял кисточку (она его доводила до бешенства, потому что при малейшем нажиме волоски её начинали топорщиться и разлезались в разные стороны)

ч намалевал на кресте белой краской имя и фамилию отца, год его рождения и смерти. Более того: Джонни решил, что отцу нужна и надгробная эпитафия. Он раздобыл кусок картона — вырезал из крышки картонной коробки, вывел по краям чернилами траурную кайму, сочинил стихи и прибил эту табличку маленькими гвоздиками к могильному кресту:

Я не умер, я почию в боге,
 В христовом небесном чертоге.
 Не рыдайте и не кручиньте сердца:
 Любите друг друга во имя небесного отца!

Дж Ф

Он плакал, сочиняя это произведение заупокойной поэзии, и, когда бы ни вспоминал о нём впоследствии, плакал снова и снова. Матери тоже стихи так понравились, что и у неё слёзы навернулись на глаза. А несколько недель спустя дождь размочил картонку на кресте, потом солнце выбелило её, чернила выгорели, и уже с трудом можно было разобрат, что на ней написано. Когда же выпали и некоторые гвоздики, картонка скрутилась, и открылось напечатанное на оборотной стороне объявление о каком-то ароматическом порошке.

Ещё задолго до того, как кончался день, Джонни начинал сожалеть о том, что так опрометчиво распорядился своим обедом; мучительно хотелось есть, и он уже мечтал о любых обедах, хотя бы собачьих. Иногда в такие моменты судьба снисходила к нему — иными словами, миссис Грэйнджер говорила ему в час вечернего чая:

— Джонни, сходи в лавочку и принеси мне на полпенни чаю, на полпенни сахару и на фартинг молока. Здесь три полупенса — один фартинг возьми себе.

Славная, славная старуха! На свой фартинг он купит немножко бисквитного лому; и он позаймствует у старухи кусочек сахару и обмакнёт бисквит в её молоко. Но так бывало не каждый день. В остальных случаях оставалось только одно мрачное удовольствие: постоять перед гитриной бакалейной лавки, разделить мысленно всё, что там выставлено, на две части и думать долго и упорно, которую из половинок он взял бы, если бы имел возможность выбирать. Но выберет ли он повидло, копчёный язык, какао, сгущённое молоко — что-нибудь в этом роде, или предпочтёт ананас, свиной окорок или горошек — толк один. Отчаянные планы приобретения любого из выставленных лакомств или вообще чего-нибудь съестного прямо-таки преследовали его, но у Джонни нехватало мужества попробовать привести их в исполнение, после того как он однажды стянул солёный корнишон, от которого его сейчас же стошнило. Джонни створачивался от витрины и начинал разглядывать мостовую и сточные канавы, надеясь найти огрызок яблока или гнилой апельсин. Как-то случайно попалась ему игральная карта — он разорвал её в клочки. Мать не раз предостерегала Джонни от греховной игры в карты. Она предостерегала его вообще от всего неумеренного и нескромного: от крепких напитков, воровства, курения, сквернословия и тому подобного. Всё же, когда бы мистер Алебастер или мистер Сэлки ни послали его вечером за кувшином пива, он не мог устоять перед искушением выпить глоток или два. Голод — это ужасно. В полузабытье он намыливал швы для мистера Сэлки или нашивал пуговицы для Элен и миссис Грэйнджер. Если не было другой работы, ему приходилось отправляться в маленькую комнату и сортировать обрезки из той же, с ума сводящей груды лоскутов. Стоя на коленях у своего ящика на полу, устланном тряпками, он ещё и ещё раз вспоминал, как чудесно провёл он день праздника в честь королевы.

Вот это был день! Все школьники отправились с утра в школу, чтобы вместе помолиться, упросить бога расстроить и разрушить козни некоторых не названных прямо государств; чтобы получить там фарфоровую кружку с изображением королевы и медаль ещё с одним её изображением — на тот случай, если разобьётся кружка, — и бумажный мешок, который содержал полбруска колбасы и большой кусок пирога. Боже, до чего это было здорово! Он переживал удовольствия того дня снова и снова. Затем они вышли с флагами в парк, а в парке было полно — миллионы детей! Там были клоуны и всякие затейники, и вы могли много раз наполнить свою кружку чаем из огромного дымящегося чайника на колёсах. Здесь были сотни таких чайников. Но внезапно Джонни обо всём забывал и валился на тряпье. Он крепко спал, пока его не будил разгнезанный мистер Алебастер.

— Хм-хм! Так у нас не пойдёт, понимаешь! Я плачу тебе не за то, чтобы ты спал. Так я разорюсь. Этак совсем не годится. Нам придётся расстаться. Боже мой, ты что, нездоров?

— Да, сэр.

— Что же тогда делать? Помилуй бог, ты думаешь, что я миллионер, что у меня сотни фунтов стерлингов? Я тебя просто не понимаю, нет, так дело у нас не пойдёт. Мне надо будет расстаться с тобой, дружок.

Но иногда к концу того же самого дня добрый мистер Алебастер давал ему монетку, чтобы он мог проехать часть пути домой на трамвае. А Джонни немедленно приобретал на эти деньги булку или пирожок, после чего весело шагал домой. Часто мысль о монетке становилась такой навязчивой, что, когда он стоял на коленях среди лоскутков в той ужасной комнате, самая его поза, и строгая тишина вокруг, и горькая его нужда приводили Джонни в молитвенное настроение.

— Боже милостивый, заставь его дать мне сегодня пенни, только одно пенни! Пусть он даст мне пенни, прошу тебя, господи! Аминь.

Словно для того, чтобы его молитва дошла, он присоединял к ней соответствующие гимны из известных ему. Затем начинал опять:

— Боже милостивый, заставь его дать мне пенни! Пожалуйста, только один ещё раз, как ты уже делал раньше, и я больше не буду тебя просить. Аминь.

Нечасто бог внимал этой молитве, и, как только крушение надежд становилось очевидным, Джонни через силу спускался на улицу; всё его тело горело от страстного возмущения против такого жестокого, такого равнодушного и ничего не видящего бога; задыхаясь от гнева, он произносил страшные богохульства, пока не доходил до витрины, где можно было остановиться и передохнуть, разделить на две части выставленные в ней деликатесы и мысленно их проглотить. В этом блаженном состоянии он забывал о своей злобе против бога.

Однажды Элен пришла на работу с большим опозданием. Мистер Алебастер строго посмотрел на неё и увидел, что под одним глазом у неё красуется синяк, а веки распухли и красны от слёз. Прежде чем занять своё место, она шепнула несколько слов мистеру Алебастеру, а он промямлил: «О, да, да... Бог мой! Эт-то ужасно, да... Боже, боже мой! Ладно».

Мистер Сэлки не произнёс ни звука, а все в комнате замолчали. Глянув один только раз на обезображенное лицо Элен, он с остервенением набросился на свою работу. Это было похоже на гнев человека, у которого какое-то потрясение вырвало сразу из сердца жалость и сострадание; его горячий утюг обрушился на лежавшие перед ним брюки так, словно это было тело ненавистного врага. Оконные стёкла содрогались при каждом мощном взмахе его рук, инструменты на столе зловеще звенели, и бумажные выкройки слетели со стен, точно сами и окончательно

обрекли себя на гибель. Мистер Алебастер осуждающе посмотрел на него через стол.

— Ну, честное слово, Эрни!.. Скажу я тебе!..

Гладильщик, казалось, не замечал его. Схватив утюг со стойки, он ринулся через всю комнату к печи, швырнул в огонь остывший утюг и, выхватив оттуда другой, выпустил на него для проверки целую струю слюны, которая сейчас же зашипела, а затем расплылась в облачке пара, и возобновил свою смертоносную атаку на брюки.

— Тише, Эрни! Побойся бога, сейчас на нас обрушится потолок!

При следующем сотрясении полетел со стола мелок мистера Алебастера.

Хозяином здесь был мистер Алебастер, но он был человек робкий. Сэлки мог съесть живьем троих таких, как он, притом Сэлки слыл королём гладильщиков; так что мистер Алебастер поспешил надеть пальто. Если Сэлки собирается безумствовать, пусть продолжает в том же духе, спокойно и со всеми удобствами.

— Мне надо сходить в город. Вернусь после обеда. Присмотри здесь, Эрни. Ладно? И, пожалуйста... э-э... ничего не разбей, Эрни.

Не обратив на слова хозяина никакого внимания, мистер Сэлки ознаменовал его уход новой серией яростных ударов по лежавшим перед ним брюкам. Затем он остановился. Хотя в углу непрерывно стучала швейная машина, тяжёлая тишина нависла над комнатой. Элен низко склонилась над своей работой. Джонни понимал, что она всё ещё плачет, и видеть это было для него невыносимо. Поэтому он на цыпочках прошёл из мастерской в комнату с тряпьем по ту сторону коридора и целиком отдался своему меланхолическому делу — сортировке обрезков.

Полотно, холст, сукно, шёлк, твид, саржа, фланель и вигонь — на всё были разные цены на лоскутном рынке, и всё это надо было складывать в отдельные кучки. Но основная куча была неодолима; её никогда не удавалось разобрать, потому что обрезки накапливались быстрее, чем он успевал их разбирать. Здесь отливы были незаметные, а приливы — мощные, и мальчик тонул в море тряпья. Когда-то он читал сказку о принце, который попал в неволю. Ему приказали за одну ночь перебрать конопляное семя, до краёв заполнившее целый амбар, а не то его превратят в осла. Но у принца была крёстная мать, фея, которая поручила эту работу воробушкам, и они-то благополучно с ней справились, а принц тем временем поехал на бал и женился на бедной девушке, очень красивой и доброй, к тому же сумевшей вылечить крёстную мать от зубной боли. Но в Уайтчепеле не было сказочных фей, и воробушки всё равно ничего бы не сделали с тряпьем.

С головой Джонни происходили теперь странные вещи. Иногда она бывала такой тяжёлой, что ему казалось — вот-вот она отвалится и упадёт куда-то в пустоту. А то стоило ему услышать звонок автобуса, и уже от этого у него начинало бешено колотиться сердце. Уличный шум так раздражал его, что, уходя в город, он затыкал уши ватой. И вид комнаты, набитой тряпками, действовал на него почти так же: в голове мутилось, колени подкашивались и сердце начинало сильно колотиться.

Вдруг распахнулась дверь, и показался мистер Сэлки.

— О,— сказал он, увидев там Джонни. А затем добавил: — Убирайся отсюда!

Мальчик выскользнул в тёмный коридор. У дверей стояла Элен; она держала у глаз платок.

— Пойдём, — сказал мистер Сэлки, и Элен последовала за ним в склад тряпья.

Они неплотно закрыли за собой дверь. Джонни постоял в коридоре; он не знал, что ему делать; он был ещё глупый мальчик. За дверью было

тихо. В некотором замешательстве Джонни приоткрыл дверь и увидел, что Элен и мистер Сэлки сплелись в тесном объятии и молчат.

— Куда мне итти? — робко прошептал мальчик.

Гладильщик повернул к нему своё белое лицо и, оскалив зубы, прорычал:

— Убирайся отсюда, идиот!

Он толкнул дверь ногой и захлопнул её перед носом Джонни. Мальчик смутно почувствовал, что совершил какое-то кощунство. Ему показалось, что в удивительном объятии этих двух человек было что-то святое: кроткое лицо Элен и нежно ласкающий её Сэлки. Джонни побрёл обратно в мастерскую, где женщины уже громко разговаривали между собой.

— Эй, Джонни, — крикнула миссис Грэйнджер, — сбегай-ка в аптеку и купи мне слабительных пилюль на пенс. Мне так плохо сегодня, что хоть ложись и помирай. Попроси пилюль из ревеня. Вряд ли они мне помогут — для меня есть одно лекарство: яд. Но бог всевышний выдумал всякие пилюли и капли, может быть, они-то меня и спасут. Значит, на пенс ревеня, и скажи там длинноносому аптекарю, что пилюли предназначены для леди, у которой очень деликатный желудок. Не забудь сказать, ты же хороший мальчик.

Когда он исполнил свой долг милосердия и вернулся, Элен и мистер Сэлки были уже снова в мастерской, и вид у них был такой, будто ничего особенного не случилось. Элен повеселела, мистер Сэлки тихо посвистывал и уже не так громыхал утюгами.

Это произошло в один из тех дней, когда глупый Джонни уже успел выбросить в канаву свой обед; время шло, и вот уже знакомое чувство голода, как всегда, привело его в полное отчаяние. В семь часов вечера мистер Алебастер и мистер Сэлки бросили жребий, чтобы решить, кто должен сегодня платить за ужин, и, как обычно, выиграл мистер Сэлки. Джонни принёс им небольшую булку, немного сыру, банку омаров и кувшин пива. Он отщипнул корочку хлеба — ровно столько, сколько можно было себе позволить. Ах, если бы он только мог добраться до омаров, за них он готов был пойти хоть в тюрьму!

Джонни поставил ужин на стол.

— Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, мистер Сэлки, — сказал он затем, медленно направляясь к двери.

Хозяин и мистер Сэлки были прекрасно настроены, смеялись и шутили.

— Хи, постой, Джонни. Вот тебе монетка на трамвай.

О боже, теперь всё замечательно! Усталость и отчаяние сразу куда-то исчезли. Джонни вприпрыжку сбежал по лестнице и помчался к знакомой харчевне на Майл Энд Роуд. До неё было довольно далеко, но только там можно было купить за пенс такой чудесный пирожок — большой, сочный, с очень вкусным жирком и изюминками. Ему даже в голову не пришла мысль о боге, о том, чтобы воздать ему благодарственную молитву. Джонни купил пирожок, постоял, примериваясь, с какой стороны лучше откусить, но вот из соседнего переулка вдруг вынырнул какой-то верзила и подошёл к нему.

— Дай-ка откусить, эй, малый!

— Ничего не дам.

Мистер Флинн был в полном смысле слова бессердечен.

— Я весь день ничего не жрал, — мрачно сказал верзила.

Джонни сообщил, что он и сам находится в таком же злосчастном положении.

— Дай половину, слышишь? — угрожающе сказал парень. — А то отниму всё.

Джонни покачал головой и пожал плечами.

— Нет, не отнимете.

— А кто меня остановит? — проворчал верзила.

— Есть кому, — ответил молодой Флинн, и, когда он уже поднёс пирожок ко рту и приготовился пробить в нём большую брешь, страшный удар кулаком в подбородок заставил его воочию увидеть безусловный и непреложный конец мира. Он услышал только, как бессердечный грабитель проворчал:

— Вот тебе раз!.. — Он вырвал из онемевших пальцев Джонни пирожок. — И ещё раз получай для порядка!

У Джонни снова посыпались искры из глаз. Он не чувствовал боли, как будто ничего и не оборвалось внутри, но так бешено шумело в ушах, что он должен был присесть и обхватить голову руками. Ничего не понимая, он глядел на мостовую. Десятки людей проходили мимо, но никто, видно, не заметил, что с ним случилась такая беда; а когда он посмотрел вверх, то оказалось, что и парня след простыл и пирожка нет.

Придя немного в себя, Джонни постарался запечатлеть в памяти место происшествия и расположение того тёмного переулка, из которого вынырнул его враг. Затем, как бы в полусне, он побрёл домой. Всю дорогу он скрипел зубами и давал кому-то страшные клятвы мести. Целую неделю он будет тренироваться, есть пуддинги, замешанные на крови, а потом!.. Бедуины, говорят, дают своим коням пироги на бараньем сале, и кони после этого носят целый день по пустыне, как безумные. Ну, а людям, чтобы разъяриться, нужна кровь — отведав крови, вы можете заткнуть за пояс кого угодно. Джонни добудет кровь, много крови!

На другой день было холодно, морозный туман расстилался по улицам, и, когда Джонни возвращался после дневного путешествия в город, уже стемнело. Поднимаясь по лестнице, он не без труда смог разглядеть, что на ступеньке сидит девочка Смизерсов.

— Здравствуй, Хетти, — сказал Джонни.

А девочка сказала:

— Ты смотри, куда ступаешь.

Она держала на руках и нянчила чёрного котёнка.

— Твоя мама ещё не скоро кончит работу, тебе придётся долго ждать.

Девочка крепче прижала к себе котёнка и ничего не ответила.

— Почему ты не идёшь домой? — спросил Джонни.

Девчушка посмотрела вверх, на Джонни, точно дивясь его глупости.

— Кто-нибудь тебя обязательно раздавит, — продолжал он, — если ты будешь здесь сидеть. Зачем ты здесь сидишь?

Чей-то голос сверху позвал:

— Эй!

Джонни поднял голову.

— Это я, — сказал он.

Вниз спустился мистер Сэлки.

— Ты здесь, Хетти?

Девочка встала, и мистер Сэлки положил ей на плечо руку.

— Хелло, Хетти. Тебе не холодно? Хочешь чаю?

Хетти крепко прижала котёнка и сказала очень тихо:

— Да.

Тогда мистер Сэлки сунул руку в карман и звякнул монетами. Потом он повернулся к Джонни.

— А ты хочешь чаю?

— Нет, не очень, — солгал мальчик.

— Ладно, вот шесть пенсов. Пойди с Хетти в кофейню, и пусть она выпьет вкусного чаю и возьмёт всё, что ей понравится, и сам выпей, если хочешь. Идёт?

— Да,— ответил мальчик.

— Вот так, Хетти,— сказал мистер Сэлки,— ты пойдёшь с Джонни. Он тебя отведёт. А потом вернёшься сюда вместе с ним.

К удивлению Джонни, мистер Сэлки нагнулся и поцеловал девочку.

Хетти и Джонни вместе спустились по каменной лестнице и вышли на улицу.

— Котёнка нельзя брать с собой,— заметил Джонни — В кофейне это не полагается.

— Почему? — спросила девочка.

— Они нам не подадут, в кофейню не ходят с кошками.

Девочка ответила упрямо:

— Подадут, вот увидишь.

— Они будут над тобой смеяться,— возразил Джонни — Они... отрежут котёнку голову.

— Нет, не отрежут,— сказала Хетти.

И в самом деле не отрезали, хотя первое, что они увидели, когда входили в кофейню, был человек в белом фартуке, который точил длинный тонкий нож, — и притом человек очень высокого роста. Они сели за отдельный столик, на скамейку со спинкой, точь-в-точь как в церкви, и высокий человек очень скоро подошёл к ним и постучал по столу своим чудовищным ножом

— Слушаю,— сказал он очень приветливо.

— Две чашки кофе, пожалуйста, и два куска пирога, пожалуйста,— робко сделал свой заказ молодой Флинн.

Высокий человек скоро возвратился и принёс всё это.

— Два кофе, два ломтика пирога,— сказал он и пододвинул к ним блюдечко с желтоватым сахарным песком

Джонни сейчас же вручил ему шестипенсовик, и человек дал ему три пенса сдачи.

— Здесь очень хорошо, правда? — заметил Джонни.

Так оно и было: тепло и вкусно пахло рыбой и беконом, свежими спилками, рассыпанными на полу. Почти за всеми столиками сидели люди, но они не обращали никакого внимания на детей и на котёнка. Хетти отлила несколько ложечек кофе в блюдце и поставила котёнка на стол. Котёнок вылакал несколько капель, а затем присел на задние лапки и стал разглядывать потолок.

— Хочешь ещё кофе? — осведомился мальчик.

Хетти покачала головой и сказала:

— А ты?

— Нет! — В голосе Джонни звучало презрение. — Я не хочу больше кофе. Чего бы ты ещё хотела?

— Пирожок с джемом,— ответила девочка.

Мальчик сделал гримасу

— Ты не этого хочешь? Что в нём хорошего! — объявил он. — Я бы на твоём месте попросил кусок тоттенхемского торта. Возьмём лучше тоттенхемского торта?

Хетти сняла котёнка со стола.

— Эрни сказал, что мне дадут всё, что я захочу.

Джонни взял её пустую чашку и подошёл к прилавку, потом вернулся с чашкой, которая была опять полна, с пирожком и треугольным кусочком торта с розовой глянцевитой корочкой, от одного вида которой прямо-таки текли слюнки.

— Тоттенхем,— сказал Джонни.

Они ещё посидели там немного, пока всё это не исчезло, а затем Джонни пришлось объяснять недоверчивой Хетти, что денег больше нет.

— Где ты живёшь? — спросил он её, и она ответила, что живёт в Бермондси и что отец её мойщик бутылок.

— А у меня нет папы, — печально сказал Джонни.

— Он каждый день напивается пьяный, — продолжала Хетти.

— У меня совсем нет папы, — мрачно повторил мальчик, облокотившись о стол.

— И бьёт маму, — сказала Хетти.

— За что? — со страхом и в то же время с любопытством спросил Джонни.

— Он всё грозитя убить нас.

— Да? Но за что?

— Не знаю, — сказала девочка. — Мама говорит, что он очень испортился. Я хотела бы, чтоб у нас был другой папа...

— Но вы не можете иметь другого папу! Никак не можете, глупая! — разъяснил Джонни Флинн.

— Нет, можем; и мама говорит, что уже скоро он у нас будет. Будет!

Как раз тогда вспыхнула перебранка за одним из столиков, неподалёку от них, между человеком с деревянной ногой и человеком с повязкой на глазу. Они сидели друг против друга.

— Ты лгун! — орал человек с деревянной ногой.

— О! Это я-то лгун?!

— Ты! Ты! Получил? Так и знай. Мне наплевать, в каком обществе я нахожусь или не нахожусь, я всегда прямо выкладываю, что у меня на душе.

— Так я лгун?!

— Да, лгун!

— Нет, это ты лгун! — крикнул одноглазый, и вот уже он хлопнул оскорбителя солонкой по голове.

Высокий человек в белом фартуке отложил нож, вытер руки и заорал:

— Эй, вы там! Сейчас же прекратите! К чертям собачьим, где вы, по-вашему, находитесь — на рынке? — И он уверенно бросился на спорщиков. — Прекратите сейчас же, слышите? А то я, как пить дать, выпущу из вас кишки... Прекратите сейчас же!

Оба противника отступили к своим скамьям.

— Видишь, куда он меня треснул? — сказал человек с деревяшкой, тыча пальцем в голову. — Нет, ты пощупай!

Хозяин погрузил свои пальцы в его седеющие волосы.

— Страсти господни! — проворчал он. — Купол, как у собора святого Павла.

— Так он же обозвал меня лгуном, — тупо повторял нападавший.

— Фу, это только по своему невежеству!

— По невежеству! — стонал пострадавший. — Он проломил мне черепную коробку. Очень приятно, не правда ли?

— Нет, просто у него кровь играет, только и всего. Ну, а теперь велите себя прилично, — продолжал хозяин всё ещё с насмешкой, но уже более мягко. — А то я... Знаете, что я с вами сделаю? Ха, ха!.. Вы, конечно, знаете. В этом дворце я король, а у каждого англичанина по самому праву рождения есть свой дворец в любом месте земного шара. И король всегда прав.

— Это почему?

— Таково закон — закон, как всякий другой, — разъяснил хозяин. — Но, конечно, этот закон не подлежит огласке.

— О, — сказал покорно одноглазый. — Дайте ему ещё одну чашку кофе.

Пока продолжался весь этот скандал, Хетти дрожала от страха, и Джонни, в конце концов, должен был её увести из кофейни.

— Мне не нравятся тёмные улицы,— сказала она, крепко вцепившись в руку Джонни и прижимая к себе котёнка.

— Пустяки,— успокаивал её юный Флинн.— Я люблю драки. А ты не любишь? Я вчера вечером сцепился с одним болваном на Майл Энд Роуд, пробил ему башку в шести местах. Знаешь, как тренируется Питер Джексон? Он, между прочим, чемпион мира.

Мисс Смизерс не знала, как он тренируется.

— Он пьёт кровь,— сообщил ей Джонни.

Уже подходя к мастерской, они увидели мать Хетти. Она стояла внизу, у лестницы. Джонни сейчас же рассказал ей, как они чудесно угощались в кофейне. Когда он уже перешёл к описанию схватки между Деревяшкой и Повязкой, по лестнице быстро спустился к ним мистер Сэлки.

— Хелло,— приветствовал он их так, словно встретился с ними сегодня в первый раз.— Вот мы и все в сборе. Нам сюда, Нелл. До свидания, Джонни. Пойдём, Хетти.

И, прежде чем Джонни успел объяснить, на что ушли все шесть пенсов, мистер Сэлки подхватил Элен под руку, взял за руку Хетти, и все трое тронулись в путь. Джонни слышал, как Хетти воскликнула:

— Мам! Ты только посмотри на моего милого котёночка!

Больше Джонни уже никогда не видел Элен. Должно быть, она куда-то уехала, и там ей живётся гораздо более счастливо. В конце той недели женщины объявили «чрезвычайный сбор средств» и собрали небольшую сумму, чтобы купить чайник в подарок мистеру Сэлки.

— Он обзаводится хозяйством,— заметила миссис Грэйнджер; а когда она вручала чайник мистеру Сэлки, то сказала: — Благослови вас господь!— и пожелала ему счастья.

Вскоре после этого пришёл конец и горестям Джонни. Мать написала, что не может больше быть с ним в разлуке — он уже целый год жил вдаль от неё; теперь он должен вернуться к ней. Тётка была очень обижена такой неблагодарностью и требовала, чтобы Джонни отклонил приглашение матери. Но Джонни уже заявил о своём уходе мистеру Алебастеру, который сказал, что ему очень жаль с ним расставаться и что Джонни был, в сущности, «самый лучший мальчик из всех, какие у него служили когда-либо». Когда настал радостный день отъезда, мистер Алебастер пожелал ему успеха и дал несколько полезных советов. Так же поступил мистер Сэлки и подарил ему, кроме того, шестипенсовик.

— Прощай, маленький Джонни,— тихо сказала старая миссис Грэйнджер и сунула ему два новеньких пенса.

Джонни свято хранил их в особой коробочке очень долгое время.

Перевод с английского Ю. Мирской.



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. МАРШАК

★

ИЗ РОБЕРТА БЕРНСА

СТАРЫЙ РОБ МОРРИС

Вот старый Роб Моррис. А кто он таков?
Король за столом, старшина стариков.
Он славится стадом коров и свиней
И дочкой — отрадой своей и моей.

Прекрасней, чем утро в сиянии рос,
Свежей, чем закат на лугах в сенокос,
Она, как ягнёнок, резва и нежна.
Мне света дневного дороже она.

Но садом и стадом отец её горд.
В усадьбе живёт он не хуже, чем лорд.
У нас же с отцом только домик и двор.
Немного стóит такой ухажёр.

Забрезжит ли утро, — не мил мне рассвет.
Настанет ли вечер, — покоя мне нет.
Смертельную рану от всех я таю,
И жалобы грудь разрывают мою.

Была бы невеста чуть-чуть победней,
Я мог бы, пожалуй, понравиться ей.
Как жадно я ждал бы заветного дня,
А жить без надежды нет сил у меня!

О ПОДБИТОМ ЗАЙЦЕ, ПРОКОВЫЛЯВШЕМ МИМО МЕНЯ

Стыдись, бесчеловечный человек!
Долой твоё разбойничье искусство.
Пускай твоей душе, лишённой чувства,
Не будет утешения вовек.

А ты, кочевник рощ, полей, лугов,
Где проведёшь ты дней своих остаток?
Конец твой будет горестен и краток.
Тебя не ждёт родной зелёный кров.

Калека жалкий, где-нибудь в тиши,
Среди заросшей вереском поляны
Иль у реки, где свишут камыши,
Ты припадёшь к земле кровавой раной.

Не раз, встречая над рекою Нит
 Рассвет весёлый или вечер трезвый,
 Я вспомню о тебе, приятель резвый,
 И прокляну того, кем ты убит!

СТРОЧКИ О ВОЙНЕ И ЛЮБВИ

Прикрытый лаврами разбой,
 И сухопутный и морской,
 Не сто́ит славословья.
 Готов я кровь отдать свою
 В том жизнетворческом бою,
 Что мы зовём любовью.

Я славлю мира торжество,
 Довольство и достаток.
 Создать приятней одного,
 Чем истребить десяток!

ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ

Мой друг — лукавый, ловкий вор,
 Не воровал ты до сих пор.
 Заго сердца твой быстрый взор
 Умеет красть.
 Перед тобой любой затвор
 Готов упасть.

И сам я устоять не мог.
 Не раз к тебе, не чуя ног,
 Шагал я по камням дорог
 И грязь месил
 И ровно двадцать пар сапог
 Я износил.

Ты создан был природой шалой
 Из дорогого матерьяла.
 Она тобою увенчала
 Наш скудный век
 И каждой чёрточкой сказала:
 — Вот человек!

Сейчас я в творческом припадке.
 Башка варит, и всё в порядке
 Строчу стихи, как в лихорадке,
 А ты, мой друг,
 Прочти их бегло, если краткий
 Найдёшь досуг.

Одни рифмуют из расчёта,
 Другие, чтоб задеть кого-то,
 А третьи тшечно ждут почёта
 И громкой славы,
 Но мне писать пришла охота
 Так, для забавы.

Я обойдён судьбой суровой.
Кафтан достался мне дешёвый,
Убогий дом, доход грошовый.
Я весь в долгу,
Зато игрой ума простого
Блеснуть могу.

Поставил ставку я задорно
На чёткий, чёрный шрифт наборный,
Но разум мне твердит упорно:
— Куда спешишь?
Ты этой страстью стихотворной
Всех насмешишь!

Поэты,— где такие ныне? —
Собаку съевшие в латыни,
Мечтали, полные гордыни,
Жить сотни лет,
Но их давно уж нет в помине.
Простыл их след.

Итак, пора мечту оставить
Себя поэзией прославить.
Косу и серп я буду править,
Возьмусь за плуг
И буду петь, чтоб позабавить
Поля вокруг.

Я проживу безвестной тенью,
Не слыша, как бегут мгновенья.
Когда ж порвутся жизни звенья,
Покину свет,
Как и другие поколенья,
Которых нет.

Но говорить о смерти рано.
Полны мы жизнью неустанной.
Давай подыдем парус рванный,
Возьмём штурвал,
Чтоб ветер счастья пеной пьяной
Нас обдавал.

Мой друг, живём мы в царстве фен,
Где смех — оружие чародея.
Коль этой палочкой владея,
Отдашь приказ,
Часы бегут минут быстрее,
Пускаясь в пляс.

Не трать же время жизни краткой.
Примерно с пятого десятка
Мы вниз с горы походкой шаткой
Трусить должны,
Одышкой, кашлем, лихорадкой
Изнурены.

Когда достигли мы заката,
 Бродить, мечтать нам скучновато.
 Вино слабее, чем когда-то,
 Бьёт через край.
 И то, чем жизнь была богата,—
 Любовь,— прощай!

Но жизнь безоблачна вначале.
 Мечта лучами красит дали.
 Летим, не слушая морали,
 Мы на простор,
 Как мальчишки, что побежали
 На школьный двор.

Мы на ходу срываем розы,
 Не замечая в них угрозы.
 И даже первые занозы
 Нам не страшны.
 Мгновенно солнце сушит слёзы
 Во дни весны.

Одни идут дорогой гладкой
 И, не трудясь в поту над грядкой,
 Едят обильно, жирно, сладко
 И свыска
 Глядят на дом с оградой щаткой —
 Дом бедняка.

Другие борются за счастье,
 Полны надежды, воли, страсти,
 Стремясь достичь богатства, власти
 Любой ценой,
 Чтобы потом, забыв ненастье,
 Вкушать покой.

А третьи, путь покинув торный
 (Как, скажем, ваш слуга покорный),
 Сбиваются с тропинки горной
 Туда-сюда.
 Таким на склоне лет беспорно
 Грозит нужда.

Но лучше труд до изнуренья,
 Чем с жалкой жизнью примиренье.
 Пусть смотрит с неба бледной тенью
 Фортуны серп,
 Не помешает вдохновенью
 Её ущерб.

Но здесь перо я оставляю
 И провиденье умоляю,
 Пред ним колени преклоняя:
 Пускай со мной
 Кочует вместе в край из края
 Созвучий рой.

Дай сочный ростбиф местным лордам,
 Чтоб жир по их струился мордам,
 Дай галуны гвардейцам гордым
 И боевым.
 А виски — на ногах нетвёрдым
 Мастеровым.

Дай Демпстеру¹ желанный титул,
 Подвязку дай премьеру Питту.
 Стремится к прибыли, кредиту
 Негоциант.
 А мне лишь разум сохрани ты
 Да и талант.

Мне для покоя нужно мало:
 Чтобы здоровье не хромало.
 Дай мне обед какой попало,
 Простой на вкус,
 Но чтоб молитву прочитала
 Одна из муз.

Мне не страшны судьбы угрозы,
 Ненастье, стужа и морозы.
 Гоню я рифмой вздохи, слёзы,
 Пою, шучу
 И, враг заботы, скуки, прозы,
 Стихи строчу.

Вы, что по правилам живёте
 В тиши, в довольстве и в почёте,
 Пускай безумным вы зовёте
 Меня подчас,
 Вода стоячая в болоте —
 Душа у вас.

На ваших лицах деревянных,
 Таких безличных, безымянных,
 Нет и следа восторгов пьяных.
 Ваш голос глух.
 Он, как басы в плохих органах,
 Томит наш слух.

Ступая важно и степенно,
 На тех вы смотрите надменно,
 Которым море по колено,—
 На грешный люд —
 И ввысь взираете блаженно.
 Там — ваш приют!

А я куда пойду — не знаю,
 К воротам ада или рая.
 Но, эту песню обрывая,
 Скажу я, брат,
 Что буду я любому краю
 С тобою рад!

¹ Член парламента.

ПРО КОГО-ТО

Моей душе покоя нет.
Весь день я жду кого-то.
Без сна встречаю я рассвет —
И всё из-за кого-то.

Со мною нет кого-то.
Ах, где найти кого-то!
Могу весь мир я обойти,
Чтобы найти кого-то.

О вы, хранящие любовь
Неведомые силы,
Пусть невредим вернётся вновь
Ко мне мой кто-то милый.

Но нет со мной кого-то.
Мне грустно отчего-то.
Клянусь, я всё бы отдала
На свете для кого-то!

ПЕСНЯ

Как слепы и суровы
Старик-отец и мать,
Что дочь свою готовы
Богатому продать.

И дочь, гонимая отцом,
Изнурена борьбой,
Должна покинуть отчий дом
И стать женой — рабой.

Так сокол над голубкой
Без усталости кружит.
Дрожащей жертвы хрупкой
Злодей не пощадит.

Бедняжка мечется, пока,
Отчаянья полна,
К ногам жестокого стрелка
Не бросится она.

ПОДРУГА МОРЯКА

Чуть забудусь сном желанным,
Слышу гул морских валов.
Пусть мой друг за океаном
Будет счастлив и здоров.

Страх с надеждою счастливой
В сердце борются моём.
Над подушкой сиротливой
Тени шепчутся о нём.

Кто не знал тоски разлуки,
В чьей груди тревоги нет,
Счастья полный, чуждый муки
Любит солнечный рассвет.

Мне же ночь и сон милее.
Пусть не тает тьмы покров,
Чтобы слышала во сне я
Дальний плеск морских валов.

МОЛИТВА СВЯТОШИ ВИЛЛИ ¹

О ты, не знающий преград!
Ты шлѐшь своих любезных чад —
В рай одного, а десять в ад,
Отнюдь не глядя
На то, кто прав, кто виноват,
А славы ради.

Ты столько душ во тьме оставил.
Меня же, грешного, избавил,
Чтоб я твою премудрость славил
И мощь твою.
Ты маяком меня поставил
В родном краю.

Щедрот подобных ожидать я
Не мог, как и мои собратья.
Мы все отмечены печатью
Шесть тысяч лет —
С тех пор, как заслужил проклятья
Наш грешный дед.

Я твоего достоин гнева
Со дня, когда покинул чрево.
Ты мог послать меня налево —
В кромешный ад,
Где нет из огненной зера
Пути назад.

Но милосердию нет меры.
Я избежал огня и серы
И стал столпом, защитой веры,
Караю грех
И благочестия примером
Служу для всех.

Изобличаю я сурово
Ругателя и сквернословия,
И потребителя хмельного,
И молодѐжь,
Что в праздник в пляс пойти готова,
Подняв галдѐж.

¹ «Святоша Вилли» — Вильям Фишер — был церковным старостой и славился своей негерпимостью и ханжеством.

Но умоляю провиденье
Простить мои мне прегрешенья.
Подчас мне бесы вожделенья
Терзают плоть.
Ведь нас из праха в день творенья
Создал господь.

Вчера я был у Мэгги милой...
Господь, спаси нас и помилуй
И осени своею силой!..
Я виноват,
Но пусть о том, что с нами было,
Не говорят.

Ещё я должен повиниться,
Что в постный день я у девицы,
У этой Лиззи смуглолицей
Гостил тайком.
Но я в тот день, как говорится,
Был под хмельком.

Но, может, страсти плоти брэнной
Во мне бушуют неизменно,
Чтоб не мечтал я дерзновенно
Жить без грехов.
О, если так, я их смиренно
Терпеть готов.

Храни рабов твоих, о боже,
Но покарай как можно строже
Того из буйной молодёжи,
Кто без конца
Даёт нам клички, строит рожи,
Забыв творца.

К таким причислить многих можно..
Вот Гамильтон — шутник безбожный.
Пристрастен он к игре картёжной,
Но всем так мил,
Что много душ на путь свой ложный
Он совратил.

Когда ж пытались понемножку
Мы указать ему дорожку,
Над нами он смеялся в лёжку
С толпой друзей, —
Господь, сгнои его картошку
И сельдерей!

Ещё казни, о царь небесный,
Пресвитеров из церкви местной
(Их имена тебе известны).
Рассыпь во прах
Тех, кто судил о нас нелестно
В своих речах.

Вот Эйкен. Он — речистый малый.
Ты и начни с него, пожалуй.
Он так рабов твоих, бывало,
 Нещадно бьёт,
Что в жар и в холод нас бросало,
 Вгоняло в пот.

Для нас же — чад твоих смиренных —
Ты не жалея своих бесценных
Даров — и тленных и нетленных,
 Нас не покинь,
А после смерти в сонм блаженных
 Прими. Аминь!

НАДГРОБНОЕ СЛОВО СВЯТОШЕ ВИЛЛИ

Святого Вилли жалкий прах
Покоится в могиле.
Но дух его не в небесах.
Пошёл налево Вилли.

Постойте! Мы его нашли
Между землёй и адом.
Его лицо черней земли.
Но кто идёт с ним рядом?

А, понимаю, — это чёрт
С девятихвостой плёткой.
Не согласитесь ли, милорд,
На разговор короткий?

Я знаю, жалость вам чужда.
В аду свои законы.
Нет снисхожденья у суда,
И миновал день прощёный.

Но для чего тащить во мрак
Вам эту жертву смерти?
Покойник был такой дурак,
Что засмеют вас черти!



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ ДОКУМЕНТЫ

ИВАН КОЗЛОВ

★

ЖИЗНЬ В БОРЬБЕ

Часть первая

ДЕТСТВО

1. Один день

Перебирая в памяти впечатления безотрадного детства, я всегда вспоминаю одну, почему-то ярко запечатлевшуюся картину.

Раннее морозное утро. Холодно и неуютно в нашей ветхой избёнке. Отовсюду — от разрисованных морозом окон, из промёрзших углов избы, из щелей полусгнившего пола — несёт нестерпимым холодом. Вода в кадке, стоящей возле печи, быстро замерзает. Чтобы напиться, надо пробивать топором толстый слой льда. Дома никого нет. Отец уехал на лошади в лес, мать с моей старшей сестрой Полей возьется во дворе по хозяйству, брат Петька ушёл в сельскую школу, а я, закутанный в одеяло, сижу с младшей сестрёнкой на печке и дрожу от холода. В эту памятную зиму на нашей печке не всегда было тепло. Село наше, Сандыри, — пригородное, малоземельное и совсем не имеет лесов. Мужики привозят дрова откуда-то издалека, из казённого леса. Вчера ездил в лес за сучьями и мой отец, но вернулся домой без дров, сильно пьяный. Пропил не только все деньги, но даже лопату и топор, взятые из дому в лес. Мать начала его ругать за пьянство, а он избил её, разбил стекло в окне, и от этого в избе стало ещё холоднее. Мать позвала соседа, вдвоём они скрутили огцу руки и ноги и оставили его на полу до утра.

Теперь опять придётся жечь в печке вместо дров солому, скручивая её в маленькие пучки. Солома горит жарко, но прогреть нашу большую печку, занимающую четверть избы, нелегко. К тому же сена у нас мало и солома нужна на корм лошади и корове, ваших главных кормильцев, как с ласкою называет их мать.

В это утро, ещё затемно, я проснулся от холода. Удушливый кашель отца и тихий, укоризненный голос матери заставили меня насторожиться.

— Развяжи, говорю, скорее — холодно, — незлобиво просил отец.

— То-то холодно, бесстыдник. Стекло разбил, тряпками заткнула. Дров нет, вот мёрзнем все.

Мать чиркнула спичкой, зажгла коптилку и развязала отцу руки и ноги. Он поднялся с пола и, кашляя, начал одеваться.

— Эх, Андрей, не боишься ты бога. Послезавтра рождество христово, а у нас ни хлеба, ни дров. Меня не жалеешь, пожалей хоть ребят. Двоих схоронили, помрут и эти от такой жизни.

Затаив дыхание, я внимательно вслушиваюсь в слова матери. Боюсь, как бы отец опять не вцепился в её поредевшие волосы. Но он молчит.

В трезвом виде он тихий и добродушный, очень трудолюбивый, рассудительный и всегда слушается мать. И теперь, сознавая свою вину, обещает больше не пить водку и поправить тяжёлое положение в доме. Как всегда, его раскаяние смягчает горькую обиду матери. В ней снова рождается надежда, что отец образумится и мы заживём по-другому.

Щаца корова Бурёнка уже отелилась, мать начала продавать молоко в городе. Ставя на стол кринку молока и давая отцу припрятанный от нас кусок хлеба, купленный ею в городе, мать говорит:

— Ну, смотри, Андрей, не загулай опять, хватит, пора и за ум взяться. Пусть и у нас, как у добрых людей, праздник будет.

Кивая всклокоченной рыжей головой в знак согласия, отец обещает после рождества наняться к кулакам Лаченовым возить дрова, которые они запасали на следующую зиму, а весной, кроме своей земли, поднять им целину под огороды и расплатиться с долгами.

Мать пытливо глядит в его серые, мутные глаза.

— Правду ли говоришь?

— Ну, чего врать, хватит.

— Если правду говоришь, перекрестись на Николая-угодника.

Отец встаёт перед иконами в переднем углу и крестится. Мать, став на колени, шепчет молитву.

— Ну, смотри, Андрюша, не споткнись опять,— строго говорит она отцу.— Не меня обманешь, а чудотворца, а он, батюшка, терпит-терпит наши грехи, да и разгневается. В огне будешь гореть, в аду, вон как эти грешники.

На стене избы матерью наклеена лубочная картина «Страшный суд», на неё она и указывает сильной, жилистой рукой.

— Ладно пужать-то,— мрачно отвечает отец,— сказано тебе — не буду, чего ещё...

После долгого молчания мать дрожащими руками вытаскивает из-под рубашки медный крестик на шнуре, к которому подвешен холщёвый мешочек с её тайными сбережениями от продажи молока.

— Вот тут все наши капиталы... Не знаю, как и уберегла.. Тебе отдаю. Поезжай за дровами, солому-то почти всю сожгла в печке, не знаю, чем скотину кормить будем..

— Ничего,— уверенно говорит отец,— заработаю и на скотину.

Он сразу оживился, повеселел, поглядывая на серебряные и медные монеты, которые мать пересчитывает на столе.

— Один рупь за хворост уплатишь, а на двугривенный купи себе чего-нибудь поесть. Смотри, береги копейку-то. На чужие деньги погулять охотников много, а подак к ним — чёртовой корки хлеба не выпросишь для ребятшек.

— Известное дело,— соглашается отец, расчёсывая свою рыжую курчавую бороду.

Начинаются сборы в дорогу. Изношенный, в запялах полушубок, обтрёпанные штаны и лапти на ногах — плохие защитники от ветра и лютого мороза. Мать глядит на отца с сожалением.

— Пропил тулуп-то, вот теперь и мёрзни.

— Ничего,— бодрится отец,— мы привычные.

Он наскоро съедает хлеб с молоком и идёт во двор запрягать лошадь. Проводив Петьку в школу, уходит и мать. Слышен скрип открываемых ворот, топот нашего Гнедка.

Накрывшись одеялом с головой, я не могу заснуть. Меня занимает тревожный вопрос: купит ли отец дров или опять загуляет и пропёт всё? И зачем мать отдала ему столько денег? Лучше бы сама поехала в лес и меня взяла с собой. Вот только холодно, а у меня нет валенок, нет полушубка, как у ребят Лаченовых. Вот и сиди дома, стучи зубами. А всё из-за отца...

В печной трубе сердито воев вьюга, на улице трещат от мороза телеграфные столбы, стоящие вдоль шоссеиной дороги. Петька в школе слышал от учительницы, что по натянутой на столбах проволоке можно говорить из нашего города Коломны с Москвой. А от Коломны до Москвы сто вёрст, вот чудеса!

Вскоре мать возвращается в избу с охапкой соломы и суетится около печки, чтобы хоть немного согреть детей. Потом ей нужно с кувшином молока бежать в город, продать молоко и купить нам хлеба.

Проснулась младшая сестрёнка и начала хныкать. Мать, стараясь согреть наши босые ноги, кутает их в разные лохмотья, ласково успокаивает нас.

— Потерпите, ребята, немножко. Вечером отец из леса сучьев привезёт. Станет и у нас тепло, а соломой разве прогреешь такую махину...

— А поесть-то когда дашь?

— И поесть дам. Сейчас побегу в город за хлебом.

Сестрёнка не унимается, продолжает хныкать. Уговоры не помогают. Мать суёт ей в рот свою морщинистую руку и сердито кричит:

— На, гложи мою руку, больше у меня ничего нету!

Напуганная сестрёнка умолкает.

Я с упрёком говорю матери:

— Зачем ты отцу столько денег отдала? Опять пропьёт и тебя бить станет.

— Молчи! Умник какой нашёлся! — Мать сердито оборвала меня и, несколько помолчав, со вздохом проговорила: — Отца жалеть надо, ишь какая стужа на дворе, а до лесу-то больше двадцати вёрст. Не знаю, как он и доберётся туда по такому снегу.

Я видел постоянное пьянство отца и страдания матери. Слышал не раз, как у матери в минуту отчаяния вырывались злобные слова: «Хоть бы подох, проклятый! Одно горе с ним, разбойником!» Эти сердитые восклицания матери мне очень запомнились. Против отца росла злоба. Я с нетерпением ждал, когда он «подохнет» и мы останемся одни.

— Мамка, — неожиданно для самого себя выпаливаю я, — ты говоришь — отец замёрзнуть может в лесу?

— Конечно, может.

— Ну и шут с ним! Зачем нам такой отец?

— Ты что, с ума сошёл, паршивец? Разве можно о родителях такие слова говорить? Бог язык у тебя отнимет за такие слова!

— За что? Ты сама говорила, чтоб он подох поскорей.

— Вот дуралей, мало ли я что сгоряча да со зла скажу, не по своей воле он такой непутёвый стал.

Она не раз рассказывала нам о своей прошлой жизни с отцом, и я хорошо это запомнил.

Родители матери были крестьяне нашего села и умерли от холеры, когда она была девочкой. Она осталась с тёткой, а старший брат её, Григорий, кем-то был взят в Москву, в магазин учеником, и больше не вернулся домой. Шестнадцати лет мать выдали замуж за парня, который служил в Москве приказчиком и приезжал домой только один раз в год — на пасху. По словам матери, первый её муж — отец Петьки и Поли — получал в Москве хорошее жалованье, но, как и мой отец, пьянствовал и матери почти не посылал денег.

Мать жила в той же хате, где мы жили и теперь, в хозяйстве помогала тётка, но она умерла, и все заботы о доме и о детях обрушились на бедную мать. А муж продолжал «весёлую жизнь» в Москве и умер от пьянства. Без неё там, в Москве, его и похоронили. Очутившись без «мужика» с малыми детьми, мать вскоре решила попытать счастья во втором замужестве. «Какой ни на есть, — говорила она часто, — а мужик в доме нужен. Без мужика куда баба сунется, кто её слушать будет?»

Но найти второго мужа было нелегко. В такую семейную «петлю» мог полезть только слабоумный или нищий, каким и считался в селе мой отец. Он был из крестьян Рязанской губернии, подростком приходил в наше село на заработки, всё время работал в батраках у кулаков Лаченовых и совершенно оторвался от своей деревни и родителей. За него и вышла замуж моя мать.

Мои родители были трудолюбивые, честные люди. За своё хозяйство взяли дружно, и поначалу жизнь стала налаживаться. Но тут в их дружную семейную жизнь вмешались сельский староста Семён Михайлович Лаченов и волостной писарь Сёмка Бунаков.

По царским законам каждый крестьянин был прикреплен к определённой сельской общине и, где бы он ни находился, обязан был платить здесь подати и здесь же получать паспорт. Душевой надел земли полагался только на мужчин, и только «мужская

душа» принималась в расчёт при переделах общественной земли. Женщины же считались «без души», им никакого надела не полагалось, и положение женщин в семье и в сельской общине было совершенно бесправное. На сельские сходы женщин не пускали, и их мнение не принималось во внимание.

Согласно этим царским законам мать, выйдя вторично замуж за отца, крестьянина не из нашего села, потеряла здесь все права на землю и на всё крестьянское хозяйство, которое она сколачивала в одиночку своим тяжким трудом. Так же, как и мой отец, она стала «не наша», а рязанская, и всё её существование в родном селе зависело теперь от сельского старосты и волостного правления. Они распоряжались её судьбой, её хозяйством и в любое время могли выселить вместе с мужем из дома и из села и даже отправить этапным порядком по месту жительства мужа — в Рязанскую губернию.

— Ты теперь не наша, рязанская, как и твой Андрюшка,— говорили язвительно староста и Семка-писарь.— И Андрюшку твоего мы не знаем, может, он какой беглый, беспаспортный, ищут его там, в Рязани, а мы, выходит, скрываем его в своём селе.

— Да что ты, Семён Михайлович! — с испугом оправдывалась мать. — Побойся ты бога, с мальчиков у вас батрачил, какой он может быть беглый?..

А староста продолжал посмеиваться над матерью.

— То у нас, а то у тебя — разница большая. Вот ты этого голяка пустила к себе в дом, а дом-то теперь не твой, а твоего сына Петьки. А он мальчишка-несмышлёный. Выходит, в чужом доме хозяйничает теперь Андрюшка и разворует всё до ниточки. Спрашивается: кто за это будет отвечать перед начальством?

— Конечно, староста,— говорит писарь.— Ты обязан немедленно принять меры к охране сиротского имущества, назначить степенного, заслуживающего доверия общества опекуна до его совершеннолетия — закон об этом ясно говорит.

Напуганная мать растерянно слушает их и молчит, не знает, что говорить и как защищаться. У них же робко спрашивает, что же ей делать. Просит помочь, обещает отблагодарить и писаря и старосту.

Долго они издеваются над беззащитной женщиной, наконец староста и писарь, поговорив между собой, как бы сжалились над ней. Староста доброжелательно говорит:

— Ну, ладно уж! Пусть твой Андрюшка живёт пока в нашем селе. Пусть ведёт себя тихо, а если случится что, не пеняй — выгоним в Рязань.

От первого мужа у матери осталось трое детей: две дочери и сын Петька — старшее меня на пять лет. Вот этот-то Петька и стал по закону считаться наследником всего нашего хозяйства. И только на его «душу» полагался земельный надел на всю нашу семью.

Староста назначил мать опекуней над имуществом законного наследника Петьки до его совершеннолетия. Ей разрешили жить в его доме и вести всё хозяйство под контролем старосты и волостного правления. Но отца злые языки не оставили в покое. Он был моложе матери лет на семь. Ехидные насмешки кулаков и их подпевал посыпались на него. Издевались над тем, что он «не самостоятельный» мужик, повесил себе на шею чужую большую семью, сам не имеет надела и работает на Настасью с Петей, как батрак безголовый. Другие повторяли слова старосты и писаря, которые брали с отца взятки и делали вид, что укрывают «беспаспортного чужака» от полиции в сиротском доме, уверяли, что скоро его спапают и угонят в Сибирь.

Отец, как и мать, был неграмотный, но, в отличие от неё, слабохарактерный, легко поддавался разным сплетням и насмешкам. Он не выдержал и из примерного, непьющего работника у кулаков Лаченовых быстро превратился в пьяницу в своём хозяйстве и стал мучителем моей матери и всей нашей семьи.

Рассказы матери о прошлом отца и обидах, которым он подвергался у кулаков, рождали во мне не жалость к отцу, а отчуждённость и ненависть. Мне казалось, что только он один является виновником всех наших страданий. Из-за отца мы стали рязанские, «косопузые», как меня дразнили ребята. Из-за отца часто плачет мать и проклинает свою жизнь. Из-за отца часто бьёт меня Петька и хвастается ребятами, что, как только он вырастет большой, выгонит меня с отцом из дома в Рязань.

День клонился к вечеру, уже смеркалось, а отец не возвращался из леса домой.

Мать, волнуясь, не раз выходила на улицу встречать отца, но возвращалась в дом одна. На мои расспросы она растерянно отвечала:

- Кто его знает, что с ним. В лесу — не на печке. Ишь, какая вьюга разыгралась..
- А если он опять пропьёт деньги, что будем делать? — спрашивал я.
- Не пропьёт...

Мать старалась объяснить задержку отца в лесу разными причинами, но только не пьянством. Однако видно было, что она сама теряла веру в его обещание «не спотыкнуться». Но в этот раз она оказалась права.

Поздно ночью отец вернулся домой с большим возом хвороста и совершенно трезвый. В лесу было много снега, и отцу пришлось долго огыскивать под снегом кучки сучьев, откапывать и подтаскивать их к саням на дорогу. Он обморозил ноги и уши, но был доволен своей поездкой в лес, тем, что сдержал обещание и только при возвращении из леса выпил в городе один шкалик, чтобы согреться.

Радость в нашем доме была большая. Мать сейчас же затопила печку, натёрла отца скипидаром, накормила его горячей картошкой с хлебом, напоила малиновым чаем и уложила на тёплую печку рядом со мной.

2. Рассказы матери. Лаченовы

Я любил свою мать и верил ей во всё. А она всегда разговаривала со мной, как со взрослым, говоря откровенно всё, что думала.

Ей было в то время лет сорок пять. Невысокого роста, полная и сильная, с добрыми, вдумчивыми глазами, мать обладала ровным, спокойным характером и большим запасом веры в то, что и для нас когда-нибудь настанет лучшая жизнь. Постоянный тяжёлый труд, вечная нужда, побои отца не надорвали её сил, только сгорбили немного спину, да в редеющих волосах её появилась седина. Житейские невзгоды она переносила стойко, незлобиво. Надежды на лучшую жизнь у неё были крепко связаны с верой в бога, который, по её словам, всё видит на земле, всех нас знает и обо всех думает — одних карает за грехи, других милует, а праведникам помогает. Научив меня читать «Отче наш», она часто рассказывала мне о страданиях Христа, распятого богатыми на кресте за нас, бедных людей, которых он любил и защищал от богатых. Хотя она и была неграмотна, но имела хорошую память и от своей, воспитавшей её тётки, любившей вслух читать священное писание, многое запомнила и пересказала мне немало историй о божьих угодниках и чудотворцах.

Лёжа на печке, я часто поглядывал на иконы, стоявшие на полочке под потолком, в переднем углу, и читал про себя «Отче наш», прося бога помочь нам. В особенности подолгу глядел я на седого, со строгими глазами старичка — Николая-угодника. О нём мать говорила, что он очень добрый, любит бедных и по ночам подбрасывает им мешочки с деньгами. Не раз по утрам я вскакивал с печки, шарил под столом, под лавками, заглядывал за сундук, на подоконники в безуспешных поисках мешочка с деньгами.

На мои вопросы о несправедливости к нам Николая-чудотворца мать кротко отвечала:

— Значит, недостойны мы ещё его милости, грешим много. Нужно не роптать на нашу жизнь, а больше молиться богу.

— А Лаченовых бог сделал богатыми или сами разбогатели? — допытывался я.

Она как будто не слышала меня и, подавая нам на печку чашку горячей картошки в мундире и соль, приговаривала:

— Ешьте, пока горячая, и благодарите бога — у других и картошки нет. А Лаченовы — бог им судья.

В переднем углу, под иконами, мать когда-то наклеила большую любочную картину «Страшный суд» и пугала ею и отца и нас — ребят. В центре этой картины сидел старик с седой длинной бородой и суровым лицом — бог Саваоф. Его окружали апостолы и другие святые старцы. Красивые, с детскими лицами ангелы взвешивали на больших весах добрые и злые дела стоящих около них людей. Праведников ангелы

проехали в рай, как говорила мать,— на вечное блаженное житие, а грешников черти гнали вниз, в ад, в огонь, на вечное мучение. В аду черти мучили грешников в кипящих котлах со смолой, поджаривали их на раскалённых сковородах, подвешивали за языки на крючья. Среди праведников было больше худых и измождённых мужчин и женщин, а среди грешников — больше толстых, откормленных, вроде старика Лаченова.

— А когда будет страшный суд? — спрашивал я у матери.

— Когда наступит свету конец,— отвечала мать.

— А когда свету конец?

— Никто об этом не знает, кроме бога,— поясняла она.— В священном писании сказано: перед концом света придёт на землю антихрист и будет соблазнять праведных людей. Все реки и моря превратятся в золото и серебро, и антихрист будет соблазнять: берите, мол, серебра и золота, сколько хотите. Кто из праведников не удержится и возьмёт это золото, тот погубит свою душу. Антихрист заклемит таких людей своей печатью, и бог проклянет их как грешников. А потом померкнет солнце, потухнет луна и начнётся страшный суд.

Рассказывая про страшный суд, она горестно вздыхала, крестилась, приговаривая:

— О господи, прости мою душу грешную и помилуй.

Я спрашивал:

— А мою душу?

— Ты маленький, у тебя грехов нет.

— А Лаченовых будут судить на страшном суде?

— Будут. Всех будут судить.

— Лаченовы в ад попадут или в рай?

— Богатые — хитрые. Они хорошо живут на этом свете и хотят на том свете быть в раю. За них попы молятся, хотят бога обмануть.

— Почему Лаченовы богатые, а мы бедные?

— От трудов праведных не наживёшь палат каменных,— отвечала мать поговоркой.— А завидовать им нечего. У их деда большой грех на душе. Хоть он и церковный староста, а бога не обманет, придётся отвечать за грехи-то...

На другой стене в нашей избе, под потолком, в простенькой рамке без стекла висел портрет царя Александра II, приобретённый ещё моим дедом. Царь стоял во весь рост, в военном мундире, увешанном орденами. Мать смотрела на него с благоговением и называла «освободителем». По её словам, этот царь хотел освободить крестьян от крепостного права, наделив их при освобождении землёй, но помещики воспротивились, убили царя и заставили крестьян платить за землю.

Мать возлагала надежды и на нового царя — Николая II. На селе говорили о том, что в Москве готовятся к коронации, что будет объявлен манифест об освобождении крестьян от налогов за землю. Эти слухи настолько взволновали крестьян, что весной 1896 года через наше село потянулись непрерывные вереницы мужиков и баб из Рязанской губернии в Москву, на коронацию царя. Хотели своими глазами увидеть нового царя, сами услышать давножданный царский манифест. Мужчины шли в самотканых холщёвых рубашках и портках, женщины в понёвах, подпоясанные цветными поясками, на ногах лапти, тяжёлые котомки за плечами. День и ночь проходили по шоссе на дороге в Москву эти люди, полные глубокой веры в милость царя. И мать ждала облегчения от налогов. Но вскоре из Москвы дошло до нас страшное слово: «Ходынка». Рассказывали, что на коронацию в Москву народу пришло много тысяч. Все собрались на Ходынском поле. Ждали царя и объявления манифеста. Но министры, мол, не хотели этого манифеста, устроили на Ходынке давку, от чего погибло там много тысяч простого люда.

Испуганные, а многие и покалеченные на Ходынке, крестьяне возвращались домой, робко рассказывая о том, что они видели в Москве. Поползли по селу другие слухи: царствование нового царя началось с уничтожения крестьян, и всё оно будет таким же — начнутся болезни, мор, и жизнь крестьян будет ещё тяжелее, чем раньше.

Слушая вместе с матерью рассказы возвращавшихся из Москвы крестьян, я как-то сказал ей:

— Мамка, а вот Федька (сын трактирщика) говорит, что ничего этого не было, это всё смутьяны врут, народ мутят... Ихний дед всё смутьянов ругает.

— Михаила Дорофенча послушать — так все кругом смутьяны,— помолчав, ответила мать.— Ему бы только лаять на всех...

Большой двухэтажный кирпичный дом Лаченовых под зелёной крышей стоял через дорогу против нашей избы. Почти все в селе смотрели на него недоброжелательно: кто с завистью, кто со злобой. В разговорах между собой бедняки вроде нас называли Лаченовых кулаками и разбойниками; зато в глаза величали «благодетелями». Лаченовых хорошо знали не только в нашем селе, но и в соседних сёлах и деревнях и даже в городе. При остром малоземелье в селе Лаченовы всегда имели большое количество земли, лучшие участки полей, луга и огороды, на которых всегда работали постоянные и сезонные батраки и батрачки, приходившие в наши края из Рязанской губернии. Глава семьи, старик Михайло Дорофеевич, имел тёмное прошлое. Историй о преступлениях, с которых началось кулацкое «богачество», в те времена рассказывалось множество, и большинство из них имело реальную основу. Такую историю рассказывали и о Михайле Лаченове. Когда не было ещё Московско-Казанской железной дороги и вся торговля Рязани с Москвой осуществлялась гужевым транспортом по шоссейной дороге, проходившей через наше село, Михайло Дорофеевич жил в небольшом доме, содержал постоянный двор и тайно торговал водкой.

Однажды заночевал у него богатый купец, ехавший из Москвы с большими деньгами, запьянствовал, а наутро оказался мёртвым и без денег. Из города приезжали власти, вели следствие и, как водится, прекратили дело. После этого Михайло Дорофеевич и «пошёл в гору». Стал скупать скот и зерно у крестьян в окрестных сёлах, отправлял в Москву и быстро богател. Долгое время старик был в нашем селе волостным старшиной, церковным старостой, делал пожертвования на церковь, помог церкви получить от общества для «храма божьего» большое количество хорошей общинной земли, которую попы стали сдавать крестьянам в аренду. При мне старику было уже более семидесяти лет. Он был высокий, плотный, с небольшой седой бородой и густыми седыми волосами, подстриженными в скобку, с грубым, чёрствым лицом. Из большого, ошеренного рта торчали пожелтевшие зубы. С утра до ночи сновал он по своей усадьбе, то и дело на кого-нибудь крича. То распекал своих батраков за неповоротливость, то крикливо требовал с попавшегося ему на глаза бедняка долги, а должны ему были все — за пользование вырытым у него в усадьбе колодезем, из которого зимой крестьяне брали воду, за муку, за сено, которые он отпускал в долг под отработку. Старик кричал, угрожал судом, тюрьмой.

У его пятерых взрослых сыновей были уже свои большие семьи. Лаченовы, ловкие дельцы, держали всё село в своих руках. Старший сын, Семён Михайлович, староста, небольшого роста, грузный, с большим, как у беременной женщины, животом, был полным хозяином на селе. У него имелся свой «актив» из пьяниц и «горлопанов» вроде Артамоныча и Кости Хромого, готовых за рюмку водки пойти на любое преступление. На сельских сходах, которые обычно собирались по воскресным дням, эти подпевалы кулаков всегда поддерживали предложения старосты и других сельских богатеёв, спорили, ругались с честными мужиками, глушили их голоса, и все вопросы решались так, как хотели кулаки. После схода староста вёл мужиков в трактор к своему брату Фёдору. Из общественных средств покупал им одну, а то и две четверти водки, и начиналось веселье. Сначала пьянствовали на мирские, потом на свои деньги. Если дело было зимой, подгулявшие мужики отправлялись всем сходом на кулачные бои со сходом соседнего села Бобренёво и бились дотемна.

Другие два сына старика Лаченова, Григорий и Пётр, так же, как и староста Семён Михайлович, жили вместе с отцом в каменном доме и занимались барышничеством. Ездили по окрестным сёлам, скупали у крестьян лошадей, коров и мелкий скот, перепродавали другим крестьянам или резали на бойне в городе и спекулировали мясом. Они всегда хорошо знали, кому из окрестных мужиков угрожала продажа имущества с торгов за невозможность податей, и «выручали» бедняка, ссужая деньги под

большие проценты; знали, у кого пала корова или лошадь, где произошло какое-нибудь другое несчастье, и спешили «помочь» на самых кабальных условиях.

Пятый сын старика, Василий, считался неудачником в семье Лаченовых. Высокий и широкоплечий, с чёрной шапкой волос на голове и большими чёрными плутоватыми глазами, он походил на одного из тех страшных разбойников, о которых мне рассказывала мать. На самом деле он был мягким, весёлым и нежадным человеком, совсем не походил на своего отца и братьев. Все в селе звали его просто Васькой-цыганом.

Сначала он тоже занимался барышничеством, покупал лошадей, любил покататься на рысаках, по пьянствовать в весёлой компании. В городе связался с тёмными людьми и скоро опустился до босячества. Михайло Дороевич решил избавиться от своего беспокойного сына. Выстроил ему пятистенный дом подалеже от своего, поближе к городу, женил его и переселил в новый дом, который вскоре превратился в притон воров и «гулящих» женщин. Каждый вечер к Ваське-цыгану приходили из города босяки со своими любовницами, пьянствовали, резались в карты, дрались и даже убивали своих товарищей.

Крестьяне нашего села, в особенности женщины, были очень недовольны существованием притона Васьки-цыгана, но молчали, и, что бы ни случилось в его доме, никогда ничего не доходило до городских властей и всё оставалось безнаказанным. За это босяки в нашем селе вели себя тихо, не воровали и старались жить в мире с сельскими властями. Они занимались кражами только в других сёлах, а краденое через Ваську-цыгана сбывали его брату, трактирщику. Притон Васьки-цыгана разлагающе влиял на сельских парней, развращал их. Ребята заслушивались весёлыми рассказами босяков об их кражах в соседних сёлах и городе, пили с ними водку, играли в карты, развратничали с их «подругами».

3. Сирота

Эта студёная зима, седьмая зима моей жизни, хорошо сохранилась в моей памяти — наверно, потому, что тогда обрушилось на нашу семью много бед и несчастий, определивших и мою судьбу и судьбы брата и сестры. А в конце этой зимы, ранней весной, мы потеряли отца.

Больше месяца после своей поездки в лес за хворостом отец не пил, работал по хозяйству дома и в городе на лошади, деньги отдавал матери. Мы начали «попраляться». В доме было тепло, появился даже чай с сахаром, иногда по воскресеньям мать баловала нас: пекла пироги с капустой. Купила отцу валенки, тёплые штаны, шапку, брату Петьке сшила из старого пальто шубку на вате с овчинным воротником. Мечтали о том, чтобы к лету собрать денег, нанять плотников и поправить нашу избу.

Но на масленице отец сорвался и опять загулял. Он поехал в город возить сено барышникам-цыганам. В тот злополучный день он должен был получить деньги за работу. Мать наказала ему купить в городе немного белой муки, постного масла на блины, чтобы и у нас, как она говорила, был праздник, как у добрых людей. Целый день она с Полей приводила избу в порядок. Оклеили стены газетами, которые принесли от школьной учительницы Татьяны Мартыновны. мыли, скоблили полы, лавки и стол. На окнах повесили чистые занавески, и в нашей избе стало светлее и уютнее.

День выдался солнечный, тёплый, стёкла оттаяли, и из окон стали видны и блестящие на солнце кресты церквей в городе и железнодорожный мост через Москву-реку, по которому пробегали поезда. Я крутился во дворе около Петьки, помогая ему рубить сучья, привезённые отцом из леса, и складывать их под навес.

В нашем садике, занесённом снегом, было тоже весело. Петька любил ловить птиц западней и сетью и продавал их ребятам Лаченовым за хлеб и за деньги. Он вывесил в сад клетки со шеглятами, они задорно перекликались с сидящими на деревьях свободными птицами и зазывали их к нам в сад, где их подстерегала неволя.

Начало темнеть, мать зажгла лампу, приготовила ужин. Но отца всё ещё не было. Она сильно встревожилась, часто выбегала на улицу, спрашивала об отце соседа, вернувшегося из города. Сосед видел отца с цыганами на базаре, он был трезвый и собирался домой.

Ночь прошла в тревоге. Мать не сомкнула глаз. А на другой день, чуть начало

светать, собралась в город на поиски. Я стал приставать к ней, чтобы она и меня взяла с собой в город.

— Ну, вот ещё что выдумал!.. Чего слез с печки, спи! — строго прикрикнула она на меня. Но я решил поступить по-своему. Пока она наказывала сестре, что нужно сделать по хозяйству, я быстро надел валенки, полушубок, шапку ещё спавшего Петьки, незаметно выскочил из дому на снежную дорогу и торопливо пошёл к городу, стараясь отойти подальше от дома. У церкви остановился, поджидая мать, стуча зубами от холода и волнения. Вскоре показалась и она, одетая в полушубок, с двумя кувшинами молока, повешенными через плечо. Увидев меня, рассердилась и стала гнать домой.

— Раздел Петьку, в чём он теперь в школу пойдёт? Иди, иди домой!

Но я хныкал и, не отставая, бежал за ней, как собачонка. Наконец она сжалилась надо мной, остановилась и позвала к себе.

— Пойдём, раз так. Может, тебя отец лучше послушает, чем меня,— тяжело вздохнула она.— О господи, за что послал на меня такие муки...

Я зашагал за матерью, стараясь не отставать. От быстрой ходьбы по тяжёлой снежной дороге мне стало жарко, но я молчал, не жаловался на усталость. Вскоре мы вошли в город.

— Мамка, а где мы будем искать отца? Ишь, город-то какой большой.

— Лучше бы его и не было,— горестно ответила мать.

Она быстро продала на базаре молоко, и мы начали бродить по улицам, заглядывая в кабаки и трактиры, расспрашивая у знакомых об отце. Оглядывали крестьянские подводы, ища среди лошадей нашего гнедого.

В трактирах было много народу. За столами пили чай, водку, ели колбасу, белые булки. От стола к столу бегали шустрые парни в белых рубашках, подпоясанные кручёными поясами с кистями на концах. В больших шумных комнатах было тепло, пахло водкой, табачным дымом.

Я с любопытством оглядывал людей, столы.— всё было для меня ново, интересно. Завидовал счастливым, сидящим за чаем и едой. «Вот бы и нам с матерью сесть за такой столик и поевть колбасы с булкой!» — мечтал я.

Но мать не останавливалась. Крепко держа меня за руку, то и дело прикрикивала:

— Чего рот разинул, смотри отца!

А отца нигде не было. Я уже устал, но мать потащила меня на цыганский базар. Там было много возов с сеном и соломой, около лошадей суетились цыгане в больших шапках, осматривали лошадей, торговались с мужиками и громко хлопали рукавицами по рукам. Мать с сердцем проговорила:

— Отец-то — леший с ним! Угонят у него лошадь — вот беда, что будем делать без лошади весной?..

Мы уже возвращались с базара на главную улицу, когда вдруг из переулка выскочила наша лошадь. В санях сидел мой отец в обнимку с двумя пьяными мужиками из нашего села. Во всё горло они орал похабные песни. Цыган с чёрной бородой, в лохматой шапке, в полушубке, подпоясанный кушаком, стоя в санях, натягивал верёвочные всжжи, с азартом нахлёстывая лошадь под живот. Она, задрав кверху голову, неслась галопом и была вся в пене.

Мать вскрикнула, но никто не услышал её, и сани пролетели мимо. Рядом с отцом сидели Мишка Артамоныч и Костька Хромой, известные пьяницы и хулиганы. Они нигде не работали, постоянно околачивались в притоне Васьки-цыгана в нашем селе.

— Вот, разбойники, что делают, ведь лошадь загонят! — ругалась и плакала мать. — Пойдём скорее за ними. Может, остановятся возле кабака, захватим.

Но в городе нашу лошадь мы больше не видели. Вечерело, когда мы добрались до дому. Поля рассказала матери, что отец с пьяными мужиками промчался на санях мимо дома и остановил лошадь у трактира Лаченова.

Мать сейчас же пошла в трактир, я не отставал от неё, несмотря на усталость и голод.

Трактир Фёдора Лаченова — брата старосты — находился в центре села и известен был во всей округе. По праздникам и в базарные дни Фёдор Михайлович торговал

особенно бойко, и в трактире обдывались различные грязные делишки: сбывалось краденое, задёшево скупался у подвыпивших мужиков скот.

Возле трактира у кормушек мать внимательно осмотрела лошадей, но своего гнедого не нашла.

— Вот беда, куда они загнали нашу лошадь? Не цыган ли угнал?

Мы вошли в трактир. Там было шумно и полно народа.

За одним из столов пьянствовал мой отец в компании Артамоныча и Костыки Хромого — любителей погулять на чужой счёт. Цыгана в лохматой шапке не было.

Мы подошли к отцу.

— Опять загулял, бесстыжие твои глаза!..

Он был очень пьян и, силясь подняться со стула, засмеялся.

— А что? Масленица! Все гуляют! Садись с нами за компанию!..

— У кого масленица, а у кого слёзы... Где лошадь-то?

Отец махнул рукой.

— Лошадь? Лошадь наша дрянь, обменял её на другую. Посмотри, какая — богатыри!

Мать испуганно глядела на него, пытаясь понять, шутит ли он или говорит правду.

— Лошадь у нас хорошая. Тебе только бы менять. Пойдём домой.

И потянула его из-за стола за распахнутый полушубок.

Отец не противился, хотел итти с нами, но собутыльники подняли его на смех:

— Ну и дожил ты, Андрюшка! Просватал себя за бабу, вот она теперь и командует тобой!..

Эти слова задели за больное место. Отец сразу изменился, дико глянул на мать, толкнул её от себя и хриплым голосом заорал:

— Уйди! Убью!..

Мать по опыту знала, что отец сейчас же будет драться.

— Лошадь наша где?

— Не твоё дело. Я хозяин! — дико рычал отец. Хотел ударить мать, но промахнулся и упал на пол. Мужики подняли его, усадили за стол, и Артамоныч налил ему полный стакан водки.

— Давай выпьем, а бабу не слушай. Бей её, как я свою Сашку. Перечить не давай! Баба не человек, а сука, вот она кто!

Мать молча отошла от стола, вытирая слёзы. Подошли к хозяину трактира. Он стоял за стойкой, красный, с жирным, потным лицом, и наливал в стаканы водку. Мать спросила у него, не знает ли он, где наша лошадь. Тот удивлённо пожал плечами.

— Не знаю, не видел. Но, если Андрей твой продал лошадь, не горюй, у нас есть хорошая, молодая, приходите завтра, продадим за подходящую цену.

Мы вышли из трактира. Лошадь, на которой приехал мой отец, стояла у кормушки, понурился голову, и ничего не ела. Мы её не взяли с собой. Мать надеялась разыскать свою лошадь.

Поздно ночью вернулся отец. В трактире его побили. Правая бровь была рассечена, и лицо вымазано в крови. Он искал топор, хотел убить Артамоныча, но мать уговорила его лечь спать.

На другой день отец опять был тихим, молчаливым и долго молился перед иконами, стараясь, очевидно, оттянуть неприятный разговор с матерью. Он признался, что спьяна продал лошадь цыганам в обмен на другую, на которой приехал из города. Слёз было много. Лошадь оказалась старой, с больными глазами и разбитыми ногами, работать на ней было невозможно.

Что было делать? Пришлось, как всегда, пойти на поклон к Фёдору Лаченову. Цыганскую лошадь он взял за бесенок и продал нам другую, действительно молодую и сильную, в долг. Долг этот отец обязался погасить весной обработкой полей трактирщика.

Опять отец клялся и божился, что бросит пить водку и начнёт жить по-новому. Он действительно держался некоторое время, не пил, готовился к весне. Но жить ему пришлось недолго.

Наступила весна, и отец, наладив соху, поехал в поле поднимать целину трактирщику. Потный, он напился холодного квасу, простудился, заболел и слёг. Мать вынуждена была отвезти его в городскую больницу в бессознательном состоянии.

Ей самой пришлось пахать землю вместо отца. Помогал Петька. Усталая, она не раз ходила вместе со мной в больницу навещать отца. Ему делалось всё хуже, хотя он и пришёл в сознание.

— Эх, Настасья, — хрипел он, — только бы поправиться мне, другую жизнь начну. Только бы подняться.

Подняться не пришлось. Через неделю, когда мы с матерью пришли в больницу, отца уже не было в живых. Без нас его похоронили где-то на городском кладбище, в «казённом» гробу, в одной из многих безымянных и бескрестных могил. Обливаясь слезами, мать долго водила меня по кладбищу в надежде найти могилу отца, но мы так и не нашли, куда он спрятался от нас.

Я не понимал огорчений матери. Вернувшись из города домой, я побежал к дому Лаченовых, к их ребятам, и самодовольно сказал:

— Отец мой помер. Я теперь не рязанский.

Ребята недоумевающе посмотрели на меня, а старший сын трактирщика Сашка насмешливо бросил:

— Это всё равно, Ванька. Раз отец был рязанский, и ты такой на всю жизнь остаешься. Паспорт тебе тут не дадим.

4. «Добытчик»

После смерти отца перед матерью встал страшный вопрос — как дальше жить на свете, как не допустить, чтобы мы, её дети, пошли «по миру», выпрашивая подаяние. Особенно её угнетали долги. Староста Семён Лаченов и Сёмка-писарь требовали подати за землю. Каждый год все крестьяне выплачивали проценты по выкупным платежам графу Шереметеву за своё «освобождение» от крепостной зависимости.

Общинной земли было мало, в особенности у нас. На одну мужскую «душу» в семье приходилось пять едоков. Мы были вынуждены арендовать десятину земли у попов и платить за неё двенадцать рублей в год. Трактирщик Фёдор Лаченов требовал от матери деньги за муку, взятую у него зимой под отработку, ему же нужно было платить за лошадь, купленную у него вместо нашего гнедого, пропитого стцом на масленице. Долгов много, и все они прошлогодние, неотложные. За них могут отнять и нашу Бурёнку и разорить и без того нищее хозяйство. А Лаченовы, когда надо взыскивать долги, никого не жалели.

По окончании полевых работ мать не пустила больше Петьку в школу, где он должен был доучиваться третью зиму. Учение Петьки кончилось, и мать устроила его в городе в лекарню «мальчиком» за два рубля в месяц.

— Слава богу, с хлеба долой и мне немножко поможешь, — радостно напутствовала она брата. — Два рубля — деньги не маленькие при нашей бедности. Поживёшь до весны, а там видно будет...

Сестра Поля очень нужна была матери дома, но она решила поскорее выдать её замуж.

— Может, бог даст, зять хороший попадётся и мне чем-нибудь поможет, — рассуждала она.

Поля была красивая, работающая девушка. В те времена в деревнях девушек старались пораньше выдать замуж, боясь, как бы они не остались в девках. Часто в крестьянских многодетных семьях девушек рассматривали как лишнюю обузу. Однако выдать замуж молодую, красивую, но бедную девушку родителям было нелегко. Об этом и в песне говорилось:

Хороша я, хороша,
Да плохо одета,
Никто замуж не берёт
Бедную за это.

Кроме хорошего приданого, от родителей невесты требовалось не менее ста—двухсот рублей жениху на свадьбу. Беднякам приходилось продавать последнюю коровёнку,

овечку, зерно, лишь бы не оставить дочь в «вековушах» — старых девах. Над «вековушами» насмехались парни и ребята.

В нашем доме появились бойкие, говорливые свахи, и началось сватовство. Расхваливали женихов и упорно спорили о количестве приданого и денег жениху на свадьбу. Не всех предлагаемых женихов знала сестра, но её об этом и не спрашивали. Свахи договаривались обо всём с матерью, рассуждавшей по пословице: «Стерпится — слюбится». Среди женихов был коломенский извозчик, который, по рассказам свахи, имел в городе свой дом, трёх лошадей, хорошие выезды и жил в достатке. Но это был уже пожилой вдовец, с тремя маленькими детьми от умершей недавно жены. Сваха расхваливала его: и богат, и скромен, не пьёт, не курит. Готов взять сестру замуж в чём есть — без всякого приданого. Сам даёт денег на свадьбу и обещает помочь матери. Это обещание очень соблазняло мать. Но Поля, узнав об этом предполагаемом муже-вдовце, начала горько плакать. Оказалось, что у неё есть любимый парень — молодой и красивый, но такой же бедняк, как и мы сами. Поля говорила, что хочет замуж только за него. Мать знала этого парня, но и слушать о нём не хотела. Однако ни уговоры, ни ругань матери не могли сломить упорство сестры, грозившей отравиться или утопиться, если мать насильно выдаст её за старого извозчика.

— Вот дура, — увешевала её мать. — Ветер у тебя в голове. Нас тоже не спрашивали, когда выдавали замуж. Он хоть и вдовец, а степенный, хозяйкой будешь, барыней будешь жить.

Несмотря на протесты Поли, мать со свахой ездила к вдовцу. Понравилась ей и дом, и хозяйство, и вдовец. Сговорились. Были уже смотрины, но свадьба всё же расстроилась из-за упорства сестры: она тяжело заболела, в бреду хватала верёвки, а однажды ночью убежала на реку, там её поймала мать и привела домой.

После этого мать уже не заговаривала об извозчике. Но «пристраивать» Полю всё равно надо было, и, когда сестра поправилась, мать устроила её работать на шелкопрядильную фабрику итальянца Абека в городе. На этой фабрике работало много девушек из окрестных сёл.

— Не захотела быть барыней, иди на фабрику зарабатывать себе приданое, — с сердцем говорила мать.

На фабрике работали девочки от двенадцати лет. Работали с семи часов утра до шести часов вечера за пятнадцать — двадцать копеек в день. Но сестра была довольна и стала прилежно зарабатывать своё приданое.

Нашлось и мне дело. Я тоже стал «добытчиком». Меня взял к себе на работу богатый крестьянин Пётр Игнатов. Я стерёг его гусей. Вместе с ним мне часто приходилось ездить по окрестным сёлам. Там он покупал скот, главным образом коров, бычков. Купленный скот он привязывал к телеге, садился на неё и правил лошадей, а я обязан был, идя за телегой, подгонять коров и бычков до Сандырей. За это барышник давал мне пятак и гривенники, куски хлеба и даже остатки от обеда своей семьи. Закупленный скот отправлялся на городскую бойню. Иногда я получал за свою работу кишки и даже в виде особо щедрой награды лёгкое. Когда я это богатство приносил домой, радость была великая. Мать устраивала нам обед, и мы наедались досыта.

В таких случаях я чувствовал себя героем, а мать называла меня «добытчиком», и мне ещё больше хотелось что-нибудь заработать и обрадовать мать. Иногда вместе со своими друзьями — Васькой Лёвшиным и Витькой Бунаковым — я работал на шоссе на дороге. Под руководством дорожного десятника мы собирали выбитые камни на дороге и за день проходили по пятнадцать — двадцать вёрст. За эту работу нам платили по двадцать копеек в день. Для нас, ребят, это было большим заработком.

5. Школа. «Природный преступник»

Когда мне исполнилось восемь лет, мать по совету старшей учительницы нашей школы, Татьяны Мартыновны, решила послать меня в школу учиться. Татьяне Мартыновне было лет двадцать пять. Эта высокая, худая, на вид суровая, с несмеющимися глазами, а на самом деле очень сердечная, добрая девушка жалела мою мать и всячески старалась помочь нам.

— Учись, сынок, учись хорошо. Учение — свет, а неучение — тьма. Грамотному и в люди легче пробиться. Может быть, не будешь горе мыкать, как твои тёмные родители, — напутствовала меня мать, провожая в школу.

Мне очень хотелось стать «учёным», как Татьяна Мартьяновна, и я ходил в школу с большой охотой, учился прилежно. Школа помещалась близко от нашей избы, в каменном доме, на верхнем, втором этаже. Нижний этаж этого здания был занят волостным правлением. Сюда крестьяне вносили подати, здесь их и судили за разные провинности, здесь была и «холодная», то есть арестное помещение с зарешённым окошком. Крестьяне боялись волостного правления и, проходя мимо него, всегда старались не попасться на глаза волостному старшине, Сёмке-писарю или кому-нибудь из других властей, которые не упустили случая накричать на мужика.

Школа в нашем селе была земская с трёхгодичным сроком обучения и одна на всю волость — на четыре селения. В каждом доме были дети школьного возраста, но школу посещало не более пятидесяти ребят, среди которых очень мало было детей из других деревень нашей волости (большинству не в чем было ходить в школу) и совсем не было девочек. Школа занимала две холодные комнаты. С первоклассниками занималась младшая учительница, Анна Васильевна, а со вторым и третьим классом одновременно вела занятия во второй комнате старшая учительница, Татьяна Мартьяновна. Третьим нашим преподавателем был священник, отец Фёдор. Во всех трёх классах он преподавал «закон божий». Те немногие ребята, кому родители позволяли проучиться все три зимы, получали некоторые навыки чтения, письма, сведения по арифметике. По учебнику «Родное слово» Татьяна Мартьяновна живо и интересно рассказывала об образовании Руси, знакомила нас с начатками географии, природоведения, что меня особенно интересовало. Учительница объясняла нам, что такое земля, звёзды, отчего происходят гром и молния. То, что она рассказывала нам о земле, о морях, плохо увязывалось с «законом божьим» отца Фёдора, но мы над этими вопросами тогда не задумывались и заучивали всё так, как было написано в учебниках и как учили нас учительница и священник.

Учение мне давалось легко по всем трём предметам — грамматике, арифметике, «закону божьему». К концу второго года я научился бойко читать, особенно полюбил наш учебник по русскому языку — «Родное слово», знал наизусть несколько басен, стихотворений Пушкина. В школе я узнавал много нового, интересного и «просвещал» свою мать. Она всегда слушала меня внимательно и радовалась, что я становлюсь таким «учёным».

Всё шло хорошо. Татьяна Мартьяновна находила у меня хорошие способности, часто хвалила меня как примерного ученика и в классе и в беседах с матерью и обещала даже по окончании сельской школы устроить меня в городское училище учиться на казённый счёт. Но на третьем году обучения случилась история, из-за которой я сразу попал в немилость к отцу Фёдору и превратился в «прирождённого преступника».

Мои успехи по «закону божьему» обратили внимание отца Фёдора. В знак особого ко мне расположения священник брал меня в помощь дьячку во время церковной службы. Это радовало и мою мать и меня. Отец Фёдор даже говорил, что сделает из меня дьячка. Я выучил несколько церковных молитв и служб и звонко подтягивал дьячку на клиросе. В алтаре раздувал отцу Фёдору калило. По воскресеньям, во время утренней обедни, я относил в алтарь поминания и просфоры¹, которые молящиеся ставили на столик в церкви для поминания за упокой и за здоровье своих близких. На каждую просфору молящиеся давали монету для священнослужителей — одну-две копейки, пятак и даже серебряные монеты. Деньги за просфоры я собирал в руку и в алтаре опускал в кружку, запертую на замок. Однажды у меня возникла соблазнительная мысль: почему бы и мне кое-что не урвать от поповских доходов? Деньги нам с матерью были, по-моему, нужны гораздо больше, чем богатым попам. Коровы у нас в то время не было, и каждый день матери приходилось думать о том, как и чем накормить меня.

¹ Поминания — книжечки с записью имён умерших, просфоры — белые хлебцы из крутого теста.

Тайно от матери я обдумал план воровства денег у попа. Идя к обедне, я имел в кармане одну-две копеечные монеты и держал их наготове. Перенося просфоры со стола в алтарь, я двух-трёхкопеечные монеты заменял своими копейками и в алтаре, вместе с другими деньгами, опускал их в кружку. Двух- и трёхкопеечные монеты я уже выменивал на пятакки. Эта моя проделка долгое время проходила незаметно. Я осмелел: пятаки менял на гривенники, и к концу обедни у меня набиралось копеек двадцать — тридцать. Вечером я отдавал их матери, говоря, что выиграл в бабки: в бабки я действительно играл очень метко и всегда обыгрывал ребяткишек.

Но однажды дьячок заметил, как я взял с просфоры гривенник и оставил его у себя в кармане. Он осторожно спросил меня:

— Тут был гривенник?

— Да, был.

— Где он?

— Опустил в кружку.

Дьячок открыл кружку, но среди медных денег не оказалось ни одной серебряной монеты.

Пойманный, как говорится, «с поличным», я покраснел и молча стоял перед ним.

— Ах, вот ты какой!

Взбешённый дьячок обшарил мои карманы и нашёл там и гривенник и ещё несколько двух- или трёхкопеечных монет.

Дьячок был молодой, весёлый парень, любил выпить и погулять с ребятами и девушками. Ко мне он относился очень хорошо, но тут рассердился страшно и обо всём рассказал отцу Фёдору. Тот сразу изменился в лице, даже побелел от злости и долго с изумлением качал косматой головой, называя меня жуликом.

На другой день в школе, на уроке «закона божьего», отец Фёдор, как ни в чём не бывало, подошёл к парте, за которой я сидел, и начал рассказывать притчу о блудном сыне, как тот из хорошего мальчика превратился в мошенника. Рассказывая эту притчу всему классу, он всё время, стоя возле меня, то и дело, как будто глядя меня по голове, больно дёргал за волосы на затылке. Делал он это незаметно для других ребят, а мне было мучительно больно. Но я терпеливо переносил пытку. Лицо горело, как в огне, я готов был расплакаться, но крепился, опустив глаза вниз и не решаясь поднять их на ребят. Ребята так и не поняли, в чём дело, почему поп не отходит от меня и почему я такой красный и смущённый. Ведь они все знали, что я любимчик отца Фёдора.

После урока поп рассказал Татьяне Мартыновне о моей проделке в церкви. Она очень встревожилась, пристыдила меня, но никому ничего об этом не сказала. Однако от дьячка узнал о моей проделке в церкви брат попа, преподававший в школе церковное пение. Придя на занятие, он долго вглядывался в моё лицо и, найдя у меня признаки «прирождённого преступника», в присутствии Татьяны Мартыновны презрительно заметил:

— Э-э! Да ведь этот парень — природённый преступник. Посмотрите на него: низкий лоб, две глубокие складки спускаются со лба треугольником к переносице, а глаза бойкие, как у разбойника.

Весь этот разговор происходил в классе при ребятах, которые с этого времени начали звать меня «природный преступник», и эта кличка стала известна в селе всем. Узнала о ней и моя мать. Она была очень огорчена и напугана предсказанием брата попа о моей врождённой преступности. Но при всей своей неграмотности и религиозных предрассудках она обладала большим житейским опытом и трезво смотрела на жизнь. Она крепко поругала меня за то, что я воровал деньги у «святых отцов», но вместе с тем заметила:

— Кто может знать, кроме бога, что каждому на роду написано? Никто. О бедном человеке всё можно сказать. О Лаченовых отец Фёдор, небось, не скажет, что они «природные преступники». Попробуй кто, скажи о них так — сразу в тюрьму посадят...

После того, как поп издевательски наказал меня, а ребята прозвали «природным преступником», я перестал ходить в церковь, в великий пост не говел и не исповедовался у попа. Отец Фёдор казался мне уже не святым отцом, а обыкновенным жад-

ным человеком в рясе, который собирает с крестьян яйца, деньги и за это прощает богатым грехи, а нам, беднякам, только угрожает наказанием божьим.

Я окончил школу с похвальным листом и наградой — книжкой Пушкина, подаренной мне Татьяной Мартыновной. Учительница тоже не верила, что я «природный преступник», и как-то сказала моей матери:

— Никаких врождённых преступников нет. Сын твой — способный паренёк. Если бы у меня были деньги, я бы устроила его в городскую школу.

Она хотела поговорить с попечителем школы, чтобы тот помог мне учиться.

Я очень обрадовался этой возможности. Я не раз проходил мимо большого трёхэтажного дома с надписью «Городское училище», видел, как оттуда выходят ребята в форменных фуражках и шинелях. Но мечта моя не осуществилась. Татьяна Маргынтерна поговорила об этом с отцом Фёдором и с инспектором земства, который приезжал к нам в школу на экзамены, но ни у попа, ни у инспектора поддержки она не нашла. Ей сказали, что городская школа не для крестьянских детей. Чтобы пахать землю, мужику особой грамотности не требуется.

6. «Москва слезам не верит»

Не только моя мечта об учении в городском училище осталась неосуществлённой. Развеелась прахм и мечта сестры моей Поли выйти замуж за любимого человека, накопив приданое своим трудом на прядильной фабрике. Из её заработка (она получала уже по двадцать пять копеек в день) ничего не удавалось откладывать — весь он уходил на содержание семьи. Петька сбежал из пекарни, где он служил, не вынеся каждодневных хозяйских побоёв. Мои заработки были непрочные, случайные. А хозяйство наше, опутанное долгами и податями, требовало не только тяжкого труда, но и денег.

Поле было уже восемнадцать лет, и мать страшилась, как бы она «не пересидела в девках». А тут и парня, за которого она собиралась замуж, призвали в солдаты, угнали куда-то далеко на пять лет. Так и случилось, что в доме нашем опять появились свахи.

Нашёлся и жених — сын городского лавочника. Сваха очень его расхваливала: тихий, образованный, городское училище кончил и уже несколько лет служит табельщиком на машиностроительном заводе. У отца в городе свой дом и бакалейная лавка. Живут богато, и приданое требуется небольшое — сто пятьдесят рублей да шубка на меху, ведь в городе жить будет. Одно было непонятно — почему такому богатому жениху ищут невесту в деревне, а отец согласен женить его даже на такой бедной девушке, как моя сестра.

Впоследствии оказалось, что сваха говорила о нём не всю правду. Отец жениха был человек строгих правил, а сын любил погулять, путался с развратными женщинами. Отец решил обуздать сына, женив на бедной деревенской девушке. Возможность родства с лавочниками матери очень нравилась, но где взять столько денег на свадьбу? Тут-то я и узнал впервые от матери, что в Москве живёт её родной брат Григорий, владелец большого магазина, и от денег у него, как говорила мать, «сундуки ломаются». Вот к этому-то братцу она и решила обратиться за помощью. Меня очень озадачило это признание матери. В Москве у нас богатый родственник, а тут мы в деревне умираем с голоду.. Я начал допытываться у неё, почему так вышло — брат её богатый, а мы бедные. Почему она никогда раньше не обращалась к нему за помощью? Мать, горестно вздыхая, рассказала нам, как получилось, что Григорий богатый, и почему она не рассказывала о нём раньше.

Когда родители моей матери умерли от холеры, она была ещё восьмилетней девочкой. Брат Григорий тогда уехал в Москву, а мать осталась на попечении тётки. Отец матери, мой дедушка, тоже когда-то служил приказчиком в Москве и сделал кое-какие сбережения. Григорию было тогда семнадцать лет. Умирая, дедушка передал Григорию свои сбережения — грста рублей — и завещал сто пятьдесят из них моей матери на приданое. Григорий перед иконами клялся отцу, что он не забудет сестру и поможет

ей выйти замуж. Дедушка умер, а Григорий устроился в Москве приказчиком в посудный магазин. Вошёл в доверие к хозяину и начал обворовывать его, сбывая краденое через своих земляков, приказчиков других магазинов. Через некоторое время Григорий открыл свою лавку, в которой за бесценок скупал краденое у земляков-приказчиков. Так и пошёл в гору и стал настоящим купцом. Женился на богатой купчихе и совсем забыл свою бедную сестру.

— Значит, он от воровства разбогател? — спросил я.

— Известно, от трудов праведных не наживёшь палат каменных. Бог ему судья!.. Ездил я к нему раза три в Москву, да и заклалась. Плачешь, просишь его помочь, а у него любимая поговорка — «Москва слезам не верит». А теперь придётся ещё раз съездить к нему на поклон. Авось поможет выдать Польшку замуж.

Она собрала денег на билет и уехала в Москву. Мы ждали её с нетерпением. Дня через три мать вернулась из Москвы печальная, с опухшими глазами.

— Эх, детки, детки, — плача, говорила мать, — сколько из-за вас горя всякого хлебнёшь! Уж просила, молила я этого аспида. Да разбогател — жадный стал, безжалостный... Не зря в священном писании сказано: «Легче верблюду пролезть через игольное ушко, чем богачу попасть в царство небесное».

Успокоившись, она рассказала нам, как принял её брат.

Приехала в Москву, добралась до магазина. Григорий был за кассой. Взглянув на неё, он «сделался туча-тучей», накинулся на мать.

«Так и так, — говорю, — по нужде приехала, дочку Полю замуж выдаю, сделай милость, помоги, не оставь нас...» Он посадил за кассу свою жену и повёл мать к себе на квартиру. Ругал её всякими словами, кричал, что она грабить его приехала, что у него своих нужд много. А она от него не отступала, просила, в ноги ему поклонилась. Не давал денег, выгонять стал. Тогда мать напомнила ему о деньгах, которые завещал ей дедушка. Это взбесило брата. Он ударил её так, что она упала, выгнал её на кухню к кухарке. Вечером позвали её к брату. Он опять кричал, ругался, но то ли совесть в нём заговорила, то ли дурной славой побоялся, но только дал ей сто пятьдесят рублей и рубль пятьдесят копеек на обратную дорогу, да наказал ей, чтобы она, когда я подрасту, привезла меня к нему в магазин в ученики.

Сестра уже не противилась замужеству, и свадьба состоялась. Полю увезли в чужой дом. Но надежды матери на этот брак не оправдались. Никакой помощи зять ей не оказывал. Отец его вскоре умер, а он продолжал пьянствовать, продал отцовский дом, с завода его уволили, и после долгой безработицы он вместе с Полей переселился в нашу хату. Нужда наша ещё более возросла.

7. Как меня «выводили в люди»

— Ну, сынок, ты теперь грамотный стал, что же с тобой дальше делать будем? — говорила мне мать вскоре после окончания школы. — Крестьянство наше горевое, да и земли на тебя тут не дадут. Поедем в Москву, буду просить братца, чтобы тебя в люди вывел.

Хотя богатый дядюшка, о котором мать рассказывала нам, не нравился мне, поездка в Москву всё же прельщала. Я мечтал стать приказчиком. Из нашего села кое-кто работал на заводе в Коломне, а другие служили в Москве приказчиками. Заводские ходили в замасленных блузах с грязными лицами, а на московских, когда они приезжали на пасху домой, любо было смотреть: хорошие костюмы, накрахмаленные белые манишки, галстуки. Даже говорили они как-то по-особому, по-московски: «Что-с?», «Чего-с?» Гуляли они от заводских ребят отдельно и знакомство вели с девушками из зажиточных семей.

Поездка в Москву произвела на меня ошеломляющее впечатление. Первый раз в жизни ехал я в поезде, который свистя летел, казалось мне, как птица, оставляя позади мелькавшие в окнах телеграфные столбы, деревни, леса и речки.

В Москве на улицах — множество людей, извозчиков, дома все каменные, высокие, на каждом шагу магазины с заманчивыми выставками в больших окнах. Чего-чего тут не было! И лакомая еда, и богагая одежда, мебель, диковинные велосипеды, игрушки..

«Вот где рай, — думал я, идя по Москве, — а мы в деревне подышаем с голоду, ничего не знаем. Вот почему тут так все хорошо одеты, такие чистенькие».

Увлечённый, я не замечал в московской толпе множества бедно одетых людей, мне казалось, что только мы с матерью одеты нищенски, и я стыдился этого.

На углу Покровки и Барышевского переулка мать робко указала мне на большой галантерейно-мануфактурный магазин с красивыми товарами в высоких и широких скнах, сквозь каждое из которых, мне казалось, можно было проехать на лошади. Мать со страхом шепнула мне:

— Эти хоромы — твоего дядюшки. Пойдём, авось не оставит тебя..

Мы вошли в большой магазин с блестящими, скользкими паркетными полами и огановились у двери. Против нас за полированными прилавками приказчики расторопно показывали разные товары, ловко завёртывали проданное в бумагу и с поклоном подавали покупателям. В центре магазина за полукруглой кассой стояла высокая полная женщина. Пришуренными, насторожёнными глазами она молча, строго следила за приказчиками и покупателями.

При виде матери она нахмурилась и уткнулась в кассу. Мать робко подошла к ней, поклонилась и тихо проговорила:

— Здравствуй, Марианна Никифоровна.

— Здравствуй. Что это ты опять надумала в Москву?

— Сынка вот привезла к вам в учение, уж не оставьте сиротку..

Тётка, окинув меня острым взглядом исподлобья, что-то невнятно промычала. Мать смиренно ждала, не смея больше произнести ни слова. После долгого молчания тётка проговорила сурово:

— Ступай к кухарке, покормит вас. Дорога-то, чай, дорогая. Зря вы при вашей бедности деньги разбрасываете.

Мать со вздохом ответила:

— Сама знаю, дорого. Не поехала бы к вам, да нужда заставила.

Тётка, сердито сдвинув брови, позвала мальчика и приказала отвести нас на кухню. Мальчик привёл нас во двор, и мы спустились по лестнице вниз, под магазин, в тёмное и сырое подвальное помещение, где находилась кухня и общежитие для приказчиков и мальчиков. Маленькие зарешеченные окна выходили на мостовую. В них видны были только ноги проходящих мимо людей. В комнатах-клетушках было холодно и неуютно, пахло пылью.

Пожилая худая женщина в заплатанном ситцевом платье и замызганном переднике встретила нас приветливо и поцеловалась с матерью. Это была кухарка Маланья. Она жила в подвале в полном одиночестве и рада была излить перед матерью наболевшее на душе. Маланья была дальней родственницей жены дяди. Та привезла её из деревни вместе с мальчиком — её сыном, как свою бедную родственницу, которой можно было и платить подешевле, и заставлять «по-родственному» оберегать хозяйское добро и во всём экономить.

— Скряга, каких свет не видывал, — ругалась Маланья, поглядывая в окно за решёткой. — Чуть свет пойдешь с ней на базар, так она все ларьки обойдёт, всё осмолит, обнюхает, ощупает. Торгуется за каждую полушку. Всё ей кажется дорого, все её обвешивают, обманывают. Купит чего похуже и поменьше. Приказчики жалуются — она начинает меня ругать: куда, мол, мясо ушло, картошка? Говорит, ворую у неё. А кормить-то тридцать два человека. Плохо сготовишь — ругаются. В магазине полки ломаются от товара, а видишь, в каком сарафане я хожу. Фартука, ведьма, к празднику, не подарит. Грабят, грабят, и всё им мало...

Она говорила много, с искренней злобой, а я думал: вот так тётка, хуже наших Лаченовых, те хоть в долг дают.

— А сам-то, эх, какой!.. — продолжала Маланья. — Ты ведь знаешь его. Боязно на глаза показаться Такой озорник, не то что мальчиков, молодцов по мордам лупит. Намедни дворника избил за то, что тот на работу вышел позже его. А сам-то он встаёт в четыре часа утра и носится, как угорелый, до поздней ночи. Всё кажется ему, что все плохо работают, обворовывают его Эх, что и говорить!..

Она начала расспрашивать мать, зачем мы приехали, сочувственно кивала головой,

но сомневалась, что дядя согласится взять меня в ученики: побойтсья, что мать будет часто ездить к нему и просить денег.

— Сам-то обещал взять, — сказала мать.

Кухарка недовольно махнула рукой.

— Эх, Настасья Игнатьевна. И возьмёт — не на радость... Моего Илюшку хозяйка устроила в магазин мальчиком... Гляжу на него и плачу.

Она вдруг испуганно прервала разговор и бросилась к печке.

— Сам идёт! — предостерегающе прошептала она, подцепив ухватом большой котёл с гречневой кашей и ловко заталкивая его в печку. По лестнице быстро, но бесшумно спускался хозяин.

Он не вошёл, а влетел в кухню, окинул всех острым, сердитым взглядом. Казалось, он хотел поймать нас на каком-то преступлении. Мать торопливо встала и, низко поклонившись ему, робко проговорила:

— Здравствуй, Григорий Игнатьевич.

— Здорово, — буркнул он. Около печки валялось на полу немного картофельной кожурь. Дядя набросился на кухарку.

— Сбирать в ведро нужно и отправлять на двор, свиньям. Зачем так толсто срезаешь кожуру с картошки? Хозяйского добра не жалеешь!

Кухарка стала оправдываться:

— Картошка плохая.

— Плохая! Денег хозяйских не жалеешь! Чтоб у меня этого больше не было!

Я робко прижался к матери и следил за хозяином. Среднего роста, коренастый, с маленькими, злыми, прищуренными глазами, он был одет, как деревенские богатые мужики: простые сапоги, потёртый просторный пиджак с отвисшими лапами, жилет, на котором красовалась толстая серебряная цепочка от часов. Из-под дешёвого картуза с лакированным козырьком торчали густые волосы с проседью, подстриженные в кружок.

Подойдя к матери, он холодно спросил:

— Зачем прикатила? Денег много завелось?

— Сынка привезла... Сделай милость, не оставь. Выведи в люди...

Он бросил на меня хмурый, испытующий взгляд, от которого мне стало жутко.

Я спрятался за мать.

— Сколько ему лет?

— Двенадцатый пошёл. Школу кончил...

— Здоров?

— Как будто здоров.

— Гм-гм... Что ж, оставь, посмотрю. Может быть, и будет толк.

Мать опять закланялась ему и толкнула меня:

— Спасибо, братец. Поклонись, сынок, дяде в ноги. В люди тебя выведет.

Я совсем растерялся, онемел и не двинулся с места.

Он заметил моё смущение. Хитрая улыбка мелькнула в его глазах.

— Ну, чего, мальчик, боишься? Пойдём со мной.

И, не оглядываясь, быстро вышел из кухни. Мать толкнула меня к двери. Я робко поплёлся за дядей во двор. С чёрного хода мы вошли в заднюю часть магазина. Там находилось много разного товара на полках, от самого пола до высокого потолка: коробки пуговиц, ленты, тесьма, куски ситцу, сукна, шёлка. Я невольно загляделся по сторонам. Дядя дёрнул меня за ухо.

— Не заглядывайся, — строго сказал он, — нос разобьёшь.

По крутой, тёмной лестнице я спустился за хозяином в подвал магазина, тускло освещённый газовыми рожками без колпачков. Кругом были различные товары на полках и в тюках на полу. Он провёл меня в небольшую клетушку со столом вдоль передней стены. Единственное окно было почти под потолком, за решёткой. На полу валялось много обёрточной бумаги, рогож и разных верёвок от распакованных товаров. Несмотря на то, что на улице был летний солнечный день, в подвале было холодно, сыро и пахло гнилью.

Дядя, показывая мне на вороха бумаги и верёвок, строго сказал:

— Видишь, сколько добра. Это всё денежки.. Учись беречь хозяйское добро. Ни одной бумажки, ни одной верёвочки не должно пропадать зря. Вот смотри, как нужно делать.

Он быстро и ловко начал расправлять и свёртывать бумагу, которая выносилась потом в магазин для завёртывания товаров покупателям. Показал он мне, как нужно связывать отдельные обрывки шпагата, сматывать их в клубки. Негодную для магазина бумагу он рвал на мелкие кусочки и складывал в куль. Из неё, как он мне пояснил, на фабрике делают хорошую бумагу.

В клетушку боязливо вошёл худенький, бледный мальчик моего возраста и принялся торопливо разбирать бумагу.

— Ты куда бегал? — строго спросил у него хозяин.

— Молодцам за кипятком в трактир ходил, дяденька, — скороговоркой проговорил тот.

— К завтрашнему дню всё это разобрать. Смотрите у меня, не ленитесь. Не жечь бумагу в печке! Не прятать! Уши оторву! — И он, деловито осматривая подвал, ушёл наверх.

— Ох, и злой,— еле слышно сказал мальчик.— Так и думал, вздует.

— Дерётся, значит? — спросил я.

— У-у, ещё как! Ты откуда?

— Из Сандырей.

— В мальчики взял?

— Да, взял.

— Как тебя звать?

— Ванька. А тебя?

— Илюшка.

— Ты кухаркин сын? — обрадованно спросил я.

— Да. Зря ты пришёл сюда.. Тут как в тюрьме. И все бьют..

Он рассказал мне о своей жизни в «мальчиках». Я слушал его с испугом и начинал жалеть, что согласился поехать в Москву. Я чувствовал себя в этом подвале, как пойманная птица в западне. От запаха гнилья и сырости кружилась голова. Лихорадило.

Я сразу решил, что вечером упрошу мать, чтобы взяла меня обратно в деревню. Но, когда мы с Илюшей пришли убирать «молодецкую» и зашли на кухню, матерн там уже не было. Она уехала домой, поручив Малане приглядывать за мной. Я не ожидал, что она так скоро оставит меня одного, и заплакал.

С этого дня начались мои мытарства, по сравнению с которыми жизнь в селе казалась мне раем.

У дяди, кроме мануфактурно-галантерейного, было тут же, на Покровке, ещё два небольших магазина — железо-скобяной и посудный. Во всех трёх магазинах работали пятнадцать приказчиков и девять мальчиков в возрасте от одиннадцати до шестнадцати лет. Подростков хозяин принимал «на обучение», то есть без жалованья, а за одни «харчи», на пятилетний срок.

Условия работы были поистине каторжные. Все служащие, за исключением двух старших приказчиков мануфактурно-галантерейного магазина, жили в подвальном помещении под магазином, разгороженном на тесные клетушки. Для девяти мальчиков была отведена одна такая клетушка, в которой едва помещалось пять коек. Спать приходилось по двое на койке.

Магазин торговал с семи часов утра до десяти вечера, а в предпраздничные дни — до полуночи. Таким образом, рабочий день приказчиков продолжался пятнадцать — семнадцать часов, а у мальчиков ещё больше — нас подымали в пять часов утра для уборки магазинов. Будил нас обычно сам хозяин. Вставать так рано было тяжело, хотелось поспать ещё хоть минутку. Хозяин знал это. Через десять—пятнадцать минут после пробудки он приходил вторично к нам и палкой бил сонных по чему попал и очень больно. Мы вскакивали, кое-как одевались и бежали в магазины. Дел там всегда было много. Тщательно вытирали пыль с прилавков, коробки с товарами и полки. Подметали полы, предварительно посыпав их сырыми опилками. Бегали в булоч-

ную за булками приказчикам к утреннему чаю, опросив каждого ещё с вечера, кому что нужно купить на пять копеек, отпускаявшихся хозяйкой на каждого приказчика. После уборки магазина двое мальчишек бежали с большим медным чайником в трактир за кипятком. Сами мы пили чай после приказчиков с чёрным хлебом, который приносили с кухни.

Хозяйка — «тётенька», как мы её все называли, — была злая и жадная. Во время уборки магазина она строго наблюдала за нашей работой, осматривала полки, прилавки, отыскивая, не оставили ли мы где пыли, не намочили ли коробки на нижних полках во время разбрасывания опилок. Виновникам она давала по щеке крепкого «леща» своей увесистой «кувалдой», как мы между собой называли её жирные, толстые руки.

Она сэкономила на всём, стараясь сберечь и кусочек сахара и каждую крошку чая. Не раз гоняла Илюшу или меня за несколько кварталов в лавочку покупать ей на одну — две копейки семечек, которые она грызла, сидя за кассой. Ей казалось, что в той лавочке семечки крупнее и не порченные. Давая деньги, всегда строго предупредила, чтобы мы не грызли по дороге её семечки. Из-за её жадности не раз мне с Илюшей попадало и от приказчиков. Первое «кулачное крещение» я получил на второй день после поступления в магазин. По окончании утренней уборки магазина тётка послала меня и Илюшу в трактир за кипятком. С ведёрным медным чайником мы долго стояли у кассы в ожидании чая для заварки. Но в таких делах тётка не спешила. Она сделала из бумаги небольшой кулёчек и, держа его перед глазами, осторожно насыпала в него чай из железной коробки. Я чуть не рассмеялся вслух, наблюдая, как она это проделывала. Два-три раза она то прибавляла, то отсыпала из кулёчка по несколько чаинок, боясь переложить лишнее. Наконец она крепко закрыла кулёчек со всех сторон и наставительно сказала нам:

— Чай-то дорогой. Когда заварите его в маленьком чайнике, поставьте чайник ненадолго на плиту, пусть распарится немножко, гуще будет.

Трактир находился в двух кварталах от магазина, на втором этаже. На кухне у кипящего бака мы заварили чай так, как учила хозяйка, то есть немного подержали чайник на плите. Круглая трактирная каменная лестница была сырая, скользкая, и спускаться нам с кипятком в ведёрном чайнике было очень трудно. С непривычки я поскользнулся, но не упал, а только ожёг себе левую руку кипятком. Илюша предупредил меня, чтобы этого ожога не заметила хозяйка, — попадёт.

— За что?

— Скажет — не умеешь чайник носить. Уж она такая!

Принеся чайник в заднюю комнату магазина, где завтракали приказчики, я спустился с Илюшей в подвал, в клетушку, снова разбирать бумагу и верёвки. Только что я приложил мокрую тряпку к обожжённой руке, как слышу сверху крик:

— Мальчики! Мальчики!

Илюша по опыту знал, что зовут наверх неспроста. Шепнул мне:

— Ступай ты, ты дядин племянник, тебя не тронут.

Я выбежал наверх и очутился перед взъярённым краснолицым старшим приказчиком Петром Ивановичем.

— Кто ходил за чаем?

— Я, Пётр Иванович.

— А почему чай с венником?

Я растерянно молчал, не понимая, в чём дело. Он окинул меня с головы до ног злым взглядом и затопал ногами.

— Как ты стоишь передо мной. а?! Я тебя научу! Становись в струнку! Не знаешь? Руки по швам! Брюхо убрать!

И, закусив нижнюю губу, он начал звонко и с силой хлестать меня ладонями по щекам. От ударов искры сыпались из глаз, гуманилось в голове. Невольно заплакав, я попятился от него назад. Но это вызвало новую вспышку ярости приказчика и новые удары.

— Сволочи, руки только о вас поганишь! — И он, приподняв накрахмаленные манжеты, долго мыл руки душистым мылом и охорашивался перед зеркалом.

Я вернулся в подвал к Илюше. Щеки горели, из глаз против воли катились слезы боли и обиды. Но этим дело не кончилось. Вскоре спустилась к нам в подвал тётка, сердитая, надутая.

— За что ругал тебя Пётр Иванович?

— Говорят, мы чай с венником принесли, — ответил я.

— Болваны! Зазевались и передержали чайник на плите. Неприятности только умеете хозяйке длатать! — накинулась она на Илюшу как на старшего мальчика, отпустив ему несколько увесистых пощёчин.

В тот же день, к вечеру, нам с Илюшей крепко попало и от самого хозяина. Илюше давно надоело возиться с бумагой и перепутанными обрывками шпагата. Найдя за дверью небольшую щель в карнизе, мы затолкали туда значительную часть шпагата. Остальной разобрали и перемотали в несколько клубков. После обеда к нам заглянул дядя. Илюша говорил мне, что он с утра до поздней ночи бегаёт из одного магазина в другой, всюду находит неполадки. Ругает приказчиков, а мальчиков беспошадно треплет за уши.

Как я впоследствии убедился, хозяин обладал каким-то особым чутьём. Придёт, окинет острым взглядом помещение, поведет носом, словно понюхает, и обязательно найдёт повод побить нас. Так вышло и в этот раз. Подсчитав клубки, он набросился на нас с руганью, требуя достать спрятанную верёвку. Мы божились, что всю разобрали. Он осмотрел клетушку, кули с бумагой, полки, карниз. Заметив отверстие в карнизе за дверью, запустил туда руку, но ничего не достал. Взял кочергу и тут уж начал извлекать из щели запрятанную верёвку. К моему ужасу и удивлению, её оказалось там в несколько раз больше, чем мы туда прятали. Очевидно, и другие мальчики до нас не раз пользовались этой щелью, чтобы избавиться от верёвки. Хозяин пришёл в ярость. Надрал нам уши до крови и сам забил злополучную щель доской.

Вскоре я, не выдержав подвальной сырости и холода, заболел лихорадкой. Очень недовольная хозяйка, выругавшись, приказала старшему мальчику везти меня на конке в больницу. Там меня поместили в детское отделение. В больнице было светло, уютно, няня внимательно ухаживала за нами. Через неделю я поправился. За мной приехала в больницу сама хозяйка. Сез со мной на конку, она дорогой показывала мне то квартиру хорошего покупателя, которому нужно было доставлять покупки, то какой-нибудь магазин, куда она будет посылать меня за мелкими покупками по хозяйству. И снова я очутился в подвале.

В магазине приказчики, узнав, что я хозяйский племянник, особенно не взлюбили меня. Несмотря на зоркий хозяйский глаз, многие из них ухитрились воровать, главным образом бельё, галстуки, духи и другие мелкие вещи. Теперь они опасались, как бы я не стал доносить на них хозяину. Нас, мальчиков, они били ежедневно, по любому пустячному поводу, били усердно и жестоко. Меня стали бить особенно часто. Били за то, что в прачечной долго задерживали бельё, за то, что булка поджаренная или неподжаренная. Костюм, ботинки продырявились — опять мальчик виноват. Чистил чересчур прилежно и протёр

В хорошую минуточку я спросил у приказчика, которого считал добрее других:

— За что вы нас бьёте?

Смеясь и покручивая усы, он ответил:

— А как же вас не бить? Нас били, и мы бьём. Меня так же в люди выводили.

Жизненный кругозор у большинства приказчиков был очень ограниченный. В бульварных газетах, которые им попадались, они интересовались исключительно последней страницей — театрами, объявлениями и разными городскими происшествиями. В свободное время в магазине, за столом, в общежитии они любили болтать о портнихах и модистках, приходивших в магазин за покупками, о своих любовных похождениях. Разговоры были откровенные, циничные. Хвастались друг перед другом победами, издевались над наскучившими любовницами, рассказывали о посещениях публичных домов. Нас, подростков, совершенно не стеснялись. Хозяина они боялись смертельно. Услышав о его появлении в магазине, разбегались из-за стола, хватались за какое-нибудь дело, прятались, чтобы не попасть ему на глаза. Хозяин не стеснялся крепко выругать при покупателях любого приказчика, часто производил самолично у них обыски.

В чемоданах и сундуках, ища краденые вещи. Не раз разбивал в щепки попавшиеся ему под руку гармошку, гитару того или иного «молодца». Замеченных в воровстве, в пьянстве он бил жестоко и выгонял с работы без жалованья. Всё это считалось в порядке вещей, не вызывая ни особого возмущения, ни протеста с их стороны. Каждый старался заслужить расположение хозяев особой услужливостью, безропотной покорностью, угодничеством и подхалимством.

Не доверяя сторожам, охранявшим ночью мануфактурный магазин, хозяин устроил себе в нём комнату и спал там, вскакивая и осматривая магазин при каждом шорохе. Из этой комнаты он провёл жестяную переговорную трубу в общежитие мальчиков. В трубу он или хозяйка кричали по утрам: «Мальчики, вставать, мальчики вставать!» Через неё подслушивали наши разговоры и многое узнавали из нашей неосторожной болтовни после окончания торговли в магазине и в праздничные дни. А мальчики, не догадываясь сначала об этом способе подслушивания, подозревали, что это я передаю всё хозяевам.

Раз как-то вечером после закрытия магазина дядя по трубе вызвал меня наверх. Мальчики заволновались. Один из старших предупредил меня:

— Смотри, не болтай! Изувечим...

В магазине хозяин грозно заорал:

— Говори, кто из молодцов у меня ворует?

— Не знаю, дяденька, не видел.

— Врёшь, сукин сын! Воруют, все воруют! — Он вскочил с кресла и быстро заходил, заложив руки за спину. — Говори, кто ворует?

— Не знаю, дяденька. Я больше в подвале бумагу разбираю.

Он с остервенением схватил меня за оба уха и начал сильно трясти.

— Заодно с ними, жуликами... Насквозь вижу тебя, мерзавца! Дядино добра тебе не жалко!

Я продолжал молчать, несмотря на побои. Разозлённый, он выгнал меня из комнаты. Когда я вернулся в общежитие, на меня набросились приказчики. Они подслушивали через трубу мой разговор с хозяином, слышали его громкие вопросы, крик и были уверены, что я доносил на них. Крепко попало в этот вечер и от них.

Под осень хозяин запил; как я узнал от старших мальчиков, такие запои у него были ежегодно. Он запирался в свою комнату и непрерывно пил водку. Четверть с водкой в это время всегда стояла у него под столом. Пил неделю — две подряд. Допивался, как говорили, до «чёртиков», выбегал в магазин, ругал, бил своих сыновей, жену, приказчиков и даже покупателей, которых подозревал в воровстве у него товара.

В этот запой хозяйка решила приставить меня к хозяину для прислуживания ему. Я тихо подошёл к его комнате, прислушался. Он вдруг крикнул из-за двери:

— Кто это?

— Я, дяденька, — произнёс я, дрожа от страха.

Дядя приказал войти к нему. В это время он был в весёлом настроении, начал хвастаться своим богатством и тем, что все его уважают и боятся. А магазин его — лучший на Покровке! Немного помолчав, он приказал мне осмотреть соседний мануфактурный магазин и сообщить, как они торгуют и сколько там покупателей. Я исполнил его приказание и на его вопрос, где больше покупателей, в его магазине или в соседнем, ответил:

— У нас, дяденька, больше всех.

Довольный моим ответом, он стал рассказывать, как он разбогател от своих трудов и таланта.

— Хочешь быть богатым, слушайся меня, учись у меня. Следи за приказчиками. Вырастешь большой, сделаю тебя своим компаньоном... — Но вдруг оборвал речь, нахмурился, испытующе взглянул на меня и закричал: — А ты, сукин сын, воровать у меня будешь!

Вскочив с кровати, он схватил меня за грудь и стал хлестать по лицу, сбил с ног, начал топтать и, наконец, отворив дверь, выбросил меня из комнаты. Избитый, я побежал к хозяйке. Но та, выслушав меня, закатила мне оплеуху.

— Дурак, не умеешь дяде угодить!

Побой приказчиков и хозяев были настолько невыносимы, что я решил сбежать из магазина. Но куда бежать? Домой, к матери? Она одна любила и защищала меня, а тут все чужие, злые, как собаки, и только бьют. Но Сандыри от Москвы далеко, я не знал дороги, у меня не было денег. Всё равно, уйду пешком, буду голодать, лишь бы домой, к матери, к ребятам, с которыми я учился, играл в бабки, купался в Москве-реке, ходил в лес за грибами! По сравнению с московской, жизнь в деревне казалась мне раем. Скорей, скорей бежать отсюда домой! Единственный приятель мой Илюша от побоев совсем зачах, заболел и умер. Я остался один. Бежать, пока не убили и меня.

Я долго обдумывал, как незаметно уйти от хозяина, чтобы он меня не поймал.

Как-то рано утром по приказу хозяйки я должен был идти на хозяйскую квартиру чистить обувь детям и убирать двор. Этим я воспользовался и в магазин обратно не вернулся. Но, прежде чем уйти из Москвы домой, я решил посмотреть Кремль, о котором я слышал много разных чудес: там и царский дворец, и колокольня Ивана Великого, и царь-колокол, и царь-пушка.

У меня было десять копеек. На Покровке я сел на двухэтажную конку, запряжённую парой гнемых лошадей, доехал до Ильинских ворот и оттуда пробрался в Кремль. Осмотрел и царь-пушку и царь-колокол, забрался на колокольню Ивана Великого, оттуда надеялся увидеть дорогу к нам в Сандыри. Дороги я не увидел и, опечаленный, спустился с колокольни вниз. Как же мне выбраться из Москвы?

Уже вечерело. На улицах зажглись газовые фонари. Меня начал мучить голод. От булочных пахло удивительно вкусно, тянуло зайти туда и попросить кусочек хлеба. Нет, стыдно, да могут ещё и побить и в полицию отправить, как нищего.

Бессцельно бредя по Покровке, я прошёл мимо столярной мастерской. У меня возникла мысль поступить в неё на работу. Я очень любил помогать плотникам, когда они стрелили дома в нашем селе. Они мне даже говорили, что из меня выйдет хороший столяр.

Я пошёл по столярным мастерским, прося хозяев принять меня «мальчиком». Везде отказывали. Наконец я зашёл в столярную недалеко от дядиного магазина. Хозяин мастерской, выжий, приветливый молодой столяр, заинтересовался мною и отнёсся ко мне сердечно. Расспросил меня, где я живу, почему захотел столярничать. Я честно и подробно рассказал ему всё: про дядин магазин, про то, как меня бьют и хозяин и приказчики и как я оттуда убежал. Улыбаясь, мой новый знакомый посоветовал:

— Теперь бить мальчиков запрещают, и задерживать тебя хозяин не имеет права. Ступай к нему и скажи, что ты у него не хочешь жить, возьми у него свой паспорт и приходи ко мне, возьму тебя в мальчики.

Ободрённый его советом, я отправился к мануфактурному магазину дяди, но по мере приближения к нему предстоящая встреча с дядей и тёткой казалась мне всё более страшной. Не доходя до магазина, я остановился в нерешительности. Вскоре мимо меня прошёл сын хозяина Сенька, мальчик моего возраста. Заметив меня, он подбежал с вопросом:

— Ты что тут стоишь?

Я несмело ответил:

— Жить у вас не хочу. Скажи тётеньке, чтобы паспорт мне выслала.

— Хорошо. Подожди здесь.

И он юркнул в магазин.

Предчувствуя, что мой побег добром не кончится, я побежал от магазина по Покровке. Но было поздно. Два приказчика догнали меня, схватили и под руки повели в магазин. За кассой, как всегда, стояла тётка, надутая, свирепая. Меня повели в заднюю комнату. Пришла тётка.

— Ты где был?

— Я хочу столяром быть... Отдайте паспорт!

— Паспорт? Жить не хочешь? — И она мне закатала своими кувалдами несколько «лещей» по щекам под смех приказчиков, собравшихся посмотреть на беглеца.

— Пётр Иванович, — обратилась она к старшему приказчику, указывая на меня, — сведите его вниз и дайте ему паспорт.

— Можно, — засмеялся тот.

Он взял с собой багажный ремень и вместе со старшим мальчиком отвёл меня в подвал, в общежитие приказчиков. Там он зажал мою голову между своих ног и начал бить меня багажным ремнём. На мои крики пришёл дядя.

— Что такое?

— Беглец нашёлся, — захохотал приказчик.

— А-а, поймали... Ты что же, сукин сын, сбежать задумал? Дядя тебе нехорош? Жаловаться?..

— Я хочу столяром быть...

Дядя с остервенением начал кулаками бить меня по голове, по бокам. Я потерял сознание...

Утром я очнулся в маленькой, тёмной, ветхой комнате, в подвале. Меня держали там два дня без пищи и воды. Оттуда меня отправили, как бы в наказание, в железно-скобяной магазин. Тётка приказала приказчику наблюдать за мной, из магазина одного не отпускать. В этом магазине тоже был подвал, там производилась починка старых вещей — подбирались к замкам ключи, делались трубы, вставлялись в старые ведра донышки.

Тётка заставила меня дать клятву перед иконой, что я не убегу. Пришлось поклясться. Но жизнь моя стала ещё более тяжёлой. Мне приходилось большую часть дня со старшим мальчиком развозить на тележке по Москве цемент, алебастр, известь. Накладывать известь в мешки было мучительно трудно: известь разбедала кожу на руках, и от известковой пыли из носа часто текла кровь. Тащить тяжело нагружённую тележку-двухколёску по булыжной мостовой было очень тяжело, ручка тележки всё время больно толкала в живот. Работа была непосильная, и я решил во что бы то ни стало добиться приезда матери. Я стал ежедневно посылать ей письма без марок, умоляя взять меня из Москвы.

Но мать не приезжала за мной, потому что на конвертах я писал неправильно адрес, о чём я узнал уже потом, при втором побеге от хозяина. Тогда я начал копить деньги на проезд домой по железной дороге. Узнал, где Рязанский вокзал, в какие часы отправляются поезда из Москвы в Коломну, сколько стоит билет. И, когда набрал денег, которые мне давали изредка «на пряники» покупатели за доставку товаров, ночью ушёл из дядино подвала на вокзал, купил билет и уехал из Москвы.

8. Опять в деревне

В магазине Бунакова я пробыл один год. Вернулся домой в тёплое время, весной, когда ребята бегали по улице босиком, купались в реке и грелись нагишом на солнышке.

Глядя на играющих на свободе ребят, я радовался, что вырвался из Москвы и никто меня теперь туда не затащит ни лаской, ни угрозами.

Я хорошо знал свою мать и не боялся, если она начнёт ругать меня за бегство от «дяденьки». Но брат Петька... Я боялся его: он парень озорной, может избить и выгнать меня из дому, чтобы я «даром хлеб не ел», как часто грозился он.

Брата и мать я застал дома. Они только что вернулись с поля, где мать рассевала просо, а брат пахал и бороновал на арендованном у попа участке.

Мать встретила меня с испугом.

— Батюшки, Ваня! Прибежал из Москвы?! Несчастье какое случилось? — Она обняла меня, и мы оба заплакали.

— Да, несчастье! Я сколько писем послал тебе, а ты не приехала...

— Какие письма? Ни одного не получала. Всё собиралась сама к тебе в Москву поехать, да денег на дорогу не было. Как ты там жил-то?

Я рассказал, как дяденька выводил меня в люди, о смерти кухаркиного сына Илюши. По морщинистому, исхудалому лицу матери покатались слёзы, она закачала головой, сердито приговаривая:

— Ах, разбойники! Ах, детогубы! Слышишь, Петя, что делают?

К моей радости, брат не ругал меня, а посочувствовал: он сам четыре месяца проработал в пекарне; тяжело было месить тесто, часто бил пьяный хозяин — и тоже сбежал.

— Зима у нас была лютая, — говорила мать, — хватили горя немало, а тут и сама слегла, чуть богу душу не отдала. Хорошо, Петька домой вернулся, лошадь сохранили. Парень за мужика работает, выручает. Оставайся и ты дома, как-нибудь проживём.

— Конечно, проживём! — поддержал её брат. — Пахать ты ещё не сможешь, станешь бороновать; устанешь — садись верхом на Серого. Лошадь у нас здоровая, потянет не одну, а пару борон.

И я стал помогать матери и брату в поле.

По всему было видно, что брат вырос, поумнел: он уже не говорил мне, что он в доме хозяин, а я чужой, рязанский, как настраивали его на это кулаки. Ко мне он стал относиться, как брат к брату, учил бороновать, держать соху, косить траву. И с матерью он говорил по-другому, слушался её, а тяжёлую работу старался сделать сам, в особенности пахоту, от которой, как он говорил, «руки из плеч вылетают».

Я заметил, что работа в деревне ему не нравится.

— Тяжёлая и денег никогда не видишь, — задумчиво говорил он. — Чем надрываться с сохой, лучше сидеть бы с удочкой на Москве-реке и ловить рыбу или сетью в саду птиц. Куда выгоднее.

Брату хотелось поступить на коломенский завод и выучиться там какому-нибудь ремеслу. Там работало много ребят из нашего села учениками, получали они по двадцать пять копеек в день, ночевать ходили домой, по праздникам целый день гуляли или ездили на болото охотиться на уток.

И Петька несколько раз ходил наниматься на завод, но его не приняли — безработных много. А у ворот завода приходилось подолгу ждать «вакансии». Говорили, что нужно какого-нибудь мастера хорошо угостить «казёнкой» или подарить ему пару кур или гуся, но на это нужны деньги, а у брата их не было.

Расказы брата с заводе, где учеников не бьют, а платят им деньги, увлекали меня и притягивали, как магнит. Но приходилось пока лишь завидовать работающим там ребятам: в ученики принимали с шестнадцати лет, а мне только двенадцать. Пришлось пока работать в поле и помогать матери.

Я бороновал, приучался пахать, косил траву. Иногда со своими приятелями Виктором и Васей Лёвшиным ходил на шоссе на дорогу и собирал выбитый из мостовой камень. Летом помогал пастуху пасти общественный скот. Работа подпаска мне очень не нравилась и угнетала меня, в особенности тяжело и неприятно было ходить с пастухом по домам, где хозяйки по очереди кормили нас — кормили нехотя, стараясь дать, что похуже. Это было похоже на нищенство и оскорбляло моё самолюбие. Я болезненно воспринимал унижительное положение, в котором жил в деревне покойный отец, постоянные погрёбки старосты и подкулачников тем, что мы «рязанские», «чужие», нашу безысходную нужду, от которой не избавлял и тяжёлый труд. Я и в самом деле чувствовал себя чужим в деревне, и очень скоро после возвращения домой у меня стало появляться желание уйти и отсюда — уйти, «куда глаза глядят». Но жалко было мать, не хотелось расставаться с ней, да и уйти-то было некуда.

На всю жизнь запомнилось мне происшествие, случившееся с нашей семьёй вскоре после моего возвращения в Сандыри. В нём сказались безысходная жестокость, чёрствая жадность, с которой богатые мужики деревни относились к нашей бедняцкой семье, как и ко всем другим беднякам. В день моего возвращения из Москвы мать с братом засеяли просом небольшую полоску земли, арендованную у попа (пол-осьминник, как тогда называли). Просо для посева с трудом и многими поклонами удалось выпросить в долг у трактирщика Фёдора Лаченова. С этим посевом мать связывала большие надежды — ведь на всю зиму будет у нас шщённая каша! Но надеждам этим не суждено было сбыться.

Начав пахоту под просо, мать по ошибке запахала не свою полоску, арендованную у попа, а соседнюю, принадлежащую старику Куколеву, крепкому и зажиточному хозяину, нанимавшему на лето работника. Ошиблась мать потому, что после недавнего передела земли ещё не освоилась с новыми межами. На меже, против запаханной полоски, мать вырезала, как тогда полагалось, наш знак — большой, неуклюжий крест.

Полоску вспахали, унавозили, засеяли и всё лето трудились над ней: дважды пропальвали, уничтожали сорняки. Просо поднялось на редкость удачное, урожай был хороший, и мы с матерью весело скосили просо, связали в снопы и, нагружив на телегу, собирались уже везти домой. Но в этот момент на телеге, запряжённой крепкой лошадкой, прискакал на поле Куколев, привезя с собой свидетелей — Сёмку-писаря, вечно пьяного Мишку Артамоныча и сельского дьячка. С грубой бранью Куколев набросился на мать, обвиняя её в краже его проса. Когда мать повела его на межу, показать знак, оказалось, что наш знак уничтожен, а на меже стоит знак Куколева. Нам стало ясно, что Куколев сразу, ещё весной, заметил ошибку матери, но не стал её исправлять, а замыслил отнять у нас наш труд и урожай. Напрасно мать, обомлев от страха, уверяла Куколева и его свидетелей, что ошиблась, показывала им соседнюю, оставшуюся невспаханной и заросшую бурьяном полоску, на которой она должна была сеять просо.

— На месте поймали, с поличным! — кричал старик. — Ограбить меня хотела, а теперь клянёшься и божишься!

— Дело подсудное, — услужливо поддакивал писарь, — сейчас составим протокол и — в суд!

— Эх, Настасья, Настасья, — ележно укорял дьячок, — каким делом занялась! Какой пример детям своим дашь... Недаром, выходит, Ванька твой деньги в церкви воровал — у матери научился. Мы с отцом Фёдором хорошо это дело помним...

Под градом ничем не заслуженных оскорблений и угроз мать совсем растерялась. Больше всего в жизни она боялась суда и тюрьмы. Плача, она стала просить Куколева и Сёмку не составлять протокола.

— Видит бог, ошибка вышла... Вот он, мой пол-осьминник, нетронутый стоит... Сирот пожалейте... Нечистая сила попутала...

— В церковь не ходишь, богу не молишься, вот и попутала, — ехидничал дьячок. — Духовенство не уважаешь, детей плохому учишь, вот бог-то и наказал...

Мишка Артамоныч, изображая из себя миротворца, стал уговаривать Куколева «простить» мать.

— Пушай на четверть водки нам за беспокойство даст — и чёрт с ней! Отпоем на покаяние!

Поломавшись для приличия, Куколев и Сёмка-писарь согласились. Матери пришлось дать им на четверть водки и, переложив на свою телегу выращенное нашими трудами просо, грабители помчались в деревню пропивать наши деньги.

Как громом поражённая, стояла мать на сжатой полоске. Прахом пошли все надежды на сытую зиму.

— Ну, подожди, проклятый. — сжимая кулаки, говорил брат Петька, когда мы с матерью вернулись домой. — подстерегу тебя пьяного, изобью до смерти, не будешь больше грабить!..

— Что ты, что ты, Петюша, — всполошилась мать, — да разве можно это? Только себя погубишь... Оставь... Видит бог наши сиротские слёзы, когда-нибудь отольются они ему...

Но слова матери о боге, который всё видит и когда-нибудь накажет наших обидчиков, меня не удовлетворяли. Я всё чаще задумывался над вопросом — почему же богатые, как хотят, издеваются над нами? Почему на них нет никакой управы? Почему бедных они обижают безнаказанно? Эти вопросы, на которые я не мог найти ответа, не давали мне покоя. Тогда я шёл с ними к учительнице Татьяне Мартиновне, которая попрежнему очень хорошо относилась к нашей семье, сочувствовала нашим бедам и старалась, чем могла, помочь. Простая и сердечная, Татьяна Мартиновна всегда приветливо встречала меня. Но прямого ответа на мои вопросы и от неё я не

получил. «Вот, Ваня, почитай хорошие книжки, — говорила она, — будешь много читать, будешь учиться, — сам всё поймёшь».

Татьяна Мартыновна, сама много читавшая, давала мне книги из школьной и своей личной библиотеки. Помню, особенно она советовала мне читать Пушкина и Чехова.

Из чеховских произведений я тогда, кроме мелких рассказов, прочёл повести о деревне («Степь», «Мужики», «В овраге»). Они мне понравились, но не увлекли, и я не получил от них ответа на вопросы, волновавшие меня. Чехов рассказывал о том, что я видел своими глазами: о деревне, похожей на наши Сандыри, о мужиках, каких я встречал ежедневно, о лавочниках и богатеях, как будто списанных с наших Лаченовых. Мне нравилось, что деревня изображена правдиво, я чувствовал, что писателю кулаки и богатын так же противны, как и мне. Но я хотел прочесть в книгах о других людях, не таких, как в нашей деревне, хотел узнать из книги, как же сделать жизнь лучше и светлее.

Из произведений Пушкина я больше всего полюбил «Дубровского» и «Капитанскую дочку». Я был в восторге, прочитав о помещичьем сыне, который стал разбойником и поднял крестьян против их жестокого угнетателя. «Значит, есть и такие люди, — думал я. — Не все такие звери, как наши Лаченовы, есть и такие, что хотят помочь беднякам». Образ Пугачёва в «Капитанской дочке» завладел моим воображением. «Вот человек, вот богатырь! — восхищался я. — Как справедливо он карает тех, кто угнетает бедных людей, из которых он сам вышел». Повести Пушкина, доступные моему пониманию, написанные ясным и простым языком, будили мысль и помогали понять, что с богатыми можно и нужно бороться, не давать им спуску. Прочитав их, я по-иному стал относиться к постоянным напоминаниям матери о боге, который «правду видит» и всех рассудит. Из тех пословиц, поговорок, которыми мать моя обильно украшала свою речь, мне больше всего приходилась по нраву пословица: «Бог-то бог, да и сам не будь плох!»

В это лето 1900 года, помогая матери в поле или бродя по лугам за стадом, а в свободное время читая книги Татьяны Мартыновны, я много мечтал о том, что буду продолжать учиться. С этой мечтой связывал я надежду выбраться из деревни, жизнь в которой тяготила меня. Татьяна Мартыновна, считая меня способным к учению, обещала мне помочь. Осенью она своё обещание выполнила. С её помощью я поступил в ремесленное училище, где брат Татьяны Мартыновны работал учителем.

Ремесленное училище помещалось на окраине города, почти рядом с нашей деревней, в большом двухэтажном доме приюта для мальчиков-сирот. В ремесленном училище обучались приютские дети и проходящие ребята, проживавшие дома. Преподавали в нём общеобразовательные предметы: русский язык, географию, арифметику, черчение и рисование. Этим занимались до полудня, а с полудня до пяти часов ребята занимались в мастерских училища по выбору одним из ремёсел: столярным, слесарным и токарным.

С большим рвением я взялся за общеобразовательные предметы, а из ремёсел я выбрал столярное. Очень хотелось поскорее обучиться столярному делу. Я надеялся по окончании училища поступить на Коломенский машиностроительный завод и начать зарабатывать деньги.

Но проучиться мне пришлось всего один учебный год, так как на втором году была введена плата за обучение — пять рублей. Повидимому, начальство из городской управы не хотело бесплатно обучать детей городской и пригородной бедноты. Пять рублей в год — это для нашей семьи были большие деньги! У матери их, конечно, не было, и, когда я заикнулся о плате за учение, она даже рассердилась.

— Тебе зарабатывать деньги надо, а тут за тебя ещё плати.

Пришлось учение бросить — я был исключён из училища за невзнос платы.

Однако моё пребывание в училище принесло мне пользу — кое-чему я по столярному делу научился. Полезно оно было и в другом отношении. Столярному делу нас обучал столяр Николай Алексеевич. Пристрастившись к ремеслу, я в свободное от занятий время помогал ему выполнять частные заказы для городских жителей, за что получал от него пятаки и гривенники «на леденцы». Николай Алексеевич отно-

сился ко мне хорошо, и его огорчило исключение меня из училища. «Ну, не унывай, Козлов, — утешал он меня, — всё равно столяром будешь, толк из тебя выйдет...» — и обещал мне помочь устроиться на работу. Но в Коломне устроить меня не удалось. Однажды Николай Алексеевич сказал мне:

— Есть у меня брат в Москве, хороший столяр. Давно уже работает на большой мебельной фабрике. Там такие мальчуганы, как ты, работают учениками, и им даже жалованье платят. Поезжай-ка ты к Ивану, он человек сердечный, к своему брату-работяге добрый. Я письмо ему с тобой пошлю. Знакомых у него много, без работы тебя не оставит.

Предложение было заманчивое: уехать из деревни, зарабатывать самому деньги. Но я вспомнил Москву, магазин Бунакова, побои старшего приказчика и хозяина — нет, охоты ехать опять в Москву у меня не было. Я откровенно сказал Николаю Алексеевичу:

— Боюсь я ехать в Москву.

— Почему? — удивился тот.

— Там мальчиков бьют, насмерть калечат. Я уже сбежал оттуда.

И я рассказал мастеру историю моей жизни у Бунакова.

— Разные сволочи есть и в Москве, — сумрачно сказал Николай Алексеевич. — Но Москвы ты не бойся. Иван — человек сознательный, в обиду тебя не даст. Езжай, говорю тебе, не сомневайся. А на дорогу я тебе полтора целковых дам.

Он тут же написал письмо брату и рассказал мне, как найти его в Москве. Окрылённый, я побежал к матери.

Раздумывать и колебаться не приходилось. Дома мы жили впроголодь, и никаких надежд на улучшение не было: нашу пшённую кашу ел Куколев.

— Что ж, поезжай, сынок, — сказала мать с тяжёлым вздохом, — может, и выйдет что-нибудь. Свет не без добрых людей, не все такие изверги, как твой дядюшка. Глядишь, и взаправду найдёшь своё счастье. А здесь-то — всё одно пропадать...

Мать отвезла на базар воз сена и купила у старьевщика пальтишко, поношенные калоши на мои давно прохудившиеся сапоги, пару белишка, да картуз «с ясным козырьком». Картуз покупался специально, чтобы, как сказала мать, «не стыдно было в Москву показаться». Но выручки от продажи сена на всё это нехватило. Пришлось истратить и полтора рубля, данные на железнодорожный билет Николаем Алексеевичем. Как же добраться до Москвы без билета?

Выручил нас отец моего приятеля Виктора, работавший кочегаром на железной дороге. Горчайший пьяница, но очень добрый человек, любивший ребят, он согласился провезти меня в Москву на тендере паровоза, договорившись со своим машинистом.

И в ту же ночь, сидя на куче угля на тендере, я выехал в Москву.

9. Люди добрые

И вот — снова Москва, только теперь я иду по московским улицам один, без матери. Большой, шумный город уже не производит на меня, как два года назад, ошеломляющего впечатления. Красивые выставки в окнах магазинов, конки, большие дома — всё это не приковывало моего внимания. Весь я был поглощён тем, чтобы не запутаться и не заблудиться на московских улицах и попасть скорее на Пресню, где жил брат Николая Алексеевича. Путь от Рязанского вокзала на Пресню оказался немалым. Притом я очень боялся попасть на Покровку и прилегающие улицы — ведь здесь меня мог заметить и узнать кто-нибудь из магазина Бунакова. Я был уверен, что меня сразу схватят за шиворот и потащат на расправу к «дяденьке».

Расспрашивая дорогу у прохожих, я долго брёл по Садовой. Странное впечатление, наверно, производила моя фигура на московских улицах. Узенькое, кургузое и обтрёпанное пальтишко, купленное матерью, было мне явно не по росту, руки вылезали из коротких рукавов. Зато калоши, надетые на рваные сапоги, были чересчур большие, соскальзывали с ног, и я шёл, шаркая ими по чисто подметённому тротуару. Велик был и картуз, и «ясный козырёк» его, которым я должен был пора-

зить москвичей, всё время сползал мне на глаза. Едучи на паровозном тендере, я вымазался угольной пылью. Она щедро покрывала и моё лицо и руки.

На дорогу мать дала мне несколько варёных картошек и кусочек хлеба. Всё это — увы! — было съедено ещё в пути, и теперь, когда, грязный и невыспавшийся, я брёл по Садовой, голод уже давал себя чувствовать...

До Пресни я добрался ещё засветло, но пока искал Малую Грузинскую и дом, который мне был нужен, уже спустились сумерки. Но вот наконец ветхий двухэтажный деревянный дом под тем самым номером, который обозначен на конверте письма Николая Алексеевича к брату. Во дворе играют ребятишки, встретившие меня смехом и свистом и сразу окрестившие «чучелом». От них я узнаю, где живёт Иван Алексеевич Кокушкин — единственный в Москве человек, с которым связаны все мои надежды.

Неважно чувствовал я себя, тихонько дёргая ручку двери указанной мне ребятами комнаты. Но вот дверь распахнулась, и я очутился в маленькой полутёмной прихожей. Дверь мне открыла высокая, полная молодая женщина и, оглядев меня удивлённо большими весёлыми глазами, тихо спросила:

— Тебе чего, мальчик?

Растерянный и смущённый, я молча протянул ей грязный и измятый, в пятнах угольной пыли конверт.

— Смотри-ка, Ваня, тебе какое-то письмо, — проговорила женщина, взглянув на конверт и проходя из прихожей в комнату. Шагнув за ней, я очутился в небольшой, с низким потолком комнате. Она чисто прибрана, на полу самодельная тряпичная дорожка, на двух окнах белые занавески, подоконники уставлены горшками с геранью. У окон — тщательно застланная кровать, а около неё — деревянная люлька, в которой спит ребёнок.

За столом у керосиновой лампы, склонившись над газетой, сидел хозяин — худой, небольшого роста, с чёрными усиками и гладко причёсанными тёмными волосами. На вид ему лет двадцать пять, одет чисто, и с худого скуластого лица его внимательно и строго смотрят маленькие чёрные глаза.

Пока Иван Алексеевич читал письмо брата, я исподлобья рассматривал этого человека, от которого зависела моя участь. «Сознательный, — вспомнил я слова его брата. — Газету читает, видать, образованный, как Татьяна Мартыновна. А лицо не очень доброе, хмурый какой-то».

Читая, Иван Алексеевич поглядывал на меня недоверчиво и, как мне показалось, сердито. Я молчал, покраснев и со стыдом уставившись на свои грязные, вымазанные углем руки, сжимавшие узелок с моим имуществом.

— Чудак брат, — насмешливо промолвил Иван Алексеевич, передавая письмо жене, — прислал мальчишку, пишет: устрой на фабрику, точно я там директор или мастер. — И снова пристально посмотрел на меня. Я стоял, как говорится, ни жив ни мёртв. — Как же тебя зовут-то, путешественник? — неожиданно улыбувшись, спросил Иван Алексеевич.

От улыбки лицо его изменилось, подобрело, взгляд стал ласковым и насмешливым.

— Ванькой, — прошептал я. Назвать себя Ваней я не решился — так ласково звала меня только мать — и предпочёл назваться «по-уличному».

— А, тёзка мой, значит! Ну-ка, тёзка, иди поближе, рассказывай.. Родные какие-нибудь есть у тебя в Москве?

Я не считал Бунаковых моими родственниками и сказал, что в Москве у меня никого нет.

— Никого нет? — удивился Иван Алексеевич. — Плохо... Ты что же, прямо со станции? А где же ночевать будешь?

— Не знаю...

Он снова целую томительную минуту задумчиво и внимательно разглядывал меня и вдруг весело рассмеялся.

— Вот герой! Приехал один в Москву счастья искать! Ну, Даша, что ж мы с ним делать будем, с земляком неожиданным?

Я стоял перед ними, низко опустив голову, совсем растерявшись. Женщина, всё время поглядывавшая на меня с доброй улыбкой, легонько вздохнула.

— Несчастнейший!.. Не гнать же его на улицу! Всё же наш, деревенский. Пусть остаётся ночевать, на полу места хватит.

— Да, придётся, видно, как-нибудь устраивать его, — вздохнул и Иван Алексеевич. — Вишь, какой грязный, дай ему умыться. Да и покорми — проголодался, поди, путешественник... А завтра подумаем, что с тобой делать.

Он подвинул к себе лампу и снова углубился в газету, а я пошёл за хозяйкой в прихожую умываться.

«Слава богу, — обрадованно думал я, облегчённо вздыхая. — Видно, и вправду люди хорошие, не выгонят».

10. Фабрика

Ожидая устройства на работу, я больше двух недель прожил у Ивана Алексеевича. Он и жена его Даша относились ко мне, как к родному. Разыскали где-то деревянный топчан, и на нём я спал в прихожей. Иван Алексеевич сводил меня в баню. Там же по его настоянию у цирюльника остригли мою густую шапку кудрявых волос.

— Нечего всякую живность в волосах заводить, — смеялся Иван Алексеевич, — да и не в деревне ты теперь, москвичом заделался, а здесь надо ходить чисто.

Даша выстирала моё бельишко, проутюжила брюки и пиджак, уничтожив в них эту самую «живность», привезённую мною из деревни. Сапоги мне починили и дали чистые портянки.

Устроить меня на работу оказалось непросто. Иван Алексеевич работал на мебельной фабрике фирмы «Мюр и Мерилиз» и думал пристроить меня туда же учеником. Но, как я узнал впоследствии, незадолго до моего приезда у него на фабрике вышло столкновение с заведующим — немцем Вуншем. Во время обеденного перерыва Иван Алексеевич читал несколько рабочим газету, в которой было сообщение о забастовке на Обуховском заводе в Петербурге. Вунш увидел рабочего с газетой и, хотя по-русски ничего не понимал и о чём читали рабочие не узнал, всё же газету отобрал, а Ивана Алексеевича оштрафовал на пять рублей. Кроме того, мастер пригрозил от имени заведующего Ивану Алексеевичу увольнением с работы, если он ещё раз принесёт на фабрику газету и будет «нарушать дисциплину и порядок».

Иван Алексеевич был опытный и умелый столяр, выполнял сложные работы по чертежам, грамотный, трезвый и серьёзный подмастерье, и мастер цеха — тоже немец — Густав Густавович Шмук ценил его. Но из-за истории с газетой сейчас обращаться к нему с просьбой было нельзя.

— Ещё примет тебя за моего родственника, тогда ни за что на работу не возьмёт, — говорил мне Иван Алексеевич. — Но ты не горюй, подожди, раз взялся — устрою тебя. Нужно найти другой ход к мастеру. Он хоть и немец и по-русски говорит плохо, но человек — ничего. Трус только он большой, полиции боится...

— А ты, Ваня, будь осторожен с газетами-то, — заметила Даша, — полиции всем приходится бояться.

— Ничего, волков бояться — в лес не ходить... Слышала, в Питере-то что делается? Обуховцы полиции не боятся, камнями её бьют. Просыпается народ, и нам отставать нечего...

Я тогда многого не понимал в разговорах Ивана Алексеевича с женой и заходившими к нему рабочими-столярами. Не знал, что это за Обуховский завод и почему рабочие там бастуют. Непонятны мне были разговоры о новом фабрично-заводском законе, о штрафах, о фабричной инспекции. Однако всё, что я слышал в комнатке Ивана Алексеевича, вводило меня в круг новых понятий, с которыми я никогда не сталкивался в деревне, очень меня интересовало и возбуждало желание поскорее попасть на фабрику. Пока же я помогал Даше в домашней работе, нянчил ребёнка, когда она куда-нибудь уходила, и всячески старался «не быть дармоедом» в семье, которую полюбил всей душой.

Вскоре Иван Алексеевич «нашёл другой ход к мастеру». Фабричному бухгалтеру он подарил красивую шкатулку своей работы, поставил ему угощение в трактире, и тот

обещал похлопотать о приеме меня на фабрику. Меня приняли учеником на четыре года и положили жалованья пять рублей в месяц. От Ивана Алексеевича я переселился в общежитие учеников во дворе фабрики. Но связь моя с Иваном Алексеевичем не порывалась и сыграла большую роль в моей жизни. В свободное время, особенно в праздничные дни, я всегда бежал к Ивану Алексеевичу, ходил с ним и Дашей на гулянья, иногда он водил меня в Зоологический сад, в цирк и Народный дом. Общение с семьёй сознательного, передового рабочего убергло меня от многих «развлечений», которые были в те времена очень распространены в рабочей среде, особенно среди молодых рабочих, в том числе и учеников. Пьянство, кулачные бои «стенка на стенку», ночное хулиганство с приставанием к девушкам — от всего этого я оказался в стороне именно потому, что в комнате Ивана Алексеевича, где не переводились и книги и газеты, меня всегда ждала приветливая встреча и дружеское участие.

День поступления на фабрику был торжественным днём моей жизни. Разбудив меня очень рано, Иван Алексеевич сказал, чтобы я умылся с мылом, причесался, начистил сапоги. Мы отправились на фабрику. Недалеко от жилья Ивана Алексеевича, на той же Малой Грузинской, я увидел большое пятиэтажное кирпичное здание с большими окнами. Высоко, под самым карнизом, ясно виднелись крупные золотые буквы — «Мебельная фабрика «Мюр и Мерилиз». От улицы фабрика была отгорожена каменным забором; из высокой кирпичной трубы валил дым.

Когда мы подошли к фабрике, я, завидя густую толпу рабочих, теснившихся у проходной будки, немного струхнул и робко спросил у Ивана Алексеевича:

— Дядя Ваня, а там . бить-то.. не будут?..

— Да не дрейфь, чудак, сказано тебе: не будут бить, а захочет кто — не позволим.

В проходной будке мрачный, строгий сторож следил за тем, как рабочие вешают медные бляхи с номерами на табельную доску. По железной лестнице я вслед за Иваном Алексеевичем прошел на третий этаж в большое светлое помещение мебельного цеха. Здесь рядами стояли верстаки, а широкие проходы были заставлены различной мебелью. Рабочие, подвязывая фартуки, ждали гудка.

В застеклённой конторке у большого стола стоял, рассматривая какой-то чертёж, мастер Шмук, высокий плотный старик с добродушным лицом. Раздался гудок, и тотчас рабочие взялись за инструменты, а мастер вышел из конторки и пошёл между верстаками. Иван Алексеевич подтолкнул меня, и я подал мастеру записку от бухгалтера. Шмук спросил, что я умею, и дал мне пробу — сделать ящик для инструментов к верстаку. Я быстро его сделал. Тогда Густав Густавович дал мне записку в кладовую о выдаче инструмента и сказал, чтобы я учился работе у Ивана Алексеевича и помогал ему и другим столярам.

Пять рублей в месяц при бесплатном общежитии и обеде, который получали все ученики, казались мне большими деньгами. А главное — выучусь, стану заправским столяром, буду работать с Иваном Алексеевичем! Для меня начиналась новая жизнь, непохожая на деревенскую, и на сердце у меня было легко и радостно.

Мебельная фабрика «Мюр и Мерилиз», на которой мы работали, была одной из лучших в Москве и особенно славилась изготавливаемой на ней дорогой мебелью и отделкой богатых магазинов. Считалось, что англичане — хозяева фабрики — привезли в Россию много опытных мастеров и рабочих из Англии и Германии, поэтому различные московские богатеи, преклонявшиеся перед всем заграничным, предпочитали давать ей заказы на мебель и магазинное оборудование. Даже из Петербурга и других городов поступали такие заказы.

В действительности никаких специалистов англичан и немцев на фабрике не было, кроме тупого и жестокого заведующего — немца Вунша, ничего не смыслившего в производстве, и старого мастера мебельного цеха Густава Густавовича Шмука. Все остальные рабочие и служащие на фабрике были русские. Работали на фабрике в мебельном и обойном цехах рабочие и подмастерья высокой квалификации, грамотные, хорошо разбирающиеся в чертежах столяры-краснодеревцы. Работали точно, аккуратно, красиво. Да иначе и нельзя было, так как за малейшее уклонение от чертежа, за самый незначительный брак рабочих жестоко штрафовали, а то и вовсе увольняли с работы.

В этом и наш добродушный Густав Густавович не знал никакой пошлости, строго блюдя интересы хозяев. Надо, однако, сказать, что большинство рабочих любило свою профессию, гордилось квалификацией и презрительно относилось к нерадивой, халтурной работе.

Предъявляя к рабочим высокие требования, хозяева плохо оплачивали их труд. Дневной заработок опытного столяра не превышал рубля двадцати копеек. Штрафы значительно уменьшали и этот небольшой заработок. Штрафовали по самым незначительным поводам, иногда не имеющим никакого отношения к качеству работы: так оштрафовали Ивана Алексеевича за чтение газеты. Здесь царил полный произвол администрации, так как фабричные инспектора, которые должны были контролировать законность штрафов, всегда стояли на стороне хозяев, за что и получали от них соответствующую мзду.

Получалось, что квалифицированный рабочий, работая по одиннадцать часов в день, зарабатывал двадцать-двадцать пять рублей в месяц, что давало возможность только «сводить концы с концами». Недостаточность заработка, постоянные штрафы вызывали глухое недовольство рабочих. Но почти все они были люди семейные, по многу лет проработавшие до фабрики в кустарных мастерских, где условия труда были ещё хуже, и поэтому опасались увольнения и безработицы. А безработных тогда в Москве было немало. Открытых проявлений недовольства со стороны рабочих в те годы у нас на фабрике не было. Когда заведующий фабрикой, молчаливый, лысый Вуиш, заходил изредка в цех и, грозно озираясь, проходил между верстаками, люди, казалось, переставали дышать и не отрывали глаз и рук от работы. После его ухода даже мастер Шмук облегчённо вздыхал и улыбался.

Но был на фабрике такой укромный уголок, где рабочие чувствовали себя свободно. На каждом этаже была небольшая, светлая и чистая уборная — курилка для рабочих, куда администрация никогда не заглядывала. Курилку рабочие называли клубом и охотно в ней задерживались иногда по пять-шесть человек, особенно если мастер куда-либо уходил из цеха. Здесь разговаривали на самые различные темы. Молодые рабочие дслились впечатлениями от кулачных боёв за Пресненской заставой — там билась «стенка на стенку» ткачи из рабочих общезжитий Трёхгорной мануфактуры; наши столяры, в большинстве люди семейные, живущие по квартирам, в этих боях не участвовали. Ребята хвастались своими любовными похождениями и выпивками в трактирах, пожилые рабочие беседовали о семейных делах, о заработках и т. п.

Меня интересовали разговоры рабочих тогда, когда в курилке были Иван Алексеевич и столяр, которого звали Жоржем. При них разговоры в курилке становились интересны, так как Иван Алексеевич умел повернуть беседу от повседневных тем к более значительным. Жорж любил поспорить с дядей Ваней. Оба они читали газеты и книги, ходили в Народный дом, и к их спорам, непохожим на обычную болтовню в курилке, рабочие прислушивались с интересом.

Трудно сейчас, спустя много лет, передать хотя бы общее содержание бесед Ивана Алексеевича и Жоржа, но некоторые из них я хорошо запомнил, потому что меня очень поразили мысли, высказанные дядей Ваней, и я долго думал над ними. Мысли эти сначала очень испугали меня: и высказывать их было опасно для Ивана Алексеевича, которого я любил, и смысл их так противоречил всему, что я слышал в деревне, а также от приказчиков магазина Бунакова и что привык считать истиной. Один из этих разговоров начался с рассказа Жоржа о лекции, которую он слушал в Народном доме. Он часто говорил об этих лекциях. В Народном доме учёные рассказывали о происхождении земли и человека, о солнце и звёздах, о различных странах мира, а также разъясняли законы правительства, касающиеся рабочих. Иван Алексеевич тоже посещал лекции, но почти всегда расходился с Жоржем в оценке их.

— Слышал, как вчера профессор-то разорялся? — спросил он однажды у Жоржа. — Министров расхваливал, будто они о рабочих заботятся, законы издают для нашей пользы. Вон ведь какие хорошие, а мы ихней защиты и не чувствуем совсем...

— Зря ты на профессоров, Ваня, — мягко отвечал Жорж, — они нас просвещают, с науками знакомят, насчёт разных болезней объясняют..

— Это-то хорошо, я не против образования. Да ведь вчера не о болезнях, а о

министрах говорил, а в них-то наша главная болезнь, в законах-то ихних Штрафами нас, рабочих, обдирают, как липку, и всё получается по закону — вот об этом-то почему профессор не говорил?

— Он говорил, только ты плохо слушал Штрафы есть правильные и неправильные Фабричные инспектора наблюдают, чтобы штрафы только законные были.

— Так что же, ты не знаешь, что ль, как они наблюдают? Когда они огменяли у нас неправильные штрафы? Куплены они Вуншем со всеми потрохами. Потому и рабочий всегда виноват будет, а хозяин прав..

— Ну, за это министры не в ответе...

— А кто же ещё? Они законы так пишут, что их по-любому повернуть можно. В этом, брат, вся загвоздка: закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло Не для нашей пользы они пишутся, а для хозяйской. А профессору-то почему их не хвалить— его ведь не штрафуют, живёт — дай тебе боже, видал, на какой коляске-то укатил?..

Жорж в конце концов согласился с тем, что министры защищают не рабочих, а фабрикантов, но тут же добавил:

— Ну, ничего, царь их когда-нибудь сшибет за то, что они, министры-то, не всё ему о нашей нужде докладывают да хозяевам помогают нас гнуть. Найдутся честные министры, не все ж они такие...

Обычно, когда разговор открыто переходил на политические темы, Иван Алексеевич прерывал его какой-нибудь шуткой или уходил. Я заметил, что при некоторых рабочих он вообще избегал разговаривать с Жоржем. Так было и на этот раз. Оглядев находившихся в курилке рабочих, дядя Ваня усмехнулся и сказал только:

— Ну что ж, поживём — увидим...

А когда мы возвращались с ним в цех, он сказал мне ласково:

— А ты, Ванёк, слушать слушай, а сам об этих делах помалкивай, а то загонят нас с тобой, куда Макар телят не гонял...

Помню также, какие разговоры шли в курилке, когда в январе 1904 года началась война с Японией. Что это за народ — японцы, почему Россия воюет с ними, — никто толком объяснить не мог. Ивана Алексеевича в это время не было: его с несколькими рабочими Шмук послал в Петербург оборудовать новый магазин. О войне в «клубе» говорили очень осторожно и по-разному. Помню, какой-то старик столяр, называя японцев «нехристями», утверждал, что они хотят захватить всю Россию, уничтожить православную веру и всех нас сделать «басурманами». Япония, говорили другие, находится за Сибирью, в какой-то Маньчжурии. Царь послал против японцев генерала Куропаткина, который выехал на фронт с целым поездом икон и священниками. Считали, что «япошек» скоро побьют, армия у нас большая, солдат из всех городов гонят на фронт.

В городе в это время начались патриотические манифестации. Мне было очень интересно посмотреть, что это за манифестации.

Как-то вечером вместе с несколькими фабричными учениками я пошёл по Тверской к Страстному монастырю, надеясь встретить манифестацию. На Страстной площади шла небольшая толпа людей с иконами и портретом царя. Несмотря на большой мороз, люди шли без шапок, нестройно пели «Боже, царя храни» и то и дело кричали «ура». Встречных прохожих останавливали, заставляли снимать шапки, а тех, кто не хотел этого делать, били, срывая с них шапки насильно. Я видел, как какой-то высокий старик в распахнутой лисьей шубе сшиб палкой фуражку с головы студента, крича ему: «Смутьяны проклятые! Головы вам поотрываем!»

За Страстной площадью толпа остановилась, попы служили молебен, потом с пением «Спаси, господи, люди твоя» все двинулись дальше. У трёхэтажного красного дома московского генерал-губернатора, которым тогда был великий князь Сергей Александрович (дядя царя), толпа остановилась и начала кричать «ура». Вскоре на балкон вышел какой-то генерал — как говорили в толпе, «сам великий князь» -- и что-то прокричал, после чего люди опять закричали «ура»

Желая лучше рассмотреть «великого князя», я с другими мальчишками изо всех сил проталкивался вперёд, поближе к дому генерал-губернатора, оцепленному полицией. Наконец я с ребятами очутился прямо перед полицейским приставом, высоким, краснолицым и усатым, который время от времени, взмахивая руками, как регент цер-

ковного хора, кричал «ура» Толпа подхватывала его крик. Вдруг я оцепенел. Прямо передо мной, широко разинув рот в крике «ура», красный от натуги, с взлохмаченными седыми волосами, высоко поднимая обеими руками портрет царя, стоял.. мой дядюшка Григорий Игнатьевич Бунаков! Рядом с ним, выпучив глаза, усердно ревели его старший приказчик Пётр Иванович и дворник Обомлев от страха, я низко пригнулся и задом стал пятиться за людей, не обращая внимания на толчки и ругань. Мысль, что они увидят и схватят меня, подгоняла, как кнут, когда я, обеспамятев, бежал по Тверской.

Из всего, что я видел в этот день, самое сильное впечатление произвела на меня именно эта встреча. Так и осталась в моей памяти патриотическая манифестация: уса-тый пристав, а рядом с ним мой мучитель купец Бунаков со своими холоуями, хрипло орущие «ура»

Вскоре из Петербурга возвратился Иван Алексеевич, мрачный и неразговорчивый. Зайдя в курилку, он послушал восторженный рассказ Жоржа о манифестации и вдруг грубо перебил его:

— Ну что ты языком треплешь без толку? Брешешь с чужого голоса.. Вот заберут тебя в солдаты да угонят воевать к чёрту на кулички, — тогда другое запоёшь.. Ну, скажи ты — на кой чёрт тебе случась война? Зачем тебе Маньчжурия? Иль ты там фабрику открыть хочешь или поместье завести?.

Ошарашенный Жорж молчал. Находившиеся в курилке рабочие, как и я, внимательно прислушивались к словам Ивана Алексеевича. Никому не хотелось воевать, только говорили об этом осторожно, боясь доноса

— Значит, ты против войны? — вскинулся Жорж

— А тебе она зачем нужна? Ты пошевели мозгами — кому она нужна? Кто на ней наживается — ты или заводчики да фабриканты? Барышами от военных заказов они с тобой не поделятся, да и башку свою японцам не подставят — тебя на фронт погонят..

— Нет, ты прямо говори. ты против войны? — настаивал, разгорячившись, Жорж.

— А это смотря с кем воевать, — спокойно отозвался Иван Алексеевич. — Без драки не проживёшь. Только, по-моему, враг-то наш не в Маньчжурии, а гораздо ближе. Будет время, сами пойдем воевать, только не за чужие барыши.

И закончил шуткой.

— Тогда тебя, друг ситный, главным генералом поставим: веди, Жоржик, против всех Мюров и Мёрилизов!..

Рабочие переглянулись и заговорили о другом. Но видно было, что слова Ивана Алексеевича им понравились. Даже Жорж, уходя из курилки, со смехом сказал:

— Ну и въедливый ты мужик, Лексеич! Слово скажешь — три года разжёвывать надо...

— А ты скорей разжёвывай да глотай, — усмехнулся дядя Ваня, — нам тебя три года ждать некогда...

11. Первая листовка

Знакомство моё с Иваном Алексеевичем, беседы с ним, разговоры в курилке вводили меня в какой-то новый, незнакомый мир. Три года, прожитых в Москве, в рабочей среде, в общении с развитым, хорошо разбирающимся в жизненных делах передовым рабочим, пробудили во мне новые, волнующие мысли. Хотя во взглядах моих было много наивного, неоформленного и неясного, все же я начинал уже находить новые ответы на вопросы, занимавшие меня в Сандырях. по-новому думать о богатых и бедных, о рабочих и хозяевах. Понятия «рабочий», «фабрикант», «министры» наполнялись в моём сознании живым и ясным содержанием. Здесь я впервые услышал такие слова, как «забастовка», «стачка», «социалисты», «студенты», «политика», и хотя их значение не всегда было мне ясно во всей полноте, но основное я схватывал и понимал.

Моё обучение на фабрике подходило к концу — оставался ещё один год из четырёхлетнего срока. Мне уже было шестнадцать лет. Через год стану из учеников настоя-

щим столяром, буду получать хорошее жалование, помогать матери. Но в конце третьего года работы на фабрике произошли важные для моей жизни события, во многом определившие всё её дальнейшее направление.

Однажды вечером, после работы, дядя Ваня позвал меня к себе домой. Когда мы пришли, в комнате его за самоваром сидело шестеро не известных мне людей, по виду рабочих. Они удивлённо встретили моё появление, но Иван Алексеевич сразу сказал: «Это мой воспитанник, паренёк хороший, нам не помешает. Пусть посидит, послушает».

Тётя Даша закрыла дверь, тщательно расправила занавески на окнах и, достав из сундучка какой-то листок, подала его мужу. Присев к столу, Иван Алексеевич негромко начал читать вслух по листку. В нём говорилось о грабительской войне, которую царское правительство ведёт на Дальнем Востоке, о продажных царских генералах. Хорошо запомнились мне последние слова листовки: «Долой войну! Долой самодержавие! Да здравствует революция!»

Когда листок был прочитан, Иван Алексеевич сказал мне:

— Ну, а теперь, Ваня, ты пойди погуляй, а через часок приходи — останешься у меня ночевать.

Сидя на лавочке у ворот, я видел, как гости Ивана Алексеевича через некоторое время поодиночке начали расходиться. Укладывая меня на топчане, дядя Ваня предупредил, чтобы обо всём этом вечере я никому не рассказывал, особенно ученикам, и ни с кем о прочитанной листовке не говорил.

Долго в эту ночь я не спал, лёжа на своём топчане и чутко прислушиваясь к малейшему шороху или движению на улице. Мне было и радостно и жутко. Множество неведомых раньше мыслей проносилось в моём сознании, масса вопросов, не находивших ответа. Всё услышанное было так необычно, так ново. Свержение самодержавия! Свергнуть — значит убить царя! А мать мне рассказывала об Александре Втором — «царе-освободителе», которого будто бы помещики убили за то, что он освободил крестьян. Как же дядя Ваня, простой рабочий, которого я хорошо знаю и люблю, тоже хочет убить царя? Ведь он не помещик, он стоит за простой народ, а всех богачей ненавидит и всегда ругает. Что такое революция? Кто её будет делать и как?

Я боялся за Ивана Алексеевича, за его товарищей, за себя самого. Я хорошо знал, что «смутьянов» преследует и ловит полиция, слышал, что их сажают в тюрьмы и даже казнят. А радостно мне было оттого, что я узнал хороших людей, которые хотят добра простому народу, таким беднякам, как моя мать и я, и ненавидят жадных и злобных Бунаковых, Лаченовых, не дающих нам житья. Они, эти люди, знают, как добиваться правды, и меня научат, думалось мне. Надо только быть смелым, не бояться полиции и самого царя. Вспоминал я и слова: «Волков бояться, в лес не ходить».

Но вскоре мне пришлось расстаться с Иваном Алексеевичем. Однажды он не вышел на работу. Обеспокоенный — не заболел ли он, — я вечером хотел пойти к нему на квартиру. Но, выйдя за фабричные ворота, увидел тётю Дашу, стоявшую в воротах дома напротив фабрики. Она кивнула мне и быстро пошла во двор. Я побежал за ней. Во дворе она мне коротко рассказала, что вчера ночью за дядей Ваней приходила полиция, но дома его не застала, так как он ушёл ночевать к знакомому на Никитскую. Почему он туда пошёл, Даша мне не сказала.

— Беги, Ваня, сейчас же на Никитскую, — попросила Даша, рассказав мне, как найти Ивана Алексеевича. — Вот передай ему двадцать рублей, скажи, какие гости ночью были, и чтобы делал, как мы договорились. А ко мне не приходи. Если что-нибудь мне передать надо, так завтра встретишь меня до работы в молочной Чичкина и тихонько мне скажешь.

Я побежал на Никитскую и нашёл Ивана Алексеевича. Был я очень взволнован и перепуган, и поэтому меня особенно поразило спокойствие дяди Вани. Он изказал через меня тётю Дашу прислать ему пальто и сапоги, а мне строго запретил дальше с нею встречаться.

— Ну, прощай, Ванюша, — сказал он мне. — Не знаю, скоро ли теперь увидимся. Придётся мне куда-нибудь отсюда податься.

— А как же я? Как мне теперь быть? — спросил я, чуть не плача.

— А тебе что? Тебе бояться нечего, ребят они пока не трогают, да и не за что к тебе цепляться...

Подумав, он спросил меня, сколько мне ещё оставалось учиться.

— Вот что я тебе скажу, Ваня... Зачем тебе ещё год даром на хозяев работать? Делу ты уже выучился, столярничаешь неплохо, можешь самостоятельно работать. В солдаты тебя не возьмут — молод. Брось ты фабрику, поезжай на Коломенский завод. Заказов сейчас много — война. Работу получишь, будешь деньгу зашибать, матери поможешь...

— А ты приедешь туда? — спросил я, обрадованный его советом.

— Не знаю, — неопределённо проговорил дядя Ваня. — Завод-то там — болото, люди — не то городские, не то деревенские.. Езжай, езжай, Ванёк, нечего тебе теперь здесь околачиваться...

Я прослезился, прощаясь с дядей Ваней, да и ему, видать, было грустно.

На следующий день, собрав в узелок своё немудрое имущество, я потихоньку ушёл с фабрики. На сбережённые за три года деньги я купил подарок матери — ситцу на платье и на этот раз уже не на паровозе, а в вагоне третьего класса выехал в родные края.

12. «Болото»

Тёплым осенним деньком, взволнованный предстоящей встречей с матерью после трёхлетней разлуки, я горюливо шагал по улице своего села. Настроение у меня было весёлое, радостное. Хотя денег у меня, конечно, не было, но с помощью Даши был я чисто, по-городскому одет и обут, выглядел, как мне казалось, солидно. Шёл, обдумывая разговор с матерью и братом Петром о Москве, которую я представлял уже совсем иначе, чем три года назад, о поступлении на Коломенский завод, о зарработке, о приобретённой мною профессии.

Испортил мне настроение попавшийся навстречу староста Семён Михайлович Лаченов. Растолстевший, как боров, он остановил меня возгласом: «О-о, каким франтом стал!..» — и с жирным смехом стал говорить, что пора мне с матерью убраться в свою Рязань. «Петька-то жениться хочет, придётся тебе со старухой очистить место, освободить избу!..»

Но мать и брат встретили меня тепло и радостно. Не было конца расспросам и рассказам про Москву, про учение на фабрике, про мою жизнь за эти три года. Я узнал, что семья наша, как говорила мать, «поправилась», жить стало полегче. Брат уже три года работает на Коломенском заводе, получая по сорок пять копеек в день, двенадцатилетнюю сестрёнку определили на шелкопрядильную фабрику мотальщицей за пятнадцать копеек в день. Муж старшей сестры Поли «остепенился», бросил «пить горькую» и служит в городе писарем у судебного следователя, получает двадцать пять рублей в месяц да ещё прирабатывает на различных прошениях, которые научился составлять. Хоть у него и своих детей двое, всё же помогает матери. С его помощью мать купила корову, о которой мечтала ещё со времени смерти отца. Теперь и дома молоко есть и продать можно.

— Слава богу! — крестясь, радостно говорила мать, когда все мы сели за стол. — Вся семья в сборе. Как ни тяжело было растить вас, а никого по миру не послала. Теперь все большие выросли, работнички, а мне, старухе, и отдохнуть пора.

Она сильно постарела, сгорбилась, но попрежнему бодро работала с утра до ночи по хозяйству, мечтая накопить денег и построить вместо старой, гнилой хаты новый дом, а тогда и женить Петра. Заработки брата и сестрёнки были небольшие, но мать рассчитывала по-своему.

— Э, детки, — говорила она, — не гонитесь за длинным рублём. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Вон твой отец, Петруша, хорошее жалованье в Москве получал, а всё прахом пролетало, копейки я от него не видела. А теперь нам тужить нечего — всё у нас будет...

— Мы с тобой, мать, не здешние, рязанские, — сказал я, поглядывая на Петра. — Я старосту встретил, говорит: «Вы не наши».

Брат нахмурился.

— А что его, борова, слушать, мы к нему обедать не ходим...

— И правда,—сердито подхватила мать,—какие такие «не наши»? Нехристи, что ли, мы какие?.. И родились и выросли все здесь. А земля — богова, её никто не делал. Вот новый дом построим — все вместе жить будем, всем места хватит.

Брат был согласен с матерью, хотя наше хозяйство ему казалось мало доходным.

— Не хозяйство, а слёзы,— говорил он.— Работаешь, как лошадь, а хлеба своего никогда до рождества нехватает... Здесь одним Лаченовым хорошо, все у них в долгу, как в шелку. А наши доходы от земли — налоги заплатить да попу за аренду земли. Только получка на завод? и выручает, кое-как концы с концами сводим.

— Это правда,—соглась мать.— А всё же без крестьянства нам нельзя. Тут мы и за жильё никому не платим, и картошка и огурцы на зиму свои, и молоко есть...

— Ну вот и занимайся. А мы с Иваном на заводе работать будем, а возиться с землёй не хочу. Хватит с меня.

Я заметил, что на стене хаты, под старым портретом Александра II, появились в рамках новые картинки — штук пятнадцать генералов, «героев» русско-японской войны, о бездарности и продажности которых тогда уже широко говорили в народе и даже писали в газетах.

— За что ты этих вояк полюбил? — с усмешкой спросил я брата.

— Ну... полюбил...— смущённо ответил брат.— Так это... Попались картинки на базаре недорогие — вот и купил, а рамки сам сделал. Обои-то у нас старые, рваные, вот картинки-то и закрывают дыры. — Хитро посматривая на меня, брат добавил: — Теперь, брат, все прячутся за белые билеты да отсочки, которые завод даёт, воевать-то никому не хочется. А генералы что — пушай висят, может, староста или урядник когда найдут, полюбуются..

Пришёл муж Поли. Разговорились о заводе, на котором он проработал лет двенадцать табельщиком и потом был уволен.

— За что уволили? А за то, что с Шульцем, с инженером-немцем, не поладил. Не захотел по-ихнему обсчитывать да штрафовать рабочих — вот и выгнали. Там у них хорошо работаешь — это ещё мало, ты ещё начальству угождать должен, тогда не уволят...

— Ты, Ванюшка, это на ус мотай,— подморгнул мне брат.— С начальством нужно в ладу жить. Не подмажешь, как говорится, не поедешь. Тут уж ничего не поделаешь.

Через несколько дней Пётр повёл меня на завод. От нашего села до завода надо было идти семь вёрст. Мать разбудила нас в пять часов утра, и, наскоро закусив, мы отправились. Пошла с нами и сестрёнка, работавшая на шелкопрядильной фабрике Абека. Быстро прошли весь город. По дороге брат учил, как вести себя на заводе.

— Нужно поймать мастера у контрольных ворот. Как только он покажется — не зевай! Снимай шапку и говори ему: «Возьмите поработать, ваше благородие». Он любит, когда его благородием величают.

— Из военных, что ли?

— Ну, из военных... Мужик из Парфёновки. Зазнался, как мастером стал. Грубиян, хабарник, да и в зубы дать может. Всем говорит: «Нет работы!», без подмазки к нему не подходит.

— Так и меня не возьмёт...

— Да я же тебе сказал — возьмёт, потому обещал мне монтёр. В цеху монтёры есть — вроде старшего подмастерья, у каждого своя артель, они и рабочих набирают. Я с нашим монтёром Морозом о тебе говорил, обещал хабар из первой получки. Мастер и тебе скажет: «Нет работы», а ты не отставай и сразу говори, что ты столяр-краснодеревец, а согласен мальчиком поработать и что Мороз согласен в свою артель взять. Да не забудь про «ваше благородие».

Я слушал эти наставления молча. Стыдно было унижаться перед мастером, но ссориться с братом и оставаться без работы тоже не хотелось. Мы подошли к заводу, ярко освещённому большими матовыми электрическими фонарями на высоких столбах. Узкая каменная дорога между двумя заборами, за которыми высились заводские корпуса, подводила к контрольным воротам. У ворот стоял сторож. Двумя потоками

вливались в ворота сотни рабочих, бросали номера в ящики и исчезали за контрольной будкой. А у ворот оставались безработные, ожидавшие, подобно мне, начальства и работы.

Я очень трусил и волновался, зубы стучали, как в лихорадке. Брат не отходил от меня. Заметив грузного, с чёрной бородой человека в меховой тужурке и круглой барашковой шапке, похожего на Васюку-цыгана, брат сильно толкнул меня в бок: «Шапку сними! Не зевай!» Но мастера уже окружили десятка два безработных. Без щипок, оттесняя друг друга и кланяясь, они повторяли: «Дайте поработать, ваше благородие... Работы нет ли?... Поработать бы...»

Мастер, не останавливаясь и ни на кого не глядя, бесцеремонно расталкивая всех, прошёл вперёд, грубо покрикивая: «Нет работы... Нету... Сказано вам!» И скрылся в заводских воротах.

— Э-эх, растяпа, балда! — выругал меня брат. — Прозевал!

Но тут раздался протяжный гудок, и Пётр заторопился. Бросив: «Жди меня тут!», он нырнул в ворота.

Безработные начали расходиться. Мне казалось, что я жду зря — всё равно ничего не выйдет, работы не дадут. Однако через час-полтора вышел брат и, подойдя к сторожу, о чём-то с ним заговорил. Я видел, как Пётр что-то сунул сторожу, и тот пропустил меня в ворота. Мы подошли к большому зданию вагоносборочного цеха. Это был длинный, высокий сарай, в котором на рельсах рабочие собирали и отделывали товарные и пассажирские вагоны, красили их. Из этого сарая был ход в двухэтажную кирпичную пристройку; в ней внизу помещалась слесарная, а наверху — столярная мастерская. Здесь, в столярной, и работал Пётр. Холодная, грязная и неудобная мастерская плохо освещалась маленькими электрическими лампочками, повешенными над верстаками.

От плиты, на которой варился клей, было дымно. Воздух тяжёлый, пропитанный запахами смолы, клея, лака. За верстаками столяры собирали и отделывали вагонные диваны, столики, двери, рамы для окон.

Изготавливавшая здесь мебель для пассажирских вагонов казалась мне несложной, делать всё это было куда проще, чем то, что я делал на московской фабрике. Мне не терпелось встать за верстак и показать, как работает столяр-краснодеревник московской выучки.

Брат подвёл меня к высокому старику с хитрым, холодным и пронзительным взглядом, с тёмным морщинистым лицом, украшенным клочковатой седой бородкой. Надев очки, старик размечал дубовые брусья для вагонных дверей.

— Вот, Василий Сидорович, братишка мой, столяр, о котором я говорил.

Тот пренебрежительно посмотрел на меня через очки.

— Какой столяр? Мальчишка... На что мне такой — баловать только, а артель его обрабатывай...

Мне стало обидно, и я сказал:

— Я работать умею. Три года учился в Москве, на мебельной фабрике «Мюр и Мерилиз».

— Все вы учёные, — засмеялся монтёр, — а поставишь за верстак — рубанка держать не умеете.

Монтёр Мороз был в столярной артели как бы на правах подрядчика: договаривался с мастером о заказах, брал людей по своему усмотрению, и по его указанию мастер назначал им заработную плату. Угождая мастеру и хозяевам, монтёр старался оплачивать труд рабочих возможно ниже. Весь этот разговор, как я узнал потом от брата, и имел целью установить мне плату, как «мальчику», а не столяру. На правах «мальчишка» работал в цехе и брат.

Чтобы оформить мой приём на работу, Мороз дал мне сложную пробу — сделать и отполировать дубовую шкатулку со скрытыми шипами. Пробу я сделал быстро и хорошо, но монтёр умышленно дал мне сырой материал, и, когда в цехе стало жарко

от топившейся плиты для варки клея, шкатулка покорибилась, соединения разошлись. Морозу это и нужно было. Он зачислил меня «мальчиком», хотя вместо обычной оплаты «мальчика» — двадцать пять копеек — назначил мне сорок копеек в день.

— Самое главное, — утешал меня Пётр, — попасть в мастерскую, а дальше всё пойдёт как по маслу, если не будешь дураком и поладишь с монтером. Из первой полочки обязательно его угости как следует. К пасхе он, может, пятак прибавит — опять угости, к рождеству — ещё пятак, так оно и дойдёт до рубля-то, до твоей настоящей цены. На угощение не жалея, это всё окупится. Работать-то здесь многие годы будешь. А жалование всегда прибавляют не за хорошую работу, а за то, что с начальством ладишь да угостить не жалеешь. А Мороз — ох, как любит это! И ведь богатый, чёрт! В деревне у него каменный дом, две лошади, три коровы, овец, поди, штук пятьдесят, свиньи, — завистливо перечислял Пётр. — Работника постоянного держит, живёт, как кулак, хоть и на заводе работает. А на наши копейки льстится... Вон, видишь, старик работает, Федосеич. Он уже на заводе лет двадцать, а всё — вахлак вахлаком, рубанка в руках держать не умеет, а зарабатывает больше всех. Рубль двадцать подённо, да сдельно ему Мороз столько же запишет. А почему? С монтером умеет ладить. Угощает его каждую полочку — вот и хорош. Ты учишь, как жить на свете-то...

Я радовался, что удалось так быстро устроиться на заводе. Десять рублей — это не пятачок, которую я получал бы ещё целый год в Москве. Спасибо, Иван Алексеевич надоумил сюда ехать. Эх, повидать бы дядю Ваню!

Когда после работы я с заводскими ребятами возвращался домой, все поздравляли меня, завидовали, разговаривали со мной дружески и никто не напоминал мне, что я «чужак», «рязанский», как говорил староста. Семь вёрст от завода до села прошёл быстро, торопясь обрадовать мать, а после ужина пошёл гулять с заводскими ребятами из нашего села; прогулял почти до полуночи, а в пять часов утра мать уже будила меня — до завода далеко, надо спешить.

Так началась моя трудовая жизнь на Коломенском заводе — тяжёлая, однообразно бессодержательная, пустая. Эта жизнь резко отличалась от той, которой я жил в Москве в годы ученичества на мебельной фабрике. Там я жил во дворе фабрики, почти в центре огромного города; здесь — в захудалой деревне, в семи верстах от завода. На одну дорогу на завод и обратно уходило два с половиной часа в день, шагать приходилось и в дождь, и в стужу, и по непролазной грязи, и по глубокому снегу. На фабрике был «клуб» рабочих, беседы дяди Вани, хождение с ним или другими учениками в Зоологический сад, в цирк, в Третьяковскую галерею и Народный дом. Впрочем, и на заводе тоже был «клуб» — уборная-курилка во дворе, холодная, грязная, затянутая табачным дымом. Туда приходили рабочие со всего двора, разговоры шли о пьянках, о женщинах и больше всего о драках. Охотно и с удовольствием рассказывали о кулачных боях «стенка на стенку», о драках в пьяном виде, об избиениях жён. Рабочие на заводе были тоже иные, чем в Москве. Я, конечно, знал ещё немногих — преимущественно наших деревенских или из соседних деревень, — но таких, как Иван Алексеевич и Жорж, здесь ещё не встречал. Газет ни в деревне, ни на заводе почти никто не читал, все интересы вращались вокруг повседневных, мелких дел. Потом-то я узнал, что были на заводе и иные люди, с другими интересами, но на первых порах повстречать их мне не довелось.

Десять с половиной часов работы, два с половиной — на пешее хождение утром и вечером; так и уходил весь день, не оставляя в памяти никакого следа, во всём походя на тот, что был вчера и будет завтра.

А в деревне — та же обычная и привычная жизнь, затянутая тиной повседневности, без больших событий, без новых людей.

Помню, каким событием на сером фоне этой обыденщины явилась смерть старика Лаченова, Михаила Дорофеевича. На похороны приглашён был из Коломны соборный дьякон, хор певчих. На поминках пьянствовало всё село. Лаченовы раскошались не только на богатые поминки, но и купили для церкви новый большой колокол в память

умершего. Естественно было, что церковным старостой взамен отца был избран Семён Михайлович Лаченов. За каждой обедней дьякон провозглашал «вечную память» покойнику.

Умер и трактирщик Фёдор Лаченов, а его трактир с домом и большим садом купил Сёмка-писарь. Этот неожиданно вышел в богачи: в одну тихую, безветренную ночь загорелась лавочка, которую он содержал, и маленький его домик сгорел дотла. Все на селе знали, что накануне все товары и всё ценное из лавки и дома Сёмка перетаскал в сарай. А лавка была застрахована.

Кроме сёмкиного трактира, процветал в деревне притон Васьки-цыгана, служивший по-старому пристанищем для босяков и проституток города. Как и прежде, по ночам там шло пьянство, картёжная игра, попрежнему васькины посетители обворовывали крестьян окрестных сёл, не трогая наших. Сельский староста, брат Васьки, так же как и волостной староста и урядник, хорошо знали о притоне, но никаких препятствий Ваське в его деятельности не чинили, за что, конечно, получали соответствующую «благодарность». А деревенская и заводская молодёжь привыкала захаживать в притон, чтобы выпить, развлечься с женщинами, поиграть в карты и послушать постоянно обитающего в притоне Ваську-босяка, прозванного «Бродягой».

«Бродяга» был личностью примечательной. Коренастый и плотный, физически очень сильный, он постоянно был пьян и грозно тарашил холодно-жестокими серыми глазами. Лицо одутловатое, красное, покрытое какими-то шрамами и рубцами. Побродяжил он по всей России, был на Украине и Кавказе, отбывал, по его словам, дважды каторжные работы в Сибири и на Сахалине. Он рассказывал про себя разные захватывающие истории, в которых правды, повидимому, было много меньше, чем лжи. Посетители притона с интересом слушали его повествования о тюремных и каторжных порядках, о грабежах и убийствах, совершённых им или его друзьями, разные похабные истории и анекдоты. Это был настоящий тюремный «Иван», державший в своих руках других босяков и командовавший ими. Когда «Бродяга» заявлял, что он никого не боится, а его боится даже полиция в Коломне, этому можно было верить. Боялись его и наши ребята, не решаясь особенно задевать его во время картёжной игры, хотя догадывались, что «Бродяга» — опытный шулер.

Я гулял уже со взрослыми ребятами, «женихами», и быстро втягивался во все пороки, подстерегавшие в те времена деревенскую и рабочую молодёжь: начал выпивать, азартно играть в карты и охотно участвовать в драках с ребятами из соседних сёл, приходившими к нашим девушкам. Будучи моложе других по возрасту, я старался не отстать от товарищей и показать себя лихим парнем.

Особенно я подружился с отчаянным парнем, Виктором, сыном железнодорожного кочегара, провёзшего меня когда-то на паровозе в Москву. Виктор был на два года старше меня и уже давно работал в инструментальной мастерской на заводе. Небольшого роста, худой, но жилистый и ловкий, со смуглым лицом, чёрный и вихрастый, он был прозван по-уличному «криворотым» — рот его был изуродован в драке, до которых Виктор был большой охотник. Драчун и забияка, Виктор нравился мне нестоимой весёлостью, отвагой, тем, что ему всё было нипочём. Он вырос без матери, умершей рано, с отцом — горьким пьяницей, не обращавшим на сына особого внимания. Виктору ничто в жизни не казалось серьёзным и важным, он постоянно был готов на самое разудалое и самое грубое озорство.

С ним вместе я каждый день ходил на завод, а по вечерам вместе выпивали, когда были деньги, озорничали с фабричными и деревенскими девушками, играли в карты или участвовали в кулачных боях. На деревне Виктор слыл пьяницей и хулиганом, и моя дружба с ним беспокоила мать.

— Ты не сердись на меня, старуху, — говорила она. — Послушай мать: перестань ты якшаться с этим криворотым разбойником, боюсь я его. Карты да водка, матерщина да драки — вот он чему тебя научит, собьёт тебя на плохие дела.

Я сознавал, что мать права, но отставать от приятеля не хотелось, да уже и затягивала меня бездумная, бесшабашная жизнь. Тяжёл и нерадостен был наш заводской труд, бедна и скудна впечатлениями деревенская жизнь — вот и бросало нас на пьянство, картёж и драки, отвлекавшие от серого существования. Так, наверно, и затянуло бы меня, как и других рабочих-подростков, болото подобной жизни, если бы не наступили грозные и бурные события 1905 года. Они захватили меня, как и многих молодых рабочих, направили мысли и дела по другому пути, пробудили душевные силы, дремавшие под спудом тяжкой обыденщины, и вдохновили великой целью борьбы за свободу.

(Продолжение следует)



МАРК ЩЕГЛОВ

★

ОСОБЕННОСТИ САТИРЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Интерес к художественной сатире заметно усилился в нашей литературе. Критика изучает современные проблемы сатирических жанров на примере произведений советских авторов и обращается также «за помощью» к классической литературе. При этом, естественно, больше всего изучают Гоголя и Щедрина, давших величайшие образцы острого сатирического разоблачения всего социально ничтожного, реакционного, пошлого. Наша наука о литературе располагает немалым числом книг и статей, посвящённых Гоголю и Щедрину; за последний год появилось ещё несколько интересных статей, имеющих целью приблизить исследование гениальных сатирических произведений прошлого к новым художественным проблемам. Однако уже теперь обозначилась некоторая односторонность, выражающаяся в том, что из всего разнообразия сатирических средств Гоголя и Щедрина исследователи обращают внимание почти исключительно на гиперболические и гротескные формы сатиры и игнорируют — подчас даже отрицают — возможность всякого иного вида сатирического осмеяния, обличения в литературе.

Так, например, во время недавней дискуссии по вопросам советской сатирической комедии В. Ермилов, доказывая верную мысль, что не может быть сатиры без смеха, утверждал: «Если такой критерий (критерий, предложенный оппонентом В. Ермилова и состоящий в том, что сатира-де не обязательно должна «смешить», а лишь должна осуществлять «наибольшую критическую устремлённость и интенсивность в разоблачении зла». — М. Щ.) принять всерьёз, то с этой точки зрения к сатире нужно отнести и «Воскресение» Л. Толстого с его острой критической устремлённостью и непримиримостью в разоблачении зла, и «Анну

Каренину», и такие явления, как вся поэзия Лермонтова».

Думается, что, не говоря уже о необоснованной и более чем спорной характеристике в сей поэзии Лермонтова как обличительной, а также о том, что критик, очевидно, забыл о подзаголовке «сатира» лермонтовского стихотворения «Пир Асмодея», — в приведённых словах В. Ермилова ошибочно и указание на Толстого. И «Анна Каренина» и в неизмеримо большей степени «Воскресение» содержат сатирическое осмеяние тёмных, нелепых и преступных сил буржуазно-дворянской действительности, причём в «Воскресении», в «Смерти Ивана Ильича», в «Крейцеровой сонате» и в других поздних толстовских шедеврах сатира является одним из главных художественных элементов.

Сатира Толстого своеобразна, но это едва ли не столь же действенный род социального обличения и осмеяния, как и тот, что мы находим в «Господах ташкентцах» или «Невском проспекте».

Нет необходимости доказывать здесь явно и ярко сатирический характер такого произведения, как пьеса «Плоды просвещения». Вряд ли кто-либо сможет сколько-нибудь убедительно отстаивать точку зрения, отвергающую наличие совершенно определённого сатирического склада и в романе «Воскресение». Но даже в тех обличительных произведениях Толстого, к которым понятие «сатирического осмеяния», вообще «смеха» кажется неприложимым («Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната» и др.), имеются на самом деле значительные элементы сатиры.

Мы остановимся в этой статье главным образом именно на таких «трудных», в смысле определения в них сатирического элемента, произведениях позднего Толстого

О сатире Толстого написано очень немного. При этом надо отметить, что и в этой количественно небогатой литературе вопрос решается подчас упрощённо.

В книге Л. Мышковской «Толстой. Работа и стиль» есть глава, специально рассматривающая стиль позднего Толстого. О «Смерти Ивана Ильича» там говорится, что это произведение является «настоящей, доподлинной сатирой в том смысле, как произведения Гоголя и Шедрина». С этим, конечно, трудно согласиться. Это крайность, обратная той, которая содержится в цитированном нами высказывании В. Ермилова. «Настоящая», «доподлинная» сатира — это так; но отнюдь не «в том смысле» — или во многом не в том смысле, — как у Гоголя и Шедрина. Быть может, по мнению Л. Мышковской, общность между названными ею писателями заключается в социальной направленности обличения? Но в таком случае вообще пропадает всякая возможность различать сатирические стили. Ведь сатира потому-то и является особенно острым способом художественного разоблачения, что она рождается из такого «пристрастного» отношения к действительности, которое вызвано именно социальной потребностью, осознанным чувством гражданина и применимо лишь к отрицательным явлениям, способным вызвать, по словам Белинского, «грозу духа, оскорблённого позором общества». Когда Н. А. Добролюбов, борясь против либерального «обличительства», писал, что оно лишь «ведёт вас в полицию и заставляет замирать на юридической почве», тогда как обличение другого рода «будит в вас человеческое чувство и мужественную мысль», — то тем самым он как раз и подводил читателя к осознанию высококондейного, социально-критического характера истинного обличения и сатиры. Такой смысл сатиры Толстого (и кого угодно) сейчас «открывать» незачем. Это её неперемное условие, без которого просто не было бы сатиры, да и всего критического реализма XIX века.

Согласимся, что в основе сатиры Льва Толстого лежит этот общий признак. В чём же своеобразие Толстого-сатирика? Л. Мышковская говорит в своей книге, вступая с собой в явное противоречие, что вот классики русской сатиры — Гоголь, Шедрин — создали ряд ярчайших сатирических образов, а «герои толстовских обличительных произведений в основном не являются сатирическими образами», так как «сатира

Толстого направлена на строй, на... институты государства, на быт и нравы высших классов, процесс срывания масок совершается через обличительный показ ряда побочных персонажей и обстановки».

Последнее замечание — о второстепенных персонажах и обстановке — было бы верным наблюдением, если бы ряд предшествующих неточностей и ошибок не лишил его смысла. Прежде всего нельзя согласиться с полнейшим уравнением сатиры, сатирического образа, с одной стороны, и обличения, «срывания масок» — с другой стороны, как будто это всегда одно и то же. Потом, из того, что сатира Толстого «направлена на строй, институты государства, на быт и нравы высших классов», ещё не следует, что «герои толстовских обличительных произведений не являются сатирическими образами». Ведь сатира Гоголя и Шедрина тоже направлена не на что другое, как на общественный строй, институты, быт и нравы — и, конечно, прежде всего нравы высших классов. Наконец, что значит эта оговорка: «в основном не являются сатирическими образами»? А какими они являются? И на какую долю они «являются»? Обо всём этом Л. Мышковская не сказала ничего. А это значит, что ей не удалось осветить поднятый ею вопрос.

Нет необходимости рассматривать здесь всесторонне теорию сатиры. Достаточно припомнить некоторые из основных положений. Прежде всего сатира — это, несомненно, оценочная категория, один из видов идейно-эмоционального отрицания изображаемого. Сатира проявляется предпочтительно в использовании эффекта комического, смешного. Пусть зачастую комизм сатиры принимает уязвимые формы, пусть сатирику «негодование диктует стих»; всё же сущность сатиры — это уловление комического в том общем эстетическом смысле, который определён Чернышевским как «безобразное, которое усиливается казаться прекрасным».

Сатира выражает особенно резкое обличение чего-либо неприемлемого, чтобы зло высмеять его, «изъяздяться».

Как мы уже напоминали, сатира является столь острым оружием потому, что имеет перед собою самые глубокие и самые болезненные из всех жизненных противоречий. Но это не значит, что каждое литературное выступление, носящее объективно характер разоблачения, ожесточённой критики, уже от

одного этого несёт в себе элементы сатирического отношения к действительности. Что нужно, чтобы мы имели в таких случаях право говорить о сатире? Прежде всего нужна так называемая «аттическая соль» — жёлчный юмор. Нужно, чтобы предмет, лицо выводились на унизительное осмеяние так, что осмеянный явился бы перед нами, «как связанный заяц» (Гоголь).

Отсюда и известные черты сатирической формы, сатирического стиля. Если в центре произведения находится сатирический образ, тип, то для того, чтобы быть истинно сатирическим образом, в котором вполне выявлен комизм безобразного, он не должен сохранять форму элементарного правдоподобия, безусловного сходства с реальностью. Образ в сатире всегда подвержен тенденциозной деформации, «искажению» сравнительно с неким прототипом или прототипами.

Чтобы сатирически осмеять экстатический культ рыцарских подвигов, худосочную и ходульную романтику, нужно было посадить хитроумного гидальго на тошую клячу, нахлобучить на него бритвенный таз и пустить сражаться с ветряными мельницами. Чтобы были «вдрызг высмеяны», по словам Ленина, бесконечные бюрократические заседания, понадобилось, чтобы в стихотворении действовали половинки людей — «до пояса здесь, а остальное — там». Это случаи крайние; но, независимо от степени осуществления, тенденция сатирического стиля всегда такова.

Есть ли эти черты, характеризующие сатирический способ изображения, в героях обличительных произведений Льва Толстого?

Основные образы людей у Толстого столь близки действительности, столь натуральны, соразмерны, что, хотя автор резко отрицает и осуждает мнимые достоинства этих людей и общественный строй, делающий этих людей нравственными уродами (например, Берг, Познышев, Мариэтт, Иван Ильич), на этих образах, как вообще на всём содержании поздних вещей Толстого, лежит лишь некий сатирический отсвет, который трудно уловить в каждом отдельном месте текста, за исключением самых явных случаев. К числу же таких явных случаев, когда сатирическое отношение автора вполне яственно и как бы «навязывается» читателю, принадлежит хорошо обследованный Л. Мышковской приём чисто языковой сатирической экспрессии. Речь идёт о таких моментах, когда сатирическое отрицание вы-

сказывается Толстым в прямом ироническом заявлении-формуле: «ненужный член ненужных учреждений» — об отце Ивана Ильича («Смерть Ивана Ильича»); в выраженной тенденциозно постоянным рядом эпитетов враждебной и насмешливой эмоции: многократно «приятный и приличный человек» (о самом Иване Ильиче), «известного рода» люди, «известного рода» комфорт — о знакомствах и новой квартире Ивана Ильича. Наиболее выразительный пример такого рода в «Воскресении» — это характеристика товарища прокурора, выступающего с речью на суде: «Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за своё сочинение о севригутах, по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему ещё способствовала его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно».

Нельзя не отметить, что эта, например, черта стиля позднего Толстого не только не отделяет его — как это хочет изобразить В. Ермилов — от «собственно сатирического» направления в русской литературе (Гоголь, Щедрин), но, наоборот, явным образом сближает их между собою.

Мы встречаем также у Толстого (правда, в неразвитом виде) характерный приём гоголевской сатиры: выделение какой-либо части человеческого лица, тела, одежды так, что этот второстепенный и незаконченный сам по себе признак как бы приобретает самостоятельное существование, становится выразителем всей сути человека. У Гоголя это нос в мундире статского советника, фантом в виде ордена святого Владимира, бакенбарды, гуляющие по Невскому. И у Толстого можно указать на такие же рода примеры. Эпоха реформ 60-х годов, эта «заря России», воспетая либералами, отражается в жизни Ивана Ильича тем, что он, «нисколько не изменив элегантности своего туалета, перестал пробривать подбородок и дал бороде свободу расти, где она хочет». Разве не вполне гоголевский или щедринский гиперболический символ либеральных «свобод» и гражданской оппозиции эта растущая «на свободе» либеральная борода, в которой закладывается весь либерализм Ивана Ильича?

Можно наблюдать у Толстого и сатирический портрет, приближающийся по тенденции к гоголевскому сатирическому портрету.

Толстого в этом случае отличает лишь известная сдержанность заострения (образ остаётся, в общем, в рамках внешне реального) и характерная жёсткость повествовательного тона. Вот, например, краткое описание внешности Петрищева, жениха дочери Ивана Ильича: «Фёдор Петрович во фраке, завитой à la Sarouf, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких чёрных штанах...» Остаётся ли хоть что-нибудь «приемлемое» в этом телесно сильном, умственно и нравственно тупом человекообразном животном после такого описания?

Подход к изображению здесь родствен тому, как Гоголь рисует, например, в «Мёртвых душах» своих помещиков и чиновников.

Встречается у Толстого, наконец, и приём речевой утрировки, столь часто и остро используемый, например, Щедриным. Пример мы легко найдём в повести «Смерть Ивана Ильича».

Смертельно заболевший прокурор Головин в надежде облегчить свои страдания, излечиться от съедающей его странной болезни обращается к знаменитым и незнаменитым докторам, обслуживающим губернский «свет», и сталкивается здесь с глубоким безразличием к его судьбе, с учёным позёрством и фразёрством, с мелкой корыстью. Иван Ильич, сам в своей прокурорской деятельности добивавшийся полного отделения «служебного» от «человеческого», в роковые для себя дни вынужден стократ болезненнее ощутить на самом себе обман и кошмар некоторых буржуазных устоев. Толстой с жестокой иронией рассказывает о попытках своего героя «по-человечески» договориться со светскими врачами. Сатирическое разоблачение содержится непосредственно в речевой характеристике; из речи доктора, пользующего больного Ивана Ильича, вынимаются все значащие слова, и однако в ней остаётся видимость сложного научного предположения и рассуждения: «Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д.». В этом диагнозе выказано и разоблачено всё: и непонятность учёной терминологии, превращающей врачей в какое-то конспиративное сообщество, и невозможность для врача разобраться в деле,

и бюрократическая манера поддержания репутации пустой игрой понятий и терминов. Вся сцена вселяет ощущение гадкого, бесстыдного шарлатанства, делаемого с гораздо меньшим артистизмом, чем, например, у мольеровского лекаря, весело затуманивающего головы своих пациентов-обывателей им самим выдуманной латынью.

Нужно сказать, впрочем, что случаи такой гоголевской или щедринской сатиры у Толстого встречаются не часто и лишь в характеристике побочных персонажей (либо как эпизоды в характеристике персонажей главных).

У Толстого не встретишь Плюшкина или Угрюм-Бурчеева. Да и как они могли бы жить среди толстовских персонажей? Ведь даже такой ненавистный Толстому, мертвенный победоносцевский тип «государственного человека», как Каренин, и тот всё же написан без единого штриха фантастики, это живой и в своих пределах разносторонний человеческий образ. Толстой изображает отрицаемых людей так, что часто о них и особенно дурного нечего сказать. И всё-таки испытываешь то чувство, которое испытал однажды Пушкин, встретив случайно на прогулке царя: «Двадцати минут не поговорили, а как запахло подлостью!»

Своеобразие толстовского сатирического обличения и критики вытекает из своеобразия общественной позиции Толстого как выразителя взглядов патриархального крестьянства в пореформенный период. Толстого-сатирика отличает специфическое умение создать — зачастую при всём несравненном правдоподобию и «натуральности» картин и эпизодов — впечатление шаржа, почти гротеска, сообщающее всему стилю и образам «сатирический отсвет». Для этого достаточно бывает показать обыденное, привычное в дворянском и буржуазном быту в таком виде, как представляются эти вещи «наивному» взгляду человека, живущего своим трудом, среди природы, не искажённого пред-рассудками паразитарной цивилизации.

Любопытно при этом, что сам Толстой не считал сатиру своей областью, хотя и в его творчестве, как мы говорили, и в его отношениях с людьми время от времени наблюдаются характерные вспышки сатирического, «пёречного» темперамента. В 1852 году Толстой пишет в дневнике по поводу своего рассказа «Набег»: «Надо торопиться скорее окончить сатиру моего письма с Кавказа, а то сатира не в моём характере». И, спустя не-

сколько месяцев, снова: «Писал много. Кажется, будет хорошо. И без сатиры. Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только личности».

Так пишется в 1852 году. А спустя три-четыре года Толстой издаёт «Севастопольские рассказы», где героизму и бескорыстию простого русского солдата и офицеров-патриотов противопоставлены «дурные свойства» именно «целого класса людей» — казачьего офицерства из высших дворянских слоёв; несколько ранее того сочиняется «Роман русского помещика» с целью показать «злю правления русского». А потом появляются англичане в «Люцерне» и барыня в «Трёх смертях», которая, по словам Толстого, «жалка и гадка», и «антиинглистическая» комедия «Заражённое семейство». А в Петербурге в это время Толстой, которому столь неприятно описывать дурные свойства людей, своими злыми насмешками доводит до неистовства Тургенева и т. д. Особенно остро в свете этих дневниковых заметок воспринимаешь поздние произведения Толстого, в которых так резко слышен железный сатирический звук и выставлены на позор и осмеяние как раз «дурные свойства» личностей и всего общества,— произведения, в которых, собственно, каких-то иных «свойств» в современности Толстой зачастую и знать не хочет.

Но во все периоды творчества, и в этот поздний период тоже, Толстого отличает от других писателей-сатириков особый способ размещения сатиры в художественной картине жизни. Сатира у Толстого органически входит как элемент в строго реалистическое изображение действительности. Он берёт различные стороны жизни в их переплетении, в живом соотношении. Сатира для Толстого — лишь некоторая существенная часть целостной, многообразной жизненной картины, вмещающей всё хорошее и дурное, обыкновенное и величественное, прекрасное и безобразное, что есть на самом деле.

В поздний период прежнее пантенистическое приятие жизни вытеснилось у Толстого преобладающей мыслью о потрясающих несправедливостях и жестокостях, на которых стоит социальный мир. Определять мировоззрение стали теперь моменты мрачного отрицания и критики с горькой точки зрения угнетённого и разоряемого крестьянства. Из

четырёх эпох жизни человека Толстой только в детстве мог теперь видеть счастье и чистоту; всё остальное — это только грязь, стыд и вражда. Но даже в то время, когда Толстой сочиняет, например, маленькие памфлеты для яснополянского «почтового ящика», в которых жизнь людей рисуется такой же отвратительной, какой Свифт рисовал жизнь своих «Иэку», — даже тогда во всемирно известных произведениях Толстого художника сатирический тон не делает музыки, сатира не развивается до того, чтобы стать основой художественной ткани. Это всё ещё сатирический элемент в подчёркнуто объективном, спокойном, уравновешенном повествовании. Трудно представить себе что-либо более мрачного, чем повесть «Смерть Ивана Ильича». Однако и здесь мы находим целую гамму эмоций, оценок и картин: светлые, умиленные и радостные воспоминания Ивана Ильича о детстве и любви, праздничный облик буфетного мужика Герасима, серьёзный и строгий тон множества страниц, образ импозантного Шварца, потом остро сатирический рассказ о панихиде в доме Ивана Ильича, о лицемерной суете близких, но в то же время лишь тронутый сатирой образ Ивана Ильича на вершине житейского успеха; затем комические персонажи докторов и, наконец, адские сцены болезни и смерти Ивана Ильича. Картина жизни здесь дана в разнообразии обстоятельств и лиц, чувств и настроений.

Но, говоря о сатирическом элементе в творчестве Толстого, мы хотим не только подчеркнуть какую-то художественную пропорцию в его произведениях: сатирический стиль Толстого — это не только «количество» сатирических моментов, но прежде всего особое «качество» использования сатиры. То, что у Толстого ощущается как сатирическое заострение, не только более или менее равномерно вкраплено в широкую реалистическую панораму, в мозаику жизни, но на поверку часто оказывается и по существу как будто естественной частью реально отражаемой действительности. В тех местах, где Толстой хочет уничтожить отрицаемый персонаж, «посмеяться» над ним, не происходит ничего преувеличенного, действующие лица не делают чего-либо особенного: не скупают мёртвые души, не наступают поминутно на ноги своим гостям, как персонажи Гоголя, не говорят умирающему родичу «какая ты бяка, братец» и не одержимы навязчивой идеей «тащить и не пущать»,

как персонажи Щедрина и Глеба Успенского. Толстой в рамках реально присутствующего в жизни, правдиво рисуя то или иное событие, значение которого необходимо, на его взгляд, подорвать, человеческий образ, резко неприятный ему, тип поведения, который нужно дискредитировать, ограничивается чаще всего тем, что с откровенной тенденцией останавливает внимание читателя на некоторых гениально уловленных моментах, где отрицаемое явление как бы само себя выдаёт, разоблачает в ряде комических и неловких контрастов, несообразностей, противоречий между внешней ролью и подлинным содержанием (например, богослужение в «Воскресении», утренний туалет Наполеона в «Войне и мире» и т. п.). Накопление этих контрастов, обнаружение их психологических или социальных истоков создают общее впечатление остро комической искусственности в картине самой внушительной церемонии и впечатление ничтожества персонажа, обладающего наибольшими претензиями, законность которых всеми признана. Это как бы усиленный, нарочитый реализм частностей, подробностей, раскрытие всех «секретов» безо всякого удержу, вопреки чопорности и эстетизму литературной традиции. Но делается это не для натуралистического эксперимента, не для фотографического отражения жизни «как она есть». В кропотливом изображении частностей ясно видна глубокая идея и самое тенденциозное отрицание того социального явления, которое в них разоблачает. И действительно, натуральное убожество мира Ивачов Головиных оказывается в хладнокровном изображении Толстого ужаснее, тоскливее и смешнее любой утрировки и гротеска. Толстой ловит в жизни такой момент, такую связь, при которой и разъяснять ничего не нужно, настолько явно из-под покрова внешнего «приличия и приятности» глядят непристойнейшая пошлость, эгоизм и грязь.

Часто в таких положениях — и это тоже существенно, особенно для позднего творчества Толстого. — писатель как бы задерживает ход повествования, растягивает эпизод, медленно и внимательно «просматривает» всякий жест и фразу. В этом своём качестве сатира Толстого выступает как утончённый психологический анализ, как зоркое, стоголазое видение реальных связей и контрастов в раздираемом внутренней враждой мире. Алогизм обычного, обыденного в част-

ном быту восходит к алогизму современного общественного устройства.

Приведём несколько примеров такого «сатирического реализма» Льва Толстого. Вот изображение Наполеона в «Войне и мире». В нём нет как будто никакого нарочитого шаржирования, нет несообразности. И, однако, окружённый величественной легендой исторический деятель и полководец, претендующий сравняться славой с знаменитейшими древними завоевателями, предстаёт в ничтожном, смешном, шутовском виде. И это несмотря на то, что Наполеон действует в романе в соответствии с историческими данными, в окружении обыкновенных людей, командует реалистически нарисованной «великой армией», входит в настоящую Москву и т. д. Разоблачение же наполеоновской романтики идёт куда более тонкими способами, чем простое зачернение ореола. Вот что говорит об этом де Вогюз, которому, конечно, в этом случае и книги в руки: «Маленькие портреты Наполеона, тщательно, до мелочей законченные... Ничего враждебного, ни одной карикатурной черты, — но только потому, что из области легенд его на минуту поставили непосредственно в действительную жизнь, величие человека нарушено. Мы чувствуем, что обаяние потрясено несоответствием обычных действий человека с величиной роли, которую он играет». Так Толстой открывает в самой действительности комический контраст между непомерными претензиями Наполеона на величие в исторических деяниях, соответственными этой роли жестами, изречениями — и его подлинным ничтожеством перед историческим «фатумом», его маловнушительной, буржуазной внешностью и подробностями его самой обыкновенной, скрытой от глаз посторонних, будничной жизни, с утренним туалетом, болезнями, обтираниями и т. д. Тенденциозно выдвигая этот реальный контраст на первый план, Толстой пишет великолепную сатиру.

Вот ещё выразительный эпизод, в котором ярко видно замедление рассказа в местах обличительного характера. Действие, до тех пор шедшее в ровном темпе, вдруг как бы задерживается и этим выделяется в общем тексте. Мы имеем в виду сцену приготовления к убийству из «Крейцеровой сонаты». Познышев, как говорится в повести, хотел быть страшным, хотел внушить ужас. И Толстой заставляет читателя содрогнуться. Но эта сцена — совсем не романтическое

злодейство литературы «плаща и шпаги» и не величественный кровавый финал в шекспировском роде. Разве может такая расслабленная, иступлённая в своём эгоизме и дисгармоничная натура, как Познышев, знать подлинно трагическую муку, разве может «мужчина-блудник» стать Отелло? В самом, казалось бы, стремительном эпизоде повести Толстой пускается вдруг в подробности: он безразличным, «эпическим» тоном рассказывает о том, как убийца, желающий внушить ужас, снимает сапоги и остаётся в пальто и чулках, а потом, «мягко ступая в одних чулках», крадёт к двери. Эти детали делают кровавую сцену отвратительно правдивой. Такого прямого и в то же время тончайшего обнаружения пошлости, когда она притворяется высокой трагедией; литература до Толстого не знала. И этот уничтожающий эффект достигнут всего лишь тем, что до читателя, приведённого в напряжение, готового верить в серьёзность и возвышенность происходящего, несколькими беспощадными натуралистическими штрихами внезапно донесён весь подлинный «аромат» сцены.

Множество моментов такого характера есть и в повести «Смерть Ивана Ильича». Вот эпизод со знаменитым «бунтующимся» пуфом. Прокурор Иван Ильич Головин, которого «все любили, умер. Бренные останки его покоятся в одной из комнат, а в гостиной печально беседуют самые близкие люди умершего: супруга Прасковья Фёдоровна и истинный друг Пётр Иванович, «считавший себя обязанным Иваном Ильичём». Прасковья Фёдоровна льёт слёзы, рассказывает о предсмертных муках мужа, жалуется и сморкается. Пётр Иванович глубоко и печально вздыхает и говорит: «Поверьте...» Всё так прилично, благопристойно и грустно. Оба знают, как нужно себя вести, и оба глубоко растроганы. И вдруг под Петром Ивановичем начинает колыхаться и подталкивать его расстроенными пружинами пуф. Этот «бунтующийся» пуф портит всё дело. На борьбу с ним, дабы не нарушить лишним движением церемониала соборования, уходит масса энергии Петра Ивановича. Следует замедление рассказа: резьба стола, за которую цепляется чёрным кружевом чёрной мантильи Прасковья Фёдоровна, утливое вставание Петра Ивановича с мыслью помочь вдове отцепиться (а освобождённый пуф в это время «волнуется и подталкивает его»), но она сама это дела-

ет, и Пётр Иванович садится (придавив бунтовавший под ним пуф). Но, оказывается, Прасковья Фёдоровна не всё отцепила, и опять нужно приподыматься (а пуф в это время «бунтует и даже шёлкает»). Трогательный и приличный спектакль, долженствующий изобразить скорбь близких, скандально проваливается. Эпизод с пуфом совершенно охлаждает и озадачивает Петра Ивановича и Прасковью Фёдоровну: он далее сидит насупившись, а вдова маскирует смущение притворными всхлипываниями в батистовый платочек. Положение спасает лишь вошедший слуга.

Так этот, в действительности, может быть, мимолётный, но «растянутый», увеличенный, остро увиденный фарс позволяет Толстому, сохраняя однообразно повествовательный тон, вызвать ощущение крайне глупого и стеснительного комизма обстоятельство, в которых оказались персонажи. «Истинному другу» и вдове-страдальце, как людям приличным и воспитанным, лишь отвлечённо понимающим важность некоторых тяжёлых и ответственных случаев жизни, хочется сохранить как бы искреннее ощущение утраты, горести и сочувствия—так же, как Познышеву искренне хотелось устрашать. Но в дело вмешиваются «бунтующие» вещи: пуф, мантилья, потом пепельница, и пошлое притворство людей «приятных и приличных» становится грубым, скучным и явным, оно режет глаза.

Ещё один, более беглый момент «сатирического замедления» в тексте повести «Смерть Ивана Ильича». Продолжается поминальная беседа Прасковьи Фёдоровны и Петра Ивановича: «Ах, Пётр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело,—и она опять заплакала. Пётр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал: «Поверьте...», и опять она разговорилась, как бы... достать денег от казны». Троекратное «тяжело» и «ужасно тяжело» в риторической градации и бесконечное, неестественное, трудное сморкание, занимающее чуть ли не всю строку, так, что становится прямо слышимым и видимым,—также обнажают тайную пошлость сцены.

В подобных эпизодах проявляется гениальное умение Толстого, отмеченное В. И. Лениным, обнаруживать искусственность, лицемерие, натянутость, фальшь отношений между людьми. Эти строки производят особенно гнетущее впечатление, когда

они проявляются в эгоистическом равнодушии к тем суровым и важным вопросам, которые связаны с мыслью о жизни и смерти.

Есть ещё одна черта, не могущая не броситься в глаза и придающая толстовской сатире индивидуальный оттенок. Мы имеем в виду почти полное отсутствие у позднего Толстого непосредственно-эмоционального юмористического отклика на комические контрасты действительности, необычайную серьёзность, иногда ожесточённость тона, которым говорит Толстой о самых смешных вещах. Автор «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонаты», «Воскресения» не шутит. Он знает, разумом знает, что вот это должно быть смешно, но чувства его как бы молчат. Ни в одном слове не отражается улыбка самого автора. Как-то Толстой сказал, что различает три рода рассказчиков острот: низший род — это когда самому смешно, а слушатели бестрепетны, средний род — когда и сам смеёшься и слушатели вместе с тобой и, наконец, высший род — когда слушателям очень смешно, и сам остроумец и не улыбнётся. Комический дар Толстого близок к третьему роду. Юмор — в смысле чувства комизма, умения осмеять и рассмешить — у писателя великолепен, юмор же в смысле известной человеческой слабости, готовности откликнуться на смешное, встретить и сопроводить его шуткой, собственным участием почти отсутствует у Толстого. У великих писателей-сатириков всегда смешно не только то, что происходит, что случается, но и то, как об этом рассказано; в слогe, в интонации, в лексике, в эмоциональных обертонах авторской речи чувствуешь ликующе-ядовитый смех Гоголя, исполненный горького негодования смех Щедрина, весёлую или убийственно-соболезнующую улыбку Антоши Чехонте и т. д. Сатирическим местам у Толстого свойствен, напротив, ровный, повествовательный, очень серьёзный тон, исключаяющий авторское участие в происходящем и выражающий как бы только констатацию. Но в результате его медленного, без улыбки рассказа то, что претендовало быть внушительным или поэтическим, оказывается потускневшим, нелепым и смешным. Как будто под упавшей благообразной маской обнаружилось вульгарное лицо. Это свойство юмора в сочинениях Толстого подметил Вересаев.

«Глубоко серьёзными глазами ребёнка смотрит Толстой на жизнь. И, как в ребён-

ке, в нём также совершенно нет юмора. Рисуемое им часто убийственно-смешно, но чувство смешного достигается чрезвычайно своеобразным приёмом: как будто внимательный, всё подмечающий ребёнок смотрит на явление, описывает его, не ведаясь с условностями, просто так, как оно есть,—и с явления сваливаются эти привычные, гипнотизировавшие нас условности, и оно предстаёт во всей своей голой нелепиче».

Впечатление от комических эпизодов в сочинениях Толстого здесь описано верно. Но действительную сущность мнимой наивности Толстого Вересаев, однако, ещё не умел тогда понять. То, что Вересаеву напоминало внимательный и наивный взгляд ребёнка, было гениально определено В. И. Лениным как отражение жизненных взглядов патриархального крестьянина. Именно патриархальный крестьянин в его отчаянном стремлении «дойти до корня» может не знать условностей господской жизни, именно его серьёзные, укоряющие глаза смотрят на современность со страниц толстовских произведений.

Слова Вересаева «в нём совершенно нет юмора» по отношению ко всему творчеству Толстого не вполне справедливы: у Толстого в целом ряде произведений («Война и мир», «Анна Каренина», трилогия) нетрудно найти чудесные блёстки самой подлинной юмористики. Достаточно назвать, например, Стиву Облонского, Денисова, учителя Карла Иваныча, в изображении которых авторский юмор составляет важную сторону. Но что касается произведений 80—90-х годов, то здесь отсутствие юмора в описаниях даже самых комичных ситуаций бесспорно. Особенно «серьёзным», без юмора, и «всё подмечающим» становится взгляд Толстого, когда он берётся за разоблачение всей бюрократической, буржуазно-дворянской России.

Выразительнейший пример представляет сцена богослужения в «Воскресении». Не считаясь с условным эмблематическим использованием некоторых предметов и жестов—или, вернее, резко отрицая самую возможность такого суеверного и театрального момента в деле общения с богом,—Толстой «просто» называет мнимые священные вещи их бытовыми именами: «воздух»—салфеткой, ризу священника—мешком и т. п.

В «Смерти Ивана Ильича» сатирическая соль заключена в начальных главах повести: в сцене посещения Петром Ивановичем

дсма Ивана Ильича и в описании жизненных успехов Ивана Ильича до того, как он случайно упал с лестницы и тяжело заболел. Какие места здесь могут заставить шевельнуться юмористическую жилку в читателе? Начальная сцена: «Пётр Иванович вошёл... с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчёт того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: ...креститься и немножко как будто кланяться». Подобны этому и другие «сообщения» Толстого о поведении и состоянии персонажей этой сцены (дьячок, дамы, сама Прасковья Фёдоровна). Общее во всех этих местах: во-первых, их разоблачительная сила, острый комизм; и второе — совершенно трезвый, бесстрастный тон повествования, в котором как бы отсутствует авторское ощущение комизма. Всего несколько незаинтересованных, объективных наблюдений. Но каждое из них бьёт не в бровь, а в глаз, и именно так, что отмеченное явление предстаёт в своей голой, смешной нелепости.

«Креститься и немножко как будто кланяться» — ясно, что это обидная и смешная комедия, зачем-то введённая в обычай. Дьячок над гробом — «бодрый, решительный», который «читал что-то громко с выражением, исключаящим всякое противоречие», — он тоже совершенно не имеет отношения к тому, что произошло здесь; ему с его «исполнительской» бодростью и решительностью совсем не тем, видимо, надо заниматься. И чьё это «противоречие» полностью исключается его тоном? Уж не Ивана ли Ильича, лежащего на столе?

А вот буквально «безобразное, которое усиливается стать прекрасным», — вдова Ивана Ильича, «жирная, невысокая женщина, несмотря на все старания устроить противное, всё-таки расширявшаяся от плеч книзу». И опять тот же трезвый, тяжёлый приём: вместо юмористического образа — описание, определение некоторого обидного для дамы обстоятельства, презрительно-равнодушная констатация факта, вместо ядовитого, как могло бы это быть, «вышучивания». А эти «странно-поднятые брови» у всех дам, пришедших на панихиду к Головиным; Петру Ивановичу они представляются именно «с т р а н н о п о д н я т ы м и», то есть естественно, непонятно по какому поводу поднятыми и что они должны обозначать, —

что это, как не разоблачение выявленного в жизни лицемерия посредством всего лишь одного эпитета!

Даже комический эпизод с бунтующим пуфом и с неудавшимся изъявлением соборлезнования и прискорбня — он ведь тоже изложен сдержанно, серьёзно, почти протокольно: «Войдя в её обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Пётр Иванович на... пуф». И подробно характеризуется, что это был за пуф, и затем — краткая беседа в прочувствованных тонах с самыми обыкновенными словами. «Смешное» раскрывается в «простом» указании: Прасковья Фёдоровна «сказала по-французски», что ей «очень тяжело», или в том, что она произносит самую обычную фразу: «курите, пожалуйста» одновременно «великодушным и вместе убитым голосом», или в том, что Пётр Иванович кланяется, но и не даёт «расходиться» пружинам пуфа, зашевелившимся под ним, и т. д. Словом, действие идёт как бы в двух планах: одном — внешнем, условном, и другом — подспудном, тайном, скрываемом то французской фразой, то учтивым поклоном, то «странным» изгибом бровей. А рассказ обо всём этом идёт совершенно в одном трезвом толстовском стилистическом плане. «Глубоко серьёзные глаза» Толстого даже будто и не замечают этих двух планов и отмечают лишь то, что видят, тем самым передавая с невероятным комизмом всю пошлую несладкую, всю фальшь происходящего.

Описанные выше особенности сатиры в творчестве Толстого, конечно, не исчерпывают собою всё многообразие средств и способов, которые использует наш великий писатель, когда хочет особенно сильно «уязвить», обличить и скомпрометировать социальный порядок своей эпохи, буржуазно-дворянскую культуру и мораль людей, односторонне и порочно воспитанных в несвободном обществе. Но даже из такого небольшого обзора лишь некоторых особенностей толстовской сатиры можно, как нам кажется, сделать общий вывод.

Советским писателям и литературоведам, работающим над теоретическим обоснованием и практическим развитием сатиры в советской литературе, следует глубоко читать в бессмертные страницы Толстого, расширяющие наше общее представление о сатире. Неправы те, кто не даёт Толстому

звания сатирика, радея о некоей формальной и узко обоснованной «специфике» сатиры. В погоне за «спецификой» не нужно искусственно суживать себе кругозор каким-то «неопровержимым» теоретико-литературным догматом.

Маркс писал, что высокая роль комедии в истории состоит в том, чтобы «человечество смеясь расставалось со своим прошлым»¹. Уничтожающий смех советской сатиры дол-

жен звучать как «отходная» всему, что человечество переросло, что мы не хотим взять с собой в прекрасное будущее,— всему, чем исказил душу человека капиталистический век. Таким образом, советской сатире суждено «весёлое историческое значение», по выражению Маркса. Смех советской сатиры, ненавидящий, яркий, может быть и гоголевской гиперболой и щедринским гротеском. Но большое место может занять в нашей сатирической литературе и строго реалистическая по стилю социально-психологическая сатира Толстого.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 403.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИВАН НОВИКОВ

★

У ТОЛСТОГО

Лето 1909 года я проводил в городе Туле в семье старшего моего брата. Погода стояла изумительная, и, хотя при доме был сад со старенькой беседкой и даже ручьём, пересекавшим его наискосок, всё-таки сильно манило за город — на волю, в поля.

Рано утром однажды я и вышел из дому, предупредив, что уйду на целый день. Я не думал о посещении Льва Николаевича, но вышло так, что, дошагав до Ясной Поляны, у самых почти ворот при въезде в усадьбу я увидел знакомую фигуру Толстого и издали с ним поздоровался. Лев Николаевич шёл вдоль канавы, отделявшей усадьбу и сад от проезжей дороги. Заметив меня, он остановился и, в ответ на моё приветствие, весёлым молодым голосом отозвался:

— Знакомый? Не узнаю.

Что было делать? Времени для размышления у меня не было, но, словно бы это само собою требовалось, я тотчас же направился прямо к нему, и только когда уже совсем подошёл, немного сам на себя удивился. Ну, а Лев Николаевич не удивился ничуть — для него подобные вещи были, очевидно, привычны.

Разговор между нами возник и развивался с той исключительной простотой, как это бывает между двумя дотоле незнакомыми соседями в вагоне железной дороги. Я-то, конечно, хорошо и знал и ценил своего собеседника, но вот замечательно, что это нисколько, ничуть не мешало основному ощущению предельной простоты встречи. Так неожиданно-негаданно я и провёл почти целый тот день вместе со Львом Николаевичем.

Мы до того привыкли к изображениям и снимкам Толстого, что кажется несколько даже странным говорить о его наружности. И всё же — вот он живой передо мною... Я вижу его не в первый раз. Однажды, совсем мальчиком, я встретил его на Пречистенке. Он был в шляпе, в пальто — незастёгнутом и чуть раздувавшимся на ходу. Вероятно, он просто шёл от себя, из Хамовников, но приближался, как показалось мне, с такой быстротой, как вообще люди даже и не ходят, а главное, что меня поразило, — это огромный его, исключительный рост: мимо меня прошёл и исчез великан! Таково было моё ещё полудетское впечатление, и, однако, почти всё таким же видел я его и ещё один раз — в Москве же, на сельскохозяйственной выставке в здании манежа: там он не только был выше других, но этих других людей рядом с ним как если бы вовсе не стало. Такова была моя юная по отношению к нему экспансивность. И ничего похожего здесь и сейчас: для восприятия всё тихо, спокойно.

То, что бросается в глаза на фотографиях Льва Николаевича, — общее своеобразие внешнего облика и сгущённая, собранная значительность внутреннего его образа — писателя и мыслителя, — всё это здесь

было только естественно, как на месте естественны были эти вот яблони яснополянского сада и синее небо над ними. Лицо у Толстого не оставалось, впрочем, спокойно, его как бы оведал непрестанно внутренний живой ветерок. Глаза под густыми зарослями бровей, голубые, неяркие, вдруг загорались изумительно ярким огнём, неведомым многим, конечно, даже и в юности. И голос его не только по-молодому был свеж, — в речи Льва Николаевича звучали самые различные интонации — от почти нежных до неприкрытого гневного окрика. При мне у него было несколько посетителей, и со всяким в беседе выявлялся какой-то неповторимый уклон: живое восприятие каждого и живой, соответственный каждому отклик.

Нельзя было не обратить особого внимания и на руки Толстого. Да, это были уже подлинно руки старого человека — с выступающими узлами жил и щедрыми морщинами кожи. Но и они хранили какой-то здоровый, почти вызывающий даже загар, а главное, были ещё одновременно и чрезвычайно изящны и таили в себе огромную силу. Имн ведь были написаны и «Война и мир» и «Казачьи».

При мне посетителей было человека три или четыре. Один из них, молодой человек, больше других мне запомнился. Льву Николаевичу явно он был неприятен и чужд. У этого посетителя, пришедшего искать «правды жизни», не чувствовалось настоящего человеческого беспокойства, он почти требовал каких-то формальных ответов — выслушать их и принять к сведению и руководству, и тогда всё будет в полном порядке! К тому же этого он добивался с большой надоедливостью, переходившей в прямую назойливость.

Толстой слушал внимательно каждого к нему приходившего: он слушать умел. Потому-то он так и отвечал — на самую суть порою нескладно или слишком туманно выраженных мыслей. Терпеливо он выносил и мелкий словесный дождик того молодого человека, не затихавший ни на минуту. Но если что и выражало в нём всё возраставшее недовольство, так это его глаза. Они не только утрачивали свой блеск и делались невыразительными, тусклыми, — про них хотелось даже сказать, что если не уши, так они за них становились совершенно «глухими». И вот тут-то порою и прорывался настоящий гнев, и Толстой бросал своему посетителю несколько слов с невольной резкой интонацией.

Так, на повторный вопрос, что же ему надлежит читать, Лев Николаевич ответил (имея в виду, конечно, девятнадцатый век):

— Читайте с тридцатых годов и раньше.

— И позже, — поправил Льва Николаевича его собеседник.

— И раньше! — подчеркнул Толстой и пояснил, обращаясь уже не к своему посетителю, а скорее ко мне, но ещё того более к самому себе: — В р е м я п р о с е и в а е т.

Толстой, таким образом, утверждал, без сомнения, что устойчивую и уже оправданную временем ценность в литературе имеет только то, что просуществовало уже по крайней мере несколько десятилетий, а всё остальное ещё подлежит проверке временем. Этим он, точно бы с каким-то подчёркиванием по отношению к самому себе, и свои собственные вещи не считал уже подлежащими безусловной рекомендации.

Как это надо было понять? Кое-кто мог бы, пожалуй, увидеть в этом какую-то своего рода «рисовку» не мог же, в самом деле, Толстой не отдавать себе отчёта в том, как много он создал в русской литературе! Но в том-то и дело, что это выражение «время просеивает» было сказано не просто как серьёзная и важная мысль, а и с какой-то немного грустной задумчивостью именно по отношению к самому себе.

Понять же всё это можно было только так. Толстой был человеком огромных масштабов. Думая о человеке, он мыслил о человечестве; земные пространства вокруг для него были не слишком-то велики; и, действительно, слушал его весь земной шар. Но было так и во времени: общался Толстой не только со всем тем, что было создано веками новой цивилизации, но черпал и куда глубже. Он вёл, можно сказать, разговор с древнею многонациональною мудростью: тут была и античная Греция и древний Восток. Так что же для него при таких-то масштабах какие-нибудь несколько десятилетий?

Однако мысль, высказанная Толстым, совсем не задела внимания молодого спорщика, и он начал быстро перебирать имена современных писателей: кого читать, кого не читать. Толстой не отзывался никак, не отвечал. Молодой человек, помянув Сологуба, почему-то приостановился. Паузу надо было прервать, и Толстой досадливо отмахнулся рукой.

— Не знаю... Не помню...

Но когда тот начал и дальше распространяться о Сологубе и, путая современного тогдашнего писателя со старым графом Соллогубом, автора «Мелкого беса» назвал также графом, Толстой с необычайной, какой-то звонкой резкостью кинул ему, поправляя:

— Фёдор!

До того говорил: «Не знаю... Не помню...», — а вот, оказалось, отлично и помнил и знал: не граф Соллогуб, а попросту Фёдор Сологуб!

Зашёл у нас разговор о моей литературной работе. Я поделился замыслом моего романа «Между двух зорь», над которым тогда усиленно работал. В нём я выводил молодёжь эпохи безвременья — после девятьсот пятого года — со всеми её крутыми невзгодами. Эта тема чрезвычайно его заинтересовала, и он подробно меня расспрашивал о том, как я её понимаю и развиваю. Он придавал большое значение правдивому изображению молодого поколения, он понимал все трудности его бытия; большой, живой человек с высоты своих восьмидесяти лет по-юношески горячо волновался за судьбу молодёжи, детей, как если бы это были его товарищи, сверстники: это было о жизни, о живом, становящемся человеке. «Это важная тема, — повторял он мне несколько раз, — об этом надо писать».

Всё это для меня, конечно, имело большое значение. Я вообще мало общался с другими писателями по поводу того, над чем в это время работал. А здесь неожиданно вышел большой и откровенный разговор, вызванный самым живым интересом Льва Николаевича к теме моего нового романа.

«Таким образом, — размышлял я уже позже, — то обстоятельство, что время определяет собою подлинную ценность художественного произведения, не уменьшает, однако, несколько великой важности писательской работы и по отношению к текущему моменту, когда жизнь не просто «идёт», а она же и «делается».

Это была важная и нужная мысль и для меня, для моей работы, и она же открывала мне и подчёркивала высокое своеобразие этого человека-творца, который был своим и в далёких веках и так горячо отзывался на вопросы современности и события дня. Великая широта его интересов не заслоняла для него текущих конкретностей человеческой жизни.

Разговор этот происходил ещё до прихода того самого писателя, который смешал графа Соллогуба с Фёдором Сологубом. Когда же тот наконец распрощался, Толстой с большой силой сделал рукою движение вслед уходящему, почти как если бы толкнул его по воздуху в спину.

— Глухая стена! — произнёс он со сжатой экспрессией, и глаза его резко сверкнули.

— Вы знаете, в чём главная беда нашей молодёжи? — обратился он снова ко мне, возобновляя прерванный разговор и, видимо, связывая его эмоционально с только что ушедшим молодым человеком. — Эта беда — в самомнении.

И повторил свою уже известную формулу:

— Всякий человек есть дробь, в которой числитель — это то, что он есть на самом деле, а знаменатель — что он о себе думает, и чем больше этот знаменатель, тем меньше дробь; но когда знаменатель равен бесконечности, что бы в числителе ни стояло, — дробь всегда будет равна нулю.

Лев Николаевич беседовал и с другими посетителями. Давая улестья главным своим впечатлениям, я порою позволял себе не слишком вникать в то, о чём в данный момент шла речь. Толстой с удивительным терпением, а порою и с настоящей внимательностью вёл эти очередные свои беседы. Иногда они шли совсем не на большой глубине, но я видел, как глаза Льва Николаевича вдруг становились всё более приветливыми, мягкими: это общался он с живой человеческой душой, а здесь он не ставил резких граней между большим и малым, главное для него было то, что это всё — подлинное. Тут он переставал быть «гигантом», и уже не удивлял его обычный, средний человеческий рост.

Время шло. Льву Николаевичу предстояло вечером чтение для крестьян: у него была намечена для этого статья «О науке». Я был так полон впечатлениями, что как-то не захотелось возвращаться в Тулу обратно в тот самый день, и во мне зародилось желание продолжить своё путешествие — уже в Орловскую губернию, прямо к себе домой. Об этом я и сказал, смеясь, Льву Николаевичу:

— Из вашей Ясной Поляны я пойду дальше и зайду по дороге в Спасское-Лутовиново, так что это выйдет настоящее «путешествие пешком от Толстого к Тургеневу».

— Я завидую вам, — сказал Толстой, — и я хотел бы так же: выйти из дому и пойти пешком... — Он даже как-то расправил несколько плечи, а глаза его как бы видели перед собою некий очень далёкий горизонт.

Он отозвался также и на слова мои о заходе к Тургеневу.

— Не это важно, — негромко заметил он. — Важно то, что вы увидите много простого народа, будете близко с крестьянами. Среди них, особенно из молодёжи, я знаю много прекрасных людей. Вы сегодня увидите их, если захотите.

Таким образом Лев Николаевич пригласил меня вечером в Телятники, где Н. Н. Гусев, бывший тогда секретарём Толстого, в присутствии самого Льва Николаевича должен был прочитать эту статью его о науке. Нужно сказать, что в разговорах своих со Львом Николаевичем едва ли не единственным вопросом, по которому я не мог воздержаться от возражений, был как раз вопрос о науке, в частности о науках естественнoисторических, которые я с молодым пафосом защищал.

В Телятники я попал ранее, чем подъехал Толстой. В большой комнате внизу было довольно много народу: крестьян — правда, больше молодых полуинтеллигентов, — а также и людей, близких ко Льву Николаевичу.

На большом непокрытом столе лежал букет свежих полевых цветов, не знаю кем собранных. Толстой поздоровался и тотчас подошёл прямо к столу. Найдя глазами меня, он произнёс, улыбаясь и чуть кивнув на цветы:

— Какая прелесть! Я всегда, когда выхожу гулять, думаю: не сорву ни одного, и всегда возвращаюсь с таким же вот пуком!

Он взял себе два цветка и сел на лавку. Цветы эти были с ним и во время чтения и после — во время разговоров. Но в конце концов, перед уходом, он забыл их на столе, и один цветок упал на пол. Я взял их оба с собой, и они сопутствовали мне в дальнейшем моём путешествии.

Самый вечер протекал таким образом. Когда статья была прочитана, Толстой встал и сказал:

— Ну, я выйду. А вы тут разговоритесь без меня.

Разговор действительно завязался — живой и непринуждённый. Запомнилось мне, как один из крестьян своеобразно — коротко и «предметно» — сказал своё доброе слово о науке. Некоторое время не отрывал он глаз от ясного открытого взгляда молодого секретари Льва Николаевича, поглядывавшего окрест себя сквозь стёкла очков. Я невольно следил за ними обоими, и предчувствие меня не обмануло.

У крестьянина этого худенькое лицо его внезапно как бы «мобилизовалось», все черты заиграли улыбкой, лукавством, преодолеваемой некоторой неловкостью и в то же время настоящей «решительностью».

— А вот, извините... — И он протянул прямо перед собою тёмный тошенький свой указательный палец. — Вот, извините, очки — это ведь тоже наука? — Все как-то встрепенулись. Кажется, сколько здесь было человек, столько же и улыбок блеснуло.

Лев Николаевич, когда возвратился, принял и сам участие в общей беседе. Я и сейчас вижу, как он стоит у стола и говорит — с большим вдовушением, а почти что и с вызовом:

— Вот считают, будто не солнце ходит вокруг земли, а земля ходит вокруг солнца... Какая чепуха! На что мне это знать! А что солнце ходит вокруг земли — это мне надо знать: солнце встаёт — надо итти на работу, солнце на полдень — надо передохнуть и поесть, а солнце зашло — ну и кончился день.

Выступление это мне показалось поначалу совершенно диковинным: как это можно было отрицать общеизвестную истину! Но постепенно приходила и утверждалась в сознании другая толстовская мысль — не о солнце и о земле, это только примеры, — а о том, что наука должна быть тесно связана с жизнью, с трудом, и только такую науку следует знать. Конечно, Толстой придавал этой основной своей мысли нарочито гротескную форму, чтобы тем самым заострить внимание слушающих. И они это понимали. Судить об этом можно было по тому, что слова эти Льва Николаевича встречены были лёгкой улыбкой, однако же с сопутствующим ей раздумьем. Позже, доброй, я размышлял: а ведь в сущности и указующий перст на очки также был связан именно с мыслью о пользе науки, о «полезной науке»! И сам Толстой и деревенский люд, его окружавший, понимали, оказывается, друг друга отлично.

Когда я прощался со Львом Николаевичем, он вернулся опять к моему путешествию.

— Вот меня зовут шведы на конгресс мира. Не знаю... я не поехал. А вот так, как вы, пойти бы — пошёл.

Он помолчал и негромко добавил:

— Перед тем, как уйти туды, откуда никто не возвращается. — Он так и произнёс по-тульски: «туды».

Рано утром на следующий день я опустил в почтовый ящик на станции открытку, чтобы меня в Туле не ждали. Скромное это моё пешеходное путешествие из города Тулы в родные края, длившееся трое с половиною суток, было как нельзя более подходящим для размышлений о Толстом. Меня окружала в пути среднерусская наша природа:

упругая земля под ногами, свежий воздух, исполненный бодрящего запаха леса, лугов, купы белоснежных облаков в вышине, ласкающих взор, и эта узенькая ровная ниточка горизонта — та самая, про которую в раннем детстве своём я, как вспоминали, будто однажды спросил: «А этой ниточкой — небо сшито с землёй, да?» И вот тут-то «практически» я осуществлял науку Толстого: солнце вставало — я поднимался и отправлялся в путь... и далее — всё, как он говорил.

Деревенские эти просторы были родными самой натуре Льва Николаевича. А его манера писать, хотя бы свою эпопею «Война и мир», начинала образно ощущаться, как огромное творческое его путешествие, как неспешный и неотрывный от земли, именно пешеходный путь. Недаром с таким особенным чувством он произнёс: «Пойти бы — пошёл».

Я вспоминал отдельные фразы из его прозы, и порой начинало казаться, что это не просто путешествие, а Толстой, как мы знаем его по изображениям, идёт за сохой, взрывая несколько круто, но глубоко — и верно законам природы — огромные глыбы земли. Это одновременно и подготовка для будущего сева своих мыслей и необходимая часть всего творческого труда великого писателя. Можно отсюда, пожалуй, понять и это органическое тяготение Толстого к простому труду: пахать, ломая и подымая застоявшийся почвенный «быт», шить сапоги, туго продёргивая дратвой неподатливую толстую кожу — всё этого же человеческого «бытия». Для Толстого диктовались эти работы его не только, а может быть, даже не столько моральными размышлениями, сколько этим ощущением подлинного родства со своим народом в его непрестанном и связанном с реальной жизнью труде.

И, конечно, это так: физический труд для Толстого не был прихотью барина-опрошёнца, он шёл от глубоких корней деревенской Руси и он органически помогал Льву Николаевичу ощущать внутренний мир простого русского человека — и в общении его с природой и в непрестанном его трудовом существовании — изо дня в день.

В этих мыслях своих о Толстом я и не думал, что сам Лев Николаевич отметит у себя в своём дневнике моё посещение. Я не привожу этой краткой записи здесь, но когда не так давно о ней мне сообщил Н. Н. Гусев, мне было чрезвычайно приятно узнать, как Толстой меня помянул. Благодаря этой записи я могу точно датировать мой заход ко Льву Николаевичу: это было 12 июля 1909 года.

А путешествие самого Толстого — «туда, откуда никто не возвращается», последнее это его путешествие было также уже не за горами. Когда он о нём говорил, негромко, в потёмках, он точно бы уже ощущал его реальную близость, видел его.

Осенью следующего, 1910 года я был в Париже, где и узнал об уходе Толстого из дому и о его кончине. Накануне я засиделся у давних своих московских знакомых, и они оставили меня ночевать. А утром в дверь мою вдруг отчаянно застучали, гораздо ранее того, чем я обычно вставал, и хозяйка квартиры, вся изменившись в лице, взволнованная свыше всякой меры, протянула мне газету, где на нескольких вставных страницах повествовалось об этом трагическом событии.

Не только мы, русские, застигнутые этой страшной вестью на чужбине, и не только огромный и шумный Париж, которому до всего было дело, но и весь мир был потрясён.

Несколько дней для всех нас только и было мыслей, что об уходе и о смерти Льва Николаевича. Трудно было представить себе Россию, оставшуюся без Толстого. И передо мною всё время вставал образ этого гениального человека, идущего пешком по родным и беспредельным просторам, образ ищущего последней правды необычайного этого путника — роста отнюдь не высокого и в то же время огромного, — этого старика со страстной его, неутомимой и неутолённой душой, никак не знающей старости: образ живого Толстого.



ВЛАДИМИР МАТОВ

★

ЕЩЕ О РАССКАЗЕ

«Клянусь: в ту минуту, когда я почувствую, что внутренности во мне не дрожат больше,—кину перо, хоть бы нищим пришлось умереть».

Салтыков-Щедрин.

Видные писатели редко находят время для печатных высказываний, преследующих цель помочь начинающим литераторам разобраться в вопросах художественного мастерства. В лучшем случае высказывания такого рода ограничиваются разговорами о языке и общим рассуждением, что «научиться писать» нельзя. Выступление С. Антонова на страницах «Литературной газеты» с пространной статьёй о рассказе¹ представляет отрадное исключение из этого обычая. Это выступление нельзя не приветствовать, и прежде всего — как почин. Заметим только, что статья С. Антонова, содержащая интересные размышления о писательской работе, неубедительно подана как письма, адресованные начинающему автору по поводу конкретного рассказа этого автора, причём самого рассказа, прочтя статью, даже нельзя себе представить.

Подробно, обстоятельно и заботливо С. Антонов старается разъяснить младшим собратям по ремеслу, как, по его мнению, нужно создавать художественный рассказ, к чему при этом следует стремиться, чего избегать. Иллюстрируя свои размышления анализом большого количества рассказов, опубликованных в «Огоньке», рассматривая рассказы Горького, Чехова, Льва Толстого, С. Антонов одну за другой разбирает различные проблемы: как увязать идею произведения с образом; какими приёмами выявляются характеры персонажей; какое значение имеет для этой цели диалог. Он стремится раскрыть подлинную роль сюжета, значение коего начинающие авторы склонны преувеличивать; он говорит о том, что такое «авторская интонация», «авторская точка зрения», в чём они выявляются и каково их значение; что такое «позиция писателя»; как вводится в рассказ «любовная линия», и так далее... Короче говоря, С. Антонов с большой готовностью делится с молодыми писателями своим опытом, стараясь помочь им практически. Однако в этой «практичности» статьи С. Антонова кроется и её слабая сторона. Написав много полезного по ряду вопросов, с которыми может столкнуться автор при написании рассказа (а я полагаю — и не только рассказа), С. Антонов, может быть, уж слишком практически всё «разложил по полочкам»; а главное — начал, так сказать, со второй главы.

Как уже было сказано, статья С. Антонова адресована литературной молодёжи. Поскольку С. Антонов не коснулся начала «акта творчества» (Белинский), законно опасение: не будет ли статья, вопреки намерениям её автора, воспринята слишком упрощённо?

В «Письмах о рассказе» С. Антонов вовсе не коснулся той категории

¹ «Письма о рассказе». «Литературная газета», №№ 152, 153, 154 и 155 за 1952 год.

психических явлений, какие определяют самое зарождение произведения. Я имею в виду явления, обычно называемые словами «вдохновение», «творческое горение» и подобными, к сожалению, производящими на нас несколько старомодное впечатление. Между тем очень важно уяснить, что в явлениях этого порядка в большинстве случаев и кроется одна из первопричин того, плохим или хорошим окажется произведение. Поскольку С. Антонов начал свои рассуждения с так называемой «технологической» стороны писательской работы, может случиться, что кое-кто из неискущённых новичков, изучив преподанные в «Письмах о рассказе» деловые советы, пожалуй, подумает: «Так вот, теперь я знаю, что и как следует делать и чего не нужно делать, когда создаёшь литературное произведение. Интересная идея у меня припасена, характеры действующих лиц задуманы, — съезжу-ка я в колхоз или на промышленное предприятие, изучу материал, да и примусь за работу...»

Можно представить себе, что опытный писатель с недюжинным талантом, обладающий большим запасом наблюдений, в отдельном случае сумеет и в результате мимолётного впечатления создать действительно художественное произведение, например, рассказ — жанровую картинку, типическую и характерную. Произведения подобного рода, к слову сказать, отлично писал Чехов.

Для начинающего писателя не может быть ничего пагубнее приведённого выше упрощённого рассуждения. Рассказ, возможно, будет написан, даже опубликован, в особенности если попадёт к редактору, мало озабоченному художественными достоинствами произведения. Но рассказ этот почти наверняка окажется недолговечным. Объясняется это просто: произведение такого рода — поверхностное, ремесленное. От него у читателя не увлажнятся глаза, читатель не ощутит волнения, горя или радости, сочувствуя героям. Почему? Да потому, что и писатель не очень волновался, создавая произведение. Автор продумал его, обсудил всесторонне, разработал план, характеры и прочее, но если он, хотя бы в некоторой мере, не испытал того, что выразил Пушкин в «Осени»:

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

.

— если этого нет, хотя бы в некоторой мере, трудно рассчитывать, что произведение взволнует читателя.

Возможно, у некоторых начинающих литераторов, а может быть, и не только у начинающих, приведение этой цитаты вызовет недоумение и мысли примерно такого рода: «Не слишком ли высоко хватил? Ведь то Пушкин! Большое искусство! А я имею в виду просто коротенький рассказ на десяти страницах. Ну, а если волнение долго не стесняет мою душу? Так и сидеть сложа руки, не приниматься за рассказ?» Для художника, верящего в себя и в своё искусство, для художника большого или малого — для самого художника его произведение, в особенности в начальной стадии создания, думается, не может быть малым искусством. Позже, когда произведение создано, оно может не оказаться большим искусством, —

судить об этом будет читатель. А зависит это от того, насколько строй мыслей автора созвучен духу времени, насколько автор верно и творчески отразил жизнь, от одарённости автора и от ряда других причин. Даже наличие ряда благоприятствующих обстоятельств не всегда обеспечивает создание произведения высокой художественности. Такова трудная специфика этого дела. Ведь и у больших мастеров слова наряду с безукоризненными произведениями встречаются сравнительно слабые вещи. Одна из важнейших причин таких неудач: автор не испытывал того волнения, которое нужно было, чтобы пробудилась вся его творческая сила.

Творческая взволнованность может иметь и не лирический характер, а иной; но взволнованность художника в период создания произведения — притом искренняя, а не напускная, искусственно «взвинченная», — нужно полагать, обязательна.

Особенно опасно смешивать взволнованность творческую с такой, например, как взволнованность автора по поводу возможного успеха его будущего произведения. Только способность к творческой взволнованности и то, как часто такого рода переживания овладевают человеком, насколько они интенсивны, — вот что в данном случае существенно.

Здесь мы вступаем в область понятий, которые сродни понятиям «творческое горение», «вдохновение» и подобным, а именно — в область условных понятий, обычно определяемых выражениями: «литературные способности», «одарённость», «талант». Последнее слово раз или два С. Антонов употребляет в своей статье, не задерживая на нём внимания, видимо довольно резонно полагая, что если человек берётся за перо, значит он имеет основания верить в свою одарённость, в свой талант или, по крайней мере, надеется на их наличие.

«Процесс творчества можно приблизительно представить себе в следующем виде: изучение сотен одноимённых частных явлений жизни, размышлений об этих частных явлениях, рождение идеи, превращение идеи в один обобщённый художественный образ», — слишком занявшись «технологией», пишет С. Антонов в начале своей статьи. Совершенно правильно фиксируя внимание на необходимости для писателя изучать явления жизни и размышлять о них, С. Антонов не упомянул, что эти условия — не более чем почва для создания произведения искусства. «Изучения» и «размышлений» может быть достаточно для какого-нибудь исследования, но для создания художественного произведения, вероятно, окажется далеко не достаточно.

А вот как представляется Белинскому совершающийся в душе художника акт творчества: идея художественного произведения, по мнению критика, «может быть одною из общих человеческих идей, давно уже известных; но художник берёт её не по выбору, но невольно, берёт её не как предмет ума созерцающего, но воспринимает её в себя своим чувством, обладаемый трепетным предчувствием её глубокого, таинственного смысла».

В этой цитате из произведения, написанного более ста лет назад, на первый взгляд нас может смутить утверждение, что художник берёт идею «не по выбору, но невольно». Но так кажется именно только на первый взгляд. Миросозерцание художника, строй его мыслей, способность художественно одарённой природы остро реагировать на явления жизни — как отрицательные, так и положительные, — присущее всякому прогрессивному художнику стремление к свету, добру, к правде — вот что определяет казалось бы независимый от воли художника выбор идеи. Воспринимает её художник «не как предмет ума созерцающего», но также — в равной, если не в большей мере, — своим чувством. Последнее особенно необходимо отметить. Так Гоголь показал в художественных образах ужа-

сающей разрушительной силы крепостническую Россию, ещё не отдавая себе полного отчёта в том, что сотворил.

Попробуем проследить акт творчества на произведении одного из советских писателей — на рассказе Бориса Зубавина «Сталинградский плёс». Из этого не следует, что я считаю данный маленький рассказ лучшим из подобных или хотя бы одним из лучших. Мне хочется рассмотреть его ввиду простоты сюжета, который зиждется всего на одном характере.

Содержание рассказа таково: старик-бакенщик, простой русский человек, в разгар боёв под Сталинградом слышит, как ночью фашистский самолёт сбросил в Волгу на подступах к Сталинграду две мины. Бакенщик, хорошо знающий свой участок, определил по звуку, что обе мины упали вдали от берега, в полосе фарватера. Он тотчас связывается по телефону с диспетчером, но для того две мины — лишь одно из множества подобных событий, и диспетчер советует бакенщику попробовать выловить мины своими средствами. Бакенщик не может ждать — мины лежат на его участке. Его участок закрыт для движения. Бакенщик призывает на помощь жену и двух знакомых женщин, вчетвером они лезут в воду, и «простодушные люди пытались ловить мины, как рыбу». Понятно, что это не удаётся, и мины остаются на дне. Пароходы стоят, на одном из них — эвакуируемые из Сталинграда дети, а со стороны Сталинграда доносится грохот канонады. Прилетает и садится на воду гидросамолёт, с него кричат: «—Бакенщик, кто закрыл фарватер?». «—Я», — робея, отвечает бакенщик. «—На каком основании?». «—На основании инструкции». Но действительно ли сброшены мины? И вот бакенщик сидит на берегу и терзается сомнениями. Об этом Б. Зубавину не пришлось писать много: читателю и без того ясно, что творится в душе бакенщика. Старик отлично понимает, как важно, чтобы волжская дорога не была закрыта ни на одну минуту. В возбуждённом состоянии, вероятно даже переоценивая ответственность, свалившуюся на него, скромного человека, бакенщик, возможно, думает, что от него, от того, что он, простой бакенщик, прервал сообщение, зависит судьба Сталинграда. А если он ошибся?.. И каждую минуту могут прилететь вражеские самолёты, легко разбомбить остановленные пароходы, а на одном из них — дети... Может быть, лучше всё-таки рискнуть — открыть фарватер? Но если пароход подорвётся, погибнут дети, погибнет груз? Никто не может помочь старику. Он один должен решить трудную и страшную задачу. Вот что ощущаешь, читая рассказ, хотя, повторяю, автор написал обо всём этом очень немного.

Как ни трудны обстоятельства, старик не сдаётся. Он продолжает упорно искать выход. И наконец бакенщика точно осеняет: а может быть, под берегом, где сумел пробраться катер, глубина окажется достаточной и для пароходов? Нырять с шестом в руках, бакенщик производит промер глубины и находит, что в самом мелком месте под берегом глубина «чуть меньше двух метров», а везде — больше двух. Бакенщик обставляет бакенами промеренный участок.

Чтобы дать более полное представление об этом коротеньком произведении Б. Зубавина тем, кто его не читал, я приведу небольшие выписки из последних страничек рассказа:

«С верхних пароходов заметили его возню и послали к нему полуглиссер.

Полуглиссер красиво прошёл мимо, потом, накренившись, взрывая волну, описал полукруг. Оттуда закричали:

— Эй, бакенщик, что делаешь?

— Дно меряю.

— Ну, как?

— Должны пройти... Если к белым бакенам вплитирку, то должны бы... Ему даже не дали одеться и повезли к пароходам...

— У вас какая осадка, капитан? — спросил он, ещё взбираясь босыми ступнями по лестнице, нагретой солнцем.

— Метр девяносто пять, — ответил капитан, разжав толстые губы, чтобы только сказать это, и опять плотно сжал их.

Иван Никитич (бакенщик. — В. М.) остановился около него. Трудно. Пароход может сесть на мель. Иван Никитич всё-таки надеялся, что осадка будет меньше.

Военный моряк, прилетевший на самолёте, стоял рядом с капитаном. — Ведите пароход, — сердито сказал он.

— Я не лощман, — разозлился Иван Никитич, — я бакенщик.

Моряк, будто не расслышав ответа, сказал:

— Учтите, что наш пароход сидит глубже всех. Если он пройдёт — все пройдут.

— Ну, ладно, — после долгого раздумья согласился Иван Никитич. — Только тогда слушай мою команду.

Он стал рядом с рулевым.

— Поехали помаленьку, — сказал Иван Никитич.

Пароход начал медленно подходить к перекату, держась почти вплитирку к бакенам левым бортом. Сзади выстроились в кильватер другие пароходы, и буксир с баржей, отстав ото всех на почтительное расстояние, победно прогудел...

Пароход тихо тянуло течением на перекат. Вдруг его чем-то мягким толкнуло снизу, и он остановился. Это было самое страшное. Казалось, прошло много времени в тишине, и никто не заметил, как пароход снова поплыл, а только слышали, что под килем прошуршал песок.

— Хорошо, — сказал Иван Никитич. — Прошли».

Полагаю, что этот маленький, всего на шести страничках, рассказ вполне заслуживает положительной оценки. Читая его, испытываешь гордость за человека и много других хороших чувств. Как добился этого Б. Зубавин? Мне представляется, что он, как и очень многие, в годы войны наблюдал множество простых людей, видел проявляемый ими патриотизм, мужество, чувство долга, ответственности и иные положительные качества, обострившиеся в трудных условиях. В душе писателя зародилась идея духовного величия русского человека. Возможно, даже вероятно, что Б. Зубавин носил в себе идею, не отдавая себе в том ясного отчёта. Но вряд ли то было спокойное размышление по данному вопросу. Идея волновала художника. Поэтому-то Зубавину и удалось написать волнующий рассказ. Вероятно, каждому писателю знакомо это навязчивое стремление написать о чём-то и тем самым как бы «развязаться» с этим — навязчивое стремление воплотить идею в образах. И вот наступил период, когда идея облеклась в сознании художника в живые образы. Что касается случая, описанного в рассказе, то, может быть, автор наблюдал его, а может быть, только слышал о нём или, наконец, даже придумал его. Однако по-иному, вероятно, обстояло дело с бакенщиком. Этого человека — или человека, на которого бакенщик похож внутренними чертами, или людей, из совокупности внутренних черт которых в воображении Б. Зубавина возник образ бакенщика, — Б. Зубавин, конечно, видал. Может быть, это был вовсе не бакенщик, а представитель иной профессии.

Наступил момент, когда автор представил себе ясно и героя, и обстановку, и событие. Всё это вполне соответствовало правде жизни; мало того — всё это было типично для того времени, для поведения советского человека в то время. Вероятно, Б. Зубавин и на этой стадии работы испортил ещё не мало бумаги. Однако, мне думается, что и эта часть писатель-

ского труда значительно облегчается творческой взволнованностью художника. В этом состоянии интеллект художника «работает» очень напряжённо: память предлагает особенно нужную деталь, на которую нехудожник и не обратил бы внимания; воображение рисует яркую картину, ухо ловит характерное, нужное слово. И вот, возможно, без заметных усилий, без «труда», а доставляя автору радостное ощущение удовлетворения, ложится на бумагу такая мелкая, но сразу конкретизирующая образ деталь, как манера жены бакенщика потуже затягивать узел косынки под подбородком, когда она решалась на какое-нибудь важное дело. Где-то, когда-то деталь была замечена художником и выплыла, едва он стал живописать человека, для которого она характерна. Характерны и слова диалога: по нескольким лаконическим фразам читатель ощущает и говорящего, и исторический период, когда говорили именно так, а не иначе.

В «Сталинградском плесе» Б. Зубавин показал положительный и колоритный характер советского человека, сына своей эпохи. Перед нами патриот, человек долга, способный на самопожертвование, простодушный, глубоко мирный человек, лучшие стороны которого выявляются в трудную минуту. Такой человек может служить образцом, ему захотят подражать.

Бакенщик говорит только самые простые, будничные слова, скупно выявляет свою сущность. Почему же, однако, в сознании у читателя создаётся образ бакенщика? Понятно, прежде всего из его действий. Однако так же очевидно, что, если бы автор ограничился описанием поступков героя, читатель не получил бы и сотой доли впечатления, какое производит художественный образ бакенщика и рассказ в целом. Дело, конечно, и в том, что говорит бакенщик, но и в том, как он это говорит. Диспетчеру бакенщик говорит: «— Как-то вы чудно отвечаете... Чем я, багром, что ли, буду их (мины.—В. М.) искать?» Жене бакенщик жалуется на диспетчера: «— Сами, говорит, поищите» — и тут же приказывает: «— Ну иди, стало быть, клинки Буровых» и т. д., и т. д. Ни одного возвышенного, ни одного «громкого» слова не вложил Б. Зубавин в уста своего героя, никаких рассуждений, например о необходимости риска, о самопожертвовании и т. п., — а характер бакенщика, его натура совершенно ясны читателю. Ясны потому, что в воображении автора бакенщик — живой человек, со всеми свойственными ему мелкими и крупными психологическими чертами. Образ его целен, и потому достаточно бакенщику хмыкнуть, повести бровью, чтобы и это способствовало выявлению его характера.

Однако мы забрались уже на другую «полочку», которую С. Антонов так и обозначил: «Характер».

«Вы всегда будете обречены на неудачу, если попытаетесь «сочинить» характер героя», — совершенно справедливо говорит по этому поводу С. Антонов. Но ценность следующего его утверждения, а именно: задача писателя состоит в том, чтобы «подмечать, оценивать и фиксировать... черты, присущие тому социальному типу, представителем которого является задуманный персонаж...» (выделено мною.—В. М.), представляется очень спорной, не говоря уже о том, что второе утверждение противоречит первому. Ибо из второго утверждения явствует, что художник должен сперва «задумать» персонаж, то есть его характер, а потом подмечать и фиксировать те встречающиеся в жизни черты, которые могут пригодиться для обрисовки задуманного характера.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение характера будущего персонажа в воображении автора, вероятно, различны. Повидимому, возможна различная степень зависимости и взаимовлияния между наблюдениями и замыслом характера. Но если попытаться вывести правило для большинства случаев, нельзя не признать, что во втором утверждении С. Антонова вопрос перевернут вверх ногами. Ведь речь идёт не о романтических, не об авантюрных или фантастических, но о реалистических

произведениях. А что же такое прототип? Что же, Л. Толстой сначала задумал характер Наташи Ростовой, а потом, встретив в своей свояченице Берс (впоследствии Кузминской) те черты, которые оказались подходящими для задуманного образа Наташи, подметил их и зафиксировал? Конечно, нет. Имеется достаточно свидетельств, что Толстой встретил Т. А. Кузминскую раньше. В результате этого общения — и, вероятно, многих других наблюдений и впечатлений — в воображении Толстого и конкретизировался характер Наташи Ростовой, до того, возможно, только витавший, как ещё очень общее и неопределённое представление, в воображении художника. В воображении Толстого возник характер Наташи Ростовой, во многом родственный характеру Берс-Кузминской. Возникновение характера Наташи в некоторой мере можно даже проследить. Вот, например, выписка из воспоминаний Т. А. Кузминской: «В одной из кадрили, в шестой фигуре, мне пришлось плясать русскую. Так как я плохо помню про себя, то предпочитаю привести то, что писала Варвара Валериановна Нагорнова в 1916 году, в приложении к газете «Новое Время», в статье «Оригинал Наташи Ростовой».

«В шестой фигуре оркестр заиграл известную в те времена плясовую «Камаринскую». Лев Николаевич стал вызывать, кто может плясать «русскую», но все стояли молча. Тогда он обратился к Колокольцову со словами: «Пройдитесь, неужели вы можете устоять на месте!» Оркестр забирал всё больше и больше. «Ну, ну», — понукал Лев Николаевич. Колокольцов сделал решительный шаг вперёд и, описав круг, остановился с поклоном перед Таней. Я видела её колебания, и мне стало страшно за неё».

Но не только Варя, а и сама я чувствовала робость, а вместе с тем еле-еле стояла на месте. Я чувствовала, как во мне дрожало сердце, как дрожали плечи, руки, ноги, и как они сами, помимо моей воли, могли бы делать то, что нужно.

Варенька пишет:

«Лицо её выражало восторженную решительность и, вдруг, подбоченясь одной рукой и подняв другую, она лёгкими шагами поплыла навстречу Колокольцову. Кто-то бросил ей платок. Подхватив его на лету, она уже не заботилась об окружающих. Плясала так, как будто она никогда ничего другого не делала».

Ввиду его общеизвестности было бы излишним цитировать соответствующий эпизод из романа «Война и мир».

Даже учитывая, что эти воспоминания были опубликованы после выхода в свет «Войны и мира» и что чтение романа в некоторой мере могло повлиять на их автора, всё же они весьма показательны.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что большинство пользующихся известностью персонажей из произведений крупных мастеров русской реалистической школы второй половины прошлого века имеет прототипов в лице одного или нескольких реально существовавших людей. Таковы тургеневские Ермолай и Калиныч, многие герои произведений Короленко, персонажи Горького, не говоря о ряде героев «Войны и мира» и других произведений Л. Толстого.

Изложенное можно было бы подкрепить многими примерами, но, несмотря на важность вопроса, я ограничусь только одним. В последнем издании произведений Короленко помещена фотография, изображающая старого крестьянина. Текст под фотографией гласит: «Захар Цыкунов из Амги, послуживший прообразом Макара в рассказе В. Г. Короленко «Сон Макара».

Понятно, здесь мы оперируем в области, где, как и в любом вопросе искусства, трудно обозначить чёткие границы. Однако мне представляется более правильным, более желательным путь от наблюдаемого в жизни

к воображаемому образу, характеру, а не обратный путь — от задуманного характера к наблюдению, каковое, в лучшем случае, будет только иллюстрировать идею автора. Последний путь, кроме того, что он, по всей видимости, для творческого процесса противостоит, ещё и чреват опасностями, так как от понятия «задуманный» трудно отличимо понятие «заданный» (хотя бы художником самому себе). Когда же художник задаётся целью нарисовать такой-то и такой-то характер не потому, что встретил этот или аналогичные характеры в жизни, не потому, что они поразили его воображение художника и он томится желанием передать их в образах, а вследствие иного импульса, то эта предвзятость — элемент для художественного произведения убийственный. Отсюда-то, по видимому, и возникают схематические «образы». Предположим, автор задумал показать очень положительный персонаж — мужественного, идейного советского человека, честного в широком понимании этого слова. Но у автора недостаточно зоркий глаз, внутренние черты людей ускользают от него, и автор пускается по пути наименьшего сопротивления: посылает героя в атаку, придумывает тираду и заставляет героя тут же произнести её на высокой ноте. Автор полагает, что он уже выявил одну положительную черту характера своего персонажа. Возвратившись к мирной жизни, герой таким же образом заявляет о своих намерениях добиться высоких целей и т. п. И схематический «образ» готов. А читатель, хотя он и не обладает таким зорким глазом, какой должен быть у художника, всё же не настолько лишён наблюдательности, чтобы не почувствовать фальши. Да автор и сам не верит такому придуманному характеру и, законно опасаясь, что читатель не поверит, какой перед ним человек, изо всех сил старается разъяснить это, вкладывая в уста персонажа «соответствующие» речи, и тем только ухудшает дело.

При создании литературно-художественного произведения, в том числе и рассказа, очень важны вопросы, на которых сосредоточил внимание С. Антонов в своей статье. Однако мы видим, что очень существенна и трудно уловимая, трудно анализируемая внутренняя работа писателя, начинающаяся до того, как он берётся за перо. Показательно, что С. Антонов (хотя в своей статье он и не интересовался этой категорией явлений) не мог не коснуться понятия авторской взволнованности в одном случае, а именно, когда писал о рассказе Овечкина — лучшем из тех, которые рассмотрены в статье.

С. Антонов сетует на употребление нашими критиками слишком общих выражений: «Язык... лишённый внешнего блеска, отличается точностью и простотой», или: «Повествование ведётся, за немногими исключениями, простым и ясным, почти разговорным языком». «В рассказе употребляется не первое пришедшее на ум слово, а слово единственное, самое меткое и точное...», — правильно пишет сам С. Антонов, а в качестве примера приводит цитату из рассказа Л. Толстого «Хозяин и работник»: «— Готов, — отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и с т у к н у л а н а с т о л » (выделено мною. — В. М.).

Мне кажется, экононое выражение критика — «отличается точностью и простотой» — определяет характерные особенности текста. О том, что писатель пользуется не первыми попавшимися словами, достаточно говорит упоминание критика, что язык писателя отличается точностью. Что же касается толстовского «стукнула», то ведь оно и для толстовского текста — редчайшее исключение. Достаточно прочесть несколько страниц рассказа «Хозяин и работник», написанных точным и ясным языком, чтобы в этом убедиться. Второго аналогичного примера в этом рассказе не найдёшь. Кроме того: так ли просто обстоит дело с этим «стукнула»,

как это представляется С. Антонову? Является ли это слово только самым точным? Я в этом не уверен, и С. Антонов не убедил меня, так как он не обратил внимания на главную особенность приведённого им сочетания слов. Дело в том, что глагол «стукнуть» не требует предлога «на», то есть Л. Толстой, не желая отказать от глагола «стукнула», должен был бы очень плохо написать: «самоваром стукнула по столу». Однако Л. Толстой очень хорошо написал: «самовар... стукнула на стол». И мне кажется, что в этой неправильности и кроется секрет воздействия данного сочетания слов. Выбор слова, которое можно было бы написать вместо «стукнула» между словами «самовар» и «на стол», не так велик. Он примерно таков: «поставила», «водрузила», «взгромоздила», «опустила». Очевидно, что слово «стукнула» к числу возможных в этом ряду слов, из которого нужно выбрать самое точное, не принадлежит. Думается, что секрет обаяния этой толстовской фразы в том и заключается, что слово «стукнула» употреблено здесь, как употребляли его в народе, то есть не точно грамматически, но очень точно и содержательно с точки зрения образной, так как в этих словах в высшей степени сжато и определённо передано действие — мы видим жест, ощущаем напряжение мышц и воли человека, несущего тяжесть, его освобождение от трудного усилия. Позволю себе сослаться на другое, аналогичное по результату, сочетание слов. «В третьем часу пополудни приласкалась к Григорию пуля», — написал в «Тихом Доне» М. Шолохов. Ясно, что сила глагола «приласкалась» не в его точности. Это слово употреблено здесь уже явно не в точном, а в переносном смысле, причём этот новый смысл не является общеупотребительным. Не знаю, сумел ли бы сам автор «Тихого Дона» подыскать нужную «полочку» для своей словесной находки, и не предполагаю, что он потратил много усилий на отыскание замечательного «приласкалась». Думаю, что это слово пришло к нему «вдруг», но как следствие напряжённой творческой устремлённости интеллекта большого художника. А как много даёт почувствовать это неожиданное «приласкалась»! Не умом, но чувством воспринимаем мы и намёк на горькую иронию, и настроение тех людей, того времени, когда смерть каждому из них была ближе ласковой подруги, и живущее на дне мятущейся души Григория сомнение, что, может быть, лучший для него исход — пуля, и потому, если пуля пока ещё только задела, легко ранила, то всё-таки, значит, не забыла Григория своей милостью, «приласкалась» к нему...

Таким образом, в отношении начинающих, мне думается, следует ограничиться советом писать просто, экономно, ясно, стремиться употреблять точные слова и выражения, не жалея на это труда. Если же молодого писателя осенит «авторская находка», аналогичная вышеприведённым, то это будет его большой удачей. Что же касается индивидуального писательского «почерка», то о нём не нужно заботиться: если он выявится, то сам собой.

Спорным представляется мне предложение С. Антонова заменять в рассказах дословную передачу споров и размышлений «не в меру разговорчивых персонажей» кратким изложением их бесед, передавать не самый разговор, а то впечатление, какое должно быть создано в результате этого разговора. С. Антонов советует «чаще писать так, как писал Чехов: «Она много говорила, и вопросы у неё были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чём спрашивала». Если не совет, то его обоснование представляется сомнительным. Прочитанная чеховская фраза вовсе не является изложением какой-то беседы или речи, но рисует одну из особенностей персонажа, а именно — манеру говорить, то есть является портретной чертой, и только.

Конечно, не только у Чехова можно учиться «не писать двух слов там, где достаточно одного». Вот, например, выписка из рассказа Тургенева «Ермолай и мельничиха»: «Мы вышли из роши, спустились с холма. Река катила темносиние волны; воздух густел, отягчённый ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» раздался сиплый и заспанный голос. — «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. — «Мы заплатим». — «Пойду, скажу хозяину... Цыц, проклятые!.. Эх на вас погибели нет!» — Мы слышали, как работник вошёл в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет», говорит: «хозяин не велит пускать». — «Отчего не велит?» — «Да боится: вы охотники; чего доброго, мельницу зажжёте; вишь, у вас снаряды какие». — «Да что за вздор!» — «У нас и так в прошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, зная, как-нибудь и подожгли». — «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» — «Как знаете»... Он ушёл, стуча сапогами».

Что можно было бы добавить к этим нескольким строчкам для дополнения картины? Ничего. Весна чувствуется потому, что река волны «катила» (значит была полноводна). Обстановку мы представляем себе вполне ясно, даже чувствуется — хотя об этом и не написано, — что работник смотрел на пришельцев через какую-нибудь щель в воротах.

Характер работника выявлен, выявлен и характер хозяина, хотя о нём можно судить всего по нескольким словам работника. Но этого мало: десятка строк Тургеневу оказалось достаточно, чтобы приметы времени, и довольно яркие, были налицо. «Что за вздор!» — это барственный окрик помещика. А то, что вчерашний мужик, сегодняшний богатей-мельник, не пускает барина ночевать, и самый тон работника убедительно говорят: времена меняются, и кулаку на барина уже, без малого, наплевать. Показать всё это Тургеневу помог именно диалог — живой, яркий, правдивый и настолько экономный, что написан он даже без красных строк. В приведённом отрывке всё настолько просто, что, кажется, каждый мог бы написать так же. Но, конечно, это только кажется. Во всяком случае после такой образцовой прозы хочется схватить карандаш и безжалостно вычёркивать всё лишнее из своего текста.

В чём же «секрет» этой отличной прозы? Повидимому, прежде всего в том, что Тургенев полно и ясно видел и слышал то, что он описывает; в способности Тургенева чувствовать характерное, типическое и выделять самое главное, а также в суровой простоте текста, в том, что Тургеневу в данном случае решительно чужды словесные украшения. Проще говоря, для того, чтобы написать примерно так, нужно обладать талантом, примерно равным тургеневскому. Что касается вычёркивания из текста всего лишнего, то это дело очень полезное.

С. Антонов высказал ещё следующую мысль: «Точка зрения персонажа всегда придаёт авторской речи особенный колорит, всегда по-особенному окрашивает её». Такой случай якобы имеет место в рассказе «Хозяин и работник», в четвёртой главе которого читатель будто бы предчувствует, что дальнейшее повествование пойдёт «с точки зрения кого-нибудь из деревенских персонажей». И рассказ будто бы действительно «некоторое время продолжается с точки зрения Никиты». Сколько я ни вчитывался в рассказ «Хозяин и работник», я решительно не уловил изменения авторской точки зрения. По-моему, рассказ с начала до конца написан Л. Толстым с одной точки зрения, если угодно — с точки зрения «кого-нибудь из деревенских персонажей». Но ведь никаких иных персонажей в рассказе нет.

Понятно, совершенство языка, как ни велика его роль в творчестве писателя, ещё не определяет значения наших мастеров послепушкинского периода. Одухотворённость общечеловеческими прогрессивными и революционными идеями, художественность, поэтичность, то есть всё то,

о чём лучше почитать у наших великих критиков, начиная с Белинского, и на что неоднократно обращали внимание советских писателей партии и Советское правительство, определяет мировое значение русской реалистической литературной школы. Общественно-политическая нота в русской реалистической литературе не производит впечатления предвзятой, не дисгармонирует с художественной стороной; именно глубина общественно-политического содержания в первую очередь и обуславливает высокую художественность произведения. Почему это было так? Да потому, что идею каждого произведения его творец брал «не по выбору», «не как предмет ума созерцающего, но воспринимал её в себя своим чувством».

Хотя и об этом много говорилось и писалось, хочется ещё раз обратить внимание молодёжи на трезвый реализм, который был всегда присущ русской реалистической школе. А после Чехова, Горького мы уже хотим не «вымысла», мы хотим, чтобы проза (например, рассказ) производила впечатление самой жизни. Чтобы сказанное стало яснее, я позволю себе напомнить о рассказчике с большим именем, об отличном мастере короткого рассказа американце О'Генри. Его рассказы заслуженно пользуются мировой известностью, обладают многими несомненными достоинствами. Особенно нравятся читателям «неожиданные» концовки рассказов О'Генри, придающие им остроту, что и является особенностью этого автора. Рассказы О'Генри безусловно реалистичны, и всё-таки, когда прочтёшь не один рассказ, а целую книжку О'Генри, вот эта самая, прославившая писателя «неожиданная» концовка — хотя она всегда отлично подготовлена, — её повторяемость, её обязательность представляется нарочитой, каждый раз придуманной, чтобы повысить интерес рассказа. И после этого сами рассказы, — точно искусственные концовки набросили на них какую-то тень, — кажутся не такими правдивыми.

Мне хочется возразить С. Антонову ещё по одному пункту.

С. Антонов написал о своей мечте «написать короткий рассказ, в котором будет изображено только одно, единственное событие, представляющее героя, а следовательно, и идею, в отчётливом, очищенном от случайностей виде». Я позволю себе усомниться и в ценности такого рода опыта и в его успехе. Эксперимент такого рода — то есть когда писателя интересуют прежде всего несколько «головоломные» исходные условия, когда он собирается «решать задачу», условия которой искусственны, это скорей уместно в ребусе или шараде, но имеет малое отношение к искусству. И если писатель поставит себе задачу, предложенную С. Антоновым, не приведёт ли это к отказу от самой существенной художественной особенности рассказа как жанра — от возможности изобразить человека в такой «случайный» момент его жизни, когда его поведение, его особенная душевная реакция на событие, возникшая у него по данному поводу мысль сразу осветит весь духовный склад человека, всю основу его взаимоотношений с другими людьми, с обществом, всю суть прожитой им жизни?

Наконец, мне кажется (особенно для литературной молодёжи), нужна следующая оговорка, относящаяся ко многим рассуждениям и выводам-советам С. Антонова. Их нельзя рассматривать как рецепты, но лишь как повод для размышлений над проблемой обрисовки характера, построения сюжета, конфликта и т. п. Всякая «технологическая» систематизация в этом деле может привести к однообразию — явлению в искусстве крайне прискорбному.

Понятно, что конфликт или столкновение, например столкновение различных характеров, как это имеет место в пушкинском «Выстреле» или в одном из лучших рассказов Мериме «Матео Фальконе», способствует

увлекательности рассказа. Тем более способствует этому столкновение групп людей, общественных сил, или внутренний конфликт персонажа, то есть столкновение противоположных черт в одном характере и т. п. А в рассказе Л. Толстого «Метель» нет конфликта, но «Метель» — прекрасный рассказ. Возьмём полярный пример — рассказ Мериме «Упыри». В этом рассказе нет ни конфликта, ни героя, ни характеров. «Упыри», по существу, не более чем литературная мистификация, а между тем это хороший рассказ, за плечами которого уже долгая жизнь. И «Знаменитая скачущая лягушка» М. Твена — тоже неплохой рассказ, хотя там всего один, да и то не бог весть какой значительный характер. Конечно, этот характер достаточно колоритен и типичен, но в твеновской галлерее есть много характеров, куда более интересных. Зато можно сказать наверняка, что у М. Твена «внутренности тряслись» от смеха и страстного желания сделать достоянием читателей эту уморительную историю со скачущей лягушкой. Отличный рассказ «Русак» Л. Толстого, но в нём решительно нет конфликта, а только описание морозной ночи да как заяц-русак провёл её, а под утро улёгся спать. А обаятельно хорош этот крошечный рассказ Л. Толстого потому, что в нём отразилась проникновенная любовь великого художника к родине, к её природе, к жизни во всех её проявлениях. Так что дело не в рецептах...



КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

П. Шебунин. Сквозь тусклое оконце...— **Л. Михайлова.** «Свет ты наш, Верхovina...» — **Г. Фридендер.** Новые тома Л. Н. Толстого.— **Ю. Стрехнин.** Не обходить трудного! — **М. Лифшиц.** «Крепостные мастера».— **М. Школенко.** Исторический роман Юрия Смолича.— **К. Шостак.** Книга о наших детях.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат экономических наук **Д. Валентей.** Капитализм — современная форма рабства.— Кандидат исторических наук **К. Мизиано.** Великий сын итальянского народа.— Кандидат философских наук **П. Чернашин.** Нераскрытая тема.— Кандидат исторических наук **С. Шмидт.** Ценный исторический труд.— **Ел. Будилова.** Новое издание работ И. М. Сеченова.— **И. Крупеников.** Сальские степи прежде и теперь.

Литература и искусство

Сквозь тусклое оконце...

На последнем пленуме правления Союза советских писателей Киргизии главный редактор альманаха «Киргизстан» **Н. Чекменёв** с жаром доказывал, что редактируемый им альманах не является худшим в Советском Союзе. Он уверял собравшихся в зале писателей и гостей, что есть два альманаха, которые делаются ещё хуже.

Нет нужды решать поднятый **Н. Чекменёв** на пленуме спор о том, является ли альманах «Киргизстан» худшим в нашей стране. Важно другое — сам редактор не увидел в доверенном ему органе никаких достоинств, кроме разве того, что альманах всё же выходит.

В чём же причины такого печального положения? Почему в витринах книжных магазинов и газетных киосков очередные номера альманаха желтеют под жгучими лучами южного солнца, не привлекая к себе внимания читателей? Почему опубликованные в нём произведения русских писателей не выходят затем отдельными книгами?

Ответ на эти вопросы дают очередные номера. Вот три последних — за 1952 год. Можно прочитать их от первой страницы до последней и почти ничего не узнать о

жизни республики. Столица Киргизии, город Фрунзе, созданный на месте бывшего посёлка Пишпек, стал не только крупным административным, но и культурным центром. Здесь работает Киргизский филиал Академии наук СССР, здесь сравнительно недавно создан университет, имеются другие высшие учебные заведения. За годы советской власти неизмеримо выросла культура киргизского народа, создан большой отряд национальной интеллигенции. Разительные перемены произошли и в хозяйстве республики. Страна былых кочевий превратилась в республику с крупной промышленностью и передовым колхозным сельским хозяйством.

Обо всём этом ежедневно рассказывают газеты. Но читатели альманаха «Киргизстан», читая книжку за книжкой, не узнают, чем живёт республика, не найдут образов своих современников — тружеников заводов и полей, представителей киргизской интеллигенции. Создаётся впечатление, что русские писатели, живущие в Киргизии, видят жизнь лишь сквозь тусклое оконце, дающее возможность улавливать только отдельные контуры окружающего.

Первая книга альманаха за прошлый год заполнена в основном переводами с киргизского. Два рассказа и стихотворения трёх авторов — вот всё, что мог предложить аль-

«Киргизстан». Литературно-художественный альманах. Орган Союза советских писателей Киргизии. №№ 1, 2 и 3 за 1952 год. Издательство «Кызыл Киргизстан». Фрунзе.

манах вниманию читателей из произведений, написанных на русском языке.

Героем рассказа П. Оплачкина «Знатный животновод» является Николай Алымбаев, участник Отечественной войны, потерявший на фронте обе ноги и руку. Как выясняется из рассказа, Николай Алымбаев находит место в общем строю, становится знатным животноводом. Но увы, больше из рассказа мы о Николае Алымбаеве ничего узнать не можем. Рассказ, по существу, посвящён не знатному животноводу, а животноводческой ферме. Здесь говорится, что средний удой коров достигает трёх тысяч литров, рассказывается, что в мякину добавляется тыква, а в силос весной идут дикорастущие травы, летом — кукуруза, осенью — кукурузные початки, свёкла и тыква. Из рассказа можно почерпнуть ещё кой-какие поверхностные сведения о животноводстве. Но сам герой рассказа выступает лишь в качестве гида, ведущего автора по ферме да сообщающего те или иные сведения. Его духовный мир, его переживания автора не интересуют.

Во второй книжке альманаха помещены главы из повести Н. Удалова «На большом Кемине». Если печатаются главы или отрывки из художественного произведения, то предполагается, что оно уже написано и может быть предложено вниманию читателя. Но Н. Удалов ещё не закончил работу над своей повестью, её можно пока рассматривать как первый черновой набросок, в котором автору очень многое не удалось. Стоило ли печатать отрывки, по которым читатель не может судить о содержании произведения?

Большое место во второй книжке занимает раздел «Творчество молодых». Известно, что в альманахах, издающихся в областях, краях и республиках, печатаются в основном молодые литераторы. Не может претендовать на положение маститого П. Оплачкин, опубликовавший один неудачный рассказ. Вряд ли претендуют на это положение и другие авторы, чьи произведения печатаются вне этого раздела.

Кого же редакция зачислила в молодые? Читатели обнаружат здесь с удивлением стихи Сергея Фиксина, уже много лет работающего в литературе. Встрелят они и переводы с киргизского стихов Мусы Джангалиева — широко известного в Киргизии автора стихотворений для детей. Очевидно, введением этого раздела редакционная коллегия хотела создать лишь видимость того,

что она работает с молодыми авторами, привлекает их к созданию очередных книжек альманаха. Кстати сказать, в третьем номере альманаха стихи Мусы Джангалиева уже печатаются вне рубрики «Творчество молодых». Видимо, редколлегия альманаха полагает, что, напечатав один раз стихи поэта, она уже сделала его вполне зрелым.

В третьей книжке русская проза представлена главами из повести Василия Паршкова «По горным тропам» и рассказами — М. Димента «Проводник вагона» и М. Зверева «Орёл Азамата».

В. Паршкову удалось отобрать для альманаха главы, сюжетно связанные, представляющие собой законченное повествование. Читатели республики знают Василия Паршкова как автора удачных охотничьих рассказов, поэтично рисующего своеобразную природу Киргизии. В повести «По горным тропам» есть немало удачных картин природы, причём она даётся через восприятие ребят. В. Паршков знает детский мир, любит своих маленьких героев. Он не заставляет их совершать какие-нибудь непосильные детям героические дела, они помогают взрослым в их повседневной работе, при этом ведут себя по-детски и иногда попадают из-за этого в трудные положения. Увлёкшись поисками элика — горного козлёнка, — дети потеряли корову из доверенного им стада. На поиски коровы отправляется один из мальчиков — Борис. Застигнутый грозой, он вынужден искать приюта в горной пещере. Нурмат, его верный друг, находит Бориса; они укрываются в пещере. Без всяких натяжек, без излишнего пафоса писатель рассказывает о верной дружбе, о смелости и находчивости детей.

Но в конце повести В. Паршков изменяет своей хорошей писательской манере. Дети, находясь в пещере, собрали образцы горных пород для школы. Оказывается, что они нашли образцы ценных руд. На этом можно было бы поставить точку, но автор пускается в пространные объяснения, почему именно Борис и Нурмат собрали камешки в пещере: этому, мол, их учили в школе, это не случайно, а закономерно, образцы пород ищут тысячи школьников и т. д. и т. п. Эти отвлечённые и длиннейшие рассуждения могут навеять лишь скуку, ничего не прибавляя к тому, что мы узнали из повести. Чрезвычайно наивной выглядит игра, которую затевают приезжий инженер-

геолог и колхозники с переименованием маленькой пещеры, где нашли приют Борис и Нурмат, в пещеру Мира. Здесь автора, очевидно, прельстила символика: в пещере живут дикие голуби; голуби — символ мира.

Крайне неубедительно выглядит рассказ М. Димента «Проводник вагона». Проводник рассказывает пассажирам, как однажды в Кремле сразу получали ордена отец и сын. Отец — за трудовые подвиги, сын — за боевые. Потом проводник надевает форменный китель с прикрепленным к нему орденом, и все догадываются, что старик рассказывал о себе. Всё содержание рассказа сводится к сентенции: и боевые и трудовые подвиги одинаково вознаграждаются. Но читатели знали это и до того, как прочитали рассказ М. Димента.

В киргизской литературе ещё не создано ни одного прозаического произведения, посвящённого рабочему классу. И русские писатели, живущие в республике, не сделали ничего для освещения этой новой для Киргизии темы. За весь год альманах не напечатал ни рассказа, ни очерка о людях промышленности.

Бледна и поэзия. Стихотворения Б. Левитуса «Акын» и В. Цыбина «Ученик» и «Учитель» состоят из одних общих слов. Содержание этих стихотворений целиком исчерпывается их названиями: акын поёт о высоком урожае, ученик мечтает водить машины и строить города, а учитель не спит на рассвете, потому что надо проверять тетради. Эти короткие мысли не могли родить и богатых слов.

Стихотворение А. Битюкова риторично и изобилует восклицательными знаками. «Счастливым днём» — так назвал его автор. Описывая окончание школы, он не внёс в стихотворение ничего своего и лишь сообщает, что каждый молодой человек сможет стать, кем захочет. Но читатели это знали в такой общей форме и раньше.

Стихотворение, лишённое мысли, лишённое живого чувства, отношения автора к описываемым событиям, не может вызвать никаких мыслей и эмоций и у читателя. К сожалению, об этом забывают авторы многих стихотворений, опубликованных за прошедший год в альманахе. Читаешь одно стихотворение за другим, и создаётся впечатление, что их писал один человек, — так они похожи друг на друга, безлики. Частичных удач здесь очень мало, неудач — очень много.

И прозаики и поэты недостаточно знают жизнь только по старым воспоминаниям да по газетным сообщениям. Но ни один русский писатель, живущий в Киргизии, не дал себе даже труда изучить киргизский язык. Прозаики обращаются к колхозной теме, которая больше всего разработана их товарищами — киргизскими писателями; поэты, живя в Киргизии, пишут о Волго-Доне, где они никогда не бывали, или создают стихи, лишённые вообще всякой конкретности.

Альманахи, выходящие на русском языке в национальных республиках, призваны знакомить русского читателя с лучшими произведениями не только местных русских, но и национальных писателей. Но альманах «Киргизстан» печатал почти только одни переводы, забывая о том, что всё-таки его основная задача — растить новые кадры литераторов, терпеливо искать и воспитывать писателей, живущих в Киргизии и пишущих на русском языке.

Немалую роль здесь должна играть критика. На страницах альманаха М. Аксаков поместил статью «По пути социалистического реализма», посвящённую повести известного киргизского писателя Касымалы Баялинова «На берегах Иссык-Куля». Эта статья содержит и анализ произведения и даёт правильную оценку повести, которую пытались незаслуженно охаять некоторые критики-новорапповцы, подвизавшиеся в Киргизии. обстоятельный разбор повести Н. Байтемирова «В одном совхозе» даёт статья Н. Чекменёва. Но этим исчерпываются удачи критического отдела. И этого, конечно, слишком мало для того, чтобы определить литературные взгляды редакции, и для того, чтобы критика, публикуемая в альманахе, могла воздействовать на работу писателей, развивать понимание литературы у читателей. К сожалению, наибольшей энергией и определённо отличаются те статьи в альманахе, которые должны вызвать самое решительное возражение. Одна из характернейших среди них — критическая статья Дж. Самаганова «Новая тема — старые приёмы», посвящённая повести К. Джантошева «Пламенная молодёжь». Эта повесть не свободна от недостатков, на которые уже указывала автору печать. Но Дж. Самаганов выступает с такими поучениями, которые показывают, что он не понимает самого существа литературы. Он возмущается, что в повести показаны переживания колхозников по поводу их неудач:

«Зачем навязывать жизнерадостному народу все эти ненужные вздохи? Но автор не ограничивается этим. Он назойливо заставляет своих героев искусственно переживать и плакать. Читая повесть, устаёшь от всего этого». Критик хотел бы видеть всех героев такими бодрячками, которым всё нипочём. В повести вода размывает берег нового арыка. Могут погибнуть пятьдесят гектаров посевов. Критик тут как тут: «Наши колхозники не те крестьяне, которые боялись случайных капризов природы. Если бы даже совсем сгорел хлеб Кар-Жукпаса, это не было бы такой большой потерей для колхоза». Жаль, что суровый критик не указал гибель скольких гектаров хлеба может опечалить героев литературного произведения. Не заметил Дж. Самаганов и того, что он ратует за безразличное, наплевательское отношение к общественной собственности: эка, мол, беда, если сгорит хлеб!

Незадачливый критик отвергает не только горе, но и любовь. Он пишет о молодых героях романа: «Их совершенно ненужные вздохи и неестественные страдания не помогли созданию реальных образов представителей нашей молодёжи, а, наоборот, помешали этому». «И проблему любви Джантошев решает неверно. Советские юноши и девушки ценят друг друга не за внешний вид, а по тому, какую роль играет человек в обществе и труде. У нас человек ценится по заслугам перед народом».

Конечно, в советском обществе человек ценится по заслугам перед народом. И всё же юноши и девушки влюбляются друг в друга, не сходя предварительно к колхозному счетоводу и не проверив, кто же больше выработал трудодней, как ни противится этому Дж. Самаганов.

Могут ли советские люди мечтать и думать о будущем? Дж. Самаганов отвергает и право на мечту. Он пишет о героях повести К. Джантошева: «Они, конечно, думали о будущем. И создаётся такое впечатление, будто только это будущее и прекрасно, а наше сегодня не так уж замечательно».

Вся статья состоит из подобных вульгаризаторских упражнений и полна стремления во что бы то ни стало уничтожить разбираемое произведение. При этом критик не брезгает никакими средствами, придирается к каждому абзацу.

К. Джантошев описывает колхозный праздник, на котором происходят традиционные скачки на конях. Дж. Самаганов не-

медленно берётся поучать автора: «Объединяются два колхоза, дают той (праздник). На скачках побеждает старый скакун Кар-Кюрен. Это тоже не похоже на правду, пахнет стариной. Первый приз получают не молодые кони племенной породы, воспитанные молодёжью, а старый конь. Эта деталь заключает в себе привязанность автора к старине».

Зачем нужны критику подобные натяжки? Ведь каждому здравомыслящему человеку ясно, что «старый конь», так возмутивший Дж. Самаганова, отнюдь не родился в феодальные времена и уже по одному этому не может символизировать победы старого над новым!

Можно было бы не останавливаться так подробно на беспомощной статье Дж. Самаганова, если бы он и подобные ему критики не нанесли вреда всей киргизской литературе. В последние два года писатели Киргизии были вынуждены не столько заниматься творчеством, сколько отбиваться от наскоков подвизавшихся в критике Самаганова, Балтина и Нурова. Эта тройка, заняв монопольное положение в критике, травила писателей, наклеивала устрашающие ярлыки на каждое появлявшееся в печати произведение.

Самаганов, Балтин и Нуров дошли до утверждения, что только они проводят партийную линию в литературе, и требовали расправы над всеми неугодными им писателями. Эта маленькая группка противопоставляла себя всему Союзу советских писателей Киргизии, вносила разлад в его работу, сеяла склоку. Недаром на последнем пленуме правления отмечалось, что отсутствие значительных произведений за последние два года объясняется в большой мере действиями этой группки.

В своё время Самаганов, Балтин и Нуров помогли партийной организации Киргизии разоблачить буржуазного националиста Саманчина. Но, злоупотребляя авторитетом, который им дала эта заслуга, они в дальнейшем пытались опорочить чуть ли не всех писателей Киргизии. Групповая борьба отвлекала писателей от решения задач, стоящих перед литературой.

Не всё благополучно и в литературоведении. Авторы иных статей показывают, что они не понимают значения художественного слова, видят в произведении только тему. Примером этого может служить помещённая в альманахе статья кандидата филоло-

гических наук А. Вошакина «Горький и киргизская литература».

Вначале автор делает правильную предпосылку: «Когда мы говорим о влиянии Горького на развитие литературы, следует иметь в виду, что оно выражается воздействием его гениальных литературных произведений, тех принципов, тех требований, которые Горький выдвигал перед писателями, ибо Горький вошёл в литературу не только как писатель, но и как теоретик литературы, её наставник, руководитель».

Но дальше автор не может привести ни одного примера творческой учёбы киргизских писателей у Горького, его влияния на литераторов Киргизии. Автор статьи совершенно не понимает значения Горького как великого мастера слова. Всё влияние А. М. Горького на киргизскую литературу он сводит лишь к темам, выдвинутым Горьким в его произведениях. Концепция автора такова: Горький писал о людях труда, и киргизские писатели тоже пишут о людях труда. Значит, доказано влияние Горького на киргизскую литературу.

«Разве от образов, созданных киргизскими писателями, таких, как Джапар (повесть К. Баялинова «На берегах Иссык-Куля»), Чаргын (Т. Сыдыкбеков — «Люди наших дней»), нельзя протянуть нить к образам, созданным М. Горьким, — Павлу Власову, например?» — задаёт риторический вопрос автор статьи, но не считает нужным ответить на него, дать анализ упоминаемых произведений. Между тем эта аналогия является весьма и весьма условной. Герои романа Т. Сыдыкбекова и повести К. Баялинова — передовые люди колхозного села, самоотверженно работающие в годы Великой Отечественной войны. Почему А. Вошакин считает Павла Власова их литера-

турным прообразом — это остаётся секретом критика.

Вся статья наполнена подобными бездоказательными утверждениями. Так, например, А. Вошакин пишет: «В какой-то мере перекликается с автобиографической трилогией М. Горького поэма Молдогазы Токобаева «Смерть Турду», рисующая тяжёлую судьбу бедняка-крестьянина».

Такие поверхностные мнения никак не могут способствовать освоению киргизскими литераторами богатейшего наследия А. М. Горького. Следует отметить, что статья А. Вошакина не только была напечатана в альманахе, но и вышла в расширенном виде отдельной книгой.

За год в альманахе не появилось ни одной критической статьи, посвящённой творчеству русских писателей, живущих в Киргизии. А ведь в их произведениях было немало неудач, о которых стоило поговорить. Неплохо было бы разобрать и те произведения, которые печатались на страницах альманаха, предоставить слово читателям, не боясь суровой, нелицеприятной критики.

Недавний пленум Союза писателей Киргизии укрепил редакционную коллегию альманаха новыми товарищами. Надо пожелать новой редколлегии более плодотворной работы, тесного общения со всей писательской общественностью, неустанного труда по выращиванию новых кадров молодых литераторов, творческих поисков, кропотливой работы над каждой рукописью. Только тогда редакционной коллегии не придётся утешаться мыслью, что в Советском Союзе, пожалуй, можно найти альманах, который делается ещё хуже, чем альманах «Киргизстан».

П. ШЕБУНИН.

★

«Свет ты наш, Верховина...»

Слова, которыми назван роман, взяты из народной песни. В них выражена любовь людей Закарпатья к их родному краю. И название это является как бы зачином к роману: М. Тевелев сумел в своём произведении, написанном по-русски, передать музыку украинской речи. Вместе с тем он избежал расплывчатого лиризма, в

М. Тевелев. «Свет ты наш, Верховина...» Роман. Журнал «Знамя» №№ 1, 2, 3 за 1953 год.

который выпадают некоторые наши современные прозаики, стараясь изобразить красоту украинской природы и поэтический душевный склад украинцев. Одно из главных достоинств романа — ясность и простота, реалистическая подлинность и трезвость в сюжете, в сценах из народной жизни, в обрисовке характеров.

Действие начинается накануне первой мировой войны. Автор оставляет своих героев в тот год, когда в городе Мукачево собрал-

ся съезд Народных комитетов Закарпатской Украины и красный флаг с гербом Украинской Советской Социалистической Республики взвился над Верховиной.

Долгий и трудный путь прошли герои романа, прежде чем один из них, вожак неимущих верховинцев, старый чабач Илько Горуля, смог сказать: «— Витаю вас, братья и товарищи, со свободой!»

«Землѐй без имени» называли когда-то родину Горули. Те, кто властвовал там, хотели, чтобы народ Закарпатья забыл свой язык, свою культуру, свой род и племя. «Землѐй угроросов» была Верховина для австрийских цесарей, «землѐй подкарпатских русинов» для пана Масарика, «землѐй рутенов» для Хорти и мадьярских фашистов. Но у неё было своё имя. «Она была нашей, украинской землѐй, была и будет, пока солнце светит»,—говорит Горуля.

На глазах у читателя проходит большая жизнь Горули. Из подневольного графского батрака, из озлоблённого бунтаря, поджигающего кулацкие хаты, он превращается в стойкого коммуниста-подпольщика. Житель тюрем, бесправный изгнанник становится полноправным гражданином социалистической страны, строителем колхозной жизни. Политической школой Илька Горули была война в отрядах русинской Красной гвардии, ставшей на защиту молодой Советской Венгрии в девятнадцатом году, пропаганда ленинских идей в годы подпольной борьбы за вызволение народа из-под гнёта иноземных поработителей и националистической украинской буржуазии, тюрьма и побег в страну Советов, к народу-брату, партизанская война в тылу фашистских войск во времена второй мировой войны.

В образе Горули М. Тевелеву удалось передать типические черты коммуниста — неукротимое свободолюбие, неистребимую ненависть ко всякому угнетению, идейность, принципиальность, презрение к приспособленчеству, негнбимую стойкость в борьбе.

На всех этапах освободительной борьбы в Закарпатье мы видим плечом к плечу с Горулей Олексу Куртинца, прирождённого агитатора, вожака масс в их революционной борьбе. Мы видим также в романе рядовых представителей народа, для которых стремление к свободе так же естественно, как естественно в человеке желание жить. Стоит вспомнить слова лесоруба Юрка о патристическом чувстве народа: «Ему ноги свяжешь — он руками потянется, руки свя-

жешь—он сердцем». Умирает Юрко от пули жандарма в час, когда желанная свобода близка. Последние слова лесоруба обращены к товарищам: «— Не забывайте, хлопцы, зачем жить остались. И меня не забывайте. А як придут из-за гор наши, постучите в мою могилку».

Страницы, где изображены действия и переживания народа—голодный поход бедноты в Мукачево, суд над Горулей, выступление народа против запрещения партии коммунистов, затеваемого правительством при помощи церкви и кулацкой аграрной партии, движение трудовых масс за дружбу Чехословакии с Советским Союзом,—эти страницы принадлежат к лучшим в романе.

Мы видим в романе «Свет ты наш, Верховина...» не только сознательных революционеров и рядовых крестьян, в которых сама жизнь пробуждает революционный дух. М. Тевелев изображает и характерный для Верховины тип угнетателя народа—сельского капиталиста, кулака Матлаха. В условиях буржуазного чехословацкого государства, в котором капитал быстро овладевал деревней, превращая в пролетариев или полупролетариев значительную часть прежних самостоятельных хозяев, Матлах, бессовестный и хитрый стяжатель, вылез в «большие дельцы». Перед ним идеал в образе чешского фабриканта-миллионера Бати. Матлах распоряжается судьбами людей, покупает депутатов, вершит политику с «господами из Праги» и лечит свои парализованные ноги у медицинских знаменитостей. Чешский миллионер для него—отблеск того «образа жизни», которым он прельстился, живя в Америке. Всё — от клетчатого пиджака и ярких ботинок (в которых Матлах впервые после возвращения из Америки появился в селе) до профессионального умения «людей вязать»—изобличает в Матлахе хищника заморской выучки. Матлах — «культурный» предприниматель, он понимает выгоду, которую можно извлечь из применения рациональных методов скотоводства. Но деньги этот новоявленный верховинский царёк хранит, как деды и прадеды, в засаленном бычьем пузыре, за пазухой. И эта деталь выразительнее пространных описаний объясняет этого человека, соединившего в себе примитивную жадность старозаветного скряги с умением выжимать копейку новейшими, «цивилизованными» способами.

Подлинными героями романа М. Тевелева являются народные массы и защитники их

интересов. Но автор избрал главного литературного героя не из числа самых ярких и политически сознательных представителей двух основных борющихся лагерей. Иван Белинец, от чьего лица ведётся повествование, чья жизнь, чьи размышления занимают в романе значительное место,—человек, обладающий личной порядочностью, трудолюбием, способностью к научным занятиям, думающий о народном благе. Но он весьма зауражен как характер и не склонен принимать на себя определённую и ответственную роль в общественной борьбе. С литературной точки зрения такой «герой» удобен для автора, так как он имеет личные связи в обоих лагерях, встречается с людьми, различными по социальному положению и политическим взглядам; его судьба легко и естественно становится основой сюжета, охватывающего все общественные слои.

Иван Белинец, сын верховинского крестьянина-бедняка, осиротевший с шести лет, стал приёмным сыном Горули и его жены Гафии. (Краткость рецензии не позволяет нам остановиться на разборе сложных человеческих отношений, возникающих в семье Горули. Ограничимся замечанием, что эта, к сожалению, лишь намеченная автором линия романа очень интересна). Приёмный отец воспитал сына в духе вольнолюбия и стремления к знанию. Несмотря на скудость своих заработков, Илько Горуля даёт Ивану Белинцу первоначальное образование.

Украинская сельская школа была в Австро-Венгрии одним из очагов борьбы за национальную культуру. В сельские учителя нередко шли интеллигенты, вышедшие из бедных слоёв и настроенные оппозиционно, а то и революционно. Они мечтали об освобождении от австрийского владычества, о воссоединении с украинцами, жившими тогда в Российской империи, внушали крестьянским детям любовь к родному языку и родной литературе, к великой литературе русского народа.

В романе есть сцена, рисующая этот этап в жизни Ивана Белинца.

Староста села Быстрого в отсутствие учителя, подозреваемого в революционной деятельности, явился в школу. Он «окинул подозрительным взглядом невзрачные стены класса и вдруг крикнул: обязательный портрет австро-венгерского цесаря висел не над учительским местом, а возле печки, а над учительским местом в резных ясеневых

рамах висели портреты двух совершенно неизвестных старосте людей. Голову одного из них венчала копна курчавых волос, руки были скрещены на груди и взгляд устремлён вдаль; у второго были длинные, опущенные книзу усы, высокая барашковая шапка, а глаза, казалось, следили за каждым движением старосты.

— Что за люди? — буркнул староста.

— Письменники, — нестройно ответили ученики.

— Какие письменники?

— Наши,— снова хором, но смелее прежнего ответили ребяташки.— То вон — Пушкин, а то — Шевченко...

— Гм,— промычал староста, напрягая память.— Что-то я про таких не чул...

— Йо! Пане!—сказал с удивлением один из хлопчиков.— То ж наши, руськи.

— Руськи? — переспросил староста, и лицо его пошло пятнами.— Это кто же их сюда?»

В детские годы на Ивана Белинца произвела неизгладимое впечатление сказка о пастухе Миколке с Чёрной горы, искавшем ключ, чтобы отпереть для бедняков землю Верховины. «Из детской думы о ключе Миколы и родилась не дававшая мне покоя мысль стать агрономом»,— вспоминает герой. Благодаря заботам и хлопотам своего приёмного отца (уже в то время, когда Закарпатская Украина была отдана Антантой Чехословакии) Иван Белинец поступает в гимназию, а потом и в сельскохозяйственный институт. Надо ли говорить, через какие трудности и препятствия прошёл он, овладевая знаниями?

В романе воспроизведён циркуляр министерства просвещения, в котором с циничной откровенностью раскрыта сущность реформ, проводившихся правящей кликой Масарика:

«Открытие гимназий в Подкарпатской Руси с преподаванием на родном языке имеет весьма благожелательный для нас резонанс в крае,—говорилось в циркуляре.— Но опасаться наплыва учащихся из низших классов населения не следует. Материальный уровень этих слоёв настолько низок, что даже при бесплатном обучении они не в состоянии учить своих детей. Что касается поступивших, то число их невелико, да и оно со временем, несомненно, сократится. Что же касается тех, кто закончит курс гимназии, то следует уже теперь прило-

жить все усилия к тому, чтобы они стали нашей опорой среди русинов».

Изменились государственная принадлежность и административные установления, переменились чиновники, но не изменилось существо хищнической политики в отношении Закарпатья. Разница между одними и другими захватчиками-эксплуататорами заключалась лишь в том, что республика Бенеша — Масарика, опираясь на «демократические ходули», осуществляла свою систему экономического и идеологического порабощения края более тонкими, завуалированными методами, чем это делали псы австро-венгерского монархизма.

В своём романе М. Тевелев изобличает развращающую методику «просвещения» и воспитания лакейски угодливых «слуг республики», способных держать народ в узде.

В отношении учащихся-украинцев администрация гимназий и институтов применяла все проверенные многолетней практикой буржуазной школы способы растления неискушённых умов — от либеральной фразеологии, даровой кормёжки и подачек в виде стипендий до полицейских приёмов провокации и шпионажа. Те заблуждения, колебания, искания, мучительные разочарования, которые переживает герой романа, являются следствием его пребывания в такого рода учебных заведениях, какими были мукачевская гимназия и сельскохозяйственный институт в Брно. Их вредоносному влиянию в некоторой мере подвергается даже такой самостоятельно мыслящий, талантливый, воспитанный своим приёмным отцом в духе вольнолюбия молодой человек, каким автор рисует Ивана Белинца.

Со своей системой травополя и чередования культур агроном Белинец идёт к властям, к губернатору, в буржуазные газеты, не понимая, что для осуществления этой системы надо в корне изменить социальнс-экономические отношения в деревне.

Иван, несмотря на всё то, что он в детстве сам знал о деревенской жизни, и на те мысли, которые он слышал от Горули, не хочет думать и рассуждать о социальном строе, наивно полагая, что наука и политика — вещи различные и могут существовать независимо друг от друга. И лишь долгое «хождение по мукам» — издевательское равнодушие со стороны правительственных чиновников к начинаниям Белинца, травля его проекта в газетах, безработица, служба у ненавистного мироеда Матлаха, чьё на-

грабленное добро он в силу своей профессии вынужден приумножать, — приводит Белинца к его истинным духовным учителям — Куртинцу и Горуле.

Во время фашистской оккупации Чехословакии Иван Белинец становится самоотверженным участником Сопротивления и, рискуя жизнью, помогает деятелям коммунистического подполья.

Мы сказали выше, что такой характер, как Иван Белинец, с его межеумочностью, с его связями в обоих враждебных лагерях, удобен как литературный герой романа с точки зрения ёмкости и развития сюжета. Но значение Белинца в романе М. Тевелева, конечно, далеко не исчерпывается такой внешней, служебно-литературной ролью. Он сам интересен как тип интеллигента, вышедшего из народа и желающего ему служить, но под влиянием буржуазных общественных отношений ограничивающего себя рамками узко профессиональных интересов.

Колебания и падения Ивана Белинца М. Тевелев изображает резко и прямо, со свойственным этому писателю реализмом. Однако есть в истории жизни Ивана Белинца и нечто от литературной схемы «колеблющегося интеллигента», известной нам по некоторым литературным образцам конца 20-х — начала 30-х годов. Колебания Белинца не всегда достаточно мотивированы; слишком уж легко он забывает то, чему его учил Илько Горуля. Особенно резко этот художественный недостаток сказался в конце романа, изображающем дни освобождения и воссоединения Закарпатья с Советской Украиной. В это время, когда не только передовые люди Закарпатья, но и широкие массы охвачены радостным порывом, страстным желанием немедленно приступить к устройству жизни на новых началах, Иван Белинец, вчерашний участник подпольной коммунистической борьбы, остаётся почему-то в стороне и ждёт, пока его как «лояльного специалиста» не пригласят к работе в земельной комиссии. Эту странность в поведении героя автор как бы и не заметил — во всяком случае, не счёл нужным дать ей хоть какое-нибудь психологическое объяснение. Поэтому и краткость, невыразительность той сцены, где герой встречается с советским майором Гончаровым, нельзя считать случайным недостатком: здесь тоже отразился коренной недостаток образа Ивана Белинца.

Есть в романе ещё и другие художественные недостатки, главным образом в изображении женских персонажей. Только Гафия, как мы упоминали, задумана интересно, содержательно, и можно лишь пожалеть, что наиболее сильно её человечность, её высокий дух проявляются в отрывке, где рассказано о её смерти. Но, например, Анна Куртинец слишком бледна и бессодержательна даже для второстепенного действующего лица.

В нашей критической литературе нередко можно встретить оценки, подытоживающие точку зрения критика формулой: «Роман нуждается в доработке». Разумеется, в та-

ком запоздалом совете всегда есть нечто странное, если даже замечания критика сами по себе справедливы: ведь произведение уже издано, оно предстало перед читателем. Иногда призыв к доработке является просто формой уклончивой критики, избавляющей автора статьи от прямой оценки произведения. Не идя по этому пути, мы скажем: перед нами роман талантливый, написанный рукой умного художника, знающего жизнь, и нельзя не пожалеть о тех недостатках, которые уменьшают его идейные и художественные достоинства.

Л. МИХАЙЛОВА.

★

Новые тома Л. Н. Толстого

Толстой это целый мир», писал Горький. Эти слова возникают в памяти, когда знакомишься с новыми томами Полного собрания сочинений Толстого, вышедшими в последнее время и содержащими не только исправленный и проверенный текст многих произведений и статей, известных советскому читателю, но и новые материалы из архива великого писателя — его неизданные рукописи, письма и дневники.

В томе тридцать четвёртом напечатаны произведения и статьи 1900—1903 годов. Из крупных произведений сюда вошла драма «Живой труп» соотносящимися к ней подготовительными материалами — планами и несколькими черновыми редакциями первого действия. Эти материалы, которые опубликованы впервые, представляют исключительную ценность для изучения мастерства одного из величайших художников мировой литературы.

Как свидетельствуют опубликованные рукописи, первые три действия «Живого трупа» не сразу получили ту форму, в которой они нам известны. Особенно много труда Толстой вложил в первое действие драмы. Первоначально в этом действии не участвовали те персонажи, без которых теперь себе его трудно представить, настолько они кажутся необходимыми: мать Лизы Протасовой — Анна Павловна — и её сестра Саша. Место их занимала подруга Лизы, Марья Васильевна Крюкова, «сторонница

свободной любви», убеждавшая Лизу, что чувство к Каренину не может противоречить отношению к мужу, так как можно одновременно любить «и апельсины и атлас».

Лишь закончив всю драму и дважды переделав прежнее начало, Толстой отбросил его и начал писать первое действие заново. Если в прежнем варианте о семейной жизни Протасовых читатель узнавал из разговора Лизы с её подругой, чуждой этой жизни и подходящей к ней со стороны, то позднее писатель с первых слов ввёл читателя в самую гущу сложных взаимоотношений, существующих между различными людьми, живущими в доме Протасовых. Мы можем судить о Лизе и её муже не по её рассказу, но по её действиям и по отношению окружающих к ним обобщенно. Если прежде Лиза выступала перед читателем только как жена, то теперь она показана сразу как жена и мать. Выводя на сцену наиболее близких к Лизе людей — её мать и сестру, Толстой получил возможность естественно и непринуждённо рассказать зрителю устами этих людей предшествующую историю взаимоотношений супругов Протасовых и подготовить к последующему развитию их судьбы. Всё действие от начала до конца приобрело необыкновенную жизненность и вместе с тем получило поразительную драматическую уплотнённость.

Новая экспозиция драмы позволила читателю и зрителю уже вначале почувствовать, что драма Протасовых не является простой, заурядной «семейной драмой», каких много в дворянско-буржуазной среде. В первом варианте начала, в рассказе няни и в по-

Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, тт. 34 и 53. Редактор Л. Д. Опульская; т. 66. Редактор Н. С. Родионов. Гослитиздат. М. 1952—1953.

следующем разговоре Лизы с Крюковой, Федя Протасов рисовался перед зрителем только в виде «беспутного мужа», «доброго», но слабого человека, не способного бороться со своими увлечениями. Лишь в двух последних действиях образ Феде по-настоящему раскрывался перед зрителем, и здесь становились ясны подлинные, социальные причины трагедии Протасова, которую «стыдно» жить обычной паразитической жизнью людей его круга. Этот первоначальный недостаток композиции драмы Толстой почувствовал при её переработке. Во втором варианте первого действия он вложил в уста Лизы слова, прямо указывающие на более глубокий смысл переживаний Феде Протасова: «Я вижу, что он не удовлетворён жизнью. Это-то и ужасно. Я не могу дать ему того, что он хочет. Он вечно страдает. Я вижу это. И это страдание проходит только, когда он выпьет...» Однако позднее Толстой увидел, что слова эти противоречат характеру Лизы и, кроме того, слишком прямолинейно вводят читателя в круг переживаний ещё не известного ему героя. Введение образа Саши, восторженно относящейся к Феде, более глубокая и сложная разработка отношения Лизы Протасовой к мужу дали возможность Толстой, не прибегая к автокомментариям, уже в первой картине внушить читателю человеческий интерес и участие к герою, которые возрастают с каждой последующей сценой.

Работа Толстого, которую раскрывают черновики «Живого трупа», — образец необыкновенной художественной мудрости, взыскательности к себе, поисков наиболее глубокой и органической формы для выявления мысли. В процессе работы Толстой отказывается от отдельных образов и сцен, которые даже в первоначальном, необработанном виде поражают своей жизненной яркостью. Так, он отбрасывает сцену между Федей и Афросимовым (в окончательном тексте — Афремовым). В лице Афросимова здесь был с большой полнотой обрисован легкомысленный прожигатель жизни, у которого любовь к кутежам уживается с заботой о поддержании внешней благопристойности своего дома. Отказывается Толстой и от прекрасной по бытовой колоритности фигуры извозчика Турецкого, в уста которого в одном из вариантов драмы была вложена яркая характеристика жизни богатой и обжиралованной аристократической Москвы. В этом отказе от картин, которые

сами по себе — рассматриваемые вне композиции драмы — вызывают у читателя восхищение и могли бы украсить собой другую пьесу, виден зоркий расчёт художника, ясное понимание писателем своей главной задачи. Жертвуя удачными, но второстепенными образами и эпизодами, Толстой стремился углубить обрисовку конфликта между Федей Протасовым и существующим укладом жизни, усилить общественную значительность, типичность судьбы и переживаний главных героев драмы, их столкновения с лицемерием и бюрократизмом дворянско-буржуазного государства.

«Живой труп» не был окончательно отделан Толстым для сцены и для печати. Прервав работу над драмой, Толстой считал её лишь наброском. С этим связано серьёзное затруднение, возникающее при установлении окончательного текста драмы. Устранив в первом действии образ Крюковой и заменив его образом Анны Павловны, Толстой не привёл в соответствие с этим пятое действие драмы, сохранив здесь на сцене Крюкову. Издавая драму после смерти Толстого, В. Г. Чертков заменил в пятом действии, по примеру первого, имя Крюковой на имя Анны Павловны, хотя в рукописях Толстого для этого нет прямых оснований. В таком виде «Живой труп» и печатался до сих пор. В новом издании, где «Живой труп» печатается по рукописям, редакция восстановила в числе действующих лиц Крюкову. Но для сценической интерпретации драмы такое решение нельзя признать обязательным, так как пятое действие пьесы написано Толстым в расчёте на предшествующее знакомство зрителя с Крюковой. Без этого знакомства фигура Крюковой оказывается здесь неожиданной и охарактеризована недостаточными определёнными чертами.

Кроме «Живого трупа», в тридцать четвёртый том входят рассказ «После бала», легенды и сказки, а также статьи «Рабство нашего времени», «Неужели это так надо» и другие. Три незаконченные статьи — «Воззвание» (1897), «Корень зла» (1898) и «Обращение к китайскому народу» (1900) — напечатаны впервые.

В произведениях и статьях Толстого 1900—1903 годов резко сказались общие противоречия его мировоззрения. Толстой даёт в них глубокую критику царской монархии, церкви, жизни и культуры господствующих классов России и буржуазной

Европы. Он смело выступает против чудовищного гнёта империалистических хищников, против политики колониального грабежа, войн, против социального и национального угнетения. Страницы таких статей Толстого, как «Рабство нашего времени», «Где выход?», «Неужели это так надо», где писатель сурово рисует картины бесысходно-мучительной жизни крестьян, писаны кровью сердца. Как живая, встаёт перед нами здесь русская деревня конца XIX века, нищая, задавленная податями и кабалой, полная стихийной ненависти к помещику и фабриканту. Толстой описывает крестьянского мальчика, с завистью и смутным протестом наблюдающего за игрой «барчуков», безземельного мужика, который «пашет на измученных, захудалых лошадях чужое поле», тяжёлый труд каменобойцев, мимо которых едут на пикник разодетые дамы и господа. Эти описания проникнуты подлинно народной ненавистью к господствующим классам. Но вместе с крестьянской ненавистью к буржуазно-помещичьему государству Толстой переносит в свои произведения наивное неверие патриархального крестьянина в революцию, его призывы отказаться от городской культуры, его веру в отвлечённую христианскую «справедливость».

Эти слабые стороны взглядов Толстого нашли своё отражение и в «Обращении к китайскому народу», которое представляет большой интерес. «Обращение» написано Толстым в связи со вспыхнувшим в Китае в июне 1900 года национально-освободительным боксёрским восстанием, жестоко подавленным империалистическими державами. Идеализация «азиатского», восточного строя жизни помешала Толстому в «Обращении» оценить значение национально-освободительной борьбы колониальных народов против империализма.

Толстой не уяснил себе значения революционного пробуждения народов Азии. Но он гневно осудил в «Обращении» варварскую расправу империалистов с многомиллионным китайским народом, великое историческое прошлое и культуру которого он знал и высоко уважал. «Поступки против вас европейцев, — писал Толстой, обращаясь к китайскому народу, — вызывают в нас величайшее негодование по своей несправедливости и жестокости. Мы всей душой сочувствуем незаслуженным страданиям, которые несёт теперь ваш народ, в особенно-

сти страдаем лишённым крова и пищи — миллионам детей, женщин, стариков; возмущаемся против зверств, совершаемых европейцами среди вашего народа...» И Толстой горячо призывал китайский народ не верить империалистам — шайке «самых ужасных, бессовестных разбойников, не переставая грабивших и грабящих, мучающих, развращающих и губящих телесно и душевно весь рабочий народ, 2/10 населения в Европе и Америке...»

В пятьдесят третьем томе Полного собрания сочинений напечатаны дневники и записные книжки Толстого за 1895—1899 годы. Дневники за эти годы уже были изданы В. Г. Чертковым в 1916 году. Однако предыдущее издание было сделано по копии и имело много пропусков. Новое издание впервые даёт полностью весь текст дневников и записных книжек Толстого за эти годы.

В дневниках наиболее отчётливо видны особенности работы мысли Толстого. О чём бы ни думал Толстой, его мысль настойчиво возвращается к народу, к крестьянству. 1890-е годы были годами усиленного развития капитализма в России, которое сопровождалось массовым разорением крестьянства, периодическими голодовками, уходом деревенского населения в города. Призрак голодной, раздетой и разутой деревни, отданной на разграбление помещику и кулаку, неизменно стоит перед Толстым в его записях, пробуждая острое чувство несправедливости всего существующего порядка, растущей ответственности перед народом.

Вот одна из многих записей, ярко раскрывающих эту особенность мировоззрения Толстого: «Шёл по деревне, заглядывал в окна. Везде бедность и невежество, и думал о рабстве прежнем. Прежде видна была причина, видна была цепь, которая привязывала, а теперь не цепь. а в Европе волосы, но их так же много, как и тех, которыми связали Гюливера. У нас ещё видны верёвки, ну бичёвки, а там волосы, но держит так, что великану народу двинуться нельзя. Одно спасенье: не ложиться, не засыпать. Обман так силен и так ловок, что часто видишь, как те самые, которых высасывают и губят — с страстью защищают этих высасывателей и набрасываются на тех, кто против них. У нас царь» (запись 10 ноября 1897 года).

Толстой правильно видит, что «сила в рабочем народе» (запись 3 февраля 1898 года).

Он наблюдает рост пролетариата, усиливающийся интерес и тягу к марксизму, читает «Капитал» К. Маркса, социалистическую литературу. Однако патриархально-крестьянские взгляды Толстого, его идеалы «непротивления злу» мешают ему понять великую правду социализма, толкают его мысль на путь отвлечённых идеалистических рассуждений, которыми заполнены многие страницы дневников. Борясь против агностицизма и идеалистических взглядов буржуазной философии, Толстой вынужден сам делать уступки этим взглядам.

В дневниках 1896—1897 годов большое место занимают вопросы искусства. Работая в это время над трактатом «Что такое искусство», Толстой формулировал многие свои мысли сначала на страницах дневника. Часто они выражены здесь в более живой и непринуждённой форме, так как, записывая их, Толстой не думал о стройности общей системы своих взглядов, а заботился лишь о наиболее точном выражении мысли.

«Искусство есть одно из проявлений духовной жизни человека, — пишет Толстой, — и потому, как если животное живо, оно дышит, выделяет продукт дыхания, так если человечество живо, оно проявляет деятельность искусства. И потому в каждый данный момент оно должно быть — современное — искусство нашего времени». «Главная цель искусства, — замечает он в другом месте, — высказать правду о душе человека», «...художник надеется, ясно увидав, закрепив то, что есть, понять смысл того, что есть».

Защищая правду как основу искусства, Толстой гневно критикует буржуазно-декадентское искусство — «искусство пресыщенных». Декадентская поэзия, по определению Толстого, — «поэзия, забредшая в тупой угол». Иллюстрируя примерами художественную уродливость и бесперспективность декадентской поэзии и искусства, Толстой непосредственно связывает их с отрывом буржуазного искусства от народа, с превращением буржуазных художников, писателей и артистов в выразителей чувств узкого паразитического кружка «богатых и знатных». «Поэзия народная всегда отражала, и не только отражала, предсказывала, готовила народные движения...» — пишет Толстой. «Что может предсказать, подготовить поэзия нашего паразитного кружка?.. — любовь, разврат; разврат, любовь».

Толстой протестует против взгляда на

«утончённость» как на особое преимущество декадентского искусства. «Утончённость искусства и сила его всегда обратно пропорциональны», — замечает он, полемизируя против литературных взглядов представителей декаданса. «У всякого искусства есть два отступления от пути: пошлость и искусственность. Между обеими только узкий путь... Из двух страшнее: искусственность».

В дневниках и записных книжках отражена работа Толстого над «Воскресением», «Хаджи-Муратом» и другими произведениями, а также ряд его неосуществлённых замыслов, относящихся ко второй половине 90-х годов.

По сравнению с томами тридцать четвёртым и пятьдесят третьим рецензируемый шестьдесят шестой том Полного собрания сочинений, содержащий письма писателя за 1891—1893 годы, представляет более узкий интерес. Наиболее значительные письма Толстого за этот период, в которых освещены многие важные стороны его мировоззрения, — письма к жене и В. Г. Черткову — напечатаны в других, прежде вышедших томах. Значительная часть писем и записок, вошедших в состав данного тома, имеет лишь известную биографическую ценность, знакома нас с новыми деталями жизни писателя. Исключение составляет небольшая группа писем к писателям и художникам (Д. В. Григоровичу, Н. Н. Ге, Н. С. Лескову, В. В. Стасову и Н. Н. Страхову), где Толстой высказал ряд принципиальных суждений по вопросам искусства и культуры.

Огромную ценность для истории русской литературы XIX века имеет приветствие Толстого Д. В. Григоровичу, посланное по случаю пятидесятилетия литературной деятельности последнего 27 октября 1893 года. В этом письме-приветствии Толстой рассказывает о глубоко впечатлении, которое произвели на него в юношеские годы «Записки охотника» Тургенева и «Антон-горемыка» Григоровича, создавшие в литературе правдивый образ русского крестьянина. Письмо Толстого раскрывает связь между его творчеством и воспитанным Белинским лучшими традициями предшествующей реалистической литературы, которая научила Толстого, по его признанию, что мужика «можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом».

Большое число писем Толстого, вошедших в шестьдесят шестой том, связано с его деятельностью по оказанию помощи крестьянству во время голода 1892—1893 годов. Эти письма ярко характеризуют размах и разностороннее содержание общественной деятельности Толстого в борьбе с голодом, вину за который писатель возлагал на господствующие классы царской России.

Новые тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого — результат большой, кропотливой работы коллектива советских учёных. Тот, кто знаком с трудно разбираемым почерком Толстого в его черновых рукописях, дневниках и записных книжках, отдаст должное любви к великому писателю и большому трудолюбию коллектива работников, сделавших многие новые страницы толстовского текста достоянием читателя.

Наша печать отмечала серьёзные идейные недостатки в примечаниях к прежде вышедшим томам Толстого. Как свидетельствуют последние вышедшие тома, редакция издания сделала для себя из этой критики верные выводы. Тридцать четвёртому и пятьдесят третьему томам Полного собрания сочинений предпосланы содержательные вступительные статьи, написанные К. Н. Ломуновым и А. И. Шифманом, помогающие читателю правильно подойти к богатому и нередко противоречивому содержанию взглядов Толстого, понять особенности исторической обстановки, в которых создавались его произведения.

Из недостатков рецензируемых томов следует прежде всего отметить отдельные случаи неправильного чтения, а также механически-буквальной передачи текста, с сохранением явных описок, неизбежно встречающихся в черновой рукописи. Так, в варианте первого действия «Живого трупа» не исправлена и в то же время не отмечена явная описка в ремарке: «В спальне сидит Лиза (вместо: няня!) и вяжет». В названии обращения к китайскому народу не восстановлен пропущенный Толстым предлог, и оно напечатано в таком виде: «Китайскому народу христианина», хотя редактор был обязан дополнить в редакторских скобках слово, пропущенное в рукописи, и сделать текст понятным для читателя: «[от] христианина». На странице 520 того же тома напечатана искажающая мысль Толстого фраза: «Это не только правда о том, что любит,

о чём жалеет, чего желает автор», вместо: «Это не только правда, но правда о том, что любит...» и т. д. (ср. страницу 523, где правильно дан другой вариант того же места). Подобные досадные случаи недостаточно вдумчивого воспроизведения текста встречаются и в томе пятьдесят третьем (страницы 157, 188, 239, 310).

При приведении по рукописям вариантов к основному тексту в конце тома (как это сделано в томе тридцать четвёртом) следовало бы указывать те страницы и строки основного текста, к которым относится данный вариант. Это значительно облегчило бы читателю изучение текстов.

Как на недостаток комментариев к произведениям и статьям Толстого нужно указать на то, что комментарии к отдельным статьям ограничиваются лишь данными по истории их писания и печатания, не раскрывая для читателя исторических и историко-литературных намёков, содержащихся в тексте. В начале статьи «Не убий» Толстой ссылается, наряду с известными, на многие малоизвестные современному читателю исторические факты. В черновых вариантах предисловия к роману Поленца «Крестьянин» Толстой, давая критику буржуазной литературы «конца века», иллюстрирует её перечислением сюжетов ряда произведений писателей-натуралистов и символистов, не называя эти произведения («Слепые» Метерлинка, «Строитель Солнечес» Ибсена и др.). Эти и другие аналогичные намёки в тексте статей Толстого остались в комментариях нераскрытыми.

Комментарии выполнены в целом очень тщательно с фактической точки зрения. Несмотря на это, следует отметить и две вкравшиеся в них неточности. В примечании к легенде «Разрушение ада и восстановление его» говорится, что в России эта легенда (долгое время запрещённая цензурой) «появилась только в 1917 г.». Это неверно. Она была напечатана в 1911 году, в двенадцатом издании сочинений Толстого. В примечании к письму Толстого Ф. И. Рыбакову от 23 мая 1893 года сказано, что слова, приписываемые здесь Толстым Шиллеру, в действительности принадлежат Руссо. Однако Толстой имел в виду всё же слова Шиллера — заключительную строфу известного стихотворения «Друзьям» (1802), смысл которой он довольно точно передаёт.

Г. ФРИДЛЕНДЕР.

Не обходить трудного!

Писатель В. Петльованный взялся за выполнение трудной, но интересной задачи: написать о жизни армии в мирное время. Автор поставил себе цель показать формирование характера молодого командира, раскрыть, каким путём идёт офицер к воинскому мастерству.

Главный герой романа «Трубы играют зарю», лейтенант Сергей Габай, закончив училище, получает назначение в Закарпатье, в далёкий гарнизон. Автор правдиво описал отдельные стороны армейской жизни, в которую он вводит молодого офицера. Учить на трудностях — вот принцип воспитания подчинённых, которому неуклонно следует командир Габая, подполковник Макаров. Именно Габаю, а не кому-либо из опытных офицеров приказывает он совершить со взводом трудный поход: подняться в горы, преодолевая бездорожье и выгоу, и найти кратчайший путь к плоскогорью Руна. И уже в этом первом практическом испытании выявляются черты характера Габая: гвёрдость воли, решительность, инициативность, органическая потребность непрерывно учиться и учить воинскому делу.

Вот взвод Габая с трудом, по глубокому снегу, одолевает крутой подъём. «А если бы за каждым кустом, за камнем нас подстерегали вражеские пули, если бы надо было брать высоту с боем? Кто-то же воевал здесь?» — рассуждает лейтенант. Он заставляет своих солдат действовать в учебном походе, как в настоящем бою. Солдаты ревностно выполняют все боевые команды своего офицера. Они сознают: не пустая блажь побуждает его проводить тактические занятия в трудной обстановке, а желание закалить воинов, воспитать в них постоянную боевую готовность.

В романе есть эпизоды, где обстоятельства заставляют Габая и его солдат проявлять настойчивость, выносливость и другие ценные воинские качества. «Технические» трудности учебных походов автор описал со знанием дела. Но, к сожалению, он не отобразил трудностей психологических, неизбежных в жизни молодого командира.

По отношению к душевным переживаниям

Виталий Петльованный. «Трубы играют зарю». Роман. Редактор И. Ф. Стаднюк. Авторизованный перевод с украинского Е. Дырина. Военное издательство, М. 1953.

своих героев В. Петльованный, если выражаться военным языком, придерживается тактики обходного манёвра: как только герой оказывается вынужденным решать более или менее сложную жизненную задачу, автор поспешно уводит его от неё. Обход трудных психологических моментов — серьёзнейший недостаток этой книги. Особенно ощутим он в образе Габая — центрального героя романа.

Сергей Габай впервые берёт на себя всю тяжесть командирской ответственности. Как не наделать ошибок на первых порах, как создать себе непререкаемый авторитет у подчинённых? Эти вопросы, казалось, должны были бы очень тревожить молодого офицера. Но Габая в первые дни, пожалуй, больше всего занимают мысли о его случайной попутчице — сестре командира полка Варе, в которую он успел по дороге влюбиться. Знакомство Габая с солдатами взвода описано очень бегло. Молодого офицера мало волнует вопрос, что за люди, которыми он начал командовать, какой нужен подход к тому или иному солдату, — ведь характеры-то у них разные! С самого начала у Габая всё идёт гладко, всегда он почти сразу находит правильное решение, не ошибается в оценке людей — завидная, но маловероятная для его возраста и опытности проницательность.

Как вырабатывается у Габая такой верный подход к подчинённым? Об этом в романе говорится мелко. Вот один из типичных эпизодов. Варя из окна своего дома наблюдает, как Габай проводит занятия с солдатами. Дело у лейтенанта не ладится: нехватает выдержки. Но вот подходит какой-то капитан, что-то советует, Сергей принимает эти советы, и всё идёт на лад. «Снова отличились солдаты Габая. Взвод внутренне сплочён, все дружны» — такова оценка, которую очень скоро получает Габай. Трудный процесс формирования молодого командира показан здесь действительно со стороны, «из окошка».

Не раскрыв по-настоящему характера своего героя, автор не показал его образа в развитии, он получился статичным: в начале книги Габай почти такой же уверенный и опытный командир, как и в конце её. Он кажется скорее офицером, вернувшимся из отпуска в свой взвод, которым давно командует, нежели новичком в полку. Желая

изобразить своего героя примерным во всех отношениях, В. Петльованный придал Сергею Габаю несвойственную его возрасту и натуре абсолютную уравновешенность. В Габее мало порывов, горячности, свойственных молодости.

Автор уходит от трудных положений не только Сергея Габая, но и других героев романа.

Вот, к примеру, история с солдатом Рязановым, стрелком-рекордсменом. Пользуясь попустительством командира взвода Гаджиева, постоянно делавшего поблажки своему «чемпиону», Рязанов совершает самовольную отлучку. В результате он получает дисциплинарное взыскание, его отстраняют от участия в предстоящих стрелковых соревнованиях, чуть не исключают из комсомола. Автор в ряде эпизодов рассказал, как в полку воздействуют на Рязанова с целью его исправления (комсомольское собрание, беседы командиров и товарищей и т. д.). Но это всё дано опять же со стороны, внешне-описательно. Что переживает сам Рязанов, как осознаёт он свои недостатки — этого не видно. Исправление его доказывается литературно-примитивным способом: Рязанов спасает утопающего и тем полностью восстанавливает свой авторитет. Но ведь никто и прежде не сомневался в смелости Рязанова! Подвернись случай — Рязанов, не задумываясь, спас бы утопающего и раньше. В Рязанове, как это бывает нередко в жизни, отвага уживалась с зазнайством. Самоотверженный поступок — ещё не доказательство того, что Рязанов от зазнайства освободился.

Чрезмерно упрощённо изображено в романе исправление комсомольского работника, старшего лейтенанта Курача. Его характер портят администраторские замашки. Курач любит «протереть с песочком» своих комсомольцев, изю всех сил старается показать инициатором начинаний именно себя, создать себе любыми средствами высокий авторитет: «Курач любил заранее заручиться поддержкой старших, а затем уже от своего имени в категорической форме разговаривать с комсомольцами». Он забывает, что «категорическая форма» — далеко не лучшая форма комсомольской работы, что администрированием этой работы не сдвинуть. Кажется, что недостатки Курача крепко ввелись в его характер. Но, как ни странно, эти недостатки почти не сказываются на его работе. Курач устраняет свои

изъяны необыкновенно быстро и безболезненно.

Неправдоподобно просто разрешается личная драма капитана Медынского. Жена не простила ему фронтового романа и после войны не захотела остаться с ним. Медынский страдает, он не знает, как ему восстановить семью. Но вот он посмотрел на фотографию своего сына, раздобытую ему заместителем командира полка по политической части майором Мавродиём, и одно это, как уверяет автор, сразу же определило благополучный исход семейной драмы.

Такие эпизоды покрывают всё повествование налётом показного благополучия.

В романе есть характеры, намеченные интересно. Но они не раскрыты, и поступки людей недостаточно мотивированы. Взять, например, немаловажные для романа фигуры командира полка Макарова и его заместителя майора Мавродия. Оба изображены с большой симпатией. Макаров не только строгий, требовательный начальник. Душевным, заботливым отцом-командиром является он для всех подчинённых и особенно для рядовых: «Макаров любил время от времени в свободный час подсесть к кому-нибудь из солдат, которые занимались своим делом: брились, подшивали подворотнички или писали письма. Завязывалась непринуждённая беседа...» Читатель в этом, как и во многих подобных случаях, вынужден верить автору на слово. О чём говорил с солдатами Макаров? Как он говорил с ними, сочетая дружескую непринуждённость с умением вести себя так, чтобы собеседник всегда чувствовал авторитет старшего начальника?

Ещё менее развит образ политработника Мавродия. Он высказывает много важных мыслей, но до конца романа остаётся резонёром, произносящим лишь бесспорно правильные слова. Живых, индивидуальных особенностей характера у него не ощущается. Повидимому, автор намеревался дать в этом образе олицетворение руководящей, воспитывающей роли Коммунистической партии. Но требуемого олицетворения не получилось. Нельзя изобразить, как живут в сознании людей, как определяют их поступки идеи коммунизма, не изображая носителей этих идей подлинно живыми людьми.

Не одного Мавродия, но и других ге-

роев автор заставляет не только в служебных разговорах, но даже в задушевных беседах нередко говорить так, как говорят лишь докладчики «по конспекту». Варя в домашнем разговоре с братом изъясняется таким слогом: «Для нас, делающих первые шаги от школьной скамьи в жизнь, суворовские слова о чести звучат девизом». А в конце романа Сергей Габай, только что получивший долгожданное письмо от Вари, взволнованный мыслями о ней, сам себе произносит назидательную речь: «Смотри же, не подкачай, Сергей... ни в малом, ни в большом! Труд офицера, солдата нелёгок... Но ведь и вся наша страна работает с полным напряжением сил! Так с полным напряжением, терпеливо делай своё дело, Сергей, работой для блага Родины!» Любовь окрыляет в труде — разве нельзя было выразить эту мысль теплее, более характерными, естественными для душевного состояния героя словами?

Не сумев достаточно убедительно и интересно отобразить самое главное — становление характера молодых воинов в условиях повседневной армейской жизни, — автор, движимый естественным желанием придать своей книге интерес, вынужден был обратиться к поискам чрезвычайного.

И вот почти одну треть романа заняло изображение стихийного бедствия — зимнего разлива Тиссы — и описание помощи, которую оказывает пострадавшим жителям полк, в котором служит Габай. Но ведь главным в романе, по замыслу автора да и по самой логике вещей, должна быть обычная жизнь воинов с её служебными и личными радостями и огорчениями, неудачами и успехами. В смысле соотношения материала в книге получилась диспропорция:

второстепенное и случайное заняло слишком много места.

В романе есть правдивые, реалистические картины военного быта: боевые выходы, занятия, собрания, застольные беседы и т. п. Отдельные из этих картин интересны сами по себе, но они слабо связаны между собой. К тому же эти картины часто повторяют одна другую: так, дано чрезмерно много комсомольских собраний, заседаний бюро, различных совещаний. Много в книге и других эпизодов, не способствующих ни движению сюжета, ни раскрытию образов.

Нельзя сказать, чтобы роман совсем лишён был достоинств, которые могли бы привлечь к нему внимание читателя. Не без интереса будет следить читатель за некоторыми событиями служебной жизни Габая и его дружной полковой семьи. Тепло написано о чувстве Габая к Варе.

Безусловным достоинством романа является его ясно выраженная патриотическая направленность. В эпизодах общения воинов с местным населением, колхозниками карпатских сёл, показано, что наша армия — плоть от плоти народа, что наш народ любит свою армию, отстоявшую независимость советской Родины: «Молодой солдат для народа герой, потому что он в той форме, в которой брали Берлин».

Тем более жаль, что, когда дочитаешь роман до конца, невольно приходишь к выводу: автора вдохновила великая и живая идея, он взял интересный жизненный материал, но яркой, волнующей книги не получилось.

А могла бы получиться, если бы автор не так спешил приводить своих героев к благополучному избежанию всех трудностей.

Ю. СТРЕХНИН.

★

«Крепостные мастера»

Для писателя, который обращается к младшим, тема исторических рассказов А. Кузнецова открывает большие возможности. Судьбы русского искусства при крепостном праве наглядно показывают великую роль народных масс в развитии всякого творческого труда. Автор хочет сделать это ещё более наглядным при помощи живого изображения тех рабских условий, которые мешали талантливым людям, вы-

шедшим из крестьян, свободно развить своё дарование. Мешали, но не могли заглушить могучий источник творческой энергии в сердце народа. Так говорит юному читателю автор, рассказывая ему историю «крещёной собственности» графов Шереметевых — художника Ивана Аргунова, актрисы Парашаи Жемчуговой, композитора Степана Дегтярёва, скрипичного мастера Ивана Батова.

Если эта простая мысль изложена в литературном произведении хотя бы прибли-

А. Кузнецов. «Крепостные мастера».
Редактор **Б. Грибанов. Деггиз, М. 1953.**

зительно верно, без особых нарушений исторической правды и художественного такта, писатель может рассчитывать на успех. Его произведение будет играть воспитательную роль.

Приблизительно верно—этого достаточно. Можно написать дельный исторический рассказ, не будучи Толстым или Вальтер Скоттом. Но слишком приблизительно — уже нехорошо. Читая рассказы А. Кузнецова, приходишь к выводу, что именно в этом заключается главный недостаток его книги. Она даёт слишком общее, слишком приблизительное изображение исторической правды, а потому местами даже отступает от неё.

Существует одна полезная истина: во всяком деле нужно соблюдать меру. Если вы будете повторять одно и то же, проявляя много рвения и суеты в доказательстве самой правильной мысли, вы этим не усилите свою позицию, а сделаете её более слабой и внушите другому сомнение в своей правоте. А. Кузнецов изображает уродливые отношения господства и рабства. Он хочет представить их в отрицательном свете—задача вполне разумная и на первый взгляд лёгкая. Однако что-то не выходит; в изображении чувствуется предательская условность. Дело в том, что автор изображает угнетение талантливых людей из народа в слишком однообразной, безжизненно-общей форме и при этом очень суетится, выдвигая на первый план самые известные, бросающиеся в глаза, кричащие особенности крепостного быта, например: телесные наказания, самодурство господ и т. п. Благодаря этому изображение получается слишком приблизительным и аляповатым; у читателя не может возникнуть большого доверия к тем картинам, которые рисует автор.

В самом деле, бывали крепостники-тираны, бывали и добрые господа. Но даже у добрых господ отношение к своим крепостным оставалось бесчеловечным, ибо такова объективная классовая сущность подобных отношений. Зрелище «культурной» бесчеловечности доброго барина действует подчас гораздо сильнее, чем самый большой нажим на ужасы крепостного тиранства. Кажется, это общеизвестно, а если нет, то приведём пример из книги самого А. Кузнецова.

Представляя гостю своего крепостного композитора Степана Аникиевича Дегтярёва, граф Н. П. Шереметев говорит: «Вот

вам, дорогой мой, лучшее доказательство истинности рассуждений преславного философа Жан-Жака Руссо о том, что все люди из недр матери-природы выходят одинаковыми. Человек, родившийся в нищете, благодаря правильной системе воспитания преуспел во многих науках и искусствах. Поведения он трезвого и являет собой пример, достойный подражания для многих».

Здесь автор пользуется верными красками. Бесправное положение крепостного артиста отражается в речи его господина более глубоко и живо, чем в других местах из книги А. Кузнецова, где слышатся угрозы спустить шкуру на конюшне. Дело не в личном эгоизме Шереметева. Он просвещённый, может быть даже гуманный барин, но суть его отношения к своему крепостному человеку (человеку в полном смысле слова) от этого ещё гаже, ещё грубее. Приспособление теории Руссо к делу воспитания утончённых крепостных рабов — метко схваченная черта. Здесь есть даже чувство исторического колорита. Может быть, всё это не так оригинально после русской литературы XIX века, но во всяком случае правильно.

Теперь приведём другой пример из книги А. Кузнецова. Художник Иван Аргунов понимал, что графа Петра Борисовича Шереметева нужно прикрасить. И всё же для себя он сначала написал его правдиво, без лести. За это ему пришлось жестоко поплатиться, рассказывает автор:

«В одно сырое, мглистое утро Иван Аргунов топил в своей каморке печь и бранил истопников, которые не позаботились о своевременной очистке трубы от сажи. Едкой пеленой по комнате стлался дым, заволакивая стены, маленький самодельный шкаф, мольберт с неоконченным портретом. Вдруг дверь в комнату отворилась. Выпятив отвислый живот, обтянутый шёлковым камзолом, на пороге стоял сам барин Пётр Борисович. Увидев художника с поленом в руке у печки, он спросил сурово:

— Почему в комнате дым? Почему не работаешь?

— Ваше сиятельство, дымит печь.

Пришлось подвести его к мольберту.

Граф протёр глаза кружевным платком и молча стал рассматривать полотно. Нахмурившись, он ткнул унизанным перстнями пальцем в портрет и, скосив глаз, спросил Аргунова:

— Это я?

— Ваше сиятельство, портрет ещё не окончен.

— Ты хочешь сказать, что недостаточно меня изуродовал? За такой портрет тебя следует высечь на конюшне и перевести в пастухи. Болван!

Вытянув руки и опустив голову, Аргунов стоял перед бариним и молчал. Тяжело билось в груди сердце. Мысль о наказании на конюшне и, самое страшное, о переводе в дальнюю вотчину лишила его языка: ведь там не придётся заниматься живописью. С дрожью в голосе попросил он барина:

— Ваше сиятельство, не гневайтесь, ведь портрет ещё не готов.

Но графа в комнате уже не было. Хлопнув дверью, он ушёл, оставив у Аргунова томительное чувство неизвестности.

Что было делать художнику? Он прикрыл душой и написал другое, более льстивое изображение. Так, по свидетельству А. Кузнецова, возник портрет П. Б. Шереметева, хранящийся ныне в Останкинском дворце-музее.

Мысль автора приблизительно верна. Известная доля условности в искусстве XVIII века была обязательным следствием крепостных отношений и сословного неравенства. Но автор слишком торопится это доказать и в результате пишет фальшиво, гораздо более фальшиво, чем Иван Аргунов писал своего барина.

Не будем придирается к мелочам, возьмём главный вопрос: верно ли представлена личность одного из выдающихся русских художников XVIII века в приведённой сцене из книги А. Кузнецова? На этот вопрос придётся ответить отрицательно. Думая выразить сочувствие Ивану Аргунову, автор, в сущности, унижает его перед читателем. Для настоящего художника лучше быть пастухом, чем лгать. Между тем А. Кузнецов повсюду в своей книге старается доказать, будто черты условности в живописи XVIII века были результатом сознательной лести со стороны художника. Иностранцев, как Георг Гроот, он прямо упрекает в лживости, а для русских приводит известное оправдание: в душе у них горело пламя истинного искусства, но страх перед телесным наказанием был сильнее. Итак, приходилось искать среднего пути.

«В старом, перепачканном краской кафтане, домотканых штанах и толстых подшитых валенках Иван Петрович иногда целые дни проводил у мольберта. Хотелось

написать портрет так, чтобы он не только нравился заказчику, но и удовлетворял самого живописца. Иван Петрович теперь хорошо знал, что заказчику нужна не правда, а красавица. Художнику же нужна была только правда. Эти дни были наполнены неутомимыми поисками пути, который позволил бы примирить требования заказчика и жизненной правды».

Нет, лучше быть пастухом, чем таким художником. Автор не понимает, что он представил Аргунова либо малодушным, но уже достаточно тонким лицемером, либо человеком глупым, не знающим сущности своего собственного дела. Зачем ему эта правда, которую можно так гибко приспособить к «требованиям заказчика»? Разве для того, чтобы лесть казалась более сносной, более похожей на истину, то есть более фальшивой?

К счастью, это совсем не так. Иван Аргунов был человеком своего времени, но он не лгал. Написанный им портрет П. Б. Шереметева — вещь неплохая, в ней есть и правда и красота, как этого хотелось самому художнику. Желание льстить не может привести к таким результатам. Конечно, искусство XVIII века на Западе и в России во многом идеализировало жизнь. Но там, где есть избыток «красивости», как выражается автор, художник делал это не по расчёту, а потому, что таково было его добросовестное заблуждение. Если портреты Аргунова носят на себе отпечаток условной манеры, иногда более наивной, иногда более изысканной, то причину этого следует искать в господствующем мировоззрении дворянского общества. Кроме материальной зависимости, существует ещё и зависимость духовная. Представить себе, что крепостные мастера отдали дань господствующей идеологии своего времени более правильно, чем утверждать, что они прекрасно разбирались в сути классовых отношений, но подделывали своё искусство в угоду «требованиям заказчика».

Страх перед телесным наказанием и желание получить на водку — сильно действующие средства. Нельзя отрицать и значения лести, которая часто губит слишком гибкие, услужливые натуры. Наконец, там, где есть добросовестное заблуждение, может явиться и ложь не по расчёту, а по убеждению. Всё это так, однако подлин-

ное искусство на этих дрожжах не всходит. В нём есть объективный закон, честный, как автомат: нельзя положить грош и надеяться, что получишь миллион. Хитрости здесь не помогут. Из дряни рождается только дрянь, из лести — мыльный пузырь.

Первоначальная мысль автора была правильной и полезной для воспитания юного читателя. Он хотел показать, что рабская зависимость художника мучительна для него и унижает искусство. Однако своим изложением этой мысли, слишком приблизительным и неточным, автор добился обратного результата. Не следует внушать читателю, что искусство — это такой инструмент, который можно повернуть куда угодно — были бы розги да пряник. Помните Державина:

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать её рукой.—
Пищит бедняжка вместо свисту;
А ей твердят: пой, птичка, пой!

Отчего же русское искусство XVIII века всё-таки пело, и пело так, что можно заслушаться? Неужели грубые руки господствующего сословия не сжимали его, а только слегка поглаживали? Нет, зависимость художника, особенно из крепостного звания, была тяжела; для изображения этой исторической драмы нужны сильные краски. Так в чём же дело? Дело в том, что нравы лакейской, которая окружала крепостного живописца, как и всякого другого художника, крепостного или вольного, не проникали в его сердце и в его искусство, а задевали только внешние стороны жизни. Отдавая кесарево кесарю, он оставался внутренне свободным человеком, правдивым художником и честным сыном народа. Историческая моральная сила была на его стороне, а не на стороне Шереметевых.

Римские триумфаторы выслушивали лобную брань своих солдат. Они молчаливо признавали этим свою зависимость от них. Так русская аристократия принимала поразительно смелое и правдивое искусство своих рабов. Правда была у народа, который окружал господ со всех сторон. Она была у художника, а то, что он отдавал дань условности дворянского быта, подчёркивал манерное изящество своей модели или в письмах называл себя «всенижайшим слугой», поистине большого значения не

имеет. Это вздор, будто портреты вельмож и других людей, стоявших выше его на сословной лестнице, были прикрашены в угоду заказчику. Здесь маленькая часть истины превращается в большую ложь. Пожалуй, нигде не найдёшь такой независимости в изображении господствующего сословия, как у русских мастеров XVIII века.

Другое дело, если нравы лакейской проникают в самую душу художника. Но это бывало не только при крепостном праве. Известно, что писатели XVIII века весьма церемонно посвящали свои сочинения царям и вельможам. Защищая Ломоносова от несправедливого упрека в низкопоклонстве, Пушкин очень хорошо объяснил, что посвящения знатым покровителям — только форма, а по существу в своём поэтическом и научном творчестве Ломоносов был гораздо более независим, чем литературные промышленники более свободного времени. «Как бы то ни было,— говорит Пушкин,— повторяю; что формы ничего не значат, Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, несмотря на их смиренные посвящения, а господа NN всё-таки презрительны — несмотря на то, что в своих книжках они проповедуют независимость и что они свои сочинения посвящают не доброму и умному вельможе, а какому-нибудь шельме и вралю, подобному им...».

Не преувеличивая ума и доброты тех вельмож, которым служили Аргуновы, можно сказать, что слова Пушкина применимы к этим замечательным мастерам. Русское искусство XVIII века не родилось в лакейской, несмотря на бесправное и униженное положение художника. Эту истину полезно усвоить всем авторам, которые берутся писать об одном из самых богатых периодов истории искусства.

К чести А. Кузнецова, нужно признать, что он всячески стремится возвысить своих героев. Автор заставляет их произносить негодующие речи, даёт им в руки книгу Радищева. Это плохо вяжется с тем языком, которым говорят у него крепостные мастера. Конечно, они воспитывались не в благородном пансионе, но зачем такому культурному художнику, как создатель Останкинского дворца Павел Аргунов, говорить: «Ей-ей не осрамлюсь! Нос расшибу, а сделаю». Зачем Фёдору Леонтьевичу Аргунову (или Петровичу — это одно и то же лицо), вполне образованному человеку, как показывают его письма, изображать из себя выпившего

лакея в следующей сцене из книги А. Кузнецова:

«Утром Ваня увидел своего учителя на людской кухне. Расставив ноги, Фёдор Леонтьевич склонился над кадкой, а поварёнок лил ему из ковш на голову холодную воду. Всю ночь продержали художника на съезжей, а утром, нанеся десять ударов розгой, отпустили домой».

Насчёт розги у А. Кузнецова вообще есть некоторое излишество. Конечно, любой крепостной человек не был свободен от телесного наказания. Но положение Аргуновых имело свою особенность. Они принадлежали к аристократии крепостного сословия. Это были «ближние бояре», мажордомы семейства Шереметевых. Иван Аргунов получал большое жалованье, которое было оставлено вдове после смерти художника. Его дочь должна была выйти замуж за корнета Малороссийского кирасирского полка; вторая дочь получила вольную, поступая в монастырь. Для выражения барского гнева по отношению к таким людям, как Аргуновы, существовали другие средства, не розги: денежный штраф, отставка, бесчестье и т. п. Аргуновы управляли домами Шереметевых, строили им дворцы, устраивали различные увеселения. Конечно, такие занятия унижены для художника. Но что поделаешь! Этим занимались даже Гёте и Леонардо да Винчи.

Стараясь вызвать сочувствие к униженному положению крепостных мастеров, А. Кузнецов забывает, что художественное творчество требует известного уровня свободы и человеческого достоинства даже в рабстве. Может быть, автор боялся, что, изображая социальную позицию Аргуновых ближе к исторической действительности, он ослабит драматическое напряжение своего рассказа? Это напрасно. Более свободное развитие личности делает драму всякого зависимого человека особенно мрачной. В общем, люди, изображённые А. Кузнецовым, слишком примитивны — или это не они, а другие люди создали те чудеса искусства, вполне артистического, которые нам известны.

Так же неточно изображает автор отношение художников XVIII века, крепостных и вольных, к их оригиналам. Известно, что подавляющее большинство портретов крепостной эпохи изображает вельмож и дворян. А. Кузнецов хочет подчеркнуть народность нашего искусства. Это хорошо, но

его доказательства не выдерживают критики. Во-первых, он утверждает, что художники стремились писать портреты крестьян и только под страхом наказания им приходилось изображать вельмож. Во-вторых, в портретах лиц высшего сословия он видит только две черты: либо униженную лесть художника, либо разоблачение неприглядной сущности барина-крепостника.

Всё это слишком приблизительно. Начнём с того, что господа не запрещали художнику изображать крестьян. Для этого существовал особый, «низкий» жанр, который весьма забавлял правящее сословие. «Старик со шкаликом в руке» Николая Аргунова формально относится к этому жанру. С некоторых пор дворянское общество стало более серьёзно интересоваться русским кокошником и сарафаном:

Зрел ли ты, Певец Тисский!
Как в дугу весной бычка
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка?

А. Кузнецов слишком упрощает вопрос. Так же неверно, что портреты вельмож написаны из-под палки. Наоборот, мы видим, что хорошие портреты, а их немало, написаны художником, в меру его таланта, не только добросовестно, но с интересом и увлечением. Без этого не бывает подлинного искусства. Мы говорим о фактах. Объясняйте их, как хотите, но переделывать историю на свой салтык нельзя. Нельзя даже ради добрых намерений, которых у автора вполне достаточно. Нельзя потому, что «ложь во спасение» в общественных вопросах больше вредит, чем помогает делу. Посмотрим, как освещается в книге творчество великого скульптора XVIII века Ф. И. Шубина, которого автор как бы ставит в пример Ивану Аргунову.

«Позднее, когда Иван Петрович присматривался к другим скульптурным портретам шубинской работы, он видел, что у каждого человека Федот Иванович находил какую-то основную черту характера: у каждого вельможи сквозь блестящую внешность проступала неприглядная внутренняя сущность. В жизни эти осыпанные звёздами и почестями баловни судьбы скрывали свои недостатки, но они не могли скрыть их от острого, всепроникающего взгляда художника. Он высекал их в мраморе и выставлял на осмеяние потомкам. Полуоткрытый рот создавал впечатление глупости в бюсте петер-

бургского полицмейстера Чулково; глядя на бюст канцлера Безбородко, можно было сказать, что он сластёна; Потёмкин — ленивый, медлительный барин; адмирал Чичагов — скряга..»

Здесь слабость позиции А. Кузнецова — слабость идейная, но вытекающая, может быть, из чрезмерного усердия, — совершенно очевидна. Он не совсем правильно представляет себе роль дворянства в XVIII веке. Только капитализм создал такую обстановку, когда существование господствующего имущего класса стало не только излишним, но прямо мешающим дальнейшему развитию науки, искусства, культурных форм общества. Вот почему Энгельс писал: «Такого дубья, как наши современные буржуа, никогда не бывало».

Правда, дубья было немало и среди помещичьего класса. Но люди, изображённые в красках и мраморе художниками XVIII века, — это не дубьё. Это люди, государственные деятели, представители своей национальности, образованного слоя дворянской эпохи. Они ещё не сыграли до конца своей исторической роли. На их лицах написаны и энергия, и важные думы, и внутреннее одиночество среди роскоши и прочих утех. Словом, это люди своего времени и класса, какими рисует их нам, например, поэзия Державина, а вовсе не воплощение глупости, сластолюбия, лени и скряжничества, как хочет сказать своей книгой А. Кузнецов.

В конце концов, оригиналы портретов Шубина ничем не хуже Сфорца, Гонзаго, д'Эсте, которых в таком возвышенном духе изображали художники итальянского Возрождения. Неужели Потёмкин только ленивый барин? Стараясь усилить отрицательную характеристику дворянства, А. Кузнецов незаметно для себя впадает в грех неправильного отношения к прошлому русской государственности.

Нельзя согласиться с его утверждением, будто Ф. И. Шубин выставлял своих заказчиков «на осмеяние потомкам». Напротив, произведения нашего великого скульптора, при всей их безусловной правдивости, всегда насыщены поэзией. Сравнивая портреты Шубина с хорошими работами современных ему французских скульпторов, мы видим, что у французов больше житейской остроты и подвижности, больше жанра: возьмите «россику» Эрмитажа или скульптурный портрет графа К. Г. Разумовского работы

А. Лебрена в Третьяковской галлерее. Что касается Шубина, то у него мрамор более спокоен, формы живые, но благородные, портрет сохраняет более высокое настроение.

Отсюда вовсе не следует, что А. Кузнецов представил время крепостного права в слишком мрачных красках. Любые краски не будут достаточно мрачными для изображения такого общественного строя. Однако их следует употреблять более разумно. Читая, например, рассказ о Параше Жемчуговой, испытываешь чувство досады — так мало автор пользуется этой драматической историей для действительного разоблачения крепостного строя. Один из крупнейших магнатов Российской империи сделал неслыханный шаг. Покорённый талантом и человеческим обаянием Параше Жемчуговой, он женился на своей крепостной актрисе. Параша умирает, родив ему сына. С этого времени для графа всё кончено. Ни власть, ни богатство не могут заполнить его душевной пустоты. Он медленно гибнет, распустив свой пышный двор. Разве этого мало, чтобы показать моральное поражение крепостного права, той страшной власти над людьми, которой располагали графы Шереметевы?

По неизвестным соображениям А. Кузнецов так затуманил эту историю, что читатель остаётся в неведении: женился ли Шереметев на своей крепостной, отчего умерла Параша и что случилось с графом.

Книга могла бы выиграть, если бы в ней приводилось больше фактических сведений. Дело в том, что печи дымили всегда, редьку с квасом и редьку с маслом ели во все времена. Эти черты, так сказать общехудожественного значения, не создают исторической конкретности, а места занимают много. Было бы полезнее для читателя, если бы автор более подробно рассказал о живописи XVIII века, об архитектуре Останкинского дворца, о характере музыки Дегтярёва. Будем надеяться, что А. Кузнецов сделает это в своей следующей книге. Но для этого ему нужно уточнить свои собственные фактические сведения.

Не знаем, как насчёт изготовления скрипок, но относительно живописи у автора сведения очень приблизительные.

«Он не любил писать портреты в полный рост, — сообщает автор об Иване Аргунове, — в них часто большую роль играют окружающие человека вещи. Избегал Иван Петрович и принятых современными ему

художниками, Левицким и Рокотовым, погрудных портретов — в них художники всё внимание сосредоточивали только на лице. Иван Петрович хотел показать и фигуру человека и раскрыть как можно полнее его образ, независимо от окружающих вещей. Чаще всего он писал поколенные портреты».

Во-первых, эта тирада выписана из брошюры И. Е. Даниловой (см. также книгу «Русское искусство XVIII века». 1952, стр. 56). Во-вторых, не стоило выписывать такие сомнительные рассуждения. В самом деле, лучшие портреты Аргунова — «Портрет скульптора», «Портрет жены скульптора», «Портрет Хрипуновой» — не поколенные, а погрудные. Кроме того, поколенные портреты вовсе не исключают подробного изображения окружающих вещей. Доказательством может служить хотя бы уже упомянутый выше портрет П. Б. Шереметева кисти Ивана Аргунова, а также известные в русской живописи портреты Д. П. Трошинского работы Боровиковского, С. С. Уварова работы Кипренского и другие. Наконец, история мирового искусства знает портреты, исполненные во весь рост на отвлечённом или почти отвлечённом фоне (то есть без окружающих вещей).

Рассуждения о поколенных портретах как наиболее удобной форме для передачи полного человеческого образа — незрелый плод научной фантазии.

Автор утверждает, что Аргунов писал свои портреты наизусть, по памяти. «Ему, крепостному холопу, не стали бы позировать высокопоставленные заказчики — это уронило бы их дворянскую честь». Здесь много лишнего. Известно, что даже Екатерина не отказывалась позировать Ивану Аргунову, а если он действительно писал наизусть, о чём мы толком ничего не знаем (кроме истории с портретом Екатерины), то это происходило по другой причине. До XIX века многие портреты делались красками «наизусть», то есть по рисунку с натуры.

Так были написаны самые точные в мире портреты Гольбейна.

А. Кузнецов утверждает, что Аргунов делал беглый набросок, а затем поступал следующим образом: «Стоя перед мольбертом, Иван Петрович держал листок бумаги перед собой и мягкими движениями кисти наносил на холст мазок за мазком». Нет, так не бывает, и тем более не могло быть в XVIII веке. Иван Петрович сначала делал точный рисунок с натуры, потом переводил его на холст, потом приступал к подготовке рельефа посредством светотени и т. д. Вещь делалась очень добросовестно, и шалить мягкими мазками в те времена не полагалось.

«Первоначальное изображение барина было замазано красками», «Медленными движениями кисти замазывался портрет, который не принёс художнику удовлетворения» и т. д. Видно, что автор не представляет себе строгой техники наших мастеров XVIII века. Если бы они допускали такую мазню, то мы не имели бы сейчас возможности наслаждаться их звучными и чистыми красками.

В изображении автора живописец Георг Гроот сидит «вытянувшись, точно проглотит тонкую железную шпагу». Это сравнение неудачно, так как Георг Гроот был горбатым.

Художники XVIII века не могут выражаться, как рецензенты нашего времени: «Больше всего бойся равнодушного отношения к жизни», «Людей он изображает холодно, без внутренней теплоты», «Делай так, чтобы они не сливались, а выглядели объёмно».

Автор не гонится за стилизацией языка; в этом большое достоинство его книги. И всё же нельзя сказать о приказчике Шереметевых, что его «сняли». Есть и другие претензии к языку и стилю А. Кузнецова, но давно пора поставить точку.

М. ЛИФШИЦ.

★

Исторический роман Юрия Смолича

«Чайки садятся на воду», «Будет на море погода» — так названы первая и вторая книги нового романа украинского писателя Юрия Смолича. Эти слова —

пароль большевистского подполья Одессы — выражают уверенность в том, что «погода» — светлое будущее людей — наступит на земле.

Юрий Смолич известен как автор многих романов, повестей и рассказов и как публицист, выступавший со статьями обще-

Юрий Смолич. «Світанок над морем». Роман. Журнал «Вітчизна» №№ 1—4 за 1953 г.

ственно-политического характера. В своём новом романе писатель обратился к истории гражданской войны и военной интервенции против Советской России. Действие романа охватывает четыре-пять месяцев конца 1918 и начала 1919 годов.

Основная идея романа — мировая империалистическая реакция бессильна против коммунистического правого дела, пользующегося поддержкой и симпатиями трудящихся во всём мире.

«Три-четыре месяца назад эти солдаты (солдаты французской оккупационной армии. — *М. Ш.*) прибыли сюда раздавить пролетарскую революцию — их прибыло семьдесят тысяч, оснащённых оружием новейших образцов и наилучшей военной техникой. Но они были рабочие и крестьяне — и слово рабоче-крестьянской революции тронуло их сердца. Их пригнали сюда воевать против большевиков, уничтожить большевизм; но большевистское слово, дела большевиков разложили эту армию, склонили её солдат на свою сторону. Вооружённая до зубов армия интервентов сделалась небоеспособной; её части отказались воевать против своих братьев по классу; её солдаты заявили свой протест против грязной, антинародной войны...» Так выразил автор основную идею своего романа.

«Руки прочь от России» — с таким лозунгом покидали Советскую страну войска эккупантов. События, описанные в романе, положили начало твёрдому и определённо-му отношению французского народа к первой стране социализма, выраженному в непреклонном решении передовых людей Франции: «Французы никогда не будут воевать против советского народа».

Для Юрия Смолича характерна особая забота об остроте сюжета, о занимательности, необычности положений, об исключительности героев. Эта особенность литературной манеры писателя имеет свои положительные стороны: действие романов и повестей Юрия Смолича развивается с напряжением, поддерживающим у читателя живой интерес к описываемым событиям. Но здесь же кроется и немалая опасность — увлечься внешней, «показной» стороной изображения.

Две основные сюжетные линии развивает автор в романе «Рассвет над морем»: это жизнь и работа большевистского подполья Одессы, занятой войсками контрреволюции и интервентов, и действия врагов — их яв-

ные и тайные связи, приёмы и методы борьбы против советской власти в России.

В стане врагов — опытные дельцы, продажные авантюристы, свободные от каких бы то ни было идей и принципов, кроме «принципа» откровенного подкупа и грубой силы.

Для изображения врагов автор широко пользуется приёмами сатирической обрисовки характеров, что даёт ему возможность иронически, зло высмеивать поведение и действия отрицательных персонажей романа.

Остроты развития этой линии сюжета автор добивается путём описания главным образом авантюрно-шпионских дел и связей врагов. Здесь больше всего проявляется авторская изобретательность, выдумка писателя. Поставив себе задачу разоблачить в романе продажность, авантюристичность и предательскую сущность украинских буржуазных националистов в лице их идеолога, главы директории Винниченко, автор добивается этого подробным и художественно выразительным описанием свидания Винниченко с французским начальником штаба полковником Фредамбером. Не случайно местом встречи двух предателей Юрий Смолич избрал публичное заведение мадам Мурзиди. В отдельных описаниях и эпизодах он убедительно и метко раскрыл лакейскую роль злейших врагов украинского народа, буржуазных националистов, торгующих родиной.

Писатель показал расстановку сил интервентов, подчеркнув руководящую роль американского империализма как активного организатора, участника и вдохновителя военной интервенции против Советской России. Пока «полномочные представители» Франции и Англии разбираются в тонкостях «национального вопроса» в России, выясняется, что у представителя США есть своя определённая точка зрения на данный вопрос.

«США, — замечает французский дипломат-шпион мсье Энно, — опять наплевали в суп всей Антанте». Получалось, что США «начинали заправлять европейской политикой прежде самих европейских держав».

В лице американского полковника Риггса автор так показывает лицемерие, коварство и вероломство политики Америки: «Большевики, — рассуждает полковник Риггс, — несомненно, угроза номер один, и коммунистическую угрозу надо уничтожить в первую

очередь! Только пускай её уничтожают все эти петлюровцы, пилсудчики, денкиницы, колчаковцы, чайковцы и другие голворезы. Французам и англичанам ещё придётся поспорочиться со всеми этими националистами-сепаратистами да белогвардейцами-монархистами, чтобы пристукнуть и их! А наши солдаты пусть подождут: им придётся ещё угомонить и этих французских да английских голодранцев...» Или, разоткровенничавшись со своим агентом, французским полковником Фредамбером, Риггс вразумляет того: «Поймите, наконец, Фредамбер, что интересы Соединённых Штатов в том именно и состоят, чтобы Франция и Англия поистратились! Пускай они после разгрома большевиков изнемогут ещё и на всей этой украинско-польско-русской неразберихе. Разве вы не понимаете, что тогда нам будет проще и легче прибрать к рукам вместе с Россней, Польшей, Украиной и вашу Францию да и Англию...» Предельная бесцеремонность американца по отношению к «союзникам» проступает здесь со всей очевидностью. Автор рассказал в романе и о борьбе между государствами-хищниками, высадившими свои войска в России с целью задушить большевизм и одновременно, в силу непримиримых империалистических противоречий, стремящимися перегрызть друг друга глотки. В замысловатом узоре переплелись шпионские сети многочисленных вражеских разведок, действующих в Одессе. Империалисты шпионят не только за большевистским подпольем, но и друг за другом. Они продают интересы своих стран тому, кто больше платит. Щедрее всех американский полковник Риггс.

Изображая главу американской миссии, Ю. Смолич, по нашему мнению, допустил здесь немало погрешностей. Риггс — откровенно наглый делец, расположившийся в Одессе со своей многочисленной челядью, как у себя дома. Этот здоровенный верзила своими манерами и повадками напоминает гангстера. Он не придерживается никакой «дипломатии», предпочитая действовать только грубым подкупом. Характерная черта его поведения — предельная бесцеремонность. Идя по такому пути изображения, автор, несомненно, имел перед собой как жизненные, так и литературные образцы, но образцы эти относятся к тому более позднему времени, когда империалисты США перешли к открытой военной агрессии. Поведение и манеры Риггса, стиль ра-

боты и жизни американской миссии в Одессе явно осовременены. Яркой иллюстрацией подобного осовременивания служит, например, облик американской шпионки-«журналистки» Евы Блюм, «рыжей бестии» с кольцом в руке.

Описывая врагов в сатирически-ироническом плане, автор иногда настолько увлекается своей иронией, что в результате сильно упрощает их психологию и действия. Например, детально и подробно описывая жизнь и дела супругов Энно, зло высмеивая их торгашескую сущность, автор иной раз доводит проявление обывательской мелочности Энно до нелепости. Английский адмирал Боллард охарактеризован как беспробудный пьяница; французский начальник штаба полковник Фредамбер — тщедушный человек с кривыми ногами рахитика, с «обличьем кретина», с «катапультовым» голосом, у него дёргается щека от нервного тика. Главнокомандующий оккупационными войсками Антанты в Одессе, генерал д'Ансельм, — человек, не интересующийся ничем, кроме статуеток порнографического содержания. Представители меньшевиков и эсеров чаще всего «пристарковаты» и «придурковаты». Такими внешне уничижительными характеристиками автор пользуется слишком широко.

Юрий Смолич в своём новом романе окказывает явное предпочтение описанию всякого рода авантюрных поступков и дел героев. Там, где авантюра отсутствует, форма изображения становится вялой, маловыразительной. Таково, например, описание «рабочего дня» Риггса, данное автором в однообразной форме рассказа о трёх видах писем, отправляемых Риггсом своим хозяевам в Америку.

Чрезмерная склонность писателя к небычности положений, к неумеренности проявилась и в изображении жизни и работы большевистского подполья. И здесь автор художественно выразительнее описывает те сцены и эпизоды, которые связаны с необходимостью для большевиков в целях конспирации действовать под теми или иными масками. Повседневная жизнь и деятельность подполья, лишённая романтики, всякого рода приключений, связанных с конспирацией, показана значительно бледнее и чаще всего посредством описания заседаний или сообщений об этих заседаниях. Большевик Микола Ласточкин более подробно и выразительно охаракте-

ризован как конспиратор, нежели как политический руководитель и организатор подполья. В начале второй книги дано подробное описание повседневных дел большевика Ласточкина, но сделано это в форме простого перечисления встреч и разговоров, не всегда связанных с развитием сюжета. Композиционно это получается довольно однообразно: одно описание встреч следует за другим. Оживляется повествование только изображением эпизода, в котором Ласточкин в кафе «Фанкони» добывает копию договора директории с интервентами, то есть там, где возникает необходимость маскировки.

Широко использован в книге материал многочисленных легенд, связанных с именем Григория Ивановича Котовского. Котовский выступает в романе в самых разнообразных ролях: помещика Золотарёва, доктора Скоропостижного, полковника Дуракова и других. Эти эпизоды описаны автором в соответствии с фактами биографии Котовского и легендами о Котовском, и многие из них изображены довольно ярко. Но и здесь несомненно увлечение внешней «выигрышностью» материала.

В романе много композиционного однообразия. Описания действий врагов и жизни большевистского подполья расположены без достаточной органической внутренней связи и могли быть в ряде случаев безболезненно переставлены. Говоря о работе «Иностранной коллегии» в момент перехода её к агитации живым словом, автор одну за другой изображает встречи членов «коллегии» с французскими солдатами и матросами. За встречей Жака Эллина с вражескими солдатами в кафе «Гамбринус» следует описание встречи с ними Жанны Лябурб в оперном театре, данное примерно в том же плане, что и в первом случае.

Ю. Смолича привлекает революционная романтика одесской молодёжи. Революционное увлечение, непоколебимая вера молодых советских людей служат ярким контрастом внутренней опустошённости и безверию врагов советского народа. Но романтические описания превращаются подчас у автора в самоцель. Так воспринимается подробный, на многих страницах, рассказ о жизни и мечтаниях юноши Сашко Птахи, не создающий полноценного художественного образа, так как роль самого Сашко в романе очень скромна и его мысли и жиз-

ненные обстоятельства не всегда связаны с развитием основного сюжета. Подобных, разрыхляющих композицию романа описаний немало: к ним надо отнести и сцены встреч и разговоров Ласточкина и Котовского с профессором-ботаником Панфиловым, посещение писателя Тодорова и другие.

Надо сказать, что Юрий Смолич в своём новом романе отдаёт дань и особому «одесскому» романтизму, не всегда руководствуясь необходимым чувством меры. Например, несомненно вульгарное «Одесса-мама» автор склонен признать за «ласково-интимное» название города, якобы данное ему «коренными хозяевами, строителями и тружениками Одессы».

Не только в построении сюжета, но также и в стиле и языке находит отражение любовь автора к «оригинальному». Например, рисуя образ Котовского, автор употребляет такие сравнения: «То была легенда о народном чудо-богатыре, могучем, как сам бог-Саваоф, и прекрасном, как сама дева-Мария». Подобные вычурные сравнения здесь мало уместны. Нередко слишком «смелые» сравнения приводят к очевидной бестактности. Описывая Одессу, автор употребляет понятие «уличного интернационала» в лице «турок-торговцев, румын-негоциантов, греков-комиссионеров» и «матросни всех флотов мира».

Не отказывается Юрий Смолич и от примитивных литературных приёмов. Так, трижды в сравнительно небольшом отрывке романа он заставляет героев — Котовского, Ласточкина и Жанну Лябурб — вспоминать свою биографию при случайном взгляде в окно.

Есть в романе наивное и несерьёзное изображение событий, вроде описанной попытки освободить большевика Ласточкина, предпринятой подпольщиками. Наивно звучит «разговор» с Ласточкиным, находящимся в камере тюремного морского транспортно-го корабля, с помощью слов из народных песен, которые поют сидящие в шлюпке.

«Пели: «Сонце низенько, вечір близенько, вийди до мене, мое серденько...» — Ласточкин должен был понять, что освобождать его будут, когда зайдёт солнце, вечером».

«Пели: «Ніч яка, господи, місячна, зоряна, видно, хоч голки збирай...» — ночи стояли лунные и выбраться из порта надо непременно до того времени, как взойдёт луна».

Более серьёзный план освобождения Ласточкина описан довольно поспешно и неясно. Он воспринимается как формальная отписка.

Недостатком романа следует признать и отсутствие в нём более детального показа организации революционной работы в частях французских войск, которую вели са-

ми французские патриоты — солдаты и матросы оккупационных войск.

Юрий Смолич написал интересное по теме произведение, но уменьшил художественно-познавательное значение романа, сильно злоупотребив в нём описанием занимательных эпизодов в ущерб глубокому и всестороннему, подлинно художественному изображению жизни.

М. ШКОЛЕНКО.

★

Книга о наших детях

Детская литература обогатилась интересной и полезной книгой — повестью И. Ликстанова «Первое имя». События, описанные в этом произведении, происходят в рабочем посёлке одного из промышленных районов Урала в наши дни. В центре повести — весёлая и шумная компания мальчиков-шестиклассников во главе с неугомонным Паней Пестовым, заводилой всех игр и затей. Мы наблюдаем жизнь ребят в школе и дома, знакомимся с миром их детских интересов, с окружающей обстановкой. Паня Пестов, его неразлучный друг Вадик Колмогоров, по прозвищу «Взрывник», Федя Полукрюков, соперник Пани Гена Фелистеев — это живые, настоящие ребята. С глубоким интересом следит читатель за их переживаниями и приключениями, за изменениями в детских характерах.

Юные читатели этой книги познакомятся не только со своими сверстниками. Они узнают и полюбят и её взрослых героев — добродушного и скромного великана Степана Полукрюкова, ласковую и заботливую мать Пани, сестру Наталью, отца Григория Васильевича Пестова. Роль отца в книге чрезвычайно велика. Григорий Пестов — не просто хороший рабочий, мастерски знающий своё дело. Это — коммунист, заботящийся не о личной славе, а об общем деле.

В повести для детей Ликстанов сумел показать работу взрослых, заинтересовать ребят созидательным трудом их отцов и братьев.

Глубокий знаток детской психологии А. М. Горький писал: «Природе ребёнка свойственно стремление к яркому, необычайному. Необычайным и ярким у нас в Союзе является то новое, что создаёт рево-

люционная энергия рабочего класса. Вот на этом необходимо закреплять внимание детей, это должно быть главнейшим материалом их социального воспитания». Умение найти это яркое и необычайное в обычной советской действительности, в ежедневном будничном труде и социалистическом соревновании уральцев является отличительной чертой повести Ликстанова. В ней нет погони за внешними эффектами: сюжет книги прост и правдив, образы и ситуации реалистичны.

Дети горняков Железногорска не остаются в стороне от общей жизни рудника. Они следят за работой старших и учатся у них. Вот, например, Паня и Вадик приходят в карьер и наблюдают за работой отца Пани — лучшего машиниста экскаватора горы Железной. «Стремительные и в то же время лёгкие, округлённые движения машины завладели сердцами ребят. Паня сияющим взглядом провожал ковш и, когда машина поворачивалась к составу, любовался своим батькой... Над «Пятёркой» высится гора Железная и грозит: «не тронь, не тревожь, раздавлю!» Но батька, мастер из мастеров, напрягая свою волю, штурмует, теснит гору, она подчиняется ему, отдаёт своё богатство... Неужели Паня когда-нибудь заставит машину двигаться так же легко, красиво? Лишний вопрос! Конечно, он научится работать по-отцовски.

Желание быть похожим на отца и гордость за него — основное, что руководит поведением Пани. Но эта гордость — источник не только хорошего в его поступках. Отсюда рождается сложность того положения, в котором находится главный герой повести.

На Железногорском руднике, где добыча руды ведётся открытым способом, развернулось социалистическое соревнование между машинистами экскаваторов. В семьях

рабочих, инженеров, служащих оживлённо обсуждаются успехи передовиков соревнования и трудности, которые приходится преодолевать в работе. Некоторые мальчики увидели в соревновании лишь борьбу за первенство, за то, чьё имя окажется первым на рудничной Доске почёта. Паня Пестов непомерно кичится перед товарищами успехами своего отца, становится заносчивым и хвастливым, высмеивает Гену Фелистеева и Федю Полукрюкова, родные которых дают меньшую выработку. Паня всюду стремится взять верх над товарищами, хотя не имеет для этого оснований в собственной работе: учится он средне — так, что, по выражению Вадика, «пятёрки тройкам не мешают, потому что редко к ним попадают». За желание приписать себе заслуги отца ребята дразнят Паню обидной кличкой «Самозванец».

Ликстанов тонко и точно раскрывает перед нами изменения, происходящие в психологии ребёнка под влиянием семьи и школы. Мы наблюдаем борьбу, совершающуюся в его душе, и вместе с ним переживаем его усилия стать достойным своего отца.

Индивидуальные образы друзей Пани, чьи характеры раскрываются в действии, в спорах и размышлениях, а также в живо написанных бытовых сценах. Нельзя, например, без улыбки вспомнить небольшую сценку, когда сын инженера Вадик Колмогоров, самолюбие которого задето полученной двойкой, запершись в отцовском кабинете, принимается за энциклопедию, чтобы стать «всесторонне образованным человеком». Но автор не злоупотребляет такого рода характеристиками, не преувеличивает «книжности» в характере мальчика из интеллигентной семьи. Различие в этом отношении между Вадиком и детьми рабочих не так уж велико. Например, в увлекательной работе краеведческого кружка первая роль принадлежит его старшему Пани. А попав в карьер в трудную минуту, Паня и Вадик одинаково ретиво помогают вытаскивать машину, которая застряла в размокшей глине.

Немало ценных и полезных сведений об Урале и его богатствах извлекают из этой книги юные читатели. Вместе с Паней Пестовым они совершат увлекательные экскурсии по горе Железной и её окрестностям.

Хорошо зная и любя Урал, Ликстанов сумел воспроизвести в своей повести своеобразие природы этого замечательного края,

своеобразие жизни и быта уральцев. Во всей своей красоте встают перед нами сосны векового бора, Уральские горы, тающие в себе несметные богатства, быстрая и холодная речка Потеряйка, которая прыгает «в тесноте каменистых берегов, играя в прятки с горами и лесами», — весь неповторимый уральский пейзаж.

В повести немало сцен, носящих на себе яркий уральский колорит, — таких, например, как описание рыбалки, пение Паней и его сестрой Наташей уральских песен, прогулки по руднику бабушки Ули. Язык, которым говорят герои, изобилует народными пословицами, уральскими прибаутками, присказками. Авторский язык отличается живостью; запоминается, например, незаурядное по своей поэтичности описание грозы.

Литературные достоинства языка неотделимы от достоинств содержания повести. Мы считаем нужным отметить скупость, внешнюю неприметность, обычность языка, которым говорят педагоги и вожатый пионерского отряда. Их немногословные беседы и замечания производят сильное впечатление на детей. Именно в этом отражается особое, тонкое и верное понимание автором педагогического воздействия: настоящий педагог умеет тактично, ненавязчиво направлять мысль своих воспитанников — так, чтобы ребята шли по верному пути, не ощущая всё время воли ведущего их человека; так, чтобы им казалось, будто они сами додумались до правильного решения. Авторитет педагога в этом случае поднимается ещё выше, он связывается с детской любовью к старшему товарищу.

Однако, признавая все достоинства повести И. Ликстанов, нельзя пройти мимо её недостатков.

Вызывает досаду некоторое однообразие в описании производственных процессов. Выразительна упомянутая выше сцена, когда Паня наблюдает за работой отца; но затем Паня приходит в карьер ещё несколько раз, и описание работы экскаваторов повторяется без существенно новых черт.

Порою автор вкладывает в уста детей рассуждения, которые по языку не соответствуют их возрасту. Вот как говорит Вася Марков:

«— Главное то, что «Четырнадцатый» из графика выбыл. Каждый день «Четырнадцатый» выдаёт меньше кубометров, чем записано в графике. Получился уже большой

долг.. Долг уже слишком большой и ещё вырастет, потому что до конца известняков далеко. Вот и затынут траншею на десять дней или на две недели. А это позор! Не будет же лопата Мирная траншею ждать!» и т. д.

Подобные речи, безусловно, были бы слишком скучны и трафаретны, если бы

даже их произносил не Вася Марков, а его отец — плановик рудника.

Но недостатки произведения Ликстанова «Первое имя» — мелкие. В целом это живой, правдивый рассказ о подрастающей смене строителей коммунизма, и мы уверены, что эту книгу по заслугам оценят молодые читатели.

К. ШОСТАК.

★

Политика и наука

Капитализм — современная форма рабства

Книга профессоров А. Е. Пашерстника и И. Д. Левина «Принудительный труд и рабство в странах капитала» посвящена одному из коренных вопросов современной экономической и политической жизни буржуазного общества.

Исторический путь развития капитализма есть путь усиления эксплуатации рабочего класса. В эпоху империализма всё более ухудшаются условия труда, усиливается угнетение трудового народа капиталистическими монополиями. Действие основного экономического закона современного капитализма — погоня за максимальной капиталистической прибылью — обуславливает рост относительного и абсолютного обнищания трудящихся.

Капитализм не может обходиться без наёмного труда. В капиталистическом обществе система наёмного труда, указывал Маркс, является системой рабства. Рабочие, лишённые средств производства, вынуждены продавать свою рабочую силу и, чтобы не умереть с голоду, идти в кабалу к капиталисту, соглашаясь на любые условия работы. Таким образом, при капитализме труд рабочего носит подневольный, принудительный характер.

Трудящиеся в капиталистических странах лишь формально остаются свободными, и только эта юридическая «свобода» отличает их от рабов и крепостных в докапиталистических общественных формациях. В своём труде «Государство и революция» В. И. Ленин писал, что свобода капиталистического общества всегда остаётся приблизительно такой же, какова была свобода в древней Греции: свобода лишь для рабовладельцев.

А. Е. Пашерстник и И. Д. Левин. «Принудительный труд и рабство в странах капитала». Ответственный редактор доктор юридических наук И. В. Павлов. Издательство Академии наук СССР, М. 1952.

После второй мировой войны, отмечают авторы книги, капиталистические противоречия достигли крайнего обострения. Углубилось основное противоречие капитализма — между общественным характером производства и частным характером присвоения. Небывалых размеров достигла концентрация капитала (особенно в США), усилилось обнищание трудящихся масс.

Второй этап общего кризиса капитализма характеризуется усилением агрессивных стремлений монополистического капитала. Изменение соотношения сил на мировой арене в пользу лагеря мира и демократии, образование мирового рынка социалистических стран — всё это вызывает бешеную ярость у империалистов, которые рассчитывают путём развязывания новой мировой войны разрешить свои внешние и внутренние противоречия и трудности, завоевать мировое господство.

Наряду с раздуванием военных бюджетов в буржуазных странах резко сокращаются ассигнования на социальное обеспечение, здравоохранение, просвещение и другие социальные нужды.

Рассматривая наёмный труд в условиях капитализма как основную форму принудительного труда, авторы книги на большом фактическом материале показывают, какие бедствия переживают рабочие капиталистических стран. Рост безработицы, постоянное недоедание, снижение реальной заработной платы, тяжёлые бытовые условия приводят к дальнейшему ухудшению экономического положения трудящихся.

В. И. Ленин с предельной выразительностью показал звериный подход капиталистического хищника-рабовладельца к своему наёмному работнику: «Умрет раньше? — Много других за воротами!»¹

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 556.

Как указывается в книге А. Е. Пашерстника и И. Д. Левина, первое место по степени наступления на элементарные жизненные права и демократические свободы трудящихся, по жестокости эксплуатации рабочей силы принадлежит современному американскому монополистическому капиталу. Авторы приводят следующий рассказ рабочего автомобильного завода «Форд Ривер Руж»: «Мастер следит за рабочими, как кошка за мышью. Стоит только рабочему остановиться, как он подгоняет его. В цехе ничего не меняется, за исключением того, что рабочие движутся всё быстрее и быстрее, пока не доходят до полного изнеможения». Металлист Джон Митро из Нью-Джерси говорит: «Мы настолько изматываемся на работе, что у нас едва хватает сил, чтобы дотащить домой».

В бюллетене профсоюза фордовских рабочих описывается введенный на заводе Форда новейший автомат — «хронолог»: «Это одно из самых жестоких изобретений, леденящее кровь. Этот аппарат учитывает даже долю секунды на протяжении рабочего дня; аппарат не учитывает только утомления рабочего и общего веса тяжестей, которые ему приходится поднимать; машина глуха и нема, жестока и бездушна; с помощью этого аппарата фордовская компания преследует свою цель — выжать из каждого рабочего всю его энергию до последней капли».

Таково отношение капиталиста к рабочему, который рассматривается лишь как «материал», годный для эксплуатации в целях извлечения наибольших прибылей. Соблюдая интересы монополий, капиталистические государства законодательными актами закрепляют систему эксплуатации наёмных рабочих и применение разнообразных форм принудительного труда. В послевоенные годы по существу во всех капиталистических странах были приняты законы, устанавливающие жесткие меры наказания для лиц, способствующих возникновению забастовок или преемствующих их прекращению. Так, в 1947 году правительство Шумана провело через Национальное собрание чрезвычайный закон, направленный на подавление забастовочного движения во Франции с помощью суровых полицейских и военных мер. Этому закону было дано издевательское название — «О защите республики и свободе труда».

В книге подробно рассказывается об ана-

логичных законах в Соединённых Штатах, Англии, Италии, Японии, Западной Германии, Югославии, Греции и в других капиталистических странах.

Авторы отмечают, что годы, прошедшие со времени окончания войны, были годами упорных и ожесточённых классовых схваток между трудом и капиталом.

Коммунистические партии капиталистических стран все свои силы отдают служению народу, борьбе за экономические и политические права трудящихся, за национальную независимость своих стран. Они разоблачают предательскую деятельность правых социалистов и реакционных лидеров профсоюзов, являющихся прямой агентурой буржуазии в рабочем движении.

Отдельная глава книги посвящена анализу расовой дискриминации в области условий труда. Эта дискриминация, указывают авторы, начинается с ограничения самого круга работ, к выполнению которых допускаются рабочие, не принадлежащие к белой расе. Это главным образом тяжёлый, неквалифицированный или полуквалифицированный, низкооплачиваемый труд. Туземцы колоний и зависимых стран, «цветные» рабочие в метрополиях используются преимущественно в качестве углекопов, грузчиков, чернорабочих, батраков. Путь к образованию, к повышению квалификации для них закрыт. В Соединённых Штатах Америки 15 миллионов негров повседневно испытывают на себе дискриминацию в самых человеконенавистнических формах. По официальным данным, за 1948 год негры составляли от 74 до 92 процентов среди таких низкооплачиваемых профессий, как чернорабочие, прислуга коммунальных учреждений, швейцары, приходящие домашние работницы и т. п. В США издаётся специальный негритянский справочник, в котором приводятся длинные списки учреждений и организаций, отказывающихся принимать на работу «цветных» людей. В тех же административных учреждениях и организациях, куда допускаются на работу «цветные» рабочие, они могут быть использованы только на подсобных, неквалифицированных работах, например, в качестве швейцаров и лифтеров, чистильщиков обуви, истопников, чернорабочих, курьеров. В большинстве случаев негров, работающих в учреждениях и на предприятиях, отделяют от белых.

Политика дискриминации применяется

также по отношению к проживающим в Соединённых Штатах лицам славянского происхождения, итальянцам, китайцам, мексиканцам и т. д. В Новой Зеландии, Гвинее, в Бельгийском Конго, в Южно-Африканском Союзе, Индонезии и других колониальных и зависимых странах продолжительность рабочего времени и размер заработной платы зависят от национальности рабочих.

Грубая расовая дискриминация проводится также в области законодательства и профсоюзных прав. Туземные и «цветные» рабочие не имеют прав на пособия по социальному обеспечению, на стачки, на объединение в профессиональные союзы. В большинстве колониальных стран рабочие, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, не имеют юридического права на возмещение нанесённого им ущерба. Невыносимые условия труда и жизни ведут повсеместно к резкому сокращению рождаемости, катастрофическому увеличению смертности, особенно среди детей. Авторы книги приводят разительные примеры. В американской колонии Самоа только за два года (1948—1949) рождаемость уменьшилась в три раза, смертность детей в возрасте до одного года увеличилась вдвое. Население английской колонии Гамбия составляет 260 тысяч человек. О том, как здесь осуществляется медицинское обслуживание, можно судить уже по одному тому, что в Гамбии имеются всего лишь две небольшие больницы и семь врачей. В западной части протектората Аден, где население достигает 350 тысяч человек, вообще нет ни одной больницы, имеется лишь один врач.

Говоря о применении различных форм внеэкономического принуждения к труду, А. Е. Пашерстник и И. Д. Левин подчёркивают, что в условиях капитализма и особенно его последней стадии — империализма — находят себе применение самые грубые и примитивные формы докапиталистической эксплуатации, которые переплелись с новейшими утончёнными приёмами эксплуатации наёмного труда.

Усиление эксплуатации и разорение народов других стран, особенно стран отсталых, является одним из основных способов обеспечения максимальных прибылей капиталистов. Дешёвый труд обеспечивается в этих странах путём систематического применения внеэкономических средств принуждения — как прямого рабства, так и других различ-

ных форм принудительного труда. Наряду с сохранением отсталых социальных отношений капиталисты искусственно создают ныне такие экономические условия для коренного населения, при которых оно оказывается вынужденным «добровольно» продавать свой труд колонизаторам на любых условиях. Всё это является свидетельством того, делают вывод авторы книги, что в эпоху империализма и общего кризиса капитализма наблюдается рост рабских, крепостнических и других форм внеэкономического принуждения.

Во многих колониальных странах осуществляется массовая экспроприация земель у туземцев, загоняемых в бесплодные резервации, хроническая долговая кабала, грабительские налоги, штрафы. Таковы средства, с помощью которых в отсталых странах развиваются рабство и крепостничество.

Даже специальный комитет ООН по рабству вынужден был признать, что «вторая мировая война повлекла за собой новую вспышку или возрождение работорговли в некоторых частях света».

Известно, что американско-английские империалисты широко применяют принудительные контракты и высылку «перемещённых» лиц, демагогически называя это «добровольным» наймом. По официальным данным бывшей «Международной организации по делам беженцев», указывается в книге, американско-английские власти вывезли из Западной Германии и Австрии свыше одного миллиона «перемещённых» лиц. Люди, насильственно увезённые в США, Англию, Канаду, Бразилию и другие страны, находятся на положении рабов. Они целиком отданы произволу предпринимателей, лишены права выбирать работу по своему желанию. Малейшее нарушение установленного режима влечёт за собой телесное наказание, штраф и другие репрессии.

Принудительное привлечение к труду в условиях капитализма выражается также в использовании дешёвого, почти дарового труда безработных под видом оказания им так называемой «трудовой помощи». Безработные в принудительном порядке направляются на строительство военных сооружений, тюрем, каналов, дорог и т. д., а также для работы на частных предприятиях. Таким образом, капиталисты получают почти даром рабочую силу.

Одной из наиболее бесчеловечных форм принудительного труда является пеонаж —

система долгового рабства. Эксплуатация труда пеонов, опутанных долгами, приносит огромные доходы современным рабовладельцам. Известны случаи наследственного рабства, которое основывается на задолженности и оформляется в виде залоговой сделки. Должник отдаёт себя и своих детей в залог кредитору до тех пор, пока будет погашён долг.

Из книги «Принудительный труд и рабство в странах капитала» читатель узнаёт много фактов применения монополистами различных форм внеэкономического принуждения к труду, фактов явного саботажа международных мероприятий по борьбе с рабством.

Различные международные организации не раз создавали всевозможные постоянные и временные, смешанные и односторонние комиссии, занимающиеся вопросами рабства, работорговли. Однако многочисленные конвенции и рекомендации всегда носили общий, неконкретный характер, не имели каких-либо гарантий и оставались мёртвой буквой.

В вопросе о рабстве, пишут авторы книги, столкнулись два мира — мир раскрепощённого труда, отвергающий всякую и любую форму эксплуатации человека человеком, и мир наёмного капиталистического рабства, отстаивающий всякие и любые, в том числе и наиболее варварские, формы эксплуатации.

Советский Союз, успешно строящий коммунистическое общество, страны народной демократии, закладывающие основы социализма, показывают пример действительного духовного и физического освобождения человека, освобождения, которое открывает безграничный простор для неуклонного повышения материального и культурного уровня жизни и ставит своей целью превращение каждого члена общества в активного деятеля общественного развития.

Пример правильного разрешения вопроса о подъёме культурного уровня в прошлом отсталых народов даёт Советский Союз, поднявший культуру и экономику окраин бывшей царской России до уровня центральных районов страны.

Книга А. Е. Пашерстника и И. Д. Лёвина имеет, на наш взгляд, некоторые недостатки. Следовало бы, например, дать больше теоретических обоснований в главах, посвящённых вопросам расовой дискриминации в области условий труда и применению различных форм внеэкономического принуждения к труду. Приведённый здесь большой иллюстративный материал представит большой интерес для читателя, но в ряде случаев нуждается в соответствующих комментариях и обобщениях.

Необходимо было ярче и выразительнее показать, как идеи национальной независимости и социализма проникают в самые отдалённые уголки колониального мира и поднимают на борьбу за свободу широкие народные массы, возглавляемые коммунистическими партиями.

Мало внимания уделили авторы тому, как на примере нашей социалистической Родины рабочий класс капиталистических стран, народы колониальных и зависимых стран видят путь к освобождению от эксплуатации, от нищеты, гнёта и бесправия — к свободе и братской дружбе между народами, к счастливой зажиточной жизни, к процветанию культуры, науки, искусства.

В интересах сопоставления в книге следовало бы больше рассказать об огромном прогрессе в экономической и культурной жизни среднеазиатских, закавказских и других республик, входящих в великую семью Советского Союза и являвшихся в недалёком прошлом отсталыми районами царской России.

Кандидат экономических наук
Д. ВАЛЕНТЕЙ.

★

Великий сын итальянского народа

Перед нами книга, озаглавленная лаконично и просто: «Жизнь Антонио Грамши». Это книга о большой и благород-

Л. Ломбардо-Радиче и Дж. Карбоне. «Жизнь Антонио Грамши (биографический очерк)». Перевод с итальянского Г. Д. Богемского. Под редакцией Д. П. Шевлягина. Издательство иностранной литературы, М. 1953.

ной жизни несгибаемого революционера, выдающегося мыслителя, основателя и организатора Коммунистической партии Италии.

«...Антонио Грамши — это человек, сумевший увидеть в нынешнем итальянском обществе те классовые силы, которым предстоит выполнить историческую задачу освобождения всего общества от всякого угне-

тения и эксплуатации», — этими словами Пальмиро Тольятти открывается очерк итальянских авторов-коммунистов Л. Ломбардо-Радиче и Дж. Карбоне.

В борьбе за великие идеи коммунизма рождаются люди «особого склада», люди высокой принципиальности, вдохновенного мужества и железной воли, беспредельно преданные народу. Таким был Антонио Грамши, боец великой армии коммунистов, участник всемирной битвы за прогресс, свободу и счастье человечества, победоносное начало которой положила Октябрьская революция в России.

Бессмертное учение марксизма-ленинизма, опыт Коммунистической партии Советского Союза осветили Грамши его путь. Он стал деятелем международного рабочего движения в повседневной, напряжённой борьбе за права и свободу итальянского народа.

Италия — её вековые, неразрешённые проблемы и новые, глубочайшие противоречия и конфликты, порождённые империализмом; революционность итальянского рабочего класса, трудящихся масс и на протяжении многих лет отсутствие подлинно марксистской партии, способной руководить их борьбой; наконец, создание такой партии — вот тот фон, на котором раскрывается в книге жизнь Грамши, формирование и развитие его взглядов и идей. Авторы убедительно показывают — и в этом главное достоинство их очерка, — что сила Грамши в неразрывной органической связи его личной судьбы и всей его борьбы с судьбой родины, с борьбой итальянского народа и Коммунистической партии Италии, во главе которой он стал в трудный и ответственный период её истории.

Антонио Грамши родился в 1891 году в семье мелкого служащего, в Алесе, в Сардинии. К Сардинии можно отнести слова, сказанные Энгельсом в отношении другого итальянского острова — Сицилии: «Природа создала из Сицилии земной рай. Этого было достаточно, чтобы человеческое общество, разделённое на противоположные классы, превратило её в ад»¹. Чудовищный гнёт отсталых феодальных отношений, на которые наслаивались отношения капиталистические, жестокая эксплуатация, нищета и бесправие были уделом людей, чей родной край (как и весь юг Италии) хищническая

буржуазия севера превратила в свою полу-колонию.

Детство Грамши — это безрадостные годы, полные лишений и тяжёлого, непосильного труда. «Я начал работать, когда мне было одиннадцать лет, — рассказывал Грамши, — зарабатывая целых девять лир в месяц (что, впрочем, означало килограмм хлеба в день) за десять часов ежедневной работы, включая утро воскресных дней... Я почти всегда видел жизнь лишь с самой жестокой её стороны».

Живой, необычайно пытливый ум и тонкая наблюдательность, незаурядные способности обнаружили у Грамши очень рано. Авторы книги отмечают, что уже в годы учения в нём «проявились те, находившиеся тогда ещё в зародыше, многогранность интересов и способность к глубокому проникновению в сущность изучаемых им различных вопросов, которые столь поражали в Грамши впоследствии». Юноша видит, что Италия расколота надвое: в одних районах сооружаются крупные заводы, строятся железные дороги, ведутся мелиоративные работы, растёт и рабочее движение, в то время как Сардиния, Сицилия и другие районы Южной Италии остаются попрежнему нищими, убогими. Кто же обрек Сардинию на отсталость и нищету? Ответ на этот вопрос, как и на многие другие, Грамши нашёл позже, в Турине, в цитадели итальянского рабочего движения, славящейся революционными традициями.

1911—1917 годы — период формирования Грамши-социалиста. Туринский университет, куда он был принят на казённую стипендию (как и прибывший в том же году из Сардинии Пальмиро Тольятти), открыл перед ним новые горизонты. Грамши напряжённо работает, не щадя себя, несмотря на острую нужду и на подорванное с детства здоровье. Он глубоко изучает философию, общественные науки, желая охватить широкие проблемы культуры. В страстных дискуссиях, духовно сближивших его с молодым Тольятти, Грамши, стремясь раздвинуть тесные рамки буржуазной философии, нащупывал её коренные пороки и вскоре начал преодолевать первоначальное увлечение гегелевским идеализмом. Так он пришёл к марксизму.

Однако решающим фактором, связавшим Грамши с социализмом, было то, что он, по выражению П. Тольятти, пошёл в Турине на выучку к молодому, развитому,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. XVI, стр. 432.

сплочённому революционному пролетариату, показавшему во время крупных стачек примеры организованности, боеспособности и дисциплины.

Авторы книги рисуют политическую обстановку того времени. То были годы милитаристического угара: в 1911 году итальянские империалисты развязали колониальную войну за захват Ливии; в 1915 году они бросили страну в горнило первой мировой войны. Но итальянский рабочий класс, несмотря на бешеную шовинистическую пропаганду буржуазии, несмотря на предательство оппортунистов и половинчатую позицию центристов, показал высокие образцы интернационализма и самоотверженной борьбы против империалистической войны. Весть о революции в России, свергнувшей царский режим, была воспринята в Турине с большой радостью. Мощная демонстрация, организованная в честь революционного русского пролетариата, ознаменовала собой начало нового периода массового движения. Наиболее ярким эпизодом борьбы против империализма, за хлеб и мир было героическое восстание туринского пролетариата в августе 1917 года.

За годы войны Грамши обрёл большой авторитет и популярность среди туринских рабочих: он был активным общественным деятелем, талантливым журналистом, выступавшим на страницах социалистических газет. После августовского восстания его избирают секретарём туринской секции социалистической партии. «Это было первым открытым признанием его роли вождя пролетариата самого красного города Италии» (П. Тольятти).

Кончилась первая мировая война. Общий кризис капитализма проявился в Италии с исключительной силой. Под могучим воздействием Великой Октябрьской социалистической революции высоко поднялась революционная волна. Важнейшим вопросом итальянского рабочего движения становится вопрос о революционном руководстве борьбой рабочего класса.

Ведущая роль в процессе создания Итальянской коммунистической партии принадлежала туринской группе «Ордине нуово» («Новый порядок»), сплотившейся вокруг одноименной газеты. Руководителями этой группы были Грамши и Тольятти. «Они первыми в Италии стали изучать опыт большевистской революции и великие идеи Ленина. Первыми в стране определили

и поставили перед рабочим классом коренные задачи итальянской революции», — говорится в книге.

Авторы воскрешают напряжённые бои тех лет, замечательное движение за создание фабрично-заводских советов, возникших по инициативе и под руководством Грамши; в них он увидел зародыш власти рабочего класса. В сентябре 1920 года развернулась новая, решающая битва: итальянские рабочие заняли промышленные предприятия. Группа «Ордине нуово» (авторы, к сожалению, не отметили этого факта) указывала тогда на необходимость расширения борьбы путём вовлечения в неё широких масс крестьянства и поставила в конкретной форме вопрос о перерастании этой борьбы в вооружённое восстание, без которого движение за занятие предприятий неизбежно должно было зайти в тупик.

Сентябрьское восстание итальянского пролетариата, преданного реформистскими лидерами, разоружённого капитулянтской политикой большинства руководителей социалистической партии, потерпело поражение. С новой силой встал вопрос о неотложном создании революционной партии. Требование это было выдвинуто Грамши в разработанной им программе «обновления социалистической партии», получившей высокую оценку В. И. Ленина.

Такая революционная партия — Коммунистическая партия Италии — была создана 21 января 1921 года.

Начинается новый период в истории итальянского рабочего движения. Огромны заслуги Грамши в строительстве партии, в борьбе с оппортунистическими извращениями её линии, в вооружении её марксистско-ленинским учением, в воспитании кадров революционеров-коммунистов. Все эти аспекты многогранной деятельности Грамши ярко освещены в книге.

1921—1922 годы. Террористическое наступление фашистских банд Муссолини, завершившееся установлением свирепой диктатуры финансового капитала; стихийное героическое сопротивление народных масс фашизму; мужественное поведение коммунистов, стремившихся стать во главе народной борьбы, и вместе с тем слабости и ошибки молодой коммунистической партии, руководство которой в первые годы оказалось в руках антимарксистской сектантской группы Бордиги. Следуя указаниям Ленина

и Сталина, опираясь на поддержку наиболее преданных партии коммунистов и творческую инициативу масс, Грамши внёс в эти годы первый важный вклад в разработку теоретических, политических, организационных основ борьбы итальянского народа против фашизма. Грамши и его соратники вступили в бой как с правым оппортунизмом, так в особенности с левым сектантским уклоном Бордиги, обрекавшим партию на изоляцию от масс.

Авторы книги закономерно подчёркивают, что идея гегемонии рабочего класса, призванного объединить и сплотить вокруг себя широкие массы в борьбе против фашизма, являлась уже в этот период центральной идеей Грамши.

Перелом в жизни партии наступил в 1923 году, после IV конгресса Коминтерна, когда руководство партией было поручено Грамши и Тольятти. В то время Грамши находился в Москве. Здесь он встречался с Лениным и Сталиным; знакомился с жизнью нового, строящегося советского общества. Здесь, работая в составе секретариата Коммунистического Интернационала, он изучал сложные проблемы международного рабочего движения. Страницы книги, посвящённые пребыванию Грамши в СССР, раскрывают глубину любви и преданности, которую он испытывал к стране Советов.

В Италию Грамши вернулся обогащённый новым, ценнейшим опытом революционной борьбы, с высоким чувством ответственности за принятое на себя дело руководства рабочим движением.

Стремительное развитие политических событий в Италии поставило перед Грамши чрезвычайно трудные задачи. 1924—1926 годы — это период первого политического кризиса фашизма, связанного с убийством социалистического депутата Маттеотти. Сложный переплёт событий определял деятельность партии: новый подъём антифашистской борьбы народных масс, игра в оппозицию буржуазных и социал-демократических партий, не замедливших капитулировать перед фашизмом, и, наконец, переход итальянской реакции в решительное наступление, разгром последних остатков демократических свобод и установление неограниченной, «тоталитарной» диктатуры фашизма. В этих трудных условиях итальянские коммунисты под руководством Грамши сделали первые шаги по пути большевизации партии.

Авторы книги дают ясное представление о принципиально новом вкладе, который коммунистическая партия внесла в те годы в историю итальянского рабочего движения: марксистско-ленинская тактика в период политического кризиса фашистского режима, рассчитанная на широкую мобилизацию масс, а позже, когда соотношение сил снова изменилось в пользу реакции, терпеливая повседневная политическая и организационная работа с целью подготовить коммунистов к трудным условиям подполья. Грамши, указывается в книге, «торопился направить партию по правильному пути, идя по которому партия превратит рабочий класс в руководящий класс нации». Партия перестраивалась организационно, расширяла свои связи с массами, укрепляла пролетарское единство, закладывала основы для прочного союза рабочего класса с крестьянством. Созданный в 1924 году центральный орган партии был назван, по предложению Грамши, «Уни́та» («Единство»).

Практическая деятельность партии освещалась теоретической мыслью Грамши. Именно в эти годы, творчески применяя марксистско-ленинское учение к условиям Италии, Грамши разрабатывал вопрос о движущих силах итальянской революции и оставил партии ценный труд, посвящённый южному вопросу — этому специфическому для Италии аспекту крестьянской проблемы.

Говоря о разносторонней, кипучей деятельности Грамши в годы, предшествующие его аресту, нельзя, следуя за авторами, не подчеркнуть его парламентской деятельности. Грамши, как и другие депутаты-коммунисты, смело и до конца использовал парламентскую трибуну как одну из последних легальных возможностей для борьбы с фашизмом.

В ноябре 1926 года вслед за принятием фашистским правительством драконовских «чрезвычайных законов», развязавших в стране волну репрессий, Антонио Грамши был арестован.

Эпиграфом к последним главам книги, в которых рассказывается о долгих и тяжких годах тюремного заключения Грамши, о поединке узника № 7047 со своими тюремщиками и его мученической смерти, могут служить слова Тольятти: «Грамши... был убит самым бесчеловечным, самым варварским, самым изощрённо жестоким способом. Его смерть длилась десять лет».

Сначала — ссылка на остров Устику, затем тяжёлые переезды измученного недугом и закованного в кандалы Грамши из тюрьмы в тюрьму, а спустя полтора года — судебный «процесс» над коммунистами, инсценированный в Риме, на котором Грамши и его товарищи из обвиняемых стали обвинителями.

Грамши был приговорён к двадцати годам тюремного заключения. Фактически это был смертный приговор. Но Грамши продолжал борьбу и в одиночной камере. Он неутомимо работал, несмотря на изнурительнейший тюремный режим, на нестерпимую физическую боль, задыхаясь от отсутствия воздуха, страдая от голода и систематического недосыпания (ему нарочно не давали спать). Он исписал за годы тюрьмы 2800 страниц, спеша передать другим всё то, что он знал, что глубоко продумал и что могло быть полезно его народу. Эти листки были бережно сохранены товарищами и составили затем несколько томов его знаменитых «Тюремных тетрадей».

Огромный диапазон тем, затронутых и разработанных Грамши: от важнейших проблем истории Италии и коренных, насущных задач борьбы партии до проблем языкознания и литературы. Советскому читателю будет интересно узнать, что Антонио Грамши наряду с исследованиями творчества итальянских писателей глубоко изучал и с большой любовью писал о творчестве гениев русской литературы (он изучал в тюрьме русский язык и читал Пушкина в подлиннике). «Уже только этот труд,— пишут авторы о «Тюремных тетрадях»,— мог бы выдвинуть его автора в число величайших сынов итальянского народа всех времён, обессмертить его имя».

Бессмертен Антонио Грамши и величием духа. «Только тот,— писал он,— кто... умеет сохранить твёрдость духа и чья воля закалена, как клинок, может называться борцом рабочего класса, может называться революционером». У читателя останется в памяти много волнующих эпизодов, по-разному раскрывающих высокие моральные качества Грамши, его мужество, душевную стойкость, благородство, чуткость к товарищам и близким, его умение учить людей и непрестанно учиться у них.

Достоинство книги и в том, что авторы не обошли личную сторону жизни Грамши. Они показывают, как много внимания уделял Грамши вопросам семьи, воспитания детей, новой, пролетарской морали.

Пролетарий, писал он, «приносит самые тяжёлые жертвы, жертвует, когда это необходимо, даже жизнью, потому что хочет создать для своих детей будущее, в котором бы царили мир и справедливость».

Борьбе за это будущее и посвятил свою жизнь Антонио Грамши. Но эта жизнь стояла на пути фашистов.

Только мощная волна международной солидарности (в 1933 году был создан Международный комитет спасения Грамши во главе с Р. Ролланом, М. Горьким и А. Барбюсом) помешала палачу Муссолини открыто расправиться со своей жертвой. Однако силы Грамши были на исходе. 27 апреля 1937 года он умер. Но, убив Грамши, фашистам не удалось уничтожить наследие, оставленное им партии и народу. Это наследие бережно хранит и развивает Коммунистическая партия Италии.

В свете её славной борьбы за национальные интересы и свободу родины с особой силой звучат пророческие слова Грамши, обращённые в 1926 году к фашистским судьям, а по существу — к реакционным правящим классам страны: «Вы приведёте Италию к катастрофе; мы, коммунисты, её спасём!»

Книгу закрываешь с чувством признательности к авторам за то, что они сумели с такой подкупающей простотой и ясностью воссоздать образ Антонио Грамши. Пусть в ней имеются некоторые недочёты: недостаточная глубина в раскрытии отдельных периодов истории Итальянской компартии и жизни Грамши, не всегда чёткие формулировки и обобщения. Но не это определяет уровень и качество книги. Читатель прочтёт её с интересом. И ещё раз, на примере героической жизни итальянского коммуниста, он проникнется сознанием величия той борьбы за светлое будущее, которую вели и ведут передовые силы мира.

*Кандидат исторических наук
К. МИЗИАНО.*

Нераскрытая тема

Цель книги В. Прокофьева «Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии» — познакомить читателей с некоторыми важнейшими этапами борьбы за материалистическое мировоззрение в России, рассказать им о революционных традициях нашей философии и науки.

Тема работы В. Прокофьева интересная и нужная. Книга должна служить делу коммунистического воспитания, помогать освобождению сознания советских людей от пережитков капитализма, религиозных предрассудков и вредных традиций старого общества.

Жизненный путь выдающихся философов и учёных нашей страны богат яркими примерами поистине героической борьбы с реакционным религиозно-идеалистическим мировоззрением, идейной стойкости, революционной страстности и великого гражданского мужества. Перед автором стояла нелёгкая задача рассказать обо всём этом в сравнительно небольшой книжке.

Название книги указывает, что речь в ней будет идти только об отдельных русских деятелях. Но, судя по построению работы, перед нами не сборник очерков и статей, а единое произведение. Об этом свидетельствуют краткое обращение «От автора», «Введение» и первая теоретическая глава. В таком случае читатель вправе требовать от книги определённой полноты материала и стройности в его оформлении. Надо сказать, что этим требованиям работа В. Прокофьева не вполне удовлетворяет.

Вторая глава книги, с которой, собственно, начинается изложение темы, посвящена Ломоносову и Радищеву. Конечно, деятельность Ломоносова и Радищева знаменует начало нового периода в развитии русской науки и философии, вступившей в полосу зрелости. Но, безусловно, большая ошибка — представлять дело таким образом, будто до этого периода не существовало борьбы с религией. Именно так поступает В. Прокофьев, назвав вторую главу «У истоков русского атеизма».

Вопреки стараниям церкви и буржуазной науки, до нас дошли имена передовых людей далёкого прошлого, выступавших про-

тив религиозного мракобесия, и их «еретические» учения. Достаточно привести, например, следующее яркое высказывание атеиста XV века: «Что такое царство небесное, что такое второе пришествие, что такое воскресение мёртвых? Ничего этого нет: кто умер, тот умер, только и всего; дотопле и был, пока жил на свете».

Мы уже не говорим о деятелях русской культуры XVII — начала XVIII веков, например, о членах «учёной дружины» — Татищеве, Кантемире и других.

Когда В. Г. Белинский писал, что русский народ — «по натуре глубоко атеистический народ», он, конечно, не считал, что эта важнейшая, по его мнению, черта начала формироваться только с середины XVIII века. Недаром великий критик обращался к народным пословицам, как к свидетельству того, что в широких массах существует здоровый, реальный взгляд на вещи.

Оторвав Ломоносова и Радищева от действительных истоков русского атеизма, В. Прокофьев умалчивает об их современниках и ближайших последователях, что особенно непростительно по отношению к Радищеву: термин «радищевцы» прочно вошёл в нашу литературу. Автору следовало вспомнить хотя бы Пнина.

Третью главу В. Прокофьев начинает словами: «Прочные материалистические традиции, которые сложились в России, передавались из поколения в поколение. После Радищева носителями прогрессивных идей в России выступили дворянские революционеры-декабристы». Однако это верное положение повисает в воздухе. Читатель узнаёт только, что декабристы были «носителями прогрессивных идей». О том же, какковы были их философские взгляды и устремления, автор не рассказывает. Нет ни слова и о Пушкине — гениальном выразителе передовых взглядов своего времени. А ведь как раз в книге, рассчитанной на молодёжь, имя Пушкина следовало поставить в ряду с крупнейшими философами и учёными. Этим автор помог бы юным читателям увидеть за гениальной простотой поэтических строк философскую глубину, высокую образованность и именно «пушкинскую» нетерпимость ко всякой мистике, ко всякому мракобесию.

Далее В. Прокофьев сразу переходит к рассказу о революционных демократах. Та-

В. Прокофьев. «Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии». Редактор Л. Павлова. «Молодая гвардия», М. 1952.

ким образом, полвека блестящего развития русской культуры (от Радищева до Герцена) и подъёма народного самосознания остаётся вне поля зрения автора. Между тем даже три-четыре страницы обзорного характера уже могли бы в некоторой мере восполнить этот пробел и придать цельность работе.

Герцену, Белинскому, Чернышевскому, Добролюбову и Писареву посвящены отдельные очерки, вслед за которыми даётся общий обзор их мировоззрения.

В. Прокофьев правильно отмечает основные черты русской революционной демократии, подчёркивает выступление её представителей против витализма и мальтузианства, справедливо утверждает, что они были горячими сторонниками эволюционной теории, материалистически решали и разрабатывали вопрос о сущности психического.

Но при всей правильности излагаемого материала очерки не создают ощущения подлинно страстной борьбы замечательных русских революционеров и мыслителей.

Происходит это от недостатка живых фактов и от того, что не видно, с кем ведётся борьба. О лагере врагов материализма автор упоминает вскользь, отделяясь чуть ли не одной общей фразой. А ведь известно, что революционным демократам пришлось иметь дело с противником, вооружённым до зубов. Они выступили против господствующей идеологии, насаждаемой веками. Им противостояла церковь с сонмом своих служителей и ревнителей, школа и официальная наука, правительственная цензура и «общественное мнение» господствующих классов.

С кафедр университетов и «учёных обществ» дворянства проповедовался немецкий идеализм, провозглашался агностицизм, принижалась способность научного познания. В литературе и искусстве всеми средствами поддерживался реакционный романтизм.

Сейчас стёрлись имена бездарных профессоров и верноподанных литераторов. Но тогда они были живы, с ними приходилось сталкиваться на каждом шагу, по каждому вопросу. Этой борьбы и не показывает автор.

Много внимания революционные демократы уделяли вопросам этики и эстетики. И здесь столкновение двух мировоззрений — материалистического и религиозно-идеалистического — шло в непосредственной связи с общеполитической борьбой. Постанов-

ка этих проблем революционными демократами не потеряла своего значения и для нашего времени. В. Прокофьев совсем их опускает. Не нашёл нужным он вспомнить и о художественных произведениях Герцена и Чернышевского, хотя они хорошо знакомы нашей молодёжи и ссылка на них могла бы в объяснении общих философских вопросов.

Радищевым и революционными демократами XIX века ограничивается часть книги, трактующая о русской материалистической философии. Что же касается раздела естественных наук, здесь рассказ доводится до работ советских учёных Лепешинской, Шмидта и других.

Общее «Введение» и первая глава «Коренная противоположность научного и религиозного мировоззрений», очевидно, должны были показать, что история русской материалистической философии не оборвалась в XIX веке, что лучшие её черты восприняли марксисты, что многое из наследия передовых деятелей прошлого имеет живой интерес и для наших дней. Но эти разделы оторваны от темы книги, от её конкретного материала.

Последние главы в основном посвящены жизни и деятельности Сеченова, Менделеева, Мечникова, Тимирязева, Мичурина и Павлова и изложению их теорий. К сожалению, эти главы написаны в форме, не всегда доступной неподготовленному читателю. Учение Павлова об условных рефлексах, например, излагается общими фразами, мало разъясняющими его сущность.

И в этих главах нет тех живых, интересных фактов, которыми богата деятельность великих русских учёных. Разоблачение Менделеевым шарлатанов-спиритов, уход Тимирязева из Московского университета, из секции ботаников X съезда русских естествоиспытателей, где выступали виталисты, борьба Мечникова против философии Бергсона, борьба Павлова с идеалистами представляют благодарный материал для автора. Если бы он обо всём этом рассказал, книжка стала бы доходчивее, её воспитательное значение возросло бы.

Печать спешки, недоработанности лежит на всём, начиная с названий глав. Почему, спрашивается, в заголовке книги говорится о борьбе с идеализмом и религией, а названия большинства глав говорят лишь о борьбе с религией? Нам представляется,

что автор поступил бы более правильно, ограничившись освещением только одного вопроса — истории атеизма, тем более, что антирелигиозной литературы у нас ещё недостаточно.

В книге не нашлось места для многих нужных сведений и в то же время есть разделы, заполненные подробностями, не относящимися непосредственно к основной задаче автора. Излишне пространно, без связи с общей темой, приведена, например, теория Дарвина. О происхождении религии сказано в первой главе, а затем в очерке о Мечникове этому вопросу опять отводится несколько страниц общих рассуждений. В. Прокофьев детально рассказывает о средневековье, о господстве в те времена теологии, схоластики, о реакционной деятельности католической церкви, об изуверствах «организации (?) инквизиции», об эпохе Возрождения. Но зачем всё это нужно? Достаточно было подчеркнуть, что, разоблачая мрак западноевропейского средневековья, революционные демократы боролись

против современных им русских феодальных порядков.

О небрежном редактировании книги свидетельствуют такие формулировки: «В своей совокупности все отрасли науки дают... научное мировоззрение»; «Разница между идеалистической философией и поповщиной лишь в терминологии...»; «Животные отражают объективную действительность... на основании тех сигналов, которые исходят от органов чувств...»

В общем, создаётся впечатление, что книга составлена из отдельных лекций и статей без должной переработки их в единое целостное произведение.

Композиционная рыхлость, отсутствие целеустремлённости невыгодно отличают книгу В. Прокофьева от его же брошюры-лекции «Непримиримость науки и религии», в которой тот же материал дан в меньшем объёме, но зато более чётко и последовательно.

*Кандидат философских наук
П. ЧЕРКАШИН.*



Ценный исторический труд

Сердцем Родины называет наш народ Москву — город великой трудовой доблести, немеркнувшей ратной славы, знаменосца мира во всём мире. Велики исторические заслуги Москвы перед Родиной и перед всем прогрессивным человечеством. С чувством глубокой любви и уважения относятся к ней народы всех рас и наций.

Вполне понятен поэтому тот большой интерес, который вызвал у советской общественности выход в свет первого тома шеститомной «Истории Москвы», издаваемой Институтом истории Академии наук СССР.

Эта книга — итог длительной научно-исследовательской работы коллектива историков, изучивших многочисленные письменные и вещественные источники. К созданию её были привлечены известные учёные, уже зарекомендовавшие себя исследованиями по истории Москвы, и молодые научные силы. Совместная работа учёных старшего и

младшего поколений привела к появлению серьёзного научного труда.

Дворянские и буржуазные историки, писавшие о Москве, ограничивались, как правило, изучением её территории. Авторы и редакторы вышедшей работы решительно отказались от такого узкого понимания вопроса. Они исходили из того, что история Москвы неразрывно связана с историей страны, что Москва исстари являлась центром национальной жизни русского народа, тем ядром, вокруг которого сложилось Русское централизованное государство. Это позволяло им с большой убедительностью выявить и показать ведущую роль Москвы в хозяйственном, политическом и культурном развитии России.

Книга охватывает период феодализма и состоит из двух частей: «Москва в XII — начале XVII веков» и «Москва в XVII веке».

О древнейших поселениях на месте нынешней Москвы рассказывает интересная подлавка, написанная А. В. Арциховским. Письменные источники XVI—XVII веков сохранили лишь случайные упоминания о городищах в пределах Большой Москвы. Но на помощь историкам, изучающим письменные источники, пришли археологи,

«История Москвы. Том первый. Период феодализма XII—XVII вв.» Редакция первого тома: член-корреспондент Академии наук СССР С. В. Бахрушин, доктор исторических наук А. А. Новосельский, кандидат исторических наук А. А. Зимин, кандидат исторических наук Н. В. Устюгов. Издательство Академии наук СССР, М. 1952.

доказавшие — особенно раскопками последних лет, — что в середине XII века Москва уже была укрепленным пунктом, окруженным посадом, жители которого занимались ремеслом и торговлей. Таким образом, 1147 год — год первого упоминания о Москве в письменных источниках — отнюдь не является годом её первоначального заселения.

В 1156 году, по почину Юрия Долгорукого, на холме над Москвой-рекой строится «град мал и древян». Москва в то время была важным стратегическим пунктом на юго-западных границах Владимиро-Суздальской земли. Строительство московских укреплений происходило одновременно со строительством укреплений других городов этого края. Как правильно отмечает М. Н. Тихомиров, оно явилось прямым следствием экономического подъёма, роста земледелия, ремесла и торговли Владимиро-Суздальского княжества.

Первый владими́ро-суздальский князь, сын Владимира Мономаха, Юрий Долгорукий как бы переносит сюда, на север, идеи единства и величия русской земли, олицетворяя собой живую традицию своих предшественников — киевских князей-объединителей. Владимиро-Суздальское княжество было сильнейшим из государств, образовавшихся на месте огромной древнерусской державы.

Кратки и отрывочны письменные сведения о Москве второй половины XII—начала XIII веков, далеко ещё не выявлены вещественные памятники этих лет, но и то, что нам известно, позволяет говорить о быстром росте Москвы, о повышении её хозяйственного и политического значения.

Для возвышения Москвы имело большое значение то, что она занимала срединное положение на территории, где происходило формирование русской народности. В XIV—XVI веках Москва, по определению И. В. Сталина, становится «основой объединения разрозненной Руси в единое государство с единым правительством, с единым руководством»¹.

Вполне понятно, что наибольшее внимание в книге уделено истории Москвы в XIV—XVII веках. Главы об экономике Москвы этого периода, написанные М. Н. Тихомировым, К. В. Базилевичем, С. В. Бахрушиным, Н. В. Устюговым, Е. И. Заозерской, С. К. Богоявленским, представляют

серьёзный научный интерес, показывая постепенное превращение Москвы в крупнейший торгово-промышленный город Восточной Европы, центр экономической жизни России.

В конце XIV — первой половине XV века в Москве уже насчитывалось несколько тысяч дворов, и население её постоянно пополнялось, главным образом за счёт беглых крестьян и холопов, селившихся на посаде. К концу XV века Москва по своим размерам превосходит крупные города Европы. Иностранцы путешественники первой половины XVI века считали её вдвое обширнее Праги и Флоренции, английский писатель конца XVI века полагал, что она, в целом, больше, чем Лондон с предместьями.

Москва уже в XIV веке сделалась средоточием редких и сложных ремёсел (в частности, оружейного дела), требовавших большого мастерства и длительной выучки. Начиная с конца XV века, московские ремесленники и торговые люди постоянно обслуживают уже не только местное население, но и отдалённые районы государства.

Разорённая в годы интервенции начала XVII века, Москва снова быстро восстанавливается, население её достигает двухсот тысяч человек. В ней продолжает развиваться ремесленная специализация, память о которой до сих пор сохраняют названия московских улиц и переулков. Она становится местом возникновения первых мануфактур.

В книге приведены примеры постепенного развития рыночных отношений. С ростом производительных сил, с дальнейшим разделением труда, расширением товарного хозяйства, усилением обмена между областями появляются предпосылки для формирования класса купечества и создаются прочные основы «всероссийского рынка». Торговые связи Москвы расширяются. По данным новейшего исследования Д. И. Тверской, в Москве к концу XVII века были 272 разновидности ремесла; сюда стягиваются товары из 157 городов и из 41 уезда. Это подтверждает выводы книги о важной роли Москвы в процессе объединения страны в единое экономическое целое и ликвидации остатков экономической раздробленности.

Москва XIV—XVII веков — арена масовых восстаний, находивших отзвуки во всей стране. Составители книги безусловно правильно поступили, выделив в отдельные подглавки такие вопросы, как «Московское

¹ «Правда» от 7 сентября 1947 года.

восстание 1382 г.», «Москва в годы восстания Болотникова», и в специальную главу «Народные движения в Москве».

Впервые в исторической литературе уделено пристальное внимание восстанию 1382 года, когда народ поднялся на защиту родного города, осаждённого татарами и покинутого митрополитом и боярами на произвол судьбы. Следовало бы также особо выделить восстание 1547 года — «возмущение великое всему народу», — вынудившее правительство провести серьёзные преобразования, связанные с деятельностью «Избранной Рады». Испуганный размахом этого восстания, Иван Грозный вспоминал впоследствии о нём: «от сего убо зvide страх в душу мою и трепет в кости моя».

Так называемые «Соляной бунт» 1648 года и «Медный бунт» 1662 года, непосредственными поводами которых были правительственная политика безудержного повышения налогов и злоупотребления вельмож и богатых «гостей», — яркие проявления стихийного возмущения угнетённых классов в XVII веке. Народные восстания в Москве — незабываемые страницы революционного прошлого русского народа.

С конца XV века Москва становится столицей постепенно складывавшегося Русского централизованного государства. В ней сосредоточивается аппарат центрального управления огромным государством. Здесь заседает боярская дума, работают приказы, собираются земские соборы, происходят смотры войск. Феодалы используют власть для усиления эксплуатации трудового народа: в Москве принимаются законы, закрепляющие бесправие и ограбление «чуждых людей».

Процесс образования централизованного государства ускорялся потребностями обороны. Москва возглавила освободительную борьбу народа против чужеземного гнёта. В XIV веке под её знамёна для совместной борьбы с татаро-монголами сходятся «от мала до велика» жители различных областей Руси.

Историческая победа на Куликовом поле в 1380 году окончательно определила политический центр Руси — им способна была стать только Москва. Под её руководством продолжается борьба с татарской ордой, закончившаяся в 1480 году.

В начале XVII века под стенами Москвы в напряжённых битвах с иноземными захватчиками решались судьбы Русского го-

сударства. Русские люди поднялись на борьбу с польско-литовским нашествием, поддерживая героическое сопротивление москвичей. Основную движущую силу освободительной борьбы, правильно утверждает А. А. Новосельский, составлял простой народ. Именно он довёл освободительную борьбу до конца — Москва была освобождена от интервентов, упрочив за собой роль твердыни государственного единства.

Русское государство постепенно становится всё более крупной международной силой, оказывающей влияние на политику европейских и азиатских государств. Представители этих государств всё чаще появлялись в Москве, и голос московских дипломатов уверенно и твёрдо звучал при решении вопросов, затрагивающих русские интересы.

Москва делается центром притяжения братских славянских народов. Порабощённое население Украины, Белоруссии, Кавказа видело в Русском государстве освободителя от иноземного ига, обращалось в Москву за помощью и поддержкой. Выявление многосторонних связей русского народа с другими народами нашей страны — заслуга авторов соответствующих разделов книги: К. В. Базилевича, Е. Н. Кушевой, Н. В. Устюгова.

Большое внимание уделено в книге вопросам великой роли Москвы в процессе формирования русской национальной культуры.

Московская культура, истоки которой следует искать в народном творчестве, явилась наследником и продолжателем лучших традиций различных областей древней Руси. Москве мы обязаны такими великолепными образцами живописи, как иконы (картины) Андрея Рублёва, такими шедеврами зодчества, как храм Василия Блаженного, церковь и деревянный дворец в Коломенском, прозванный современниками «восьмым чудом света».

В московской литературе отразился процесс объединения русских земель и героической борьбы народа против иноземного гнёта. В Москве велось общерусское летописание, проникнутое патристическими представлениями о единстве и независимости русской земли. Здесь работала первая русская типография, здесь создавали свои произведения замечательные публицисты XVI века. Отсюда в XVI и особенно в XVII

веках распространялись по всей стране научная и техническая мысль, зачатки светского просвещения. Годовые тиражи одних только букварей, выпускаемых Печатным двором, достигали нескольких тысяч экземпляров.

Таким образом, содержание первого тома «Истории Москвы» показывает, что авторы в основном справились со стоявшей перед ними сложной задачей — выявить и показать место Москвы в хозяйственной, политической и культурной жизни нашей страны. Москва предстаёт перед читателем как центр национальной жизни русского народа. Книга существенно обогащает также и представления читателя о России периода феодализма.

Необходимо отметить, что книга издана любовно и умело: напечатана красивым и удобным для чтения шрифтом, украшена заставками и иллюстрациями, удачно подобранными Н. А. Баклановой, снабжена указателями (именным, топографическим и географическим), обширной библиографией. К работе приложена папка с планами Москвы, выполненными главным образом И. А. Голубцовым.

Однако этому ценному и полезному изданию присущи отдельные недостатки.

Прежде всего вызывает возражение отсутствие единообразия в структуре разделов и в распределении материала внутри разделов и глав.

Так, о центральных правительственных учреждениях в XVII веке написано интересно и подробно, а правительственным учреждениям XV—XVI веков уделено лишь несколько страниц. Неравномерно распределён материал о международных связях и об организации внешних сношений Русского государства. Тем самым у читателя не создаётся ясного представления ни об изменениях центрального правительственного аппарата, ни о росте международного престижа Русского государства на протяжении XV—XVII веков.

Отдельные разделы книги перегружены излишними деталями, вряд ли нужными в издании обобщающего характера. Вместо того чтобы критически отобрать важнейшие факты, авторы стремились вместить в свои статьи буквально всё, что обнаружено ими в архивах и накоплено специальными исследованиями. В результате явления второстепенного значения порой оказываются на первом плане. Так, в главе «Москва в годы

крестьянской войны и интервенции начала XVII в.» об организации второго народного ополчения сказано значительно беднее, чем об организации польско-литовской интервенции. В главе упомянуто о встречах Лже-Дмитрия I с Мариной Мнишек и не нашлось места для рассказа о выступлении Минина перед нижегородцами. Деятельности замечательного русского просветителя Ивана Фёдорова уделено внимания меньше, чем переводным сочинениям XVII века, а о крупнейшем художнике своего времени Андрее Рублёве написано столько же, сколько о золотописцах Посольского приказа XVII века.

Авторы иногда слишком бегло останавливаются на вопросах, справедливо выделенных в предисловии как важнейшие. Вопрос о причинах возвышения Москвы, например, оказался сведённым к причинам образования Русского централизованного государства. Правильная мысль о связи возвышения Москвы с процессом складывания русской народности оказалась, по существу, нераскрытой. В том же плане написано о Москве как о центре складывающегося «всероссийского рынка». Детальные описания торговли Москвы отодвинули на второй план анализ и оценку этого важнейшего процесса.

Иногда авторы ограничиваются только оценкой того или иного явления, не разъясняя его сущности. Например, упомянув о «прогрессивном войске опричников», авторы, прикрывшись цитатой, ничего не сказали о самом войске, не разъяснили, в чём заключалась его «прогрессивность».

Утверждение о том, что Москва — крупнейший русский город, с развитыми ремёслами и торговлей, было бы более убедительным, если бы авторы соответствующих глав показали разницу в этом отношении между Москвой и другими современными ей городами периода феодализма, не ограничиваясь лишь сравнением территории и количества населения.

Если в томе достаточно внимания уделено показу роли Москвы как центра русской государственности, зачинателя и руководителя борьбы за национальную независимость, то роль Москвы как центра антифеодального революционного движения осталась нераскрытой. Декларировав, что московское население выступало в авангарде классовой борьбы и что московское восстание 1547 года «послужило сигналом, вы-

завшим движение в различных частях страны», а московские восстания 1648 и 1662 годов «нашли отклик по всей стране», авторы ограничились общими фразами, не показав, как же конкретно влияли восстания в Москве на распространение антифеодального движения в других городах.

В главах, посвящённых истории общественной мысли, литературы, искусства, осталось невыявленным отношение к Москве как центру национальной жизни народа других городов страны. А ведь не случайно псковский монах Филофей, размышляя над судьбами родины, создал патриотическую теорию «Москва—Третий Рим». Не случайно и появление поговорок, вроде «Кострома городок—Москвы уголок», показывающих любовь к Москве и стремление к сближению с ней других городов России.

Говоря о многообразном значении Москвы в развитии русской культуры, авторы совершенно не отразили ведущей роли нашей столицы в создании общерусского литературного языка.

Книга является капитальным историческим трудом, снабжённым большим справочным материалом и многочисленными сносками. Тем более досадно встретить в таком издании отдельные фактические ошибки, цитирование устаревших изданий, недостаточное использование новейших работ, указанных в библиографии.

Так, Посольский приказ как самостоятельное учреждение был основан не в конце XV века, а в 1549 году. До этого времени посольские дела были сосредоточены в Казённом приказе. Нельзя видеть в крепостническом законодательстве 1580—1590 годов только лишь «ответ на отлив крестьянского населения из центра». Неверно утверждение, что крупные оборонительные сооружения возводились во второй половине XVI века, помимо столицы, только вблизи западных границ государства. Широко

известно строительство городов и укреплений в это время на юге и востоке страны, где сохранялась ещё угроза турецко-крымской агрессии. Непонятно, почему сведения по истории просвещения в Москве XVI века приводятся главным образом по устаревшей работе В. С. Иконникова и т. д.

В целом книга написана простым, хорошим русским языком. Но ярких, запоминающихся страниц в ней обидно мало. Читатель редко встретит здесь увлекательные описания, живые характеристики, интересные, запоминающиеся сравнения и обобщения. Мало в книге выводов и объяснений, преобладают описания и перечисления.

Недостаточное внимание к научной популяризации исторических знаний, перегрузка исторических сочинений излишними подробностями, описаниями и отступлениями делает некоторые работы наших историков трудно доступными для неспециалиста, заставляя широкого читателя подчас обращаться к устаревшим и методологически неправильным работам.

История только тогда сможет выполнять свою задачу воспитателя и учителя современников, когда наряду со специальными изысканиями всё чаще будут появляться книги обобщающего характера, рассчитанные на массового читателя, книги, написанные увлекательно и образно, пронизанные живой, критической, притягивающей к себе мыслью. Именно таким изданием и должна стать многотомная «История Москвы».

Вышедший из печати том — первый опыт создания марксистско-ленинской истории столицы СССР. Нет сомнения, что работы последующих лет расширят, дополнят, уточнят наши представления о Москве периода феодализма. Однако можно с уверенностью утверждать, что и тогда рецензируемая книга не утратит своего большого научно-познавательного значения.

Кандидат исторических наук
С. ШМИДТ.

★

Новое издание работ И. М. Сеченова

Еженедельную газету «Медицинский вестник», выходившую в шестидесятых годах прошлого века в Петербурге, обычно читали только врачи. Однако в конце 1863

И. М. Сеченов. «Избранные произведения. Том первый. Физиология и психология». Редакция и послесловие Х. С. Коштоянца. Издательство Академии наук СССР, М. 1952.

года она вдруг получила широкую известность: её очередные номера искали, перепродавали, передавали из рук в руки. — в ней печаталась большая статья «Рефлексы головного мозга». Автором этой статьи был Иван Михайлович Сеченов — молодой профессор-физиолог Петербургской медико-хирургической академии.

Восторженно встреченная передовой общественностью, статья эта вызвала ярость всего лагеря реакции. Петербургский цензурный комитет при выходе статьи отдельной книгой наложил на неё арест, а против автора возбудил судебное преследование, обвиняя его в пропаганде материализма и «уничтожении религиозных догматов». Однако дело было прекращено: власти боялись привлечь всеобщее внимание к этой книге.

А идеи её были очень смелыми. Сеченов первый приступил к физиологическому исследованию головного мозга. Он открыл явления центрального торможения, выяснил, что деятельность головного мозга имеет рефлекторный (отражательный) характер, и пришёл к важнейшим теоретическим выводам, материалистически объясняющим психическую деятельность.

В «Рефлексах головного мозга» Сеченов развил чрезвычайно плодотворную мысль о неотделимости психических процессов от деятельности мозга, об обусловленности психики как отражательного процесса внешним миром. Он смело поднял знамя борьбы за материализм в наиболее сложном разделе физиологии — в изучении работы мозга — и произвёл переворот во взглядах на сущность психики, то есть в той области, где испокон веков властвовали идеализм и религия. Этой важнейшей области знания, имеющей первостепенное философское значение, так как она прямо касается основного вопроса философии — отношения материи и сознания, — посвящены были и другие теоретические работы Сеченова, развивавшие и конкретизировавшие его рефлекторную теорию.

Эти труды опубликованы в первом томе «Избранных произведений» И. М. Сеченова, выпускаемых издательством Академии наук СССР в серии «Классики науки». Второй том будет содержать экспериментальные работы.

Сеченов заложил основы отечественной материалистической физиологии и психологии. Последовательно развивая и защищая идеи передового естествознания, он боролся против идеалистических извращений в науке, разрабатывал, пропагандировал и защищал естественнонаучные основы философского материализма. Великий физиолог-мыслитель, разоблачая субъективизм, доказывал вздорность и вред поповских и идеалистических рассуждений о

«душе», бесплодность субъективного метода, основанного на вере в существование каких-то особых, «специфических», непознаваемых свойств «душевной» деятельности, которая якобы не зависит от законов объективного мира. Сеченов первый выдвинул мысль о необходимости и возможности объективного исследования психических явлений.

В статье «Кому и как разработать психологию?», являвшейся ответом реакционерам-идеалистам, нападавшим на «Рефлексы головного мозга», Сеченов развернул программу развития материалистической психологии, определил её предмет, метод и задачи. Признание объективности («непреложности») законов психической жизни он объявил обязательным условием создания и успешного развития подлинной науки психологии. Отсюда следовало его требование применять объективный метод в психологии, что в корне сокрушало психологию идеалистическую, которая жидется на признании «самостоятельного духовного начала» и на субъективном методе.

В борьбе с агностицизмом и субъективным идеализмом Сеченов был ближайшим соратником Чернышевского. Он решительно боролся против попыток идеалистически истолковывать данные физиологии, выступал против «физиологического» идеализма, к которому скатились в то время видные западноевропейские физиологи И. Мюллер, Г. Гельмгольц и другие. Убедённый в познаваемости объективного мира, Сеченов в работах «Элементы мысли», «Впечатления и действительность», «Предметная мысль и действительность» и других доказал, что наши ощущения правильно отражают предметы и явления материального мира. Он показал, как на основе чувственных образов возникают элементарные формы мышления и впервые в психологии материалистически осветил пути развития мышления как процесса отражения объективного мира.

Заслугой составителей первого тома «Избранных произведений» И. М. Сеченова является то, что здесь помещены и те труды, которые не печатались с прошлого века и давно стали библиографической редкостью. К ним относятся: «Две заключительные лекции о значении так называемых растительных актов в животной жизни», где Сеченов сформулировал своё представление о единстве организма и условий его существования, и «Первая лекция в Московском

университете проф. И. М. Сеченова», где изложены его материалистические взгляды на органы чувств как на «орудия общения животного с внешним предметным миром».

В «Дополнениях» напечатаны также отрывки из книги «Физиология нервной системы», единственное издание которой вышло в 1866 году. Жаль, что составители ограничились публикацией лишь трёх параграфов из этого замечательного произведения. Большой теоретический интерес представляют предисловие автора и введение, где даны характеристика общего рефлекторного принципа деятельности нервной системы и анализ рефлекса.

В том вошли и отрывки из «Физиологических очерков» Сеченова, восполняющие существенный пробел в прежних изданиях его трудов («Очерки» были изданы в последний раз в 1923 году). Однако выбор этих отрывков вызывает некоторые замечания. Странно, например, что из главы «Органы чувств» напечатаны лишь два последних раздела — «Осязание как чувство, сопутствующее зрению» и «Орган слуха», а очень важного первого раздела — «Орган зрения» — нет. И в «Физиологии нервной системы» и здесь составители почему-то пренебрегли вводной главой. Между тем в ней Сеченов определяет свои исходные положения, что особенно важно. Следовало бы включить в том и «Тезы» из диссертации Сеченова, где он очень кратко сформулировал ряд материалистических положений по важным биологическим проблемам.

В приложениях к тому помещена статья Х. С. Коштоянца «И. М. Сеченов в борьбе за материалистическое изучение психических процессов». Автор лучшей биографии учёного, Х. С. Коштоянц уже в течение длительного времени разрабатывает его творческое наследие; наука обязана ему разысканием в архивах многих новых документов, освещающих научную и общественную деятельность Сеченова. В этой статье на большом материале показана борьба Сеченова против идеализма в физиологии и психологии. Автор привлёк новые данные из истории отечественной физиологии. Интересны страницы, посвящённые К. Устимовичу, одному из выдающихся русских физиологов, активному борцу за торжество передовых сеченовских идей. Работая в лаборатории Устимовича, в непосредственном с ним контакте, И. П. Павлов

начинал свои самостоятельные экспериментальные исследования.

Выход в свет нового двухтомника произведений И. М. Сеченова, которого И. П. Павлов называл «гордостью русской мысли», надо приветствовать. С тем большей требовательностью необходимо отнестись к этому изданию и прежде всего к воспроизведению сеченовского текста, которое, разумеется, должно быть безупречным. Однако в этом отношении читатель вправе предъявить претензии составителям.

Возьмём, например, «Первую лекцию в Московском университете проф. И. М. Сеченова». Составителями книги почему-то снята стоявшая в подзаголовке дата — 6 сентября 1889 года, а при перепечатке текста допущены грубые смысловые ошибки. На странице 581 читаем: «Голод способен поднять животное на ноги, способен придать поискам более или менее страстный характер, но в нём нет никаких элементов, чтобы направить движение в ту или другую сторону и видоизменить его соответственно требованиям местности и случайностям встреч». Далее пропущена важнейшая по смыслу фраза: «Это дело высших органов чувств» и напечатано продолжение: «Во всех подобных случаях, т. е. когда локомоторный снаряд пущен в ход...» Легко заметить, что пропуск исказил весь смысл передового сеченовского взгляда на значение органов чувств в жизни организма в его связи со средой.

На той же странице произошло искажение смысла из-за произвольной расстановки знаков препинания. Напечатано: «Знают только, что, когда голова сосредоточенно занята мыслями мирного свойства, не возбуждающими движения в теле, угнетаются и чувственные сигналы, почти или вовсе не доходя до сознания». Между тем в действительности эта фраза такова: «Знают только, что, когда голова сосредоточенно занята мыслями мирного свойства, не возбуждающими, (запятая! — Ел. Б.) движения в теле угнетаются, (запятая! — Ел. Б.) и чувственные сигналы почти или вовсе не доходят до сознания». Таким образом речь идёт о том, что угнетаются движения в теле, а не чувственные сигналы, как подсказывает напечатанный с ошибками текст.

В той же лекции есть ещё ряд опечаток. На странице 562 напечатано: «В этом смысле... останавливаться даже нечего», а следовало: «В этом смысле... останавли-

ваться долго нечего»; на странице 579 указано: «потому что не идущие издалека», а нужно: «потому что неидущие издалека» (здесь имеется в виду не отрицание, а указание на близость раздражителя, на его контактное действие). Статья совершенно произвольно разделена на абзацы, пунктуация неточна, нет вопросительных знаков в очень многих местах, где они нужны по смыслу и стояли в прижизненном издании.

Встречаются и другие ошибки. Например, на странице 551: «Но нужно думать...», а следовало: «Не нужно думать...» Этих примеров достаточно, чтобы доказать, что составители небрежно отнеслись к сверке текста.

В книге приведено много примечаний (436!), однако зачастую они не дают нужных сведений. Так, остаётся неясным, по каким изданиям воспроизводился текст в этом томе, какие тексты были взяты за основу, какие существуют разночтения между вариантами текста публикуемых статей.

Читатель вынужден слепо полагаться на выбор составителя примечаний С. Г. Геллерштейна, который берёт на себя ответственность судить о том, что существенно и что не существенно в позднейших авторских изменениях и дополнениях, а затем передаёт их содержание попросту своими словами. Такое обращение с текстами классика естествознания нельзя не признать бесцеремонным.

Особым упущением является то, что в книге нет глав первого варианта статьи «Элементы мысли». Эта статья была впервые напечатана в 1878 году в журнале «Вестник Европы», а в 1903 году переработана автором, который написал несколько глав заново. Первый вариант этих глав имеет самостоятельное значение, а между тем в томе воспроизведён только второй вариант.

Странным кажется примечание к «Первой лекции в Московском университете проф. И. М. Сеченова», где сказано: «Отсутствие инструментария для физиологических экспериментов и невозможность в короткий срок оборудовать лабораторию побудили Сеченова начать чтение лекций в Московском университете с отдела, не требовавшего сложных приборов. Вот почему Сеченов открыл курс своих лекций с учения о центральной нервной системе...»

Выходит, что тема этой лекции возникла... случайно. Между тем комментатору

следовало бы, во-первых, объяснить, что отсутствие инструментария было следствием противодействия реакционного начальства преподавательской деятельности Сеченова в университете; во-вторых, надо было иметь в виду, что хотя Сеченов и упоминал в своих «Автобиографических записках» об отсутствии в университете нужных инструментов, отчего он был вынужден читать именно теоретический курс, однако выбор темы первой лекции не был и не мог быть случайным. В самом деле, если вспомнить обо всех попытках тогдашних реакционеров возродить кантианские взгляды, проташить в русскую науку модный на Западе «физиологический» идеализм, гельмгольцевскую «теорию символов», — ясно станет, почему Сеченов избрал своей первой темой изложение материалистического взгляда на органы чувств в их связи с работой мозга и условиями существования организма.

Приведённое в примечании 415 указание, что в книге Х. С. Коштоянца «Сеченов» (издания 1941 и 1945 годов) доказано коренное расхождение Сеченова с Гельмгольцем в вопросах теории познания, является ошибочным. Напротив, в этих первых изданиях книги Х. С. Коштоянц держался неправильного взгляда, будто Сеченов, «фактически повторяя мысли Гельмгольца», «в полном соответствии с взглядами Гельмгольца», «многочратно останавливался на вопросе о том, что через посредство своих органов чувств человек получает ряд условных знаков (разрядка моя.— Е. Л. Б.) от предметов внешнего мира...» (см. Х. С. Коштоянц. «Сеченов», 1941, страница 84).

Во втором издании (1945) автор, значительно переработавший и дополнивший свою книгу новыми материалами, не счёл нужным изменить указанное место. Лишь в последнем издании (1950), когда этот вопрос уже был правильно решён в ряде работ других авторов и стал предметом обсуждения на Павловской сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР в 1950 году, Х. С. Коштоянц исправил ошибочную формулировку в своей книге.

Если составитель примечаний мог «недоглядеть» все эти обстоятельства и потому неверно приписать приоритет в верном решении этого вопроса Х. С. Коштоянцу, то странно, как этого не заметил сам

Х. С. Коштыяц, который является редактором рецензируемого тома.

Как известно, опубликованию трудов Сеченова царские власти всячески препятствовали, и многие его работы после появления в журналах не могли выйти отдельными изданиями. Всевозможные реакционеры стремились к тому, чтобы имя этого воинствующего материалиста было забыто. После смерти Сеченова его друзьям из Московского университета удалось выпустить в 1907—1908 годах собрание его сочинений в двух томах. В него вошла лишь часть работ великого естествоиспытателя. До Октябрьской революции не было издано

ни одной книги о Сеченове, ни одного исследования его трудов. Только в советское время произведения Сеченова стали достоянием народа и выходят всё новыми и новыми изданиями. В одном лишь 1952 году вышло несколько новых изданий его работ.

Широкие круги советских читателей проявляют большой интерес к произведениям И. П. Павлова и И. М. Сеченова — его гениального предшественника, чьи труды входят в золотой фонд науки. Чтобы удовлетворить эти запросы, следовало бы издать первое полное собрание сочинений Сеченова.

Ел. БУДИЛОВА.

★

Сальские степи прежде и теперь

Нередко бывает так, что книга, автор которой адресуется к определённом кругу читателей, компетентных в данном вопросе, на самом деле оказывается не только понятной, но и полезной каждому советскому человеку, желающему узнать, как идёт жизнь в отдельных уголках нашей необъятной страны. Примером такой книги может служить агроэкономическая монография «Сальский район», написанная группой научных сотрудников Ростовского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства и рассчитанная, как оговорено в книге, на специалистов сельского хозяйства и руководителей колхозов.

Сальские степи — засушливые, полупустынные. «Здесь, кроме ржи, вряд ли что может родиться, да и она даёт по 15—20 пудов с десятины. Горячие ветры каждый год выжигают посевы... Тяжёлый и неприветливый край». Так писал в конце прошлого века в рапорте на имя царя наказной казачий атаман Святополк-Мирский.

Таким до самой Октябрьской революции и оставался этот край со средними урожаями по три-четыре центнера зерновых с гектара. Частыми гостями в Ставрополье были засухи и суховеи. И тогда среди степи, там, где была посеяна рожь, чернели голые поля, над которыми ветер кружил смер-

чи. Население голодало, скот погибал от бескормицы, крестьянские хозяйства разорялись. В 1891 засушливом году в Ново-Егорлыкской волости из пяти тысяч жителей умерли от голода тысяча человек — каждый пятый!

Налоги и разные недоимки в такие годы платить крестьянам было нечем. Авторы книги приводят рассказ старика-колхозника из колхоза «Новый Егорлык» Е. Ярошенко: «У волостного правления росла груша, к этому дереву привязывали всех недоимщиков. Моего отца за недоимку двух рублей на двое суток привязали к этой груше. Мне сейчас 73 года, и я всё-таки не могу забыть этого унижения и оскорбления достоинства человека».

Так жили в Сальских степях до революции.

В 1928 году здесь на ста с лишним тысячах гектаров чернозёма было создано самое крупное в мире социалистическое сельскохозяйственное предприятие — совхоз «Гигант». Только за первые три года работы он вспахал для окрестных колхозов и крестьян 135 тысяч гектаров, посеял 80 тысяч гектаров, убрал и обмолотил хлеб с площади 23 тысяч гектаров. За это время зерносовхоз посетило свыше 120 тысяч экскурсантов, делегатов от крестьян и колхозов всего Советского Союза.

Осенью 1929 года в Сальские степи приехал А. М. Горький. Выступая перед рабочими совхоза, писатель говорил: «Чему учит «Гигант»?.. Он учит вот чему, — что рабочий класс действительно гигант, молодой гигант, выдвинутый историей для решения

Я. И. Звягинцев, П. И. Рудаков, В. А. Мидцев, В. С. Лермонтов. «Сальский район». Редактор А. С. Винторов. Сельхозгиз, М. 1952.

невиданных задач». Ныне Сальский район Ростовской области славен в нашей стране замечательной культурой сельского хозяйства, высокими и устойчивыми урожаями, которые собирают совхозы и колхозы.

Со времени установления во всём районе колхозного строя прошло двадцать лет. Небольшой срок. Но как много за эти два десятилетия было сделано здесь советскими людьми!

Цифрами, точными фактами, их сравнением показывают авторы книги, какие в Сальских степях произошли изменения в социальных отношениях людей, в экономике, технике, культуре, какие результаты дало целеустремлённое вмешательство людей в жизнь природы.

Вместо 15—20 пудов зерна с гектара колхозы района собирают сейчас по 80—90 пудов, а совхозы — по 100—110 пудов. Это очень наглядный цифровой показатель преобразования природы. 15 пудов зерна — это Сальские степи прежде, 100 пудов — это Сальские степи теперь.

Однако это ещё не всё. Зерно здесь сеяли раньше, сеют сейчас. Но что бы сказал наказной атаман Святополк-Мирский, если бы он узнал, что в Сальских степях советские люди занялись промышленным разведением винограда! Инициатор этого дела местный мичуринец А. П. Линева вспоминает: «Когда мы в 1924 году делали первые посадки винограда, то кулаки и подкулачники смеялись над нами, предвещали полный провал «пустой затеи». Но мы упорным трудом доказали, что у большевиков и в суровых засушливых Сальских степях будет расти и плодоносить виноград».

Сейчас только один колхоз имени Сталина имеет 34 гектара плодоносящего виноградника. Колхозники ежегодно снимают по 600—700 пудов винограда с гектара. Винограда здесь так много, что в колхозе в 1950 году выстроили свой винодельческий завод. Во всём Сальском районе площадь под виноградниками к концу пятой пятилетки превысит полторы тысячи гектаров, то есть увеличится по сравнению с довоенным уровнем более чем в девять раз.

Прежде в районе совершенно не было фруктовых деревьев, а теперь плодовых садов уже больше 400 гектаров. Колхозники выращивают многие сорта яблок, груш, слив, вишен, абрикосов.

Трудно хотя бы только перечислить всё то новое, что появилось в Сальских сте-

пях, — посевы многолетних и однолетних трав на тысячах гектаров, сотни километров лесных защитных полос, шелководство, пасеки, бахчи, породистый скот, рыбководство. Сюда по Невинномысскому каналу пришла кубанская вода, которая раньше напрасно уходила в море; во многих местах заработали артезианские скважины, построены водохранилища и пруды.

Вокруг пересохшей речки Средний Егорлык прежде было особенно пустынно. Чабаны называли эту местность «Каменными выпасами». Теперь жители района Гордо именуют её «Приморьем». Само же «море», созданное в некогда сухой долине, называется «Сальским морем». И это действительно море, потому что в нём собрано 20 миллионов кубометров воды. На берегу его построен межколхозный городок отдыха.

Колхоз «Волна революции» и другие возделывают на орошаемых землях рис и собирают по 200—250 пудов урожая с гектара. Рис — в безводных Сальских степях!

Весь ландшафт района изменился. Прежде была выжженная солнцем и вытоптанная скотом степь да редкие пашни. В наши дни колхозники соорудили здесь уже 49 водоёмов; сады, виноградники и леса покрывают более полутора тысяч гектаров, всюду зеленеют искусственные дуга, засеянные травами, везде хорошие постройки, электрическое освещение.

Авторы рассказывают не только об успехах района, но и о том, как они были достигнуты. Но, к сожалению, эта часть монографии не самая яркая, как этого следовало бы ожидать.

Отдельная глава в книге посвящена деятельности партийной организации Сальского района, развёртыванию социалистического соревнования. Районная партийная организация проводит большую работу, поднимая всех тружеников сельского хозяйства на выполнение главных задач — повышения урожайности, дальнейшего роста продуктивности общественного животноводства, овладения передовой мичуринской наукой, освоения новой техники.

В Сальских степях сейчас работают сотни тракторов, комбайнов, плантажных плугов и других сельскохозяйственных машин. Самолёты подкармливают десятки тысяч гектаров посевов. На базе этой техники всё более совершенствуется социалистическое сельскохозяйственное производство, увеличи-

вается производительность труда, механизация освобождает колхозников от тяжёлых работ.

Всё более зажиточной становится жизнь сальских колхозников; их растущие материальные и культурные потребности удовлетворяются всё полнее. Колхозный трудодень является здесь очень полновесным. В 1949 году, например, семья колхозника И. А. Таранина из артели «Новый Егорлык» получила четыре тысячи пудов зерна. В единоличном хозяйстве ни один крестьянин не мог получить столько хлеба. Тысячи пудов зерна были только у помещиков да у кулаков-мироедов.

В книге многосторонне показан расцвет социалистической культуры в Сальском районе. Сейчас здесь в полтора раза больше учителей, чем в царское время было грамотных. Только за четыре послевоенных года построено шестнадцать новых школ. По рассказам стариков, в Сальске до революции получали всего лишь два экземпляра «Епархиальных ведомостей» и три «Газеты-копейки». Теперь жители района выписывают более семи тысяч экземпляров разных газет и две тысячи с лишним журналов.

Глава за главой, на убедительном иллюстративном материале, авторы показывают читателю огромную целесообразность укрупнения колхозов. Книга даёт богатый материал и для других размышлений. На примере Сальских степей очень зримо ощущаешь, как много у нас сделано для преодоления существенного различия между городом и деревней; реально видны повседневные проявления основного экономического закона социализма, вырисовываются светлые контуры будущего коммунистического общества.

Монография «Сальский район» — не художественное произведение. Это научный труд, написанный несколько сухо, насыщенный цифрами. Но сами эти цифры, за которыми стоят живые люди, таковы, что придают повествованию большое познавательное и воспитательное значение и воспринимаются читателем легко и с интересом.

Композиция книги в целом является удачной, она построена в историческом плане: от прошлого авторы последовательно идут к настоящему и рисуют перспективы будущего. Но последняя глава «Укрупнение колхозов и дальнейшее развитие общественного хозяйства» написана слишком «технично», без должного подъёма.

Язык книги едва ли заслуживает серьёзных упреков — он прост, лаконичен. Однако комментарии к таблицам не всегда удачны. Поясняя, например, таблицу о числе грамотных в 1867 году, авторы пишут: «Из приведённых данных видно, что в 11 сёлах было всего 1,7 процента грамотных, в 5 сёлах грамотного населения было меньше 1 процента, а в остальных процент грамотности колебался от 1,3 до 4,3». Эта запутанная фраза по стилю похожа на условие арифметической задачи.

Монография «Сальский район» особенно интересна, конечно, для жителей этой местности, ведь они, по существу, и являются её «авторами». Однако эту книгу можно смело рекомендовать самым широким кругам советских читателей. Хочется, чтобы Сельхозгиз усилил работу по выпуску таких районных монографий, отпускал бы для них лучшую бумагу и заботился о качестве иллюстраций — они в книге оставляют желать лучшего.

И. КРУПЕНИКОВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Июль — август 1953 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Г. М. Маденков. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР 8 августа 1953 г. 48 стр. Цена 45 к.

Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза (1903—1953). 32 стр. Цена 30 к.

М. Ветошкин. Очерки по истории большевистских организаций и революционного движения в Сибири 1898—1907 гг. 308 стр. Цена 5 р. 25 к.

В. Зайцев. Политика партии большевиков по отношению к крестьянству в период установления и упрочения Советской власти. 192 стр. Цена 2 р. 30 к.

Ф. В. Константинов. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил. 48 стр. Цена 55 к.

Ал. Леонтьев. Как народы колоний борются за своё освобождение. 56 стр. Цена 65 к.

Н. С. Маслова. Производительность труда в промышленности СССР. 384 стр. Цена 6 р. 10 к.

О диалектическом материализме. Сборник статей. Издание второе. 472 стр. Цена 7 р.

М. Смит. Положение рабочего класса в США, Англии и Франции (после второй мировой войны). 264 стр. Цена 4 р. 10 к.

Установление Советской власти на местах в 1917—1918 годах. Сборник статей под редакцией А. М. Панкратовой, А. П. Сидорова, Д. А. Чугаева. 624 стр. Цена 10 р. 50 к.

Н. Черкасов. Положение трудящихся в странах капитала. 80 стр. Цена 95 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Воскресенко. Стихи. Авторизованный перевод с украинского. 194 стр. Цена 2 р. 5 к.

Александр Гончаров. Наб: корреспондент. Повесть. 304 стр. Цена 5 р. 45 к.

М. Михайлов. Собрание стихотворений. 748 стр. Цена 14 р. 80 к.

Я. Ругоев. Стихи. Авторизованный перевод с финского. 78 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Смирнов. Мои встречи. Стихи. 188 стр. Цена 3 р. 20 к.

Педер Хузаңгай. Поют дубравы. Стихи. Перевод с чувашского. 120 стр. Цена 2 р. 30 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Болгарские повести и рассказы XIX и XX вв. В двух томах. Перевод с болгарского. Том I. 512 стр. Цена 11 р. 65 к.

В. В. Вересаев. Рассказы. 112 стр. Цена 1 р. 30 к.

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. Том 26. Статьи, речи, приветствия. 1931—1933. 464 стр. Цена 12 р.

Дмитрий Гулиа. Избранные произведения. Перевод с абхазского. 416 стр. Цена 7 р. 65 к.

В. Ермилов. Антон Павлович Чехов. 1860—1904. 288 стр. Цена 7 р.

Эмиль Золя. Деньги. Перевод с французского. 450 стр. Цена 7 р. 20 к.

М. В. Исаковский. Стихи и песни. 200 стр. Цена 1 р. 70 к.

Казахские народные сказки. 136 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. В. Маяковский. Избранные произведения. Том I. Стихотворения. Моё открытие Америки. 592 стр. Цена 13 р. 40 к. Том II. Поэмы. Пьесы. Как делать стихи? 496 стр. Цена 11 р. 65 к.

В. В. Маяковский. Сатира. Рисунки в тексте В. Маяковского. 176 стр. Цена 2 р.

Низами. Искендер-Намэ. Перевод Конст Липскерова. 804 стр. Цена 10 р. 95 к.

А. Н. Островский. Полное собрание сочинений. Том 15. Письма. 1873—1880. 328 стр. Цена 10 р.

Натан Рыбак. Переяславская рала. Роман. Авторизованный перевод с украинского Б. Турганова. 624 стр. Цена 11 р.

Б. Рюриков. Н. Г. Чернышевский. 120 стр. Цена 2 р. 25 к.

К. Ф. Седых. Даурия. Роман. Части 4 и 5. 404 стр. Цена 8 р. 25 к.

К. Федин. Сочинения в шести томах. Том 3. Похищение Европы. Роман. 464 стр. Цена 10 р.

Гюстав Флобер. Простая душа. Перевод с французского. 32 стр. Цена 35 к.

Иван Франко. Захар Беркут. Картина общественной жизни Карпатской Руси в XIII веке. Перевод с украинского. 160 стр. Цена 1 р. 75 к.

Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. 424 стр. Цена 7 р. 90 к.

А. П. Чехов. Повести. 191 стр. Цена 3 р. 45 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

К. Бадигин. Путь на Грумант. Поморская быль. 333 стр. Цена 8 р. 40 к.

Платон Воронько. Моя Москва. Стихи. Перевод с украинского П. Железнова. 48 стр. Цена 2 р. 20 к.

Ольс Гончар. Повести и рассказы. Авторизованный перевод с украинского Л. Шапиро. 408 стр. Цена 7 р. 60 к.

И. Ефремов. Путешествия Баурджеды. 136 стр. Цена 2 р. 75 к.

П. Журба. Александр Матросов. Повесть. Издание переработанное и дополненное. 312 стр. Цена 7 р. 65 к.

Н. Ковынев. О работе с книгой. Серия «Библиотечка комсомольского пропагандиста». 46 стр. Цена 80 к.

М. Кропачева. Учитель и комсомольская организация школы. Издание 2-е, дополненное и переработанное. 166 стр. Цена 3 р. 10 к.

П. Минеев. Молодёжь в борьбе за мир. 120 стр. Цена 1 р. 70 к.

Евгений Пермяк. Драгоценное наследство. Роман. Второе переработанное издание. 461 стр. Цена 8 р. 25 к.

Н. Н. Плавильщиков. Юным любителям природы. 256 стр. Цена 6 р. 50 к.

Александр Туницкий. Встретимся на Волге. Повесть. 201 стр. Цена 3 р. 40 к.

Василий Фёдоров. Зрелость. 136 стр. Цена 3 р. 60 к.

И. Халифман. Пчёлы. Книга о биологии пчелиной семьи и победах науки о пчёлах. 430 стр. Цена 8 р. 20 к.

Школьный опытный участок. Сборник. 296 стр. Цена 8 р. 90 к.

ДЕТГИЗ

С. Антонов. Рассказы. 32 стр. Цена 50 к.

З. Арбузова, Л. Дроздов, Ю. Руникин. Юные мичуринцы — животноводы и зоологи. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

В. Архангельский. Кораблик. Рассказы. 48 стр. Цена 85 к.

С. Баруздин. Кто скорее подрастёт. Рассказы. 16 стр. Цена 40 к.

З. Бядуля. Рассказы. Перевод с белорусского Р. Рубиной. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

Вс. Вишневский. Незабываемый 1919-й. Пьеса. 112 стр. Цена 2 р. 70 к.

П. Воронько. Твоя книжка. Перевод с украинского С. Маршака. 32 стр. Цена 60 к.

Л. Гальперштейн, П. Хлебников. Мы строим машины. 112 стр. Цена 2 р. 65 к.

Н. Дубов. Огни на реке. Повесть. 128 стр. Цена 2 р. 85 к.

Н. Забила. Ясочкина книжка. Перевод с украинского З. Александровой. 32 стр. Цена 50 к.

В. Каверин. Два капитана. Пьеса. 48 стр. Цена 80 к.

Н. Кальма. Дети Горчичного Рая. Инсценировка Н. Кальмы и З. Сажина. 48 стр. Цена 85 к.

С. Котт. Уничтожайте сорняки. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

В. Лифшиц. Два парохода. Стихи. 13 стр. Цена 90 к.

С. Маршак. Сказки, присказки, загадки. 496 стр. Цена 9 р. 20 к.

С. Михалков. Важный день. 32 стр. Цена 45 к.

С. Михалков. Дядя Стёпа. 17 стр. Цена 70 к.

С. Могилевская. Птица-синица. Повесть о Пете и его друзьях. 80 стр. Цена 2 р. 60 к.

М. Муратов. Емельян Пугачёв. 264 стр. Цена 6 р. 95 к.

Д. Нагишкин. Сердце Бонивура. Роман. Дополненное и переработанное издание. 608 стр. Цена 12 р. 30 к.

Н. А. Некрасов. Генерал Топтыгин. 16 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Островер. Буревестники. 256 стр. Цена 7 р. 85 к.

М. Пришвин. Золотой луг. 256 стр. Цена 6 р. 40 к.

В. Прус. Антек. Сокращённый перевод с польского Е. Живовой. 32 стр. Цена 50 к.

А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. 32 стр. Цена 60 к.

Рассказы русских писателей. Рассказы Л. Толстого, И. Тургенева, Д. Григоровича,

К. Станюковича, Д. Мамина-Сибиряка,

В. Гаршина, В. Короленко, А. Чехова и др. 192 стр. Цена 4 р. 30 к.

В. Смирнов. Открытие мира. Повесть. 280 стр. Цена 5 р. 55 к.

Я. Тайц. Рассказы. 48 стр. Цена 70 к.

Е. Трутнева. Как яблонька на север шла. Стихи. 15 стр. Цена 90 к.

А. И. Ульянова. Детские и школьные годы Ильича. 40 стр. Цена 1 р. 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО**АКАДЕМИИ НАУК СССР**

Н. Н. Бурденко. 1876—1946. 76 стр. Цена 2 р. 65 к.

М. В. Данилевич. Положение и борьба рабочего класса стран Латинской Америки. 381 стр. Цена 16 р. 40 к.

Микроклиматические и климатические исследования в Прикаспийской низменности. 167 стр. Цена 9 р. 50 к.

В. И. Серебровский. Очерки советского наследственного права. 238 стр. Цена 10 р. 30 к.

Ю. Г. Толстов. Контактные преобразователи. 131 стр. Цена 4 р. 75 к.

Экономика капиталистических стран после второй мировой войны. Статистический сборник. 291 стр. Цена 12 р.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Дважды Герой Советского Союза генерал армии И. Д. Черняховский. 45 стр. Цена 50 к.

В. А. Иерусалимский. Как увеличить межремонтный пробег автомобиля. 83 стр. Цена 1 р. 55 к.

М. Д. Новигатский. Пропаганда опыта отличников. 80 стр. Цена 1 р. 5 к.

Отличники. Сборник. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

П. С. Паша, Ф. Г. Корнилюк, А. В. Петров. Военная топография. Учебное пособие. 400 стр. Цена 12 р. 40 к.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

С. Пендюрин. Прикладная гимнастика на корабле. 30 стр. Цена 40 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

М. Исаковский. Избранные стихи и песни для самостоятельности. 72 стр. Цена 1 р. 70 к.
А. К. Котов, В. Г. Короленко. 40 стр. Цена 1 р.

Игнат Назаров. Единственный сын. 24 стр. Цена 50 к.

Лев Ошанин. Избранные стихи и песни. 72 стр. Цена 1 р. 70 к.

Е. Привалова. Творчество А. Н. Толстого для детей. 48 стр. Цена 1 р. 10 к.

С. Шальнев. Клуб и ДСО «Колхозник». 32 стр. Цена 90 к.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

Н. А. Баранов и Д. С. Добровольский. Технология бумажного производства. 372 стр. Цена 9 р. 30 к.

П. Р. Вангниц. Таксы и цены на лесопродукцию. 64 стр. Цена 1 р. 45 к.

«ВНИТОЛЕС». Вопросы древесиноведения. 72 стр. Цена 3 р.

Д. Я. Гиргидов. Организация лесосеменных участков сосны. 32 стр. Цена 80 к.

Грейниман, Титков. Вспомогательные таблицы для исчисления объёма пиломатериалов. 396 стр. Цена 28 р. 50 к.

К. Ф. Мирон. Опыт работы по реконструкции низкополотных малоценных молодняков. 36 стр. Цена 80 к.

В. С. Филипповский. Опыт работы Лубянского леспромхоза по новой технологии. 48 стр. Цена 1 р. 5 к.

Ф. Н. Харитонович. Порослевое возобновление дуба в степи. 80 стр. Цена 3 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роже Вайян. Что я видел в Египте. Перевод с французского Т. А. Кудрявцевой. Предисловие Л. Н. Ватолиной. 102 стр. Цена 1 р. 95 к.

Иностранный капитал в предприятиях Западной Германии. Перевод с немецкого А. Ф. Доброхотова. Предисловие Н. Иноземцева. 462 стр. Цена 22 р. 65 к.

Мария Мачокки. Иран в борьбе. Перевод с английского Г. Д. Богемского. 182 стр. Цена 3 р. 35 к.

Мохиндер Сингх. Угнетённые касты Индии. Сокращённый перевод с английского О. Л. Орестова. Предисловие и общая редакция А. А. Пронина. 251 стр. Цена 9 р. 50 к.

МАШГИЗ

М. П. Александров. Тормоза подъёмно-транспортных машин. 228 стр. Цена 8 р. 50 к.

В. С. Гвоздév, Б. А. Вахрамеев, А. Л. Герман и др. Оборудование сельскохозяйственных гидроэлектростанций. 292 стр. Цена 14 р. 20 к.

Б. Н. Горохов. Канавокопатели и канавопалоделатели. 116 стр. Цена 3 р. 20 к.

Г. В. Крамаренко, П. Р. Горлов. Опыт эксплуатации автомобиля «Москвич» 148 стр. Цена 2 р. 85 к.

А. А. Курдюмов. Вибрация корабля. 272 стр. Цена 7 р. 90 к.

Ф. А. Лапир. Автоматизированные бетоно-смесительные установки. 92 стр. Цена 2 р. 70 к.

Е. М. Левенсон. Контрольно-измерительные приспособления в машиностроении. 264 стр. Цена 9 р. 25 к.

В. М. Левин, П. А. Троицкий. Цеховые расходы. 252 стр. Цена 10 р. 10 к.

З. А. Машевич. Технология локомотивостроения. 543 стр. Цена 13 р. 90 к.

В. А. Михеев. Гидравлические прессовые установки. 376 стр. Цена 14 р. 30 к.

Б. А. Носков. Производство литых молотовых штампов. 100 стр. Цена 3 р. 10 к.

И. И. Поклад. Анализ себестоимости продукции и финансов на машиностроительном заводе. 223 стр. Цена 8 р. 70 к.

С. В. Руссиян, Н. Н. Голованов. Технология и организация производства точного литья. 139 стр. Цена 6 р. 10 к.

Н. Н. Смеляков. Изготовление армированных стливок. 192 стр. Цена 6 р. 15 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО МГУ

А. И. Ефимов. Язык сатиры Салтыкова-Щедрина. 492 стр. Цена 16 р. 80 к.

И. А. Глаголев, Г. И. Успенский. 44 стр. Цена 1 р. 10 к.

Д. И. Гордеев, М. В. Ломоносов — основоположник геологической науки. 156 стр. Цена 7 р. 30 к.

А. А. Захваткин. Сборник научных трудов (оригинальные исследования по клещам, по систематике цикадин, по отдельным вопросам энтомологии, конспекты лекций). 420 стр. Цена 26 р. 70 к.

В. М. Татевский. Химическое строение углеводородов и закономерности в их физико-химических свойствах. 320 стр. Цена 18 р. 50 к.

МЕДГИЗ

И. Д. Ганецкий, И. Г. Древаль, П. С. Катаев. Руководство по лечебной кулинарии и составлению меню для санаториев и домов отдыха. Часть 2-я. 670 стр. Цена 19 р. 60 к.

В. Г. Гордеев. Профилактика и лечение рака кожи и слизистых оболочек жидкостью Гордеева. 144 стр. Цена 7 р. 45 к.

А. Ю. Депутович. Основы рентгенологии. 2-е издание. 376 стр. Цена 11 р. 50 к.

И. Б. Дунашев. Об урологических заблуждениях. 24 стр. Цена 30 к.

С. О. Дулицкий. Рахит. 40 стр. Цена 30 к.

В. В. Ефремов. Витамины. 40 стр. Цена 60 к.

А. И. Картамышев. Гипноз и внушение в терапии кожных болезней. 136 стр. Цена 3 р. 50 к.

С. Е. Копелянская. Права матери и ребёнка. 132 стр. Цена 2 р. 10 к.

Д. П. Лубоцкий. Основы топографической анатомии. 648 стр. Цена 17 р. 55 к.

В. С. Нестеров. Диагностика малярии. 172 стр. Цена 4 р. 70 к.

М. Н. Побединский. Бесплодие женщин. 64 стр. Цена 1 р. 5 к.

А. А. Русанов. Разрывы уретры. 160 стр. Цена 6 р. 20 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Агитколлектив на производстве. Сборник статей. 100 стр. Цена 1 р. 15 к.

А. Бучкин. Формоласт в строительном деле. 23 стр. Цена 35 к.

В. Г. Короленко. Повести и рассказы. 542 стр. Цена 10 р.

И. Кудревич. Круглогодное выращивание овощей. 71 стр. Цена 90 к.

А. Петров, Н. Смольянинова. Селекция плодовых ягодных культур. 51 стр. Цена 40 к.

МУЗГИЗ

В. Ванслов. Об отражении действительности в музыке. 236 стр. Цена 9 р. 30 к.

М. П. Мусоргский. Избранные письма. Под редакцией Пекелыса. 238 стр. Цена 6 р. 75 к.

Д. Рогаль-Левицкий. Современный оркестр. 480 стр. Цена 30 р. 80 к.

А. Соловцов. Симфонические произведения Римского-Корсакова. 202 стр. Цена 3 р. 95 к.

Ю. Хохлов. Фортепианные концерты Ф. Листа. Путеводитель. 72 стр. Цена 1 р. 45 к.

ПРОФИЗДАТ

В. Горностаев. Физкультурники Уралмашзавода. 48 стр. Цена 70 к.

С. Кириллов. Соревнование на рыболовном траулере «Ленин». 100 стр. Цена 1 р. 55 к.

Т. Кутасова. Самодеятельный танцевальный коллектив. 88 стр. Цена 1 р. 5 к.

И. Семёнов. Агитмашина в совхозе. 28 стр. Цена 40 к.

ВЛАДИМИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Иван Ганабин. Сказ о матросском отпуске. Стихи. 12 стр. Цена 70 к.

Б. Горбунов. О друзьях-товарищах. Рассказы. 88 стр. Цена 1 р. 70 к.

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Василий Великанов. Товарищи. Рассказы. 136 стр. Цена 2 р. 65 к.

ОДЕССКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Анастасия Зорич, Ради жизни. Повесть. 187 стр. Цена 3 р. 60 к.

САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Евграф Покусаев, Н. Г. Чернышевский. 124 стр. Цена 1 р. 65 к.

Нина Чернышевская, Георгий Малинин. Памятные места Н. Г. Чернышевского в Саратове. 36 стр. Цена 55 к.

СТАЛИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Рассказы сталинградцев. 40 стр. Цена 3 р. 55 к.

СТАЛИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Илья Гонимов. Старая Юзовка. 1869—1905. 224 стр. Цена 5 р. 20 к.

ТАШКЕНТСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Гафур Гулям. Избранное. Перевод с узбекского. 224 стр. Цена 6 р. 55 к.

ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Николай Колотилов. Простор. Повесть в стихах. 68 стр. Цена 2 р. 85 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-06-96.

Сдано в набор 18/VII-53 г. Подписано к печати 11/VIII-53 г.
А 03658 Формат бумаги 70×106¹/₁₆. 8 бум. л.—21,92 печ. л. Тираж 130.000. Заказ № 1435.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, 6, Пушкинская площадь, 5

Цена 7 руб.